

«ДН» — 2015-2016

Романы, повести:**Мария АНУФРИЕВА.** *Существо. Роман***Заир АСИМ.** *Новая повесть***Валерий БОЧКОВ.** *Время воды. Роман***Резо ГАБРИАДЗЕ.** *Доктор и больной. Повесть***Хамид ИСМАЙЛОВ.** *Пляска бесов, или Большая игра. Роман***Виктория ЛЕБЕДЕВА.** *Без труб и барабанов. Роман***Марина МОСКВИНА.** *КРИО. Роман. Книга вторая***Юрий ОСИПОВ.** *Краткий курс мальтийской жизни с красивой женщиной***Юрий ПЕТКЕВИЧ.** *Голубь в Казейках. Повесть***Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ.** *Новая повесть***Дмитрий СТАХОВ.** *Свет ночи. Роман***Сергей УТКИН.** *История болезни. Повесть в рассказах***Левон ХЕЧОЯН.** *Чёрная книга, тяжёлый жук. Роман. С армянского*

Рассказы: Евгения АЛЁХИНА, Олега БОНДАРЕНКО, Андрея ВОЛОСА, Елены ДОЛГОПЯТ, Натальи КЛЮЧАРЁВОЙ, Алексея КОЛОБРОДОВА, Ильи КОЧЕРГИНА, Владимира НЕКЛЯЕВА, Мариам ПЕТРОСЯН, Сергея РЯЗАНЦЕВА, Владимира ТОРЧИЛИНА, Арслана ХАСАВОВА, Евгения ШКЛОВСКОГО и других авторов

Новые имена: участники Форума в Липках, Волошинского фестиваля, фестиваля «Литературный ковчег» и наши собственные открытия

Новые сочинения: Дмитрия ВЕРЕЩАГИНА, Эльчина ГУСЕЙНБЕЙЛИ (с азербайджанского), Ицхока МЕРАСА (с литовского), Дмитрия НОВИКОВА, Светланы ПЕТРОВОЙ, Владимира ХОЛОДОВА, Александра ХУРГИНА, Дмитрия ШЕВАРОВА

Новые стихи и переводы: Шамшада АБДУЛЛАЕВА, Сухбата АФЛАТУНИ, Ефима БЕРШИНА, Сергея ВАСИЛЬЕВА, Германа ВЛАСОВА, Андрея ГРИЦМАНА, Ольги ИВАНОВОЙ, Алексея ИВАНТЕРА, Игоря ИРТЕНЬЕВА, Александра КАБАНОВА, Инны КАБЫШ, Светланы КЕКОВОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Григория КРУЖКОВА, Марины КУДИМОВОЙ, Инги КУЗНЕЦОВОЙ, Виктора КУЛЛЭ, Станислава ЛИВИНСКОГО, Ларисы МИЛЛЕР, Олеси НИКОЛАЕВОЙ, Натальи ПОЛЯКОВОЙ, Геннадия РУСАКОВА, Юрия РЯШЕНЦЕВА, Анны САЕД-ШАХ, Владимира САЛИМОНА, Олега ХЛЕБНИКОВА, Вячеслава ШАПОВАЛОВА и других авторов

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 2015, № 10, 1—256



ДРУЖБА НАРОДОВ

ДРУЖБА НАРОДОВ 10/2015



10'2015

- **Олеся Николаева**
Небеса уходят из-под ног
Стихи
- **Афанасий Мамедов**
Киноварь, или Перегрузка в Тунисе
Повесть
- **Константин Симонов**
Приговорён к бессмертной славе
Беседы с генерал-лейтенантом М. Лукиным
- **Олег Лышега**
Знакомство по существу
Памяти поэта
- **Кавказское испытание восхождением**
Круглый стол

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhiba/
LIVEJOURNAL: http://druzhiba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.rpf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.08.2015.
Подписано в печать 28.09.2015.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 1118. Цена свободная.

Дружба народов

10'2015

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Зам. главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Ответственный секретарь Сергей
НАДЕЕВ

Зам. главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

Проза и поэзия

Олеся НИКОЛАЕВА. Небеса уходят из-под ног. Стихи	3
Афанасий МАМЕДОВ. Киноварь, или Перезагрузка в Тунисе. Повесть	6
Ян БРУШТЕЙН. Воробьиное слово. Стихи	47
Владимир МОЩЕНКО. Последний рейс машиниста Новикова. Повесть	50
Михаил СИНЕЛЬНИКОВ. Золотые песчинки, комки, самородки. Стихи	79
Мурад ИБРАГИМБЕКОВ. Рассказы	82
Наталья ИЗОТОВА. Былью была я сполна. Стихи	94
Елена КЛЕПИКОВА. Из жизни Марты. Рассказы	96
ПОЭТ О ПОЭТЕ	
Михаил КАГАНОВИЧ. Уходящая натура	113
Арслан ХАСАВОВ. Рассказы	115

Эхо Великой войны

Приговорён к бессмертной славе. Беседы Константина СИМОНОВА с генерал-лейтенантом Михаилом ЛУКИНЫМ. Вступительная заметка Алексея Симонова	127
--	-----

Нация и мир

Лидия САЛОХИДИНОВА. Русская печка	204
---	-----

Круглый стол

Кавказское испытание восхождением	209
---	-----

Критика

Знакомство по существу. Олег ЛЫШЕГА. Памяти поэта	224
ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ	
Валерия ПУСТОВАЯ. Пядь Патрокла	236

Книжный развал

Александр КОТЮСОВ. Семруг — птица счастья	238
Инна КАБЫШ. На круги своя	242
Николай АЛЕКСАНДРОВ. Оборона крепости	245
Лев АННИНСКИЙ. Потеряем? Или привяжем?	247
Елена ГРОДСКАЯ. А там — Средиземноморье!	249
Александр ЕВСЮКОВ. Риф июльским утром	251

Эхо

Небо над душой. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	254
---	-----

Summary	256
---------------	-----

Олеся Николаева

Небеса уходят ИЗ-ПОД НОГ

* * *

Кто юности своей не дописал страницу,
Тот в старости бодрится, молодится,
Изображает пылкость и кураж,
Ломая карандаш.

Но прочитай — и, судя по отрывку,
Видать, не укатали горки сивку,
В пороховницах порох цел и сух.
Хотя перо повылезло и пух.

Но бойки старички, кокетливы старушки
И после небольшой утруски и усушки,
И блеск в глазах, и шутка льнёт к устам...
И только подлый дух крадётся по кустам.

Бывает даже так: вдруг посредине смеха
Лицо изменится, звук превратится в эхо.
И чья-то тень мелькнёт в зрачках, но вновь
Чуть-чуть лукавая, изогнётся бровь...

И вновь разыграет золотая рыбка,
Плеснёт хвостом, земля качнётся зыбко.
И как бы на скрипичный ключ игры
Сам ангел смерти заперт до поры...

Николаева Олеся (Ольга) Александровна — поэт, прозаик, эссеист. Автор 6 книг стихов, нескольких книг прозы, статей и эссе по православной этике и эстетике. Профессор Литинститута с 1989 г. Лауреат премий Бориса Пастернака (2002), «Anthologia» (2004), «Поэт» (2006) и др. Живет в Переделкине. Последняя публикация в «ДН» — «Грузинская рапсодия», № 8, 2015.

Песня

Помню, как остывали звёзды в реке ли, в чане,
выли, на помощь звали бабы-односельчане.
Как кричала неясить в полночь, когда счастливца
здесь забивали насмерть два бугая-ревнивца.
Кости ломали, жилы рвали, аж кровь кипела —
за молодые силы, за красивое тело.
За лицо — без изъяна, статный стан без ущерба,
где одна средь бурьяна лишь молодая верба.

За глаза — без порока, кожу — белее мела.
И засохла до срока верба да почернела.
Словно смерть человечью взяв себе, в день воскресный
молодца — вербой речью, силой своей древесной
ветками оплела, листьями обложила,
на ноги подняла, соками опоила...
Бабы о вербе той, пьяны, хмельны ль, тверёзы,
песни слагают — пой с ними, глотая слёзы...

* * *

Ты выше ценишь не изделие,
а ткань, состав и вещество:
прочнее камня, легче гелия
и тоньше света самого.

А я представь — любуюсь формой,
такой симфонией чернил,
как будто с партитурой горнею
художник вымысел сроднил.

Такой — Платона — взгляд понравится
старухе дряхлой без лица.
Ведь образ — цел: она — красавица
и Муза, Муза до конца!

В небесных списках так и значится.
А что потрескался фарфор,
мех вытерся и тень корячится,
так не о том и разговор.

Кого встречают там на лестнице?
Не бабку ведь — живот раздут...
Нет, руку подают прелестнице
и в сад под музыку ведут!

Феноменологическая редукция

В тёплой влажности, в беспамятности сладкой
Зарождаются фантазмы и туманы,
Бродят вирусы, плодятся лихорадки,
Фарисеи, прометеи, графоманы.

Заболочен, заморочен ум превратный,
Что ни выродит — всё скука, день безбытный:
Снедь как будто бы, и сам продукт бесплатный, —
Люд и налетает любопытный.

Может, драму ему дать? Метеоритом
Засветить да грянуть громом, негодуя,
Чтоб, придя в себя, с живейшим аппетитом
Благодарно грыз он корочку ржаную?

Воду ржавую горстями из колодца
Пил, глотал, хлебал, блаженно раскраснелся
И в дрожащих каплях шурился от солнца,
Да к тому же куст зацвёл, и дрозд распелся!

* * *

В самой голове смутяна призрачно всё, непросто:
то чучело у чулана, то пугало у погоста,
то идол на пьедестале, то мелкий бесёнок в кадке,
то крошки на одеяле, то мошки в одежной складке...
То кошки скребут по сердцу, то печень грызут химеры,
и даже единоверцу нет у такого веры.
Выморочит, натрудит век его, как придётся.
Ангела лишь не будет послано у колодца.

Гроза

Плотный воздух тяжелей, чем барий,
Серебрист, непроницаем, глух.
И небесный грозовой розарий
Пепельными розами набух.

От таких природных заморочек,
Что ж душе-то маяться за так
И следить, как сурдопереводчик —
Куст мятётся, подавая знак?

Вот тогда и вылезут резоны:
Всякий болен, беден, одинок...
У дороги Смерть стрижёт газоны,
Небеса уходят из-под ног.

Словно бы и мы в небесной драме
Не зеваки с улицы, не сброд
И не самозванцы, каблуками
Выбившие дверь на чёрный ход.

Это наши пепельные розы,
Блеск стальной, больная бирюза.
Это наши громы, наши слёзы
Возвращает летняя гроза!

И когда швыряет шаровые
Молнии из огненной змеи —
Узнаю напрасные, кривые
страхи суеверные мои.

Афанасий Мамедов

Киноварь, или Перезагрузка в Тунисе

Повесть

«Это тот случай, когда следует шарахнуть
рекламной компанией, как для "Анжелики, маркизы
ангелов"»

Умберто Эко. «Маятник Фуко»

Когда бережно сохраненные связи складываются в некий ожидаемый рисунок, соответствующий устремлениям и долготерпению «посланного на край», когда приходит понимание того, почему именно ты, «дозорный», «искатель», занимаешь эту крайне невыгодную для размеренного бытования позицию, когда в твоей жизни все сходится с неумолимым бегом часовой и минутной и янтарный свет уже начинает мягко обливаться отмеренную свыше дистанцию с невидимой пульсирующей точкой на конце обрывающегося эона, ты осторожно спрашиваешь у листопадной тишины собственного «я», вполне ли соответствуешь поставленной перед тобой задаче. Ответа ждать — как от блеклых небес, до которых пытаешься дозвониться по телефону.

Я должен был лететь на Джербу несколько лет назад по своим журнальным делам: предложили написать материал о паломниках-евреях, приезжающих на остров поклониться праху покоящегося там Шимона Бар Ясхаи, одного из авторов Талмуда.

Мне снились бесконечные рощи финиковых пальм, обширные оливковые плантации в окружении пологих пляжей с белым песком и теплым прозрачным морем, по пенистой кромке которого неспешные берберы вели неспешных верблюдов. А когда большие ленивые бабочки, делающие гимнастические упражнения на перезрелых финиковых гроздьях, начали проникать за границы, отведенные Морфеем, райский остров, воспетый в древних мифах, был перечеркнут из-за возможных терактов.

О том, что время в Тунисе не самое подходящее для написания подобного рода статей, предупредил шефа «бывший аналитик одной из израильских спецслужб» и, по совместительству, колумнист нашего журнала. Вслед за его предупредительной депешей примчалась еще одна, уж не знаю от ветерана каких служб, проигнорировать которую тоже было неблагоприятно.

Я закрыл для себя тему Джербы без сожаления: номер складывался непросто, требовалось мое присутствие в журнале.

Остров еще какое-то время оставался в памяти, посылая мне знаки в виде то обычной сетевой справки, то любительских фотоснимков низкого качества, а то и туристических отзывов, которые тоже восторгов не вызывали. Впрочем, как я успел заметить, отзывы блогеров о странах, никогда не входивших в состав СССР, всегда грешат иллюзией осведомленности и непомерным снобизмом. А со снобизмом вообще и российским в частности бороться бессмысленно, его следует просто делить на восемнадцать, как делишь человека, доверительно сверлящего тебе мозг на том ложном основании, что он-то все знает лучше других. Страшно утомительная штука для деликатных людей.

Не помню точно, сколько времени с тех пор прошло, может, два года, может, три, и вот снова Тунис, снова угроза терактов и снова номер складывался непросто и требовал моего присутствия в журнале: надо было в четырехчастном интервью отработать октябрьский погром в Бирюлево с позиций «как это будет для евреев», что в переводе на гойский означало, грозит ли евреям беда, ведь от нелюбви к кавказцам до нелюбви к евреям — одна трамвайная остановка.

Я сообщил редакции, что билеты у меня на руках, не поехать не могу, и заверил, что буду работать в Тунисе, как в Москве.

— Ну, хорошо, хорошо, — выстрелила в меня из дамского «браунинга» наш ответственный секретарь. — На связь рекомендую выходить регулярно.

И хотя до моего отъезда оставалось еще несколько дней, попрощалась со мною так административно, что появилось желание немедленно рвануть в какие-нибудь Богом забытые и совершенно безответственные края.

Почему Тунис? Почему, скажем, не Алжир или Марокко? Тоже страны Магриба. Да потому, что память создает условия, определяющие нашу жизнь в дальнейшем.

Террорист-смертник подорвал себя на пляже в Суссе, а отель, в который мы должны были вскоре вселиться, находился как раз между Монастиром и Суссом — по московским меркам, совсем неподалеку, на одной ветке метро. Охранник не пустил джихадиста внутрь отеля, и тот предпочел «разрядиться» на пляже, к счастью, почти безлюдном.

Обо всем этом жена вычитала в Сети и решила либо сдать билеты, либо заменить Тунис на Турцию, Кипр или Испанию; предпочтительно все же — Испанию.

«Сдать билеты — пожалуйста, а вот в Турцию, на Кипр и уж тем более в Испанию — извините, помочь не можем, поздно уже», — сообщил наш туроператор.

Терять деньги не хотелось, да и Тунис в моей судьбе начал маячить с того самого момента, как я узнал о Ганнибале и Пунических войнах. Дымящийся Карфаген впервые предстал пред моим взором, когда я справлял раннюю юность, в период сладостного застоя, когда никто и помыслить не мог, что советская власть обвалится, Крым благополучно отойдет Украине, а в Москве будут громить овощные базы на подхлест нашей издерганной фейсбучной ленте.

Был и еще один повод.

Однажды мы выполняли задание Бея: вспоминали прошлые жизни и важные события из них. Мехти-ага полагал, что свое прошлое каждый должен уметь собрать заново с выгодным для себя нынешнего раскладом, только для начала надо признать, что прошлого как такового не существует, и лишь после этого хорошенько изучить то, что мы все же считаем «своим прошлым». (Вот такой парадокс в духе моего учителя.)

Он разрешил нам, ученикам, принять любую удобную для нас позу, сам же расположился на коврик по-турецки в центре зала, контролируя «сторожевые

пункты» нашего сознания, чтобы незамедлительно прийти на помощь, если потребуется.

Через какое-то время — точно сказать не могу: в «измененке» время не то, что здесь, — в мыльном галопе по циферблату я увидел свою переносицу, а потом и всего себя, лежащего на коврике в шав асане — «позе трупа». Было страшно, я понимал, что это не отражение в зеркале, с которым встречаюсь по несколько раз на дню, но знак высвободившейся из тела души, начало прощания с прошлым, своим прошлым, которое я должен преодолеть и вернуться назад обновленным.

Потом точно так же со стороны я увидел древний финикийский порт.

Давка, шум и брань... Легкий морской бриз. Йодистый запах. Шлепанье волн о деревянные сваи. Скрип кораблей. Я быстро нашел свой. Но кто — я? Неужели вот этот толстяк с золотыми и серебряными браслетами на запястьях, поднимающийся по трапу, похожий на Питера Устинова в фильме «Спартак»? Неужто это у меня обильно выступает пот на волосатой жирной груди, капает с крючковатого кривого носа на живот?.. Неужели, это я пинаю ногой какого-то мальчишку, очень похожего на меня же в пятом-шестом классе, обвиняя его в нерасторопности на языке, которого не знаю?

О, как он мне не нравился, этот шерстяной кабан с недостающим передним зубом! Как хотелось ему самому наподдать. А с какой ненавистью смотрели на него его рабы и вся корабельная команда, включая капитана!..

Отвращение к нему переполняло меня до того момента, пока не закончилась погрузка товара и он не скрылся под навесом в прохладу, а моряки не начали шестами отталкивать груженое судно от берега...

Звук тибетских медных тарелочек, в которые несколько раз ударил Бей, я пропустил. Из путешествия в прошлое вернулся последним из учеников. Когда все замки были сняты и я открыл глаза, Бей сидел на корточках, склонившись надо мною. Он силился разглядеть, прочесть на моем лице то, что я мог пропустить по невнимательности или с умыслом. (Я знал, что почти все ученики, сгорая от стыда, пытались утаить некоторые подробности своих путешествий в прежние жизни.)

— Что случилось? — Вид у него был озабоченный. — Где ты пропал?

— Кажется, в Тире..

— (!..) Кем был?

— Купцом...

— Торговцем рабами?..

— И рабами тоже.

— Что делал?

— Готовил судно к отплытию.

— Куда?

— В Карфаген.

— Что тебе в торговце не понравилось?

— Все.

— А конкретнее?

— Мне не понравилось то, что он жирный, алчный, трусливый и его никто не любит. Он не герой, он отвратительная мерзкая скотина...

— Припечатал дядьку из нашего времени?! А по-твоему все, как в кино, героями должны быть? Марло-Брандонами-Жан-Габенами? Прости его, он — твое первое воплощение. Могло быть и хуже.

Тогда своими коронными шуточками Бей поднял мне дух, разогнал душевную хмарь. Потом были и другие путешествия в поисках своих прошлых

воплощений, но если те ушли глубоко в подсознание, где им и положено оставаться до случая, это почему-то барахталось на поверхности...

Не могу сказать, что я вспоминал о нем ежедневно, сгорая от жгучего стыда, но и поныне делаю все, чтобы не походить на финикийского купчину. Кроме того, мне страшно хотелось знать, добралось ли под завязку груженное товаром судно до пункта своего назначения. Кроме того, «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam»¹. Неплохо было бы самому заглянуть в пунический темный колодец и спросить у веков, у камней, а не у Марка Порция Катона Старшего, почему именно «Карфаген должен быть разрушен кроме того»?

Проще было бы сказать: «Будь, что будет!» и кинуться укладывать чемоданы, но всегда ли следует полагаться на то, что проще всего в данную минуту?

Мы сидели с женой на кухне, пили чай с мятой и гоняли планшетное яблоко по Средиземноморью.

Оказалось, «колыбель цивилизации» в ноябре уже не располагает тем «широким спектром туристических услуг», какие были заявлены ею еще с весны.

Жена спросила:

— Ну что, не сдаем билеты? Рискнем?

— Надо подумать.

— Что значит — «надо подумать»? Решай сейчас. — И посмотрела на меня взглядом из того прошлого, когда ведущим был я. Было когда-то такое время, и до сего момента мне казалось, что оно не оставило следов.

— Чему учил тебя в таких случаях Мехти-ага? Что подсказывает тебе твоя интуиция?

Как правило, после сдачи очередного номера журнала моя интуиция дремлет до следующего дедлайна. Что же касается моего учителя — странно, жена никогда всерьез не воспринимала мое «саньясинское прошлое», сейчас же, тревожно улыбаясь, ждала от меня ответа.

В случаях, когда дело касалось интуиции, Мехти-ага, помнится, предупреждал: для мозга создание иллюзий скорее правило, чем исключение. «Увидеть реальность такой, какая она есть, — все равно что познать абсолютную истину. Все зависит от того, какая иллюзия держит тебя на плаву и стоит ли ее менять».

Жене я этого, конечно, не сказал. Меньше всего хотелось сейчас поддаваться вообще каким-либо иллюзиям, однако и быть излишне рациональным тоже ни к чему. Зачем омрачать предстоящий недельный отпуск? И дело тут не в интуиции и не в иллюзии.

«В чем же тогда?» — спросил я себя и не смог ответить.

Отдавая должное спонтанной медитации и работе «по трем линиям в тонких мирах», я решил на всякий случай визуализировать образ моего учителя, уже два года как почившего в бозе.

Приму необходимые меры предосторожности, сдвину «точку сборки» совсем чуть-чуть и спрошу у него совета. Мне даже послышался ответ из другой реальности:

— Приходи, потолкуем...

Куда это, интересно? На кладбище в Баку, что ли?

И только я это подумал, как сквозь прозрачные занавеси в мою московскую кухню проник слабенький солнечный луч, точно утешение в старости от круговерти земной.

¹ «Кроме того Карфаген должен быть разрушен».

Я поймал, втянул ноздрями заповедный запах коренастой апшеронской елки и прелой ноябрьской листвы, перебиваемый запахом бензина, услышал ангельскую переключку сверчков под звук складывающихся автобусных дверей (гармошку меняли, поди, в прошлом тысячелетии) и, почувствовав легкое покачивание, уловил чей-то влажный скошенный взгляд-уголек...

За окном автобуса вместо ожидаемого пейзажа, продуваемого ветрами прошлого, пролетали, будто откадрированные нашим журнальным художником, фотографии с ветрами из совсем другого времени; подрагивали в такт автобусу чьи-то спины с плохо привинченными головами, в разряженном, каком-то неземном воздухе парила, извиваясь, пущенная под самые хрящи автобусной крыши билетная лента... У кого-то в кармане, оборвав одну на всех дремотную мысль, приглушенно зазвонил мобильник.

«Но *тогда* ведь не было мобильных. Вне дома — лишь телефонные автоматы за две копейки».

«Сейчас» и «тогда» потеряли значение, едва учитель мой возник с правого боку в тонах расплывшегося чайного пятна на кипенно-белой скатерти.

Его появление было отмечено легонько дотронувшейся до моего лица теплой волной.

Что-то было не так...

Поначалу я даже сильно напрягся и стиснул зубы, он был какой-то по-новому опасный, наш Мехти, но после, когда мое личное экспертное сообщество большинством голосов признало-таки голый череп на гладиаторской шее, густые моржовые усы, скрывающие губы (почему-то показалось, они пересохли и настоятельно требовали воды), волевой, лилового цвета, не пробиваемый в кулачных боях подбородок, я бросил ему:

— Салам тебе, Бей! — мы так его тоже называли. — Прости, что побеспокоил...

— Кто сказал, что собака не уступит корзины со щенками, если ее хорошо попросить?

И он поймал в автобусном воздухе парившую ленту, как ловят змееловы готовую ужалить библейскую тварь. Поглядел на нее, точно та предлагала немедленно сделать выбор в обход допотопной истории, хмыкнул, самодовольно улыбнулся, обнажив нечестные, должно быть, позаимствованные у вечности зубы, и, так ничего не сказав, не сославшись ни на одно уважительное обстоятельство, сошел с оторванным «счастливым билетиком» на следующей остановке в фиолетовое что-то, которое с известной долей натяжки можно было бы назвать либо маревом, либо предрассветной дымкой.

Мгновение — и я ненадолго теряю мастера из виду, он исчезает за каким-то полотном, прошитым золотистыми нитями, за которым, должно быть, скрывалось минувшее в неустановленном порядке.

Почему-то казалось, порядок тот представляет собой угрозу для меня — что-то источает, влечет в забвение, впрочем, для нас — «летчиков»-саньясинов — многие вещи становятся опасными, когда мы выходим на другую частоту существования и закрепляем «ползунок» в «точке сборки». Можно, конечно, и отказаться от астральных путешествий, но замороженный однажды вселенской тайной искатель вряд ли остановится, будет охотиться за нею во все дни своей мятежной жизни, прекрасно понимая, до чего могут довести его подобного рода изыскания.

Обнаружил я его вновь уже у себя на кухне, без предварительного стука костяшками пальцев обо что-либо, напоминавшее преграду меж здешним и «другим» миром.

Он сидел напротив в костюме и галстуке. (Странно было, что жена не заметила его появления — смотрела в окно сквозь него.) А еще было странным, что учитель заговорил со мной не своим, а моим голосом и сразу на двух языках — на русском и азербайджанском — о вещах, которые я давно отправил в кладовые личного опыта.

Не разжимая сухого рта, то и дело поправляя чайного цвета манжеты, расплюснутые масонскими запонками, учитель «говорил» мне чайными же глазами, что наша внутренняя жизнь и наше поведение являются взаимодействием сознательных и бессознательных процессов, что они существуют постоянно в некоем динамическом симбиозе, что, собственно говоря, это и привело к развитию сознания как такового, которое начало свою интенсивную работу много позднее на основе бессознательных структур мозга. Я понял так, что он намекал сейчас на «тональ» с «нагуалем»...

Всплыл образ старика индейца, сопровождаемый запахом мяты.

(Жена подливала чаю мне и себе.)

— И потому все, что мы осознаем, было уже когда-то в прошлом?

— Именно...

— Когда?

— Что когда? — вмешалась жена, обеспокоенная моими «мыслями вслух».

Я не смог ей ответить, чтобы не порвать ненароком тончайшую переговорную нить.

— Мехти-ага, — обратился я к своему учителю, будто это не он был сейчас передо мной, а кто-то другой, любил повторять: «Наш мозг знает больше, чем мы сами, возможно, поэтому наша сущность так мало значит для нас». Долго я не понимал смысла этих слов, как не понимал, например, что он имел в виду, когда говорил: «Те, кто продолжают считать, не способны видеть того, что видит сбившийся со счета».

— Никогда не делай из теории окончательных выводов, — снова он моим голосом. Что это, очередной прием?

— Выходит, невнимательность может обернуться новым знанием?

— А не говорил ли тебе случайно твой учитель, что тайна держит человека в этом мире? Лет тридцать назад ты не придавал этому большого значения, мечтал всю свою жизнь отлить в текст, а теперь, когда птицы летают между могильными плитами родных и близких, когда нет больше меня среди вас, вдруг вспомнил и спрашиваешь «когда»?

— Мне не хватает тебя, мастер...

Мехти-ага поморщился, поднялся со стула:

— Ты же знаешь, учитель учит тому, чему хочет научиться у него ученик. Останови свою считалку. Бессознательное работает с настоящим, в результате чего сознание получает возможность путешествовать... Огигия, Огигия!.. Прекрасная Калипсо семь лет держала Одиссея, пытаясь добиться его любви. И потом, всегда лучше попробовать горячее, чем холодное.

Кажется, я правильно истолковал совет мастера.

— Едем! — сказал жене.

— Ты уверен? — моя решительность немало удивила ее. — Учти, вся ответственность ляжет на тебя, — предупредила она на всякий случай.

— Я уверен, что он уверен, — поддержал меня Бей и, положив обе руки на спинку стула, оттянул его на себя так, что задрались передние ножки. Но жена не услышала его слов, как не услышала ударившихся о пол ножек стула — «конец сеанса».

— До встречи, баран!.. — своих учеников Бей частенько называл баранами: «Разбирайте коврики, бараны, начинаем работать!», — и никто не обижался.
— Теракты случаются не только в Тунисе, — успокоил я жену.
— Тебе решать. Иди, побрейся...

Я прибежал с работы за десять минут до заказанного нами такси.

По ошибке агентства их прибыло почему-то два. (Подумалось: «Вот и началось!.. Привет от учителя?!»)

Водители сами разобрались, кому нас везти, и через час с чем-то мы уже болтались без дела в аэропорту «Домодедово».

В магазине дьюти-фри у меня в кармане дзинькнула эсэмэска — коллега по журналу сбросил обещанные номер телефона и мейл последнего участника интервью, преуспевающего неонациста, отца-основателя и главного редактора популярного сайта «Час погрома». Затем уже в «Бургер кинге» мой айфон с НТС просыпался попеременно еще раз десять. Киевский кор написал: «Я Эдуард, Эдик, Эд. Алекс • — это герой моего репортажа)))». Пришлось извиниться, всегда путаю авторов с героями. В зале «В» отметилась «В контакте» девушка Эмма с ногами воздушной гимнастки (длинные сильные ноги были превосходнейшим приложением к ее круглому личику): «Приветик») Как дела?» С ответом решил повременить: мне, в последнем браке не изменявшему жене, сразу же пришел на ум анекдот о чайной чашке с ручкой для левшей. Вслед за «мадам Бовари» одесский автор Илья Карпенко поинтересовался, публиковали ли мы в кулинарной рубрике рецепт гефилте фиш, у него есть способ приготовления — «пальчики оближешь», я как человек восточный должен его понять, тем более, что Василий уже сделал фотки в одесском ресторане «Роз марин»; лондонский кор, бывший сохнутовский гвардеец, просил уничтожить один вариант статьи и принять последний, ночной; «Автомир» советовал продать старый автомобиль и приобрести новенький «хендай солярис» с выгодой в пятьдесят тысяч рублей; Ассоциация еврейских организаций и общин Украины скинула статью «Безумье сильных требует надзора»; фирма «Потолки» в очередной раз предлагала заказать натяжной потолок и получить второй в подарок...

— Хватит уже, в конце-то концов!.. Отключай свои тренькалки!.. Все, ты недоступен... Отпуск начался... — обиделась жена, и тут объявили посадку.

Чартерный Боинг 737 оказался забит детьми и их подвыпившими родителями. Никто из российских туристов, направлявшихся в Тунис между осенью и зимой, не думал особо беспокоиться. Полагаю, о случившемся теракте, кроме нас с женой, никто из пассажиров не знал. Всеобщая бесшабашность вскоре передалась и нам.

Конечно, я бы сейчас вздремнул с часочек, накрывшись пледом, но с армейской поры не имею привычки спать в самолетах.

Пока машина набирает высоту, я люблю чем-то занять себя, листаю замусоленный глянец, который авиакомпании обычно кладут в карман на спинке кресла вместе с проспектами и прочей рекламной чепухой. А там, глядишь, и стюардесса-мисс-чего-там (шелковый платочек, завязанный на ковбойский манер — мы так завязывали пионерские галстуки), подойдет со своим волшебным коробом на колесиках, заботливо предложит соку или минеральной воды...

После набора высоты я предпочитаю возиться с текстами: со своими, если есть настроение, если нет — с текстами наших колумнистов. В дорогу я всегда тащу в рюкзаке эпловский планшет и самсунговский нетбук. Раньше казалось,

на планшете особенно не разгонишься, к примеру, редактировать на нетбуке много проще, теперь вот пользуюсь исключительно планшетом, и в метро, и дома. В особенности после того, как мы с женой с промежутком менее получаса залили мой настольный ноутбук «Тошибу»: она — ореховым ликером, я — коньяком. Поздравляли по скайпу с Новым годом ее брата и его жену. Вышло — самих себя. Клавиши на компе теперь ходят липко-хрустко, напрочь забывая о существовании гласных, но зато продлевая согласные. Мои имя и фамилия, к примеру, звучат так: «йск млкннн». Произнести их вряд ли у кого получится, да еще в сопровождении, похожем на хруст в шейном отделе позвоночника после тяжелого сна на казенной кровати. Но меня это устраивает, по-моему, ни у одного человека нет стольких имен, сколько у меня, я их, можно сказать, коллекционирую. Может быть, поэтому я все никак не найду время отнести свою «Тошибу» в ремонт. Я бы и сейчас поработал на планшете, но дочь смотрит на нем в сто первый раз «Унесенных ветром». Когда я предложил ей для разнообразия посмотреть «Мост Ватерлоо» с той же Вивьен Ли, она ответила, что пока еще не готова. Я особо не настаивал, сколько раз сам пересматривал «Плату за страх» Анри-Жоржа Клюзо с Ивом Монтаном в главной роли.

Чем сосредоточенней становилось лицо дочери, тем больше она сама походила на Вивьен Ли. Такое глубокое погружение, по ходу которого меняются черты лица, обнаруживая типологическое сходство с главным героем, тоже было когда-то моим свойством. Свойством странным, меняющим самый состав моего «я», можно сказать, медиумическим, которому я долго сопротивлялся и подыскивал объяснения, придя позднее, не без помощи доктора Штайнера, к выводу, что сие есть характерная особенность недовоплощенных людей. (Даже эвритмией занимался под руководством фрау Ботмер, недолго, правда, пока она не вернулась к себе в Калифорнию.) Сейчас я отношусь к этому объяснению с мрачной улыбкой крутолобого философа. Греческого, разумеется, потому как сильно сомневаюсь, что Штайнер вообще умел улыбаться. А когда-то, помнится, мне льстило, что наша улица в один голос уверяла, что я-де похож на Джулиано Джеммо. Почему? Не знаю. Ни героическим складом характера, ни высоченным ростом, ни, как оказалось спустя четверть века, густой шевелюрой, разделенной боковым пробором, я на него не похож. Но то сейчас, а в те наши киношные годы отдаленное сходство вполне могло быть, неспроста же так говорила улица. Возможно, на каком-то из этапов пути я растерял то, что могло достаться мне с экрана и стать частью меня, моего образа, моей нынешней натуры. (Бей сказал бы — импрессы.) Жалко, конечно...

Я глянул на дочь и вспомнил нашу поездку в Испанию. Жене неправильно оформили визу, и мы прилетели в Аликанте вдвоем с дочерью. В первый же день я купил ей солнцезащитные очки в сетевом магазине «Але хоп», после чего мы предприняли пешую прогулку на другой конец Бенидорма. Дошли аж до отеля «Бали» и поднялись на смотровую площадку, с которой, казалось, видно было все побережье Коста-Бланки. А потом, когда мы спустились и пили кофе в кафе, позвонила жена из Москвы, сказала, что визу выправили и завтра она прилетит к нам. Какое же счастье было услышать ее шаги в узком пространстве гостиничного коридора. Помню, как открыл дверь, выскочил навстречу, схватил чемодан. Мне тогда показалось, что я понял, почему мне никто не нужен, кроме нее. Это было неозвученным своеобразным признанием в любви тертого жизнью мужика. В тот же день мы покинули Бенидорм и уехали в Альтею. Мы пили сангрию, бродили по самому безмятежному городку в мире, по самым тихим улочкам на земле, которые, казалось, все заканчивались лестницами в небо. Сначала, если быть точным, вели к храмам, а потом уж в небо. В одном из

магазинчиков купили дочери полукеды от «Лакосты», о которых она мечтала в Москве. Вишневого цвета. Дочка тут же сделала сэлфи рядом с граффити Одри Хэпберн на кирпичной стене у автобусной остановки. После снова вернулись в Бенидорм, через некоторое время махнули на электричке в Аликанте, чтобы отметить на вершине крепости Санта Барбара, потом нас встречала раскаленная майским солнцем Валенсия, местами напоминавшая Баку моего детства, особенно в районе Шелковой биржи, а потом...

«Потом?!»

Я стиснул двумя пальцами переносицу, когда понял, что никакое это не воспоминание. Поездка в Испанию, милостью Божьей, случится только на следующий год. И было неудобно перед женою и дочерью, что я так забежал вперед, так оторвался от них. Но что поделать, со мною, саньясином-писакой, подобного рода вещи случаются. Причем меня всегда поражала педантичная точность таких «воспоминаний». Хоть названия автобусных остановок сверяй. Иногда я предугадываю фильмы, которые будут показывать по телевизору только через две, а то и три недели — но только те фильмы, которые я уже видел, новые моя антенна почему-то не улавливает, иногда исход футбольных матчей. Удивительно, но эта способность, к слову сказать, отбирающая массу энергии, никогда не уберегала меня от обидных, непозволительных ошибок. Иногда даже кажется, что я совершал их умышленно, чтобы таким образом что-то кому-то доказать или принести жертву. Но даже если бы я их и не совершал, эти ошибки, совсем не уверен, что дар предвидения мог бы помочь мне на крутых виражах судьбы.

Я вспомнил — на сей раз это точно воспоминание, — как однажды услышал на городском пляже в Сочи голос (внутренний?! разве сообщения такого рода могут быть внутренними?): «Своим родителям родителем станешь ты». Расшифровывать смысл телеграммы-молнии, долетевшей ко мне из неведомых миров, долго не пришлось. Вскоре заболела мама и буквально через несколько месяцев ушла из жизни, а потом, проболев несколько лет, приказал долго жить и отец. Я потерял не просто родителей, наставников и заступников, но самых лучших, самых преданных из моих друзей. Возможно, мне не повезло родиться чистым евреем или чистым азербайджанцем, но зато с родителями мне точно повезло. С их уходом для меня закрылась целая эпоха, мир дал глубокую трещину. И многие вещи теперь смотрятся иначе. И сам я стал другим. Совсем другим. Прежний опыт мне теперь не помощник. В таких случаях Бей говорил: «Человеку дано начинать жизнь сызнова три раза, — тут он непременно цитировал Ричарда Баха, — и каждый раз это полет сквозь стену, который мы еще не проходили».

Загорелось табло: мы вошли в зону повышенной турбулентности. Стюардесса в синей облегающей юбке и в коротеньком кителе ходила вдоль рядов и проверяла, все ли пассажиры пристегнулись. А потом в салоне самолета погас основной свет.

На время все приутихло, натужно улыбаясь. Даже человек с выпуклыми глазами, налитыми водкой, начавший доставать всех еще при посадке в самолет, которого мы семейно окрестили Шреком, теперь сидел на удивление смирно. Уставившись в спинку кресла, он, казалось, вспоминал что-то важное из далекого прошлого, когда он еще не бухал так, как сейчас, и не говорил через каждую минуту «пардонте меня».

Сразу же после тряски самолет начал снижаться. Он словно перепрыгивал через ступеньки гигантской лестницы во мгле.

Включился свет. Кто-то уже похлопывал себя по нагрудному карману, проверяя на месте ли бумажник с паспортом, кто-то бросал в рот предусмотрительно заныканный леденец, кто-то просто сглатывал слюну, чтоб не закладывало уши.

Три тысячи километров, четыре часа лета, и вот мы увидели в темноте абсолютно черную липко-сиропную Африку. Кусочек обсидиана со сколами, напоминающий местами мою залитую ликером и коньяком «Тошибу».

Африка подрагивала слабыми огоньками, связанными тоненькими золотыми и серебряными нитями. Притягивала к себе с той древней силой, какой нет у Европы и Азии.

Выходило, в первый раз покинули мы родной материк. В голове крутилось что-то гумилёвское, жирафоподобное-озерно-чадное, замешенное на шестом чувстве...

Ночью добрались до отеля.

Где-то неподалеку за камнем и стеклом шумело море.

Трепетали под теплым ветром флаги отеля.

На нас надели пластиковые браслеты, и через полчаса, приписавшись к месту, мы поднялись к себе в номер на третий этаж.

В большой квадратной комнате стояли широкая кровать, выдавший виды желтый диван и оттоманка возле вздрагивающего маленького холодильника. Все работало исправно — шелчок по носу блогерам. В сейф ничего не клали: чемоданы у нас были с кодовыми замками. К тому же, посмотрев на доброжелательную службу, как-то не хотелось верить тем, кто писал в отзывах о повсеместном воровстве. Единственное, чего в номере не доставало, это телевизора. Но, по правде сказать, оно и к лучшему: во всех отелях, где нам доводилось бывать, телевизоры ловили по два-три российских канала, возможно, администрации отелей хотелось потрафить нашему брату туристу, возможно, изменилось отношение к самой России, не буду гадать, однако, знаю точно — когда, полистав все каналы, мы останавливались на отечественных, от одного лишь взгляда на лица наших депутатов и дикторов новостных программ у меня неизменно начинало портиться настроение и расти чувство тревоги, неуверенности в завтрашнем дне, а если учесть еще то обстоятельство, что с переездом на новую квартиру и ремонтом мы нахватили долгов, меня можно было понять.

Переодевшись, мы поспешили на прилегающую к отелю территорию и направились к морю мимо окон, за которыми отдыхающие неспешно потягивали коктейли «все включено», ловили бесплатный вай-фай, рапортовали Родине, что все идет своим чередом; мимо столиков, на которых масляные лампы мерцали далекими кострами кочевников; мимо сосредоточенно-хмурого бербрийца в белой рубашке, медленно раскуривавшего кальян для двух айфонистых матрон из российской глубинки.

Дамы, из тех что предпочитают посыпать настоящее и будущее стразами, в сокрушительно легких, просвечивающихся платьях явно намеревались склеиться этой ночью с кем-то из вновь прибывших, но мужчины неизменно оказывались обремененными женами и детьми, и незадавшаяся операция под кодовым названием «Любительницы наргиле» лишь усиливала их недовольство отдыхом в частности и жизнью вообще.

Поравнявшись с бассейном, мы остановились ненадолго: куда идти, в какую сторону?

Оставленные кем-то ядовито синие вьетнамки отказывались служить нам навигатором.

Бирюзовая, подсвеченная снизу вода отдыхала от солнца и архимедовых положений, о чем свидетельствовали подсыхающие лужицы рядом с бассейном.

Прислушались...

Море шумело где-то рядом, в ста метрах, если не меньше. Пошли прямо по дорожке и не обманулись — через десяток шелестящих пальм вышли к берегу.

Небо и море были чернильного цвета, а звезды такие низкие, такие бесчеловечно правдивые, что без бедуинской подготовки смотреть на них было страшно, — не звезды, а какое-то предсказание роду человеческому. И все-таки я пересилил себя, задрал голову, выбрал первую же попавшуюся мерцающую хрустальную россыпь, нырнул в нее, и все обязательства оказались побоку, и голова кругом пошла от первого внезапного освобождения, и тут же подумалось, что на Востоке даже в ноябре для счастья не много нужно.

После мягкого приземления захотелось почувствовать, как расплзается под ногами песок; я снял мокасины, носки, закатал брюки и вошел по шиколотку в воду.

«Все идет своим чередом», — передал я по своей внутренней беспроводной связи неизвестно кому и чего ради. Может, тому искателю, который заступит когда-нибудь на мое место?

— Холодная? — спросила жена.

— Пап, холодная? — повторила за нею дочь.

— В Красном море летом холоднее. — И вспомнил, как еще вчера автомобильный гуру «Эха Москвы» Сан Саныч Пикуленко советовал автомобилистам «переобуться» и заправить в бачок омывателя незамерзающей жидкости. (Вернемся, надо будет поменять колеса.)

Вышел из воды, и мы неспешно двинулись назад с уже переведенными стрелками часов с московского на тунисское время.

После ожидания в аэропорту, после самолета и автобуса страшно хотелось курить.

Я отстал от своих, жадно закурил первую в Тунисе сигарету...

Одни и те же сигареты в Москве и Тунисе курились по-разному. Думаю, это не только из-за резкой смены климатических поясов, морского воздуха, просто в московских дебрях сигареты помогают мне отсекаать очень важные вещи ради еще более важных вещей. Научившись этому сложному искусству, я теперь даже фильмы до конца не досматриваю, книги не дочитываю, из гостей бегу вперед остальных, случается, по ночам просыпаюсь и подолгу уснуть не могу, все боюсь упустить во сне какую-то очень важную информацию для себя. А здесь владение мастерством жертвоприношения, по всей вероятности, не требуется, здесь ты просто куришь и все.

И как только я так подумал и в очередной раз с кайфом глубоко затянулся, со стороны бассейна подлетела ко мне босоногая длинноволосая дева, лица которой я и разглядеть толком не успел, так, какое-то темное пятно с вздернутым носиком, обвила мою шею руками и накрыла горячим поцелуем.

Это был поцелуй мгновенный, не то чтобы пьяный, хотя от девушки и несло спиртным, но, несомненно, шальной какой-то и, возможно, с ловушкой.

Все, что я успел сделать в целях ее безопасности — это отставить руку с сигаретой, а в целях своей — посмотреть через ее голое плечо, не видят ли меня жена и дочь.

Они не видели...

Зато заметили две курильщицы кальяна.

Я еще не успел прийти в себя от жаркой и влажной печати на губах, рожденной в чувственном табачном полумраке, а айфонистки-кальянщицы уже зыркали так, будто я нарушил тайный обет и должен был поплатиться за это.

В ответ я глянул на них глазами своего дублера, находчивого и циничного малого, ничем не обремененного, моложе меня, как минимум, на четвертак.

Кальянщицы отвернулись в сторону бассейна и пальм.

Прояснилось все буквально через пару шагов. Бассарида юная вбежала в раскрытые стеклянные двери, из которых несло горячее танцевальное «бум-

бум», и я увидел за вспыхивающими окнами дискотеки, как она, пританцовывая, поцеловала сначала одного, потом другого и понеслась к третьему, уже сокрытому от меня межоконным промежутком. Не было сомнений, что этим поцелуям девица вела счет.

«Так это было всего лишь игрою? — легло поверху предыдущих мыслей. — А ты что думал, старый пень? — спросил я себя. — Может, она поспорила со своим женихом на сто двадцать тысяч поцелуев?»

Жена с дочерью обернулись, я помахал им — сейчас догоню.

Мы еще в Москве условились из отеля не выходить, но, отдав должное морю, солнцу и тунисской кухне (в особенности, блюдам из свежей рыбы и восточным сладостям), на третий день покинули-таки свое лежбище.

Втайне я хотел вырваться на Джербу, посмотреть одну из самых древних синагог, а еще очень хотел, чтобы мы съездили в Бизерту, место, где был спущен Андреевский флаг, это было бы поклоном отцу — мареману. Да и как без развалин Карфагена?!

На ресепшн договорились, что сначала нас повезут в тот самый взрывоопасный Сусс.

— Сегодня в Сусс, а послезавтра в столицу, в Тунис. Если группа наберется. Русские почему-то все норовят в Сахару. — Миловидная тунисская барышня, неярко выраженная мусульманка, щебетавшая по-английски, точно героиня викторианского телесериала, нащелкала пухленьким пальчиком чей-то телефонный номер, поговорила недолго на местном наречии, после чего сообщила нам, что ровно через час прибудет наш провожатый (Камаль? Саид? Абдулла?... не помню точно, как его звали) на своем «рено»...

Жена перевела мне ее слова, но я и так все понял.

— Можете быть спокойны, мадам, — обратилась она к жене, — это вполне надежный человек, у него большая семья. — И через какое-то время добавила: — Но все равно до сумерек неплохо бы вам вернуться в отель.

— Надо дать ему хорошие чаевые, — сказала жена, когда мы отправлялись в номер скоротать час. Она, видимо, по-своему связала тунисские сумерки с большой семьей водителя «рено».

Жена прилегла отдохнуть, дочь взялась просматривать этюды, которые начала делать в скетчбуке сразу же по приезду, ей предстояло сдать зачет в Краснопресненской художественной школе, я же отправился принять душ, потому что через полчаса, когда девчонки мои начнут одеваться, времени у меня уже не будет. Да и убедиться хотел под струями африканской воды, так ли уж нужен нам этот Сусс?

Едва вошел в ванную комнату, как тут же попалась на глаза жена баночка в окружении косметических башенок, на которой было написано белом по черному: «Syoss».

Вопрос отпал самсбой: «"Кроме того", Бей ведет меня, несомненно, ведет... Ом!..»

Камаль-Саид-Абдулла не умолкал ни на секунду, его самодельный английский напоминал скрежет разбитого о бакинский асфальт подшипника на роликовом коньке. Он делал все сразу — рулил, курил, крутил четки...

— Смотрите, — восторженно, с детской наивностью указывал нам Камаль-Саид-Абдулла на пролетающую мимо электричку, составленную из трех-четырех пыльных вагонов с разбитыми стеклами, — это наше метро!

— О-и, metro!.. — подыгрывали мы ему, дивясь замусоренным улицам и

невзрачной архитектуре двух-трехэтажных зданий и частных магазинчиков, перестроенных из гаражей.

Впрочем, гид из него был, что надо: он честно сказал нам, что больше двух часов в Суссе делать нечего, довез до площади неподалеку от Медины и остался нас ждать.

— Медина, порт — и все... Будьте осторожны, на всякий случай — номер моего телефона, — и, улыбнувшись, протянул мне отксеренную визитку.

Мне показалось, я понял, чего мне так не хватало в википедийных справках о Тунисе, — случайных улыбок случайных людей.

Уже на подступах к Медине двое каких-то ребят околдовали нас совсем другими улыбками, предлагая задаром провести через лабиринты Старого города. Поскольку свой маршрут за неимением другого мы сменить не могли, архаровцы неслись впереди нас, расчищая нам дорогу и что-то выкрикивая на арабском. Подозреваю — оповещали торговцев о приближении последних в этом году беспечных московских туристов.

Я был занят пением муллы, которого не видел, но зато хорошо слышал, поэтому не сразу откликнулся на просьбу жены перевесить рюкзак со спины на грудь.

— Послушай, чего нам бояться?

— Послушай, сделай, как я говорю! — и после того, как я перевесил рюкзак, взяла меня под руку, а дочь крепче за руку.

Провожатые наши с дикими возгласами: «Мсье, мадам!.. Мсье, мадам!..» — водили нас из одного магазинчика в другой, словно распахивая невидимые двери в иные миры, каковых на той тесной улочке было не счесть.

Миры в сусской Медине все были параллельными, особо разнообразием не баловали — все те же кальяны, обереги с молитвой из Корана, глиняные лампы, специи, сладости, масла, изделия из верблюжьей кожи, золото неизвестно какой пробы, серебро, бирюза и кораллы, а еще тарелочки разных размеров, обшитые кожей, естественно, с Нотр-Дам де Тунис или с теми самыми верблюдами, которых я сначала видел в своих московских снах, а затем на пляже между Монастиром и Суссом.

Специально для таких, как мы, не умеющих и не желающих торговаться, считающих сие базарное искусство безобразным пережитком прошлого, висела табличка на одной из дверей — «Торг уместен. Торг — не сложное слово для Суссы», но даже родная кириллица не помогла, мы наскоро покинули Крепость, оставившую по себе довольно смешанное, по большей части неприятное чувство, усугубившееся траурной процессией, перегородившей нам дорогу неподалеку от старой мечети.

Наконец, до меня дошло, зачем пел мулла. И еще — почему я обратил на это внимание: википедийная справка умалчивала о том, что люди в Тунисе смертны как везде, и как везде покойникам предстоит прорываться сквозь будничную маету с билетом, когда-то оторванным от ленты Кондуктора.

Кем был усопший при жизни? Мог ли рассчитывать на «счастливый билетик»? Далеко ли от рынка до кладбища? Неужто как от кладбища до рынка? Судя по процессии, по той деловитости, с какой восточные люди вталкивали носилки с покойником в распахнутые задние двери белого фургончика «пежо», — это так. Но ведь есть тут, наверное, и другие маршруты, в огиб кладбищенским, есть, наконец, море, бескрайнее, с небом породненное.

Оставшееся время мы посвятили неспешной прогулке вдоль порта. Местами он так походил на бакинский в районе Баилово, что я тут же распечатал новую пачку сигарет. А закулив, вспомнил, что так и не успел до отъезда сходить

на кладбище к папе с мамой... Пообещал себе, что непременно сделаю это сразу после возвращения в Москву, и крикливые чайки записали между морем и небом мое обещание, взяв в свидетели маяк, корабли, краны, прибрежные валуны с ютубными рыбаками.

Камаль-Саид-Абдулла не подвел, все то время, что мы бродили, этот почтенный араб ждал нас и тоже смотрел на море. Смотрел, наверное, иначе, чем мы, ведь это был кусок его моря и кусок его неба.

Кормили здесь совсем даже ничего, вот только кофе у них растворимый и чай в пакетиках. Зато много мяса, хорошего сыра, овощей, фруктов. Хлеб домашней выпечки. По утрам, когда мы едим, слышно, как поют птицы и шелестят пальмы. Впрочем, иногда птичье пение заглушает громогласное восклицание моего самолетного соседа Шрека: «Еханий бабай, до чего ж хорошо-то, а!..» Этим ритуальным трубным гласом, вызванным крайней степенью позитивного воздействия окружающей среды, Шрек отмечает шумное падение своего круглого тела в бассейн. Потревоженные «еханым бабаем» африканские птицы какое-то время молчат, но вскоре снова берутся за старое.

После завтрака бой принес в номер телевизор, небольшой интерактивный «grundik». Пока мои девчонки переодевались, я решил растолкать его, нацеливая плазменный тунисский глаз на отечественные новости.

Неухоженный казенный ландшафт накрывало знакомое чахлое небо. Оказывается, в России вчера была дождливая осень, и в небе снова жгли корабли. «Русский марш» в Люблино.

Черные люди под черными зонтами...

Интересно, что они чувствуют, эти люди в черном, на самом деле, если способны, конечно, чувствовать, знают ли, что фантом, вызываемый ими, — это они сами и есть, что Гензерих уже идет на Москву и стучать в двери не будет, или эта просто забава у них такая национальная, заложенная в генах с незапамятных времен? «Наши — не наши!», «Общий суп», «Детские парады»...

— Выключи его, Боги ради, — морщится жена. — А ты помнишь, как мы катались с тобой на фашистской лодке в Кузьминках?

Конечно, помню. Это было в 1998 году. Мы тогда только вернулись из Крыма, отдыхали у маминой подруги, и те двенадцать дней, что провели у нее в Алуште, можно было назвать «медовым месяцем», не в количестве же дней дело. Мы так сроднились с морем, что в первые же московские выходные отправились в ближайший парк, поближе к какой никакой, а все ж воде.

Жена увидела лодки на берегу и захотела покататься. Я пошел узнать, кому они принадлежат. Чета велосипедистов, которую я остановил у конных лепешек, оставленных беззаботным милицейским патрулем, сказала, что мне надо забраться на холм, расположенный на противоположном берегу: «Там, на холме и обитают хозяева лодок. Только будьте осторожней, они странные какие-то...»

Восхождение оказалось совсем нетрудным, и вскоре я уже топтался на огороженной территории. Во дворе заметил несколько макивар. Они были вкопаны в землю так же, как и макивары во дворике Бея в Баку и так же умело оплетены сверху. Мне даже на мгновение показалось, что я угодил в гнездо здешних «искателей». Я ошибся.

Два коловрата: большой — на стене домика и маленький — на двери, подсказали мне, куда я попал.

Разгоряченный хозяин с дымчатым татуированным торсом и забитым дыханием (кажется, я оторвал его от «железной» тренировки) встретил меня на пороге. Зачем-то прикидывая, в какой весовой категории мой визави, я спросил,

могу ли покататься на лодке и сколько будет стоить все это удовольствие. «Не вопрос, пожалуйста. — Просто сама любезность. — Сколько дадите, столько и будет стоить. Вон та лодка вас устроит?»

Он заикался, этот первый встреченный мною «коловратник». Но водянистые глаза его как-то опасно поблескивали, как глаза людей, фанатично преданных какой-нибудь бестолковой громоздкой идее, когда они случайно встречают своих потенциальных оппонентов. Я, помнится, тогда еще подумал, что у всего мистического, оккультного в этом мире две стороны, две дороги, что прошлое подвижно, оно перетекает из матрицы в матрицу в зависимости от настоящего, от заданного направления мыслей, от усердия одного человека или группы людей; что ложь, в отличие от правды, — самый сложный из механизмов, работа которого в свою очередь связана с петлями вокруг мифа, из которого все мы родом.

Жене я не хотел ничего говорить. Мы просто катались на лодке, просто смотрели на уток и лебедей. Просто трогали пальцем кувшинки. И жизнь скользила просто, потому что когда-то на каком-то участке бытования разогналась.

— На сколько ты взял лодку? — томно спросила жена, рукою касаясь воды и отстраненно следя за двумя расходящимися линиями.

— На сорок минут.

— А ты успеешь вернуться назад? — мы как раз подплывали к небольшому островку, который сторожила неразлучная пара лебедей.

— Не знаю. Ну, доплатим в крайнем случае.

И тут дернуло меня все рассказать.

— Как же так? — недоумевала жена. — Повсюду люди, дети...

— И конная милиция... — зачем-то добавил я.

— Зачем ты взял эту лодку?

— А у меня был выбор?

— Я не буду больше кататься.

— Поплыли назад?

— Поплыли назад.

Назад, в край нибелунгов, я греб взапуски что было силы, и никогда не чувствовал себя так полуевреем, как в тот момент, на идеальной зеркальной глади голицынского пруда.

После этого случая я купил несколько серьезных книг об истории фашизма, но читать их так и не стал. Предпочел защититься «Облаком, озером, башней» и «Приглашением на казнь».

Вчера мне снилось, как я, сидя на коврике, делаю тройное намасте и поклон мастеру. Лица мастера я так и не разглядел; это мог быть отец, мог быть и Мехти-ага. Особого значения этому сну я не придал.

Какие бы сны я ни видел, сколько бы часов ни спал и где бы ни находился, каждое утро я начинаю с «пяти тибетцев». Иногда добавляю к ним комплекс упражнений «Сурья намаскар», прохожу в двенадцати асанах «солнечный круг». Только после «тибетцев» и «поклонения солнцу» принимаю контрастный душ, завтракаю омлетом и чашкой кофе, несусь в журнал.

В Тунисе я работаю, где придется, чаще всего на пляже. С лежаками, полотенцами и бабочками — нет проблем. Мы ложимся втроем у самой кромки моря. Жена и дочь читают, я работаю. На себя или на журнал. Когда работаю на себя, просто часами смотрю на море, когда на журнал — правлю расшифровку, пробую досочинить врез и комментарий. Если мне позарез нужен вай-фай, иду в кафе, тут же на берегу, неподалеку.

Прибой выносит из моря и обкатывает тысячи травяных шариков. Я ищу самый большой, величиной в теннисный мячик, чтобы потом «жонглировать» им в кафе — перекидывать из руки в руку. (Для поиска нужных слов самое то.) Пью кофе с сильным привкусом шоколада и разбавленный тоником джин. Джин — это единственный напиток, который тут можно употреблять, все, чтоджином не является, напоминает нечто среднее меду чимирухой времен моей службы в ВВС и жидкостью для мытья посуды. Во всяком случае, от большинства коктейлей пахнет так же, как от нашей еврейской автомойки в Марьиной роще.

Пишу я от руки фаберовским карандашом в яснополянском блокноте или на оборотной стороне пригласительных карточек, оставшихся у меня после Песаха. На тоненьком финском картоне очень удобно писать и стирать ластиком. Моим почерком получается ровно семьсот знаков с пробелами. Карточка — врез. Полкарточки — коммент.

Еще в Москве я успел связаться с тремя моими собеседниками и взять у них интервью по телефону. Первый, с кем мне удалось поговорить, был директор одного влиятельного аналитического центра с птичьим названием. Сравнить бирюлевские события с историческими еврейскими погромами он не решился, но на мой вопрос, пора ли бояться евреям, ответил, понимающе хмыкнув: «Вероятно, уже пора, хотя страсти пока направлены не на них». Вторым по списку шел известный журналист, телеведущий и общественный деятель. Человек с «гибким позвоночником» (он сам о себе сказал так на «Эхе») высказался, что власть не нашла золотой середины, что она видит своих оппонентов в людях с Болотной, но не в людях из Бирюлева. Под номером три отстрелялась видный культуролог, специалист по вопросам транскulturации. Ее скрупулезное, на девятьсот страниц исследование постсоветской литературы когда-то наделало много шума, правда, больше там, чем здесь. Она вообще больше известна у них, чем у нас, в результате чего последние свои книги пишет исключительно на английском языке. «...За новомодными разговорами о провокационной политике иммиграции, ассимиляции и толерантности, — задал я ей направление, — стало ясно, насколько ускорилось наше движение от империи к провинции без моря и солнца. В чем отличие сегодняшней России от других бывших империй?» Она дала волю чувствам — объем превысила втрое. По содержанию — почти Зонтаг. Что теперь делать, не знаю. Сокращать — обидно и перед человеком неудобно. Буду просить добавочную полосу. Рабочее название материала: «От империи к провинции без моря и солнца». Думаю — не прокатит. Тут название должно быть, как кулак председателя колхоза, пахнущий черноземом и соляжкой. Врез пока что тоже рассыпается: «Выступления на межэтнической почве в Бирюлеве, поводом к которым послужило произошедшее 10 октября убийство москвича Егора Щербакова, народ в Сети упорно называет «бирюлевским погромом». В отличие от «добрых» юристов, оценивающих произошедшее как обычное хулиганство, народ суров, но к истине, похоже, близок. Что знали мы раньше, нарезаая полезные салаты, об овощебазах — «постоянных источниках напряженности», об отрядах «самообороны и возмездия»...» Справа от обрыва пишу: «когда институциональные возможности исчерпаны... дорога вниз имеет одну остановку... От нормальной рефлексии к мифологии... раскол общества... Счастливые больные люди... Соперничество двух кланов — Баркидов и Сципионов/битва при Каннах...» (Последняя пометка — для себя, для моря...)

Пока в моем еврейском журнале идут холодные московские дожди, я связался и с Домиником Дагером — четвертым участником, чьи контакты получил перед самым вылетом.

Доминик Дагер — это его ник, пен-нейм, возможно — альтер эго... Как на самом деле зовут этого процветающего неонациста, не знаю, да мне это и ни к чему, хотя человек он, судя по всему, отнюдь не простой, и можно было бы поинтересоваться. Доминик предложил мне прислать вопросы по почте. Ответить обещал в течение трех-четырех дней. Если так — время еще есть, успею.

Я увидел анфас человека, которому принадлежал влажный чернящий глаз из моего московского полувидения. По прошлой жизни человек этот не был мне знаком. Могу положиться полностью на свою память. Я точно ни у кого не видел такую аккуратно выбритую бородку-струйку под нижней губой: гид походил скорее на итальянца, чем на тунисца. Эдакий молодой профессор левых взглядов из вольнолюбивого Болонского университета. В дополнение к римскому праву тип этот, несомненно, изучал еще и риторику.

Психика как у восточного человека, подвижная чрезвычайно, о чем свидетельствуют его беспокойные глаза. Миф о зарождении Карфагена (он называет его Картажем) рассказывает в лицах на убийственном русском, который тем не менее понятен его носителям. Крутится в кресле: то лицом к дороге повернется, то к нам.

Он прав, рассказывать о Тунисе нужно в летящем автобусе, на развалинах Картажа не до того будет.

Он говорит, что Карфаген — это Европа, Азия и Африка одновременно. Теперь я понимаю, почему так плохо сплю в номере, оказывается, дело вовсе не в холодильнике, вздрагивающем через каждые пятнадцать минут и обретающем при каждом вздрагивании мощь тридцати восьми Ганнибаловых слонов.

— Тофет — есть место, где жертвы много приносить, в том числе человеческий, и поэтому ученые называть его в научной литературе — святилище Тиннит, еще называть тофетом Саламбо...

Мне, фану Флобера, следовало бы подумать заранее, закачать в планшет «Саламбо», сейчас бы на Атласский хребет по-другому смотрел и по-другому гида слушал.

На нем какая-то полуармейская шляпа-панама с дырочками, то ли купленная за гроши на барахолке, то ли в дорогом бутике за сумасшедшие деньги, жеваный шарф дважды обмотан вокруг поднятого воротника затертой куртки-«пилот».

— Судьба Карфаген не быть на магистральном направлении нашего исторического знания. Мы все получать воспитание в европейской традиции, потому есть наша привычка всегда отождествлять древность с Египтом, Римом, Грецией, Иудей, и это не есть совсем правильно!.. Карфаген был основан за семьдесят лет до Рима и за пятьдесят лет до начала Троянской войны...

Проверить нельзя, но что такое пятьдесят лет я знаю, мне уже полтинник с хвостиком. Сколько надо взять по пятьдесят, чтобы запустить руку в жирные оливки, которыми собирался потчевать сенаторов Катон — заносчивое дитя Рима, зачинщик Третьей Пунической?

Оказывается, Катон побывал в Карфагене в составе римского посольства. Ожидал обнаружить признаки упадка, а увидел город-рай.

— Карфаген вновь представлять большой опасность для Рима. — Голос его дребезжит: — Катон думать, как ему убедить сенат, чтобы начать третий войн. Он высыплет перед сенаторами жирный оливки и, если они не понимают его, будет сказать прямо: «Земля, где они растут, расположена всего в трех днях морского перехода». (Неужто и гид подкинут мне Беем?)

Похоже, Катон, подгоняемый предсказаниями авгуров, достал-таки сенат.

— В 146 году до нашей эр город был сожжен и был скрыт, а его граждане были убиты или проданы в рабство. — После чего выдает на чистом русском: — Так погиб Карфаген! И превратился в руины, в землю, засеянную солью.

Птицы поют, как весной в Москве, по команде свыше умолкают и снова поют.

Бугенвиллея вся в цвету. (Цвета на любой вкус.) Пальмы, олеандры, розы...

Виллы состоятельных людей дремлют за заборами из ноздреватого песчаника.

Сады застыли. Воздух неподвижен.

А вот и руины былого величия... Все рядом, и все смешалось... И над всем этим замесом президентский дворец. Хорошее местечко отхватил себе тунисский лидер.

— Для туристов в Карфаген есть наиболее интересен Археологический парк терм Антонина Пия, который расположен между береговой линией и дорог на Сиди-бу-Саид, куда мы через полчаса с вами направляться. Но сначала будем заехать в Национальный музей Карфагена.

Что можно успеть за полчаса, чудак-человек? И куда все-таки мы раньше поедем?

Обычно на развалинах полчаса я только ищу необходимое мне место. Чтобы «просканировать» его, мне нужно еще хотя бы минут десять-пятнадцать. Больше не выдержать, да и возможности такой никогда не бывает. Я вообще медитирую недолго, по приезде в Москву осмысливаю приобретенный опыт и лишь после этого бережно укладываю его в «тональ».

Гид еще что-то говорил, но мне изрядно надоели приступы его конвульсий, его «быль» и «есть» и, видно, не мне одному, потому как группа наша разлетелась, стоило нам спуститься к развалинам. Одни принялись шелкать президентский дворец на высоком холме, другие — сквозь траву-мураву мрамор и мозаику, поверженные здания, устремленные к небу обезглавленные колонны...

А небо над Карфагеном было в этот момент таким, словно его специально для нас доставили сюда из Москвы. Сквозь разрывы туч проглядывали яркие лучи солнца, и в местах, куда они падали, море слепило глаз чешуей.

Если оно и отступило от берега за прошедшие столетия, то совсем немного.

Море было рядом, и оно было действующим: по нему плыли — или, как сказал бы мой отец, «ходили» — суда, и как только я заменил их совершенные современные очертания на приблизительные пунические, не составило труда догадаться, почему этот город построили именно здесь, на этом месте, почему тот финикийский купец, мое первое воплощение, плыл именно сюда, почему Карфаген уничтожили, а затем возвели снова. Подумалось вдогонку, что развалины, по которым мы слоняемся, напоминают то ли лабиринт, то ли кусок сакрального текста, от которого осталась одна буква.

Никогда бы не подумал, что одна-единственная буква может помочь мне соединить временной разрыв в тысячи лет, что комментарий к бирюлевским событиям придет сверху сам собой, без каких-либо заметных усилий с моей стороны: «Проблему Бирюлева не решить облавами на гастарбайтеров и закрытием овощебаз. Все прекрасно понимают, что это проблема не столько этнокультурная, сколько социальная, экономическая, политическая. Чиновники и правоохранительные структуры боятся не столько погромщиков и оппозиционеров с Болотной, сколько внутренних разборок, их разоблачающих, а власть — событий, похожих на август 1991 года, а потому благоразумно усиливает борьбу с картошкой, капустой и прочими овощами. Самое главное — не превратиться нам в один большой овощ — очередной Хрустальной ночью могут не разобрать, кто танцует лезгинку, а кто семь сорок».

Я оглядываюсь вокруг, пробую представить себе, как карфагеняне танце-

вали тут свою лезгинку. Меня сбивает гид: «А вот там была публичный дом!» И, почувствовав, что не произвел должного впечатления, добавляет: «Публичный дом для состоятельных людей».

Несколько наших туристов лениво потянулись к тому, что называлось «публичным домом», — наверняка удостовериться в состоятельности когдатошних завсегдатаев заведения.

Древний дом терпимости находился прямо под резиденцией президента Туниса, и я не мог не вспомнить, что один из знаменитых борделей Баку, которым командовала в начале 80-х прошлого века бандерша Эльза, тоже располагался неподалеку от Дома правительства. Странное дело, кто к кому веками тянется?

Меня заинтересовали несколько разбитых камней с латинскими надписями. Подумал, неплохо было бы их «просканировать», не то чтобы они прямо-таки с небес упали, но все-таки... Я ошибся, ничего интересного. Естественно, в сравнении с тем, что эти камни окружало, что было под ними.

Не будучи уверенным, что фотографии получатся, я тем не менее принялся снимать дочь на планшет и два смартфона. Большого настроения позировать у нее не было, но я все же запечатлел ее на фоне осколков древней цивилизации.

У дочери была прическа, как у Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром», и она улыбалась мне, как Вивьен Ли Кларку Гейблу. Заслуживал ли я, сумасшедший папашка, такой улыбки?

Кинематограф был для нее той же школой, что и для меня. Как и я, она могла смотреть один и тот же фильм столько раз, сколько потребуется, чтобы стать полноценной участницей происходящих на экране событий. Отдаленность их во времени не смущала ее так же, как и меня когда-то. Интересно, чувствует ли она сейчас то же, что и я, среди этих камней? Я спросил ее об этом.

— Папа, мне надоели твои развалины! Мы только их везде и смотрим. В Израиле, в Турции, в Греции, в Тунисе — тоже... Папа, что ты ищешь среди этих камней?

Я молчал...

Хотел сказать, что, возможно, ищу себя, но подумал, что все-таки не смогу ей этого объяснить.

И тут вдруг она совсем как взрослая, с материнскими интонациями:

— Жить надо нашим временем, настоящим... — подошла ко мне, почти вырвала из моих рук планшет. — Иди туда, я тебя сфоткаю...

— Только не на фоне публичного дома...

— Я понимаю... Может, тогда на фоне президентского дворца?

— Нет, на фоне президентского дворца тоже не стоит.

Она поставила меня так, чтобы самая высокая колонна и развалины были видны за моей спиной, и сфотографировала. Показала мне.

Сквозь щелки прикрытых глаз на меня глядел какой-то многосоставной персонаж из сирийских рассказов, наполовину европеец, наполовину азиат, господин с кучей прививок от всего возможного и невозможного, закоренелый борец с гордыней и меланхолией. Кто кого в итоге свалит — на фотографии было не разобрать.

— Это ты, — сказала дочь.

— Да я уж понял, — ответил я, принимая из ее рук планшет.

Она убежала к матери, звавшей нас посмотреть на отмененную временем вертикаль — трехчастный кусок мраморной колонны, лежавший на земле.

Возможно, дочь права. Очень может быть, что права. Вся моя жизнь, погоня за символами-знаками, за сутью вещей, наконец за истиной — все чушь,

если я пропустил главное — саму жизнь, если так и не научился радоваться каждому дарованному мне свыше дню. И если бы это обстоятельство не касалось меня лично, не было бы так близко от края моего существования, я бы объехал этот предсказуемый и банальный вывод с закрытыми глазами, как объезжал сотни таких выводов. Обидно, коли так, ведь для того, чтобы перестроиться, начать жить наново, без помарок, тоже нужны время и силы.

Я с надеждой посмотрел вдаль — приплыло ли то торговое судно из Тира, где могло оно причалить? Возможных мест много было, вот только прошлое оставалось прошлым, настоящее — настоящим, а Карфаген — тем, что от него осталось.

Ом, дорогая мама, Ом!..

По узенькой прохладной и пахучей тропке, обсаженной по краям дикими масленичными деревцами, мы вышли к Национальному музею Карфагена.

Жестом легата времен золотого Голливуда гид останавливает нас у раскопок поздних культурных слоев, у расколотого черного портика.

Словно не замечая, что мы стоим под палящими лучами солнца, он предлагает нам сорвать с деревьев или поднять с земли по маслине.

Дочь сорвала три маслины. Протянула сначала жене, потом мне.

— Потрите хорошенько в ладонях, чтобы сок вышел. — Гид перестал коверкать русский язык, но мой дублер никак не отреагировал на это. — Подставьте их светилу. (Он так и сказал — «светилу», хорошо еще, что не «ярилу».) Подержите некоторое время ладонями вверх. Вот так вот, — показал как именно. — После чего поднесите к лицу, своему, а не соседа, — шутник, подыгрывающий низкому интеллектуальному уровню туристических групп? — и прислушайтесь внимательно к запаху. У каждого свой, правда?..

Группа восторженно согласилась с ним.

— И в то же время это запах земли и солнца. Этой земли и этого солнца. Я бы хотел, чтобы вы запомнили его. Вам пригодится.

— Зачем? — спросил мой дублер поперек меня.

— Узнаете позже, — сказал он так, будто объявил следующую остановку в московском метро.

Все напряглись.

Интересно, еще кто-нибудь заметил, что гид тренькает так, словно все лихие 90-е прокуковал в российских котельных, деля вахты с голодной интеллигенцией и чуткими к утечке газа кошками.

Насладившись всеобщим замешательством, он, переходя на фальцет, воскликнул:

— Ну, а теперь айда в музей!

«Айда?!..» Значит, и Вознесенского читал, чмурик?!

Табличка на тоненькой металлической ножке оповестила нас на нескольких языках — в том числе и на русском, — что мозаики и статуи, саркофаги и фрагменты архитектуры будут иллюстрировать доисторический, карфагенский, римский, христианский и исламский периоды.

В первую очередь меня, конечно, интересовали доисторический и карфагенский. Артефакты, подтверждающие существование Элиссы, старшей сестры тирского царя Пигмалиона, по преданиям основательницы Карфагена, союз с этрусками, открытие Америки задолго до Колумба; ну и, конечно, монеты с конской головой и знаменитая статуэтка богини Тинит, один из символов финикийской цивилизации.

— Как я говорил, — наш гид поморщился и снова перешел на берберский

русский, — быть в религий Карфаген жуткий особенность — жертвоприношение детей-первенцев. В плохой годы это считалось верный способ вернуть милость богов. — И вновь два глоточка ионизированного русского: — При раскопках 1921 года археологами было обнаружено несколько рядов урн, наполненных обугленными останками детей. На стелах, под которыми располагалось захоронение, — он нарисовал нечто кружевное пальцем над головой, чуть не смахнув в порыве вдохновения свою шляпу, — были высечены просьбы, сопровождавшие ту или иную церемонию жертвоприношения.

Гид указал нам на центральный вход в музей, возле которого мы топтались по его милости на солнцепеке, как если бы его указательный палец и рука были отчеканены на сверкающей, совершенно новой, но при этом древней монете.

Несмотря на то что в музее вовсю шла реконструкция и не все залы были доступны посетителям, меня вновь не покидало чувство, что и здесь я уже бывал, даже в тех залах, в которые нас не пускали. (Может, в сети?) Вместе с тем я также чувствовал, что уже через год не вспомню ни одну мозаику, ни один бюст, ни одну фреску, чтобы это «здесь бывал» в полном объеме перешло от меня к другому искателю. Интересно все-таки, как в памяти нашей выстраивается будущее, к которому мы так стремимся и которого не замечаем, едва оно оседает в нас после очередного жертвоприношения.

Римский период был представлен обширнее, значительней доисторического и карфагенского. И дело даже не в том, что это были более поздние культурные слои. Просто в отличие от своих недалёковидных предков эти люди лучше понимали, что они лишь гости в бренном мире, что каждый отпущенный свыше день тут, в провинции у моря — сначала им самим и уже после — метрополии и потомкам. Ну, а коли так, разве можно уйти от соблазна сделать свое житье-бытье настолько комфортным и улыбчиво-светоносным, насколько это возможно, а за комфорт и удовлетворенность жизнью, ясное дело, расплачиваются не только монетой и расстройством желудка.

Плутарх писал, что карфагеняне не знали радостей жизни, были неблагодарны и чрезмерно грубо с ней обходились, зато римляне знали их хорошо и обходились ласково. И благодаря этому их знанию, свойства, определившие путь империи, а в дальнейшем и всего человечества, оказываются распознанными посетителями музеев.

— Они были людьми соляными. И, может статься, от их ладоней исходил тот же запах, что и от ваших, хотя дело тут не только в здешних маслинах, — включился гид.

А я о другом подумал сейчас — о матрицах, в которые мы заключены волею судеб, о том, что, по сути своей, набор их неизменен с зарождения человечества, что подвижность той или иной матрицы зависит от сотрясений эфира и гибкости отражающих мир понятий. И музеи — не столько хранители этих самых понятий, сколько оценщики их гибкости.

С каким удовольствием воспользовались бы гибкие «соляные» человечки нашими социальными сетями. Как украшали бы свои посты всеми этими черепахами, тушканчиками, веселыми дельфинами, окруженными стайками суетливых рыб, пожухлым садиком за окном (практически — «садок вишнёвый коло хаты») — всем, что было для них вовремя скрепленным с богами договором и просто удачным стечением обстоятельств.

«Тит Лукреций привет тебе шлет...»

Кому? Опять Постуму, что ли? Может, Плинию младшему? Да нет. Вот хотя бы той густогривой, ляжистой патрицианке с «низкой посадкой», уверенной, что половой акт всегда предпочтительнее воздержания, а рождение — лишь

конец коитуса. Если она чего-то боится, вместе со своим гипотетическим Титом, который к тому же еще и Лукреций, так это только всеобъемлющих замещений непонятного ей нового бога, пришедшего с еврейского Востока, и потери своего статуса. Явления содеянного мало заботят ее в это конкретное мгновение, да и вообще. Так и чувствуется напряжение плоти, на какое место ни взгляни, так и слышится крепкий запах источаемых ею эссенций. Вполне бы могла составить компаньшу «любительницам наргиле» и многому их научить. Вот еще одна местная аутисточка с бесприютными грустными глазами, какие бывают у тех, кто в совершенстве освоил науку прилюдного уединения. Между прочим, неплохо бы смотрелась в московской «Шоколаднице», посади я ей отсюда солнцезащитные очки на нос или утверди на покато лбу. А вот матрона — «ах!» — эпохи императора Августа и вправду хороша, чертовка, очки ей ни к чему, покладиста и улыбается так, словно хочет, чтобы я запомнил эту ее улыбку, «порожденную созерцанием собственного счастья», и выражение ланых глаз. Она из прошлого или из будущего? (Какая разница — Овидий уже пишет продолжение легенды и публикует на сайте нашего журнала. Евреи в восторге, даже харедим рукоплещут.) А вот дружок ее по столетию, по белой стеночке сосед, многовековой выдержки хам, писавший наветы на Апулея, мало того что клеветник, еще и клинический идиот, которому не в помощь ни прекрасное образование, ни ворожба, ни лечебное зелье, ни превращенный в осла рассказчик. (Подобного рода клеветничество и доноительство у нас в большой чести. Тит подтвердит. Правда, Тит? Заказчиков — хоть отбавляй, исполнителей тоже.) Вот раб — дурак почетный, увитый кудельками мизантроп, полезный лишь затем, что хозяин его любит выставить напоказ себя и свою дражайшую с душою, сокрытой в ямочке на розовой щечке. А до этого уголка суденышко дотянуло из времени, где «нынче ветрено и волны с перехлестом». Надпись деликатная под волнами, должно быть, о том, о чем Бог забыл и вспомнит с рассветом. Не стоит вдаваться в подробности: то птичье обещание на полях.

А вдруг я ошибаюсь, вдруг там написано что-то важное, к примеру:

«Никто не возвращается из путешествий таким, каким был раньше»...

Можно, конечно, спросить музейного работника, пожилую сердобольную жрицу Кибелы в тусклых жемчугах, прикорнувшую с газеткой в руке вместо веера под бухим Бахусом, но разве я не знаю, что все ответы во мне.

Задержавшись на лестничном марше подле большой мраморной головы дочери Марка Аврелия, своснравный подбородок которой исследовал мультяшный паучок, и отсняв дочь самого уважаемого мною императора на два смартфона, я поднялся в зал на второй этаж.

За экспонировавшимися драгоценностями я увидел его.

Вернее, поначалу у меня были некоторые сомнения, что это он.

Персонаж из «Тысяча и одной ночи», магрибский дядюшка из «Волшебной лампы Алладина»... В черном облачении до пят. «Кино, кино!..» — как говаривали мы когда-то в юности. Никаких усов «а ля» Гурджиев. Загар на лице явно не пляжно-волейбольный, а с тем розовато-красным оттенком, какой получается только на участках дачного товарищества километрах в ста от Москвы.

Он поглядывал по сторонам. Ему важно было знать, какое впечатление он производит на окружающих. Драгоценности мало интересовали его. Арабскую сказку он, похоже, знал наизусть и начать мог с любого места. Об этом говорили его глаза. Обычно саньясинов я узнаю по глазам. Но это не были глаза проводника в иные миры. Впрочем, сильные мастера-саньясины предпочитают пользоваться десятком глаз, они меняют их цвет и глубину, да что там глаза, у них десятки имен, из которых ни одно не есть подлинное, с которым прощается

он, покидая сей мир. Это позволяет учителям оставаться как бы безымянными: «Мудрый не оставляет следов на земле, мудрый незаметен, как ямка в скале». К тому же они не знают, что такое постоянное место жительства. Мехти-ага говорил: «Если вы встретите меня в Баку, Москве или Пекине, неважно где, это еще не значит, что вы видите именно меня». Если так, почему невозможно обратное — я вижу не его, а это он? Что с того, что у него загар финно-угорский, а глаза — американца-миллионера, прикинувшегося «волшебником из Магриба»? Он это, он!.. После того, как Мехти-ага покинул наш мир, он, наверное, еще не такому там научился.

Вставши на место, где только что рассматривал ювелирку пунических времен фальшивый магрибчанин, скрывшийся в другом зале, как за Геркулесовыми столбами, я прочел (или мне показалось, что прочел) на стекле поверх своего отражения и отражения жены и дочери оставленное мне — в том не было сомнений — сообщение: «Все так переплетено, что иногда не кинематограф следует за жизнью, а жизнь за ним. И потом, всегда лучше попробовать горячее, чем холодное».

Я оглянулся по сторонам в поисках автора послания и стрекочущей камеры, чтобы убедиться, я ли в их прицеле, со мною ли одним играют они в «вечную вечность»? Насколько размыты границы между реальностью и кино, насколько условно мое «здесь и сейчас»?

Автор отсутствовал, а вместо предполагаемой камеры — фрески...

Это они «затягивали меня в вечность» и не давали ходу привычному «новому», искали какой-то давний случай из моей жизни, который то ли вызвал роковой обвал судьбы, то ли может вызвать в любую минуту. И тогда место мне обеспечено на любой фреске: «Ура, поймали, ты будешь тут и ты будешь Титом Лукрецием!», и сколько им ни говори после, что ты всего лишь «йск млкннн», кому это интересно. Ты в вечности, дружок, у вечности другие имена, другие измерения, спроси у магрибчанина, этот лис подтвердит.

Магрибчанина сопровождала какая-то блеклая малоинтересная особа с большим голодным ртом и рахитичными, лишенными икр ногами, вспомнил я. Судя по тому, как она была одета, — тоже американка, и говорила она на американском английском, с широким ходом челюстей, подыгрывая своему другу-муслиму и лишь слегка нарушая пределы, установленные его маскарадным облачением. Передвигались они по залам свободно и расслабленно, словно после брачных танцев, не были привязаны ни к одной из туристических групп. Похоже, подумал я, мои шансы настигнуть их невелики.

Я оказался прав, парочки след простыл. Ни в христианском, ни в исламском периоде я их не обнаружил. Теперь разве что в гостях у Варрона или Квинтилиана.

Интересно, то, что я должен был, по словам гида, узнать позже, я уже узнал или мне еще предстоит? Здесь? В Сиде или в Тунисе?

Раздосадованный, я отыскал своих, и мы пошли к автобусу, делясь впечатлениями от музея.

— Куда ты пропал? Мы тебя искали...

— Фрески!..

— Да, тут замечательные фрески! — поддержала меня жена.

— Их копии по всему Тунису. Помните, сколько их было на рынке в Суссе?! — согласилась с нами дочь.

— А вы не заметили среди туристов араба в черном облачении, похож на магрибского дядюшку из «Волшебной лампы Алладина»?

— Дай папе воды. Смотри, как он вспотел... Заметили...

— Да он же фрик, этот магрибский дядюшка, и тетка его — фрикекса чересчурная... — дочь протянула мне пластиковую бутылочку, на дне которой оставалось еще немного теплой воды.

В XII веке исламский проповедник из Туниса Абу Саид ибн Халеф ибн Яхья Эттамини аль-Беджи основал рибат на пологой возвышенности с видом на мыс Карфаген, чтобы учить молодых искателей суфизму. После смерти мастер был похоронен своими учениками на той самой возвышенности, а образовавшееся у стен рибата поселение называли в его честь — Сиди-бу-Саидом.

Сиди-бу-Саид, или просто Сид — городок голубей, влюбленных и бесчисленных дверей, уступка массовому кинематографу и журналу «Эль». Ролану Барту очень бы подошел этот городок для его «Мифологий»: «Хотите Востока? Настроим оптику, сменим актерский состав, запустим целлулоидных красных рыб в бассейн, раскурим медленно все имеющиеся в реквизите кальяны и побрызгаем местные ковры девятой "Шанелью". Билетеры, на выход, можно запускать зрителей».

Да, это уже не Восток Жерара де Нерваля, хотя слова «муфтий» и «эмир» все еще залетают в открытые окна далеким воспоминанием. Иногда... В особо лунные ночи.

Брусчатка, узкие улочки. Игра теней и белоснежных стен зданий с пронзительно сине-голубыми оконными наличниками, ставнями и фигурными решетками. (Гид говорит, что тени от решеток в полдень создают на стенах причудливые узоры, а на вершине холма находится действующий маяк.) Этот странный человек, одинаково свободно владеющий двумя русскими языками и пользующийся ими, как фокусник, наверное, ведет дневник, в котором скрупулезно записывает все события. Я давно заметил, люди, ведущие дневник, отличаются от тех, кто его не ведет: им кажется, что у них будет возможность лучше понять на переходе в вечность, из чего состояла на самом деле их жизнь.

Крутые подъемы по узеньким мощеным улицам сопровождаются салютом бугенвиллей, а киноварные гибискусы на фоне небесной лазури напоминают разлетевшиеся во все стороны брызги крови. Жертвенной крови, конечно. Сразу же хочется, смирившись со своей судьбой и судьбой всего человечества, всем все простить, испить правильного кофею и выкурить крепкую французскую сигарету. Представить себе короткую, ни к чему не обязывающую связь с пышнотелой восточной женщиной, которая в данную минуту кажется пожароопасней интенсивно загоревшей поджарой европейки, главным образом, потому, что у восточной женщины все срочные дела бессрочны. «И потом, всегда лучше попробовать горячее, чем холодное».

Про то, чтобы запастись водою, я как-то позабыл, и мы сразу же направились в кафе «Де Натт» на главной площади Сиди-бу-Саида.

Двери кафе сторожил коричневый араб с таким же коричневым коршуном на изогнутом посохе. Оба были готовы взвесить душу первого встречного незамедлительно. Посох коршуну не шел так же, как арабу коршун. Птице на посохе сиделось, как на собственных поминках, а араб никак не походил на ослепшего от всеведения старца. Лицо его, словно выглядывавшее из окна, было гладко отполированным, на губах лежала легкая тень полуулыбки, ноздри вывернуты, широко разведенные застывшие глаза как бы безразличны ко всему, что внизу и вровень, а голубая рубаха навывпуск будто прилетела из загробной жизни, на перекрестках которой тоже не прочь были отдать внетелесное должное стилю «богема».

Перья птицы трепетали от дуновения ветра, неподвижный с выбеленкой

глаз демонстрировал силу магнетизма. Было совершенно непонятно, что из происходящего вокруг коршун видит и что отмечает про себя на будущее, так как создавалось впечатление, что птица живет только в профиль и оценивать обстановку сразу двумя глазами, в которых одна людская чередка сменяется другой, не умеет с рождения. Но при всем том человек и птица казались единым целым, татуировкой на тренированном плече кулачного бойца или эпилогом ко всем отложенным за сорок один век историям.

Туристы мимо этой застывшей пары шествовали с опаской и почтением. Ни у кого не возникало желания дотронуться до «замри»-птицы, чтобы проверить, жива ли она, никто не думал фотографироваться с нею на долгую память.

Мы нырнули в темную каменную прохладу.

Духовитый воздух, точно из кусочков сшитый, отдает углем, специями и еще чем-то неуловимым, навевающим ту грусть, которая вечно сопутствует человеку после соития.

Гид, не отходявший от нас, сказал, что этой чайной белее трехсот лет, что в начале XX века тут собиралась местная и залетная богема, а немецкий импрессионист Август Маке запечатлел кафе и минарет за ним в картине «Вид на мечеть».

Стены чайной украшали фотографии улыбающихся знаменитостей в разноцветных рамках. Знаменитостей уже слегка поджаренных и в меру присыпанных солью и перцем, словом, готовых к употреблению. Их хорошо запивать белым вином. Оно лучше покрывает невозможность смешаться со здешней обстановкой.

— Тут били много кинематографисты, — гид уселся по-турецки на циновку, как это делал когда-то Бей, показал своей милитаристской панамой, чтобы и мы последовали его примеру. — Этот кафе снимали в «Анжелика и султан»... — Размотал шарф, положил аккуратно в шляпу, затем и то и другое — себе под пуп. — Анжелику много снимали в Сиде... Но потом много резали в фильме... Потом... — добавил он зачем-то. — Все это будет уже потом....

Жена и дочь принялись подтрунивать надо мною, мол, как жалко, такая женщина, мечта восточного мужчины и все такое.

Я хотел сказать жене, что вообще-то не всякий восточный мужчина рискнул бы нарезать круги с такой женщиной, как Жослин Ивонн Рене Мерсье, правда, тут же осекся, вспомнив о Робере Оссейне, к которому относился как к дальнему родственнику.

Я уже говорил, что в городе, в котором родился, и в районе, в котором вырос, к кинематографу было особое отношение. Да и сам я обязан дате своего появления на свет исключительно фильму «Адские водители» Сая Энфилда. Папа потащил беременную мною маму на этот фильм, вот она и не выдержала, пришлось после фильма вызывать скорую.

Уж не знаю, каких масштабов должна была случиться драма, чтобы мы с ребятами не пошли на новую картину в субботу и в воскресенье.

Мы сэкономили на школьных завтраках, выматывали душу родителям. Дни у нас проходили в ритме утренних, дневных и вечерних сеансов. Расстояние мерили — от дома до кинотеатра или от школы до кинотеатра. Что бы мы ни делали, мы делали это так, словно нас снимали на пленку великие режиссеры. Мы учились жить у экранного полотна. Драться, любить, дружить и даже угонять автомобили... Мы вписывали себя в тот или иной сюжет, как в судьбу, и, когда оказывалось, что реальность ломает нас, в пик своего предка и классным руководителям ждали подсказок от Трюффо, Феллини, Годара...

На излете туманной юности до нас начало доходить, что фильмы все-таки снимаются не без помощи сценаристов и операторов, чьи имена мы всегда

пропускали в титрах. Наше повзреление началось прямо вслед этому обстоятельству. И все было бы хорошо, и я бы не отстал от других, если бы наискосок от нашего дома, напротив булочной, в которую я ходил ежедневно за хлебом насущным, не жила девушка, очень похожая на Анжелику. Мне как-то невдомек было, что маркизы и ангелы не водятся ни в ее доме, ни в нашем районе, ни вообще в нашем городе. Тут-то все и началось. И по сей день длится. Я даже помню, где остался мой первый сценарий и где его исходник. Не знаю только, куда подевался диск с Анжеликиной эпопеей, который жена и дочь не так давно подарили мне в шутку. Две серии я честно посмотрел, отдавая дань юности, но на последующие, с восточными дворцами, гаремами и брутальными евнухами, сил уже не было — всему свое время, впрочем, не уверен, что и в юности я посмотрел бы их от начала до конца. Нас как-то быстро переселили из больших кинотеатров в маленькие клубы, из массового кино в «кино не для всех». Конечно, в том немалая заслуга времени. Но что бы там ни было, так близко к своему исходнику я еще не подбирался. И, может, неслучайно, когда нам принесли зеленый чай с кедровыми орешками, припомнилось одно из любимых положений Бея: «Ты не можешь отменить прошлое, но ты можешь его не повторять».

Я с тоской вспомнил нашу саньясу, подумал, что это детище Бея, вне всякого сомнения, заслужило полуторачасовой кинохроники. Но, увы, не отнять его уже, оно осталось навсегда в том убедительно безысходном времени, в котором ты безнадежно молод и чувствуешь себя значительной частью всего, что происходит. Это время никогда не умрет, но и никогда не повторится, потому что это даже не вопрос твоего прошлого. Пока мы живы, в нашей жизни абсолютно все не имеет срока давности, течет в общем потоке. При этом у каждого из нас свой Карфаген. Вот о чем никогда нельзя забывать ни на пирах, ни на поминках. Скорее всего, это вопрос наших выплат в поставленные нам сроки или отказа от оных. Сенатор Катон хорошо понимал подобного свойства вещи, когда вез морем маслины из Карфагена в Рим.

Только успел подумать, что мы часто строим новую жизнь на пепелище старой, что, стерев некоторые изжившие себя убеждения и восприняв новые, мы можем в корне изменить ситуацию, как мой телефон оповестил меня о том, что пришло письмо. От Доминика Дагера.

Пунктуальный товарищ оказался этот Дагер.

В кафе был вай-фай, я незамедлительно принял два файла — один в ворде, другой в джипеге — поблагодарил Доминика и взглянул мельком на ответы.

Отвечал он вполне здраво, нацистских убеждений не выказывал практически никак, должно быть, понимал, что аудитория нашего журнала сплошь еврейская. Использование современными россиянами слова «погром» считал «манифестацией приверженности европейским ценностям» и полагал, что в России оно служит, помимо всего прочего, еще и предупреждением об опасности, «которую таит игнорирование политической воли 80% населения страны. Считаю, что наличие еврейских погромов в русской истории является признаком европейскости нашего общества, его встроенности в западную цивилизацию». Вот так вот!.. Дальше Дагер разбирался с понятиями «фашизм» и «национализм»: «Фашизм — одно из проявлений национализма. Всякий фашист — националист, но не всякого националиста можно маркировать как фашиста».

В джипеге оказалась фотография Дагера. Прислав ее мне, он немало облегчил жизнь нашему худреду и штатному фотографу. Если бы не черная кожаная куртка, в которую он был закован, черная эспаньолка и бодрая руническая свастика на помятой бабьей груди — вылитый настройщик роялей

советских времен. Впрочем, внешность обманчива. У Бея был «джазовый» ученик, похожий на Пьера Ришара, так тот мог двумя пальцами пробить брюшину. Бей выгнал его из-за какого-то неведомого нам проступка, причиной которого, как говаривали, стали неразделенные чувства к одной нашей девочке-саньясинке. Она сейчас уже бабушка, преподает Кундалини-йогу в Бостоне, там же лечит и тех, кто покалечился йогой в многочисленных фитнес-клубах. В уютюбе можно обнаружить целые кусты ее благоухающих «Ом-м».

Поглощенный мыслями о будущем России и воспоминаниями о нашей бакинской саньясе, я не заметил, как мы вышли из кафе на главную улицу и оказались возле ворот резиденции муфтия Аннаби, которая числилась в проспектах еще и музеем быта Туниса.

В одной половине ворот была вырезана дверь с двумя железными кольцами, расположенными на разной высоте.

— Вот это есть для детей, очень полезно, — гид на полусогнутых постучал нижним кольцом в дверь.

Вышло живенько так.

Ждет, прислушивается, снова стучит:

— Открой, мама, это я, Сулейман твой пришел... А? Что?

Прячется за полуоткрытой половиной ворот, смотрит в щелку и оттуда уже сонным голосом «мамы»:

— Сулейман, сыночек, это ты? А что так поздно?

Через мгновение припозднившийся Сулейман оказывается на улице и снова на полусогнутых. Я жду от него исповедальной филиппики, но он краток предельно:

— А я, мама, Млечный Путь изучал, — астроном-вундеркинд выпрямляется и выдает руладу: — Обратите внимание на порог. Видите, какой высокий? Это специально...

Для наглядности перешагивает через порог несколько раз туда и обратно: как сосед из дома напротив — сварливый старец, страдающий мочекаменным заболеванием, как странствующий рыцарь веры иной и взглядов гипербореических, как торговец в рахат-лукумной пылице, попавший сюда, дабы вырвать какие-то неведомые миру сокровища.

Убедительнее всего получился сосед из дома напротив. Две другие роли были им смазаны: сложилось впечатление, будто рыцарь и торговец, представители одной и той же страховой компании, провели вчерашний вечер с цыганским табором, и обоим цыганка нагадала у костра высокий порог в доме муфтия.

А в доме муфтия жизнь точна, как аптекарь.

Фонтан убивает время, и заливается горячими слезами клетка с желтыми пичужками. Распутные нравы Запада не проникают сюда. Слишком много стен, и закавыченная реальность царит без тех подробностей, которые обычно люди так любят прижимать к груди. Да и какие подробности могут быть, если море врывается в каждую комнату, если сложные лабиринты коридоров, крутые лестницы, маленькие закрытые и большие открытые балконы, внутренние дворики совершенно не пропускают время. Ни днем, ни ночью.

Здесь, похоже, все жили с остановившимися часами. Муфтий, муфтий, как же так? Кто остановил часовой механизм, не вы ли, любезный, забрали с собою ключик?

Я перехожу из комнаты в комнату, ищу библиотеку. Ищу, но не нахожу. Всегда во всех домах первым делом я ищу библиотеку и всегда нахожу. А тут...

Должна же быть у муфтия хоть одна книжная полка.

Я ищу библиотеку, но налетаю на восковые фигуры в типичных для времен Анжелики нарядах за привычным времяпрепровождением.

Вот муфтий собственной персоной в роскошном белом облачении восседает за письменным столом. Представитель традиционного ислама являет собою само благородство, глядя на него, понимаешь, какие ценности в исламе нереходящи, а какие — для каналов CNN и BBC. Хоть муфтий и восковой, отвлекать его все равно нельзя, он над чем-то трудится сейчас, должно быть, над каким-нибудь новым толкованием старого уложения.

Сниму-ка я его на свой айфон: пригодится... К тому же он очень напоминает одного моего израильского кора — Менахема Фрумкина из Герцлии, с которым я постоянно бодаюсь по поводу его текстов. (Точно Фрумкин. Бывает же такое. Просто удивительно, какие чудеса порою творит природа.)

А вот два господина играют в нарды, злоупотребляя кальяном. На доске только один камень, показывающий «шеш», второй, наверное, закатился туда, где зеркала не ловят отражений. Над дверным проемом два пистолета и инкрустированное берберское ружье. А вот и восточные женщины — в воске все так же аппетитны, особенно сзади — потягивают шербет и о чем-то немо сладкоголосят. О чем? Да наверняка о своем, о бабьем, к примеру, о том древнем свадебном платье, которое разложено рядом и весит около десяти килограммов. Не о времени же и пространстве этим ханумкам судачить?

Я представил себе среди них Анжелику. Но вместо нее шербет пила какая-то пожилая, ничего не слышавшая о «Стрекоте женщин», одутловатая дама, в которой с трудом угадывались знакомые черты маркизы. Время никого не шадит, даже восковые фигуры в доме, где все часы спят.

Интересно, а как выглядит сейчас та девушка — точная копия Анжелики, чей балкон выходил прямо на булочную? Продолжает ли она играть в бесконечном сериале, и как этот сериал сказывается на моей судьбе?

Хотел пойти вперед, но что-то остановило меня, толкнуло, развернуло, будто я еще не совсем был готов к смене декораций.

Как будто сквозь туман прорисовывались очертания библиотеки. Нет, не той, что открылась сейчас — с томами по религиозным, нравственным и правовым вопросам, с которыми сталкиваются мусульмане в обычной жизни, а другой, которая была за нею и о которой муфтий Аннаби мог слышать только от заезжих единоверцев.

Я уже видел потолки с позолоченной лепниной и росписями, старинные темные глобусы с не обнаруженными еще землями, тяжелую книгу на большом пюпитре, когда картинка неожиданно захлопнулась... Через какое-то время «кинолента» запустилась вновь. И снова стены, снова версты... Беснующийся календарь и дневальная трель телефонного будильника... День начался на каком-то из мостов и тут же оборвался, сон неотличим от яви, и люди говорят одним и тем же голосом одни и те же слова об одних и тех же вещах... «Закавыченная реальность без больших подробностей». Сколько воска на все это уходит ежедневно!.. Сколько лучших книг псу под хвост!..

Только спел я оду мостам, верстам и воску, только сказал себе: ну и хорошо, ну и ладно, — как вдруг увидел хорошенькую женщину на скамейке, строгую, сосредоточенную. Так это ж моя жена!

Лето. Июль. Яркие лучи солнца. Она держит на коленях, изучает какую-то карту, рассеченную на две половины рекой. Река и кофточка на жене одного цвета. Тень от лица жены покрывает правый нижний угол карты, на котором я успеваю прочесть — Старо место и чуть снизу и ниже — Ново место. Послышались трамвайное треньканье и дребезг. Так мы же!.. Это ж Прага!.. («Ага, Прага, — пришло подтверждение от моего дублера. — "У Праги есть когти, которыми она крепко держит за сердце и не позволяет уйти", а еще у Праги есть

книги, и Прага самый фотогеничный город в мире»). И поплыли белесые облака над разновысокими черепичными крышами красного цвета, над мощеными улицами, над зелеными холмами Вышеграда, над отшлифованной солнцем скользкой Влтавой, приветствуя нас с женой, уютно устроившихся на крепостной стене обзорной площадки. Как удобно тут сидеть, на этой стене и, урча покото-котофейски, жмуриться от солнца, смотреть на город сверху и слушать жену, тихо рассказывающую мне о наводнении прошлого года, о том, как нагоняли их с дочерью непрерывные пражские ливни, стоило им покинуть отель. «Я тебе покажу на Карловом мосту отметку, где вода была», — славит она пражские дожди. Я смотрю на небо, и не верится мне, что такое возможно — зонтики и люди, скачущие по лужам, бегущие под козырьки кафе и ресторанов — даже самолет где-то вдалеке и тот не верит. До чрезвычайности душно. Жарщики каштанов. Шатия легкомысленных французов с рюкзачками. Японочка с крашеными волосами и вишневыми косточками в руке. Карлов мост, реченка Чертовка, Староместская ратуша, площадь Иржи с Подебрада и церковь Святейшего Сердца Господнего... Приподнятый дух общности и согласия повсюду. Короче — «Невыносимая легкость бытия».

Снова меня занесло в «педальное» будущее. Зачем это все, к чему мне сейчас держать в голове то, что Моцарт в Праге был три раза, что останавливался он на Угольной площади в трактире «У трёх золотых львов»? К чему был этот вклинившийся просмотр библиотеки Страговского монастыря? Зачем показывать мне сейчас, в доме почтенного муфтия Аннаби (мир ему), как мы пьем по второй кружке пива в пивоварне «Страгов», к чему Жидовско место с еврейским кладбищем и синагогой, Парижская улица с дорогими магазинами и кафе «Кафка», и джаз бэнд, лабающий Брубeka на Прикопе?.. Вспомнил высказывание Феллини, которое вполне могло бы принадлежать и не меньшему «мастеру космоса», нашему Бею: «Человечество движется вперед, потому что верит: то, куда оно идет, не задумываясь о последствиях, уже известно».

Если мне уже известно, если я уже знаю, что буду там, в этом городе «зла и красоты», что я должен понять и предпринять здесь и сейчас? Какие слова найти и сказать? Пока я думаю обо всем этом, за меня говорит гид. Этот чудак и раньше не умолкал, просто сейчас я его услышал.

— Вот здесь муфтий молился. — Он указывает на правый угол небольшой залы, выложенный плиткой с цветочным орнаментом. — Эта небольшая ниша в стене как компас — направляет вас на Мекку, на Каабу...

«Вас?!»

Я знаю, что должен сделать, и пока гид рассказывает, зачем нижнюю часть оконной решетки выносили подальше от окна: «Вы думаете, это есть для красоты? Сюда клали младенца, чтобы пока они спят, их со двора было хорошо видно...», в Африке ты, в Европе или Азии, значения не имеет.

Я жду, когда все перейдут в другую комнату, чтобы помолиться. Я знаю, что молиться нужно в чистоте, что чистота в исламе подразумевает чистое тело, одежду и само место молитвы. Дом муфтия Аннаби (мир ему), не мечеть, конечно, но место, можно сказать, намоленное. От пупка до колен я вроде как закрыт. Вот только дублер мой мне немного мешает, но ведь главное — чтобы я никому не мешал.

Все хорошо, но у меня нет коврика или чего-то из одежды, чтобы бросить на пол. Ну да ладно, я все равно стоя молюсь, да и постелено тут уже что-то, должно быть, я не первый, кто хочет помолиться в доме муфтия.

Снимаю туфли и вхожу в маленький, огороженный низеньким бордюром квадрат.

Все, что я знаю, это то, что Бог един, что он услышит тех, кто возносит Ему молитвы. Молитвы, а не причитания или попытки договориться. Я обращаюсь в сторону маленькой квадратной ниши, указывающей мне на Каабу...

Я уже научен: когда не знаешь, как молиться, молись, как сердце тебе велит. Пусть не пять и не пять тысяч раз, но один, я все же помолюсь, ведь у меня есть намерение, и оно идет от сердца.

Я произношу про себя два раза «Аллаху Акбар. Аллаху Акбар»... Нет, не так, как это делают лайф-ньюсовские боевики-джихадисты, обмотанные до глаз арафатками, зло и мстительно потрясая автоматами Калашникова на грязных пикапах, а как говорили старики в нашем городе, как говорили бабушка и мама, как говорили Бей (мир ему) и Шейх Ахмад Дидат (мир ему), и, возможно, сам Абу Саид ибн Халеф ибн Яхья Эттамины аль-Беджи (благословенно имя его, мир ему).

Только я удивился тому, что с первого раза запомнил полное имя проповедника — я уже сто лет не запоминаю номера телефонов, — как в памяти моей шевельнулся вечер того последнего августовского дня, когда я случайно обнаружил у мамы дома на Сходненской после первого джума ахшамы Коран на русском языке в переводе Крачковского. Коран как Коран. Темно-зеленого цвета. Такого цвета у нас еще Диккенс полный на полке стоял. Выпущен издательством «Язычы» за год до краха Софьи Власьевны. Тиража не припомню, а вот цена смешной показалась — пятнадцать рублей. Но это отсюда, из другого века и тысячелетия, пятнадцать рублей мне смешными кажутся, а тогда это деньги были, и для мамы еще какие. В Коране я нашел несколько сложенных вчетверо листочков с молитвами, перепечатанными на машинке и написанными мамой от руки. (Сколько писем за свою жизнь я получил, написанных этим красивым округлым почерком, сколько поздравительных открыток?!) Там суры были, названия только двух из них не выветрились из моей головы — «Тэшэхуд» и «Саламлар». Помню, как помолился тогда у мамы на Сходненской, и хоть совершенно не был уверен, что молюсь в правильном направлении — попробуй разберись-ка в московских квартирах, где Север, где Запад и где Восток с Югом, — какое-то светлое чувство обрел. Может, мне и сейчас повезет, кто знает? «Ас Салам Алейкум ва Рахматуллахи ва Баракатуху». Справа находится ангел, ведущий учет всех хороших поступков. «Ас Салам Алейкум ва Рахматуллахи ва Баракатуху». Слева находится ангел, записывающий дурные поступки. Бог мой единый и всеблагий, направь меня на Путь истинный, на Путь прямой. Хвала Тебе, Всевышний. И пусть не будет от меня лишних слов, когда я взываю к Тебе, потому что Ты знаешь все, что у меня на сердце.

Благостное состояние после молитвы поначалу неощутимо, должно пройти немного времени, от пятнадцати минут до получаса, чтобы почувствовать его. Передать словами, как молитва начинает оказывать на тебя благотворное воздействие, тяжело, практически невозможно. Бей это состояние называл «заточкой своего "Я"», ну, а я его называю — «возвращением к себе». Если ты правильно помолился, прошлое с настоящим связываются легко, без какого-либо особого насилия над собой, а дорога в будущее выпрямляется сама. Ты видишь, как легко можешь осуществить то, что ранее казалось тебе неосуществимым по множеству причин, достаточно лишь принять мир таким, какой он есть, и себя в нем, какой ты есть. Даже если одно из твоих имен «йск млкннн», а день рождения твой связан с кинофильмом «Адские водители». Длится это состояние, если его не поддерживать следующей молитвой, ровно семь дней, но может исчезнуть раньше, причем до обидного легко, ведь ничто так не ускоряет события, как совершаемые нами грехи.

В Сиде это состояние ускользнуло от меня, едва я начал ловить его в себе.

Как-то больно быстро все закрутилось-завертелось. Сразу после дома муфтия гид направил нас в торговые ряды, не очень шумные и небольшие, располагавшиеся на пути к стоянке туристических автобусов, взятой в полукруг шелестящими пальмами. Мне понравился рюкзак из верблюжьей кожи с двумя большими накладными карманами на металлических застёжках, не устраивала цена, а торговаться с мальчишкой-продавцом, очень похожим на меня в шестом-седьмом классе, времени не было. Мы купили несколько коробочек рахат-лукума, рассчитывая, что он не будет хуже турецкого и мы довезем его до Москвы, не превратив в один большой пельмень. Впрочем, какое-то чувство защищенности я все же внутри себя уловил, подметил: дышать стало заметно легче, перед глазами словно бы кто-то запотевшее стекло протер, а морской запах так свободно залетал в ноздри, как если бы я, бросив курить, вернул себе обоняние тридцатилетней давности. Бей вообще послемолитвенное чувство самого себя называл «вздохом», а последующие семь дней «выдохом», поэтому настоятельно рекомендовал нам не только правильно дышать, обращая внимание на все «замки», но и молиться регулярно: «Ваши искания без молитвы — все равно, что разрисованный картон, в котором фотографии проделывают отверстия для лиц, страдающих дурновкусием. Если вы мусульманин, идите в мечеть, если иудей — в синагогу, христианин — в церковь, только не дышите порченным воздухом в закутке. Искатель — это человек, уцелевший в страшной битве. Настоящие искатели смрадом не дышат, они понимают: учителей много, Бог — один». Бей умел сказать так, чтобы его слова зацепили и запомнились надолго. Уверен, не я один их вспоминаю, все ученики, даже те, кто не выдержал испытания. Когда он высказывался по поводу кого-то или чего-то, то походил на человека, который два тысячелетия назад покинул отчий дом да позабыл вернуться. Думаю, он, как никто другой, понимал, что нет ничего утомительнее человека, которому кажется, что он знает абсолютно все, и который в данную минуту находится напротив тебя, в этом весь секрет его общения... Бей никогда не отличался особой словоохотливостью. Он отлично знал, что память — инструмент, регулярно сталкивающий нас с тем, чего не было на самом деле, а значит, всему придающий форму. На каком бы языке он ни говорил — всегда с ленцой, всегда с некоторой небрежностью. Чего стоят его самые небрежные, полетевшие вослед уже холодному окурку слова: «Маленькая уступка здесь, маленькая уступка там — и утрачена личность, раз — и словно не было ее». О, как хорошо я его теперь понимаю, я, сделавший самому себе, в своей семье, в своем журнале столько уступок за последние три года, сколько не делал за всю свою жизнь. Но с другой стороны, не сделай я этих уступок, сохранил бы я остатки того Карфагена, ради которого живу? Может быть, ответ на этот вопрос я и ищу на развалинах древних городов. Это и есть мое «кроме того», позаимствованное у Катона. Оцени мою честность, мастер. Подай хотя бы какой-то знак, что ли.

Я не знаю, можно ли считать это знаком с другого берега, скорее всего, я просто сам ответил на свой же вопрос: «Ты должен научиться не просто сопротивляться обстоятельствам, но проходить сквозь них, ты делал это в кино много раз, сделаешь и в жизни».

Автобус буквально вползал в Тунис. Пробки тут у них, конечно, не московские, но местами мы точно стоим дольше, чем едем.

А город шумит что-то свое — асфальтово-бетонно-пальмовое. Вечное, нежное, легкое.

Подувядший заметно гид курлычет нам в потрескивающий микрофон о

здешней достопримечательности — какой-то там четырехгранной башне. Как я понял, это сооружение — местный «Биг-Бен», маяк для тунисцев, в особенности для молодых, не обремененных брачными узами. Гид уверяет нас, что башня, расположенная на авеню Хабиба Бургибы, чуть ли не шедевр современной архитектуры, а площадь — центральное место в Тунисе.

— Центрее не бывает, — съязвила дочь.

У нее сейчас возраст такой, она все стремится загнать под плинтус.

Свой рассказ гид раскрашивает убедительными примерами из личной жизни и жизни дальних и ближних знакомцев.

— В каждом городе есть места, в которых хочется побыть одному, но есть места... — он взял паузу, по-видимому, прикидывал, на каком из русских языков ему удобнее дальше говорить. — Есть места, на которые спешешь попасть, устав от одиночества. — Снова остановился, задумался. — Но как бы там ни было, вы никогда не пожалеете, что оказались на этом месте, потому что здесь, именно здесь, вы себя чувствуете настоящим тунисцем. Получать всячески забота от муниципалитета, получать разрешение заглядывать через плечо товарища Гименя.

Наша братия тоже порядком подустала. Никто его уже не слушает, все припали к стеклам, тихо и как-то по-домашнему переговариваются друг с другом. В отместку «речистый наш» постукивает микрофоном по коленке — звук неприятный получается, как если бы кто-то высасывал соломинкой последнюю каплю сока в упаковке, — и все продолжает славить башню. Просто какой-то неиссякаемый поток во славу этого сооружения.

Неужели он ничего не слышал о Соединенном Королевстве, Холмсе и Ватсоне, леди Ди? Такое чувство, будто гид намеренно выдает желаемое за действительное, тем самым показывая, что, только разбираясь с прошлым, он — историк, человек мира, трансгуманист по срочному вызову, в настоящем же — истинный тунисец и не более того. Но я почему-то не верю в то, что он только тунисец и все, мне кажется, наш гид в первую очередь — «homo ludens», человек играющий, вернее, кем-то вовлеченный в игру. Вот только кем и во что: в «далеко и близко», в «холодно и тепло»? Каков установленный порядок игры, и какое отношение она имеет к этой башне и ко мне?

Нет, пока я сам воочию не увижу этот местный «Биг-Бен», сооруженный, по словам гида, в честь Дня Преобразования, не пойму, зачем эта чертова конструкция с часами так понадобилась тунисцам. Не хочу знать ничего наперед, даже в тех редких случаях, когда знание идет ко мне само. Для меня всего лучше постигать будущее без предварительного с ним знакомства. Города и веси не исключение. Не в том дело, что я норовлю все к худу склонить, но, право же, какой прок, если развалины Карфагена прежде предстанут передо мной в Москве на страницах фейсбучной ленты или я вычитаю о них в Живом Журнале? Осевшая в тебе информация, тщательно проработанный на домашнем диване план путешествия далеко не всегда облегчают жизнь в дороге, а вот остроту восприятия притупляют. Я это заметил по многим нашим вояжам.

— Тут все назначать друг другу встречи, и тут все встречаться без договоренности.

Жена мне:

— Ты то же самое говорил о Торговой улице в Баку...

— Говорил... Только это когда было.

— И мы тоже сойдем возле «Биг-Бена», окунаться в кипучую жизнь города и там же, на площади, встречаться с вами через пару час, чтобы вернуться назад в отель, — предложил гид.

Подъезжая к большому мосту, автобус тормозит на красный у перекрестка, и я обращаю внимание на табличку справа от себя, указывающую на Бизерту.

В кровь будто ментола влили, вспомнил код двери в подъезде отцовского дома — один, один, ключ, семь, шесть, два, восемь — как несколько месяцев назад хоронил его, как выдали мне урну с папиным прахом на Митинском кладбище, как шел я с ней до могилы.

Сколько там идти было, двести-триста метров? Мне их с лихвой хватило, чтобы понять, зачем в больницах на прикроватных тумбочках столько скоропортящихся продуктов, когда у больных нет никакого желания есть и пить, а порою даже смотреть на них.

Шоколадки, конфеты, соки, фрукты по запределной цене, мы не им несем, нет, себе... Продлевая их дни, мы надеемся продлить хотя бы чуть-чуть свой собственный рай, до того казавшийся нам вечными буднями. Даже тут мы эгоистичны, своенравны и корыстны.

Когда отец почувствовал свою немощность, он взял с меня обещание, что в больницу я его положу только перед самым его концом: «Погоди, не кипятись, — остановил он мою попытку возразить ему, — постарайся понять меня. В больнице я вместо здоровья обрету новый статус, стану вещью, конечно, не в своих глазах и, надеюсь, не в твоих, но в глазах окружающих — точно. Я знаю, что такое больничная палата — это место, где о тебе говорят в третьем лице, не понижая голоса. Я этого не хочу. Да и тебе, сынка, удобней будет сделать, как я тебя прошу, согласись».

И я согласился. Он хотел еще что-то сказать, но промолчал. Вероятно, из-за того, что здоровые люди всегда ведут себя не так, как надо, всегда ошибаются в присутствии больного, а он не хотел, чтобы я совершил сейчас ошибку, а может, решил уберечь меня от преждевременного знания, ведь мысли о смерти время от времени посещают каждого из нас, и свою смерть мы начинаем постигать через смерть родителей.

Обещание я сдержал. На меня давили то жена, то родственники с папиной стороны, думали, что всему причиной мой врожденный пофигизм, но я не мог послушаться отца. А когда мне было очень тяжело, я все твердил про себя код папиной двери в подъезде: «один, один, ключ, семь, шесть, два, восемь». Я повторял его столь часто, словно от этого зависело, выздоровеет отец или нет.

Он до последнего управлялся сам со своим нехитрым хозяйством, до последнего отвечал на мои звонки; записывал, чтобы не забыть, печатными буквами на внутренней стороне разорванных сигаретных пачек названия лекарств и часы их приема и вообще — был настоящим «морским волком». Потом я помогал ему по мере сил, приезжал три-четыре раза в неделю, отгонял от него мошенников из фирмы «Здоровье нации» и черных риэлторов, подкупал продукты, готовил, менял постельное белье, а потом, когда я уже ничем не мог ему помочь...

Вспомнил, как выносил из дома его вещи — последние свидетельства материальной жизни. Я знал, как это делается. Шесть лет до того я выносил мамины вещи. Это упражнение у мусорных контейнеров пострашнее кладбищенского будет. Тут ритуал устанавливаешь сам, посреди обычной городской суеты, без оглядки на предков и ближайшую родню. Сам решаешь, выносить ли тебе на помойку китель черного цвета с нашивками или нет. Я вот таких сил в себе не обнаружил, поскреб-поскреб и не нашел, китель до сих пор висит в отцовском шкафу на Речном вокзале, на Ленинградском шоссе.

Автобус в правом ряду, но вправо не сворачивает, едет прямо под мост.

Но даже если бы он и свернул направо и я бы все равно не доехал до Бизерты, разочарований было бы куда больше.

Я знаю, мои родители не будут спокойны *там*, если я не смогу быть счастлив здесь. Я знаю это потому, что сам отец и сам все прекрасно понимаю. Знаю, как связаны те, кто *там*, с теми, кто здесь. Я просил прямого пути, вот и еду, никуда не сворачивая, еду прямо, еду туда, куда посылают меня годы, прожитые средь гама и суеты. Я не ощущаю течения времени, кажется, навечно застрял на сцене... Я хочу научиться радоваться доставшейся мне небольшой роли, а еще — радоваться тому, что всегда готов заменить «Ом» на «Ом».

Показалось, крикнул, как всегда жизнеутверждающе, один из моих смартфонов, завибрировал аккуратно возле ноющего сердца. Достал оба проверить. Возможно, то была какая-то внутренняя жизнь девайсов в отрыве от их пользователя. По крайней мере, сообщений никаких. Ложная тревога. Но я на всякий случай, раз уж достал телефоны, все же решил заглянуть в свою почту, навестить друзей по Фейсбуку.

Красных значков с циферками не было, только тизер все допытывался: «О чем вы думаете? О чем вы думаете?» — «Да ни о чем. Живу себе и все. Мало что ли?» Вот Бей меня бы понял, Бей бы похвалил. Провел бы очередное очистительное занятие, расположившись сразу на двух персидских ковриках, высланных на деревянном полу крестом.

Капалабхати... резкие короткие выдохи... подтягиваем низ живота... сорок пять пятьдесят раз закрываю глаза прижимаю пупок к позвоночнику и резко выталкиваю наружу получается будто себя из самого себя возможно легкое головокружение мера предосторожности бхастрика глубокий активный вдох и выдох затем медленный плавный вдох и задерживаем дыхание без насилия над собой спину держим прямо макушкой тянемся в вечность глубокие мышцы прорабатываются только в статике пахнет сандалом доносятся звуки ситара слышны чьи то тихие шаги мимо ковриков это видно Сабинка наша опять опоздала на занятие она бедная ездит йожиться к нам аж с Восьмого километра у нас никто не входит в бак асану с разбега некоторым товарищам советую снять носки ноги имеют свойство разъезжаться в носках читуранга шван асана читуранга шван асана счет в уме вчера забыли и завтра не помним врикша асана держим баланс привычка формируется двадцать один день двадцать второй ваш но помните мир не станет вашим пока вы не станете миром кто может закрывает глаза кто не может смотрит в одну точку ситар тоненько ткет прозрачное полотно в своей далекой медленной Индии.

Заметив, что, как только я подумал о Бее, городской пейзаж за окном автобуса стал хуже считываться мною, а после и вовсе тянулся одним серым пятном, я поспешил оградить себя от прошлого. В отпуске, как в хорошем романе, возвращение к прошлому должно быть обосновано и строго дозировано, быть может, его вообще следует избегать. Следует? Но как? Как его остановить, если даже в путешествии жизнь не вперед летит, а назад? Я так часто думаю о прошлом, что кажется, оглянись я назад, а его и след простыл.

Я отрываю глаза от стертого, точно ластиком, пейзажа, а они все еще там, в прошлом, глаза мои. И кажется, столько непройденных асан до медного звука тибетских тарелочек... До последнего «Ом».

Автобус объезжает «Биг-Бен» и останавливается справа.

Мы выходим возле низкорослой четырехгранной башни, увенчанной часами на каждой из граней и окруженной фонтаном и красными флагами с полумесяцем. Глядя на нее, я почему-то думаю, что она напоминает мои четырехчастные интервью в журнале.

Осмотревшись, делаю вывод: коррозия башне была обеспечена с первого же дня. И с этим уже ничего нельзя поделать, хоть называй день 7 ноября 1987 года Днем Преобразования, хоть не называй.

Гид отпускает нас гулять по центральной улице города, только просит сверить свои часы с башенными. Не знаю, как со всех четырех сторон — я башню не обходил — но с двух они показывают разное время. Правда, разница невелика — ровно десять минут.

— В целом тут есть где разгуляться. Но... — объясняет, клацая ногтем по своему циферблату, наш гид, — через два часа встречаемся на другой стороне, возле банка, здесь остановка запрещена. Через два часа, господа! И никаких «А вот у нас в Москве принято опаздывать на десять-пятнадцать минут». — Щурится и вдаль смотрит. — Там, на конце — Медина, за воротами Баб эль-Бахар. Вон там — Нотр-Дам де Тунис, на другой стороне Французское посольство и муниципальный театр... Много магазинов, кафе, везде отличный кофе... Говорить можно по-французски и по-английски, если на пальцах — тоже ничего страшного, вас поймут... Вы знаете, где находится посольство России? Я тоже не знаю. Вперед, друзья мои, время не ждет!.. Всегда лучше попробовать горячее, чем холодное.

Кажется, будто он только и ждет конца своей миссии. Какой-то весь смазанный стал, будто его сейчас редактируют в фотошопе.

Правила дорожного движения, похоже, никто не соблюдает. Мы долго не могли перейти на другую сторону дороги. Я посмотрел, как тунисцы кидаются прямо на капоты автомобилей, и последовал их примеру: не обращая внимания на ругательные гудки, остановил собою белый «рено» и медленно пошел на «форд», чтобы вослед мне успели проскочить жена с дочерью. Впрочем, здесь все делается медленно. Такое впечатление, что все живут с «широко закрытыми глазами» и скоро, очень скоро твои глаза ничем не будут отличаться от их глаз.

Авеню Бургибы, до революции Авеню Жюль-Ферри — широкая лента в полтора километра от «Биг-Бена» до Французских ворот (*Porte de France*) или Баб эль-Бахар, рассеченная аллеей, по обе стороны которой растут новенькие стриженные деревца. (Дочь спросила меня, что это за деревья, я сказал: посмотри в интернете, она сходу обиделась и не хочет идти рядом со мной, а жена просит, чтобы я не спускал с нее глаз. На самом деле, я ни на секунду не упускаю из виду ни жену, ни дочь. Если надо кого-то легонько подтолкнуть, подталкиваю. Должно быть, со стороны я похож на частного детектива или товарища в штатском из какого-то там управления.)

Клаксоны автомобилей, прилипчивые шлягеры мобильных телефонов, гомон справа и слева такой, словно ты весной ранней снял себе местечко на облюбованной воробьями ветке, «чирик» тебе в ухо.

Авеню Бургибы по своему архитектурному замыслу напоминает все центральные улицы европейских столиц. Тут не поймешь, в Африке ты или в Европе, в Париже или в Баку. Авеню Хабиба Бургибы напоминает и Унтер-ден-Линден, и Прикоп, и Тверской бульвар с той лишь разницей, что ни в Москве, ни в Праге, ни в Берлине столики летних кафе не стоят посреди тротуара, препятствуя движению прохожих. Здесь приходится лавировать между посетителями кафе, наткаться на официанта, ждать, пока он раскрутится с подносом у твоей головы, раскланяется с посетителем, опустит стакан с содовой на картонку или ласково распакует пачку сигарет... Тут ложечка на чайном блюде кажется твоей и кусочек сахара, и набитая окурками пепельница наследника Ганнибала с газетой в руках тоже — твоя, а не его. И платить тебе придется, и чаевые оставлять. (На каком языке говорить будешь?) Тут повсюду пахнет кофе, повсюду парфюмерные и табачные клубы. Толпа меж столиков течет так густо и так медленно, что можно услышать и подмышечный душок, и свист прокуренных легких, и голоса, стрекочущие что-то владельцам мобильных телефонов.

Похоже, люди здесь живут без того внутреннего колебания, того чувства, которое возникает, когда тебе, черт знает почему, навязывают вину несмотря на то, что прекрасно понимают, что ты, именно ты, ни в чем не виноват. Эти люди далеки от привычной нам самомистификации, они живут, не стараясь понять, они живут, стараясь принять... Они точно знают: ни один вывод, ни одно положение, ни одна идея не способны управлять миром. И от мира все эти идеи защищаются лишь сенатом, лишь авторским правом — «Я, Катон, тут был и я сказал» — да и то временно, пока одну идею не сменит другая, возвращающая нас к очередному, раз уже прожитому, этапу прошлого.

Большинство местных одеты в европейское платье по последней моде. Краем глаза я даже зацепил тунисских панков на углу какой-то гостиницы, напомнившей мне гостиницу «Минск» на Тверской времен распада СССР. А вот иностранцев в это время года совсем немного. Должно быть, все они сейчас кучкуются возле Нотр-Дам де Тунис.

Если честно, я ожидал от собора большего: все ж таки «Нотр-Дам», хотя и «де Тунис». Я ждал трех порталов и розы над входом, гаргулий и химер, но обманулся, ничего этого не было. Небольшой собор, стиснутый с двух сторон современными коробочками, за столько лет никак не вытребовал для себя почетного места. Попасть в него можно было прямо с улицы. Несколько ступенек, и ты уже внутри. Но сейчас сделать это оказалось совсем не просто. Слишком много народу. Могу представить, что тут творится ближе к вечеру летом.

Мы приблизились к ступенькам, остановились. Жена достала из чехла наш залепленный лейкопластырем «Кэнон», прикинула, как бы ей получше снять панно над входом. Я обернулся: показалось, кто-то следит за мной, поискал взглядом и... снова увидел его.

Магрибчанин стоял, точно страж в преддверии далекого неведомого. Из одного его глаза хлестало светом, надменный рот одновременно улыбался и нашептывал какие-то заклинания.

Глядя на него, я испытывал чувство, будто наблюдаю конец истории, и прикидывал, в какой мере расхождение в десять минут может повлиять на исход событий.

Мехти-ага постоянно твердил нам, что ответы на вопросы, найденные путем долгих размышлений или логических рассуждений, практически всегда оказываются ложными: «Не можешь прорваться к ответу, хотя бы не лги себе, сделай движение вперед: не сердце, так тело подскажет тебе, как быть».

Я послушался мастера, решился, сделал, наконец, то самое «движение вперед»...

— Ты куда? — вскинулась жена. — Мы же потеряемся!..

Я иду прямо на него. Для начала спрошу, сколько сейчас времени, порусски спрошу, а там посмотрим... Посмотрим, на каком языке он ответит. Я по глазу его светоносному все пойму. Все выпытаю, и насчет горячего, и насчет холодного. Успел сделать всего-то пару шагов в его направлении, а он...

Он взял и исчез.

Кидаться в толпу, искать в людском месиве? Нет, не догоню я его, не найду.

Я уже было обреченно развернулся к своим — их бы не потерять из виду — как увидел его на другой стороне, на том месте, где я раньше стоял и с которого начал свое «движение вперед». Будто собор ему помог перелететь.

Он со своей дамой спешит в направлении Медины, оборачиваясь на ходу, и тем самым как бы втягивая меня в погоню.

— Идите скорее.

— Ты можешь объяснить, что происходит? — жена с дочерью переглянулись.

— Да этот, черный... из Магриба...

— Тебе же лечиться надо! — она сказала это так, потому что ее взгляд на меня не подействовал.

— Приеду в Москву, буду лечиться.

— Успокоил, нечего сказать.

Здесь народу поменьше, скрыться от меня так просто у магрибчанина вряд ли получится. Он, видно, почувствовал, что от намерения во что бы то ни стало нагнать его я уже отказался. Понял, что я решил пока лишь следить за ним, и дает мне возможность поиграть в Лоуренса Аравийского. Меня это устраивает, держать его в поле зрения не составляет большого труда: черный кафтан и черный ихрам с белым игалем видны издали, к тому же и жене с дочерью моя новая стратегия больше по душе.

В магазины магрибчанин не собирается. Мы тоже. Он идет, будто по своим делам. Срочным. И хоть большим запасом времени он, похоже, не располагает, они с дамой могут так дойти до самых ворот, разделяющих старую и новую части Туниса. Кстати, они уже видны, эти ворота, эти Баб эль-Бахар, и красный флаг с полумесяцем над ними тоже виден; видны торговцы, жестикулирующие на границе старого и нового, прошлого и настоящего; фонари, пальмы, жилой дом с маленькими балконами в расчете на двух заядлых курильщиков.

Войдет ли он в Старый город, идти ли мне за ним, хватит ли у нас в этом случае времени вернуться? Вопросы отпали сами собою, потому что у ворот я его снова потерял.

Стою, кручу головой по сторонам, надеясь еще на что-то: «Где это чертovo черное пятно с белым обводом на голове?!» И тут вместо магрибчанина передо мною прорастают старые знакомицы — кобылицы-кальянщицы. В отеле я их не видел несколько дней и успел про них забыть.

Родная провинция нигде так больше не провинция, как в туристических поездках. Они в линялых джинсовых шортах и в одинаковых белых майках с портретами Марлона Брандо в роли «Крестного отца». Они едят одинаковое мороженое в рожках и, зеркально отражая друг друга, точно в театральной студии, снимают ворота на свои телефоны. Они снимают их как-то походя, не для себя и не для всепрощающих ванюшек, ожидающих их возвращения в Россию, — но с единственной целью привлечь внимание. Догадываюсь даже, чье внимание, и уже спешу найти связь между оscarоносным доном, шалыми девицами и очередным исчезновением черного человека.

Все рассыпается, помочь может только подсказка. Слышу, одна интересуется у другой, проходясь кончиком языка по подтекающему сливочному шарiku:

— ...А как эту хариссу используют, знаешь?

А та ей по методике Станиславского и с одобрением Корлеоне:

— У меня баночка, на ней такие красные жгучие перчики... — И сама, точно «пэрчик жгучий», горит и пожар всем обещает, включая старика Брандо.

Я поздоровался с ними. Зачем? Не знаю. Может, почувствовал, к концу дело идет, так сказать, последний поворот колеса перед эпилогом, к тому же я никак не мог предположить, что девицы посмотрят на меня, как на ненормального, и тут же повернутся ко мне спинами. Нет, эти жертвы глянцевого журналов, озабоченные поиском «крестных отцов», вне той системы, которую предложил мне Бей.

— Ну что, — спрашиваю у жены, — пойдем в Старый город?

— Думаю, он такой же, как в Суссе.

— Тогда по другой стороне назад и выйдем к банку, к нашему автобусу?..

— Папа, я узнала, как называются эти деревья на бульваре, — дочь

сбрасывает один наушник, показывает на смартфоне википедийную ссылку, но бесполезно, без очков я ничего не вижу. — Это — фикусы.

— Да ну!.. — Нет, я правда удивлен, разве фикусы бывают такими?

С другой стороны, почему бы и нет. Неужели я, искатель на шестом десятке, так и не понял, что мир не обязан во всем следовать моим представлениям о нем.

Пошли назад. Аллея с фикусами теперь сопровождала нас слева, а витрины магазинов — справа. Я еще какое-то время оглядывался: а вдруг теперь магрибчанин будет за мною гнаться. Но никто за мною не следил, никто не наступал на пятки.

Сначала мы зашли в универмаг, посмотреть, чем тунисцы лакомятся, чем заправляют свои вместительные средиземноморские желудки. Думали, будет много рыбы, ошиблись, выбор невелик. Так называемые «исходные продукты» стоили совсем дешево, сладости на любой кошелек; купили кус-куса, жена сказала, что хочет приготовить нам на Новый год кус-кус по-керкенски с кальмарами, фаршированными рисом и зеленью, а потом заглянули в пассаж.

В торговой галерее едва слышно тянуло кожей, табаком, кофе и чужой осенью. Мы выбрали кофе и чужую осень.

Над головами четырех продавщиц трое круглых полосатых часов тикали полосатым временем — Нью-Йорк, Лондон, Париж, — связанные общей идеей драматургической гравитации, пасовали кварцевый сюжет в хронологической последовательности, и только четвертый кругляш с белым циферблатом против трех черно-полосатых обходился без стрелок и названий столиц мира, зато заманивал легкомысленных персонажей чашечкой дымящегося кофе с пенкой в виде веселого молочного смайлика, подводившего черту подо всем тем, что удалось отложить, остановить.

Любезная продавщица с тоненьким голоском, будто из кукольной мембраны, сначала дала нам понюхать и погрызть несколько сортов кофе, а после долго объясняла по-французски, что тот кофе, который мы выбрали очень-очень горький и к нему хорошо было бы прикупить полкило другого, чтобы во время приготовления смешивать их в разных пропорциях в зависимости от времени суток. В результате она отсыпала нам того и другого в крепкие бумажные пакеты. Я хотел положить их в свой рюкзак, но последнее, что в нем поместилось, были две упаковки кус-куса. Девушка улыбнулась и протянула мне целлофановый пакет с фирменным знаком — «00:00». «От кофе никогда не отказываются, — снова вспомнил я Бея, — в особенности на переходах из одного состояния в другое».

Мы дошли до угла дома, практически подошли к французскому посольству. И тут неподалеку от пешеходной дорожки — людское завихрение.

Я сначала подумал, демонстрация какая-нибудь, говорил же нам гид: «Тунис — свободная птица», потом гляжу, нет, драка, обычная уличная драка, да еще с привлечением женщин. (Вон, как они голоса свирепо, как улюлюкают!..) Ну, и где полиция? Место-то — самый центр, как сказала дочь: «Центрее не бывает». Почему солдаты, охраняющие французское посольство, никак не реагируют? Их же тут не меньше двух взводов...

— Стой, никуда не ходи! — кричит жена, но я не слышу ее, я уже иду, да что там иду, — я бегу, подгоняемый моим дублером. Даже не заметил, как просыпаются на плитку кофейные зерна после столкновения с кем-то. С кем-то?! Это же был он — Черный. Я хотел остановиться, хотел крикнуть ему: «Бей?» Нет, не так надо было мне крикнуть: «Мастер!» Но почему-то даже не остановился.

Не могло быть никаких сомнений: человек, которого трепала толпа, был не кто иной, как отец-основатель и главный редактор популярного интернет-ресурса «Час погрома».

Мне кажется, если бы не мое безоговорочное доверие к мастеру, пусть даже и бороздившему сегодня далекие миры, я бы определенно слетел с катушек. А так все губительные вопросы вроде: «Как могло так случиться, если такого в принципе никак не может быть?» отпадали сами собой и, как я полагаю, не с одной лишь целью самозащиты. Так что мысль сама упрямо зацепилась за отпущенные мне свыше десять минут, за того, чью тень, чей образ я преследовал, точно гончая с аристократических шпалер.

Конечно, лицо Доминика Дагера съехало в ухаб, но взгляд по-прежнему оставался таким, каким я запомнил его на присланной мне фотографии, и это несмотря на то, что Дагера безостановочно пихали, вспахивали, рвали на куски, а те, кто не мог до него добраться, осыпали особенными восточными проклятиями, после которых выжить и без побоев не представляется возможным.

Кожаная куртка Дагера была разорвана в клочья, с живота свисал широкий пояс, начиненный взрывчаткой, точнее даже не пояс, а какая-то «подушка под голову», облепленная серым скотчем, от которой тянулся оборванный красный провод... Вид у него нездешний и на мусульманина он не похож, но разве не писал наш колумнист, тот самый аналитик, когда-то предостерегший нас от поездки на Джербу, что новообращенные террористы-одиночки — это ноу-хау джихадистов, и с ними очень тяжело бороться, практически невозможно.

Он пригибается, он поднимает и опускает холеные руки, взмахивает ими, точно птица крыльями, получая тычки и пинки вновь и вновь. Его ненавидят, впрочем, его всегда ненавидели, и он всегда ненавидел тех, кто ненавидел его, — этих мелких, никчемных, суевливых существ, уверенных в том, что, если придет какой-нибудь Катон, жизнь сразу же наладится. Он убежден, что хабальство вперемешку со страхом одиночества и непомерная тяга к жирным маслинам составляют суть любой толпы, ее основу во все времена, и, хоть себя к этой воющей, к этой смердящей толпе Дагер никогда не причисляет, себя он ненавидит так же неистово, так же люто. Всегда хотел кому-то что-то доказать, сначала учителям и друзьям, потом поклонникам сайта «Час погрома». И хоть он, Доминик Дагер, не нашел в себе сил подорваться, все равно он заслуживает большего уважения, быть может, даже преклонения, ведь он умеет не только рояли настраивать, но еще и родную, во всем единогласную толпу заводить. Было бы только против кого. Лучше всего спускать ее на ущемленных в правах пришлых, еще лучше — на тех, кого называют «другие», но сами они поверили в то, что они уже «свои» и дети их, по границам разбросанные, тоже «свои». Да мало ли кто может угодить в «другие» сегодня. Толпа, она такая. Главное, вовремя разжечь ненависть и найти ей выход. Но однажды этот контролируемый выход, этот узенький проход в историю может оказаться замурованным новым хозяином толпы, очередным орудием возмездия и справедливости, очередным борцом с мультикультурализмом, загнивающей Европой, овощными базами, и тогда ненависть, разогнавшись на спуске, приведет к начиненной тротилом подушке, к сенатору Катону, заявившему однажды: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam».

Я чувствовал, как дрожит все внутри у Доминика Дагера, и эта дрожь передавалась и мне. Идти сейчас против разъяренной толпы было равносильно самоубийству, но стоять и наблюдать или повернуть к своим я тоже не мог, я был словно ввинчен в то место, на котором оказался. Мой дублер подсказал мне, что нет никаких вариантов, кроме одного: «Старик, тебе еще крупно повезло, что

Дагер успел ответить на твои вопросы, и ты сможешь сдать материал в номер прежде, чем тебя успеет расстрелять из своего «браунинга» ответсекретарь». И когда я осознал вполне, что от меня более ничего не зависит, и все, что мне остается, это принять мир таким, каков он есть, толпа вдруг остановилась, в ней образовались прорехи, кое-где даже тени прорисовывались. Кто-то тут же закурил в просвете, кто-то потянулся к термосу, отвинчивая крышку-стакан, кто-то в шутку расправился с мухой, хлопнув газетой по голове своего приятеля-массовика, с толком уминающего бутерброд...

Дагер тоже разогнулся, почувствовал себя обычным человеком. Хотя нет, не совсем обычным: по всему видать, он здесь сходил за звезду, еще несколько съемочных дней — и его фотография появится на одной из стен кафе «Де Натт». Вон, даже дама к нему подлетела, та самая, что сопровождала повсюду волшебника из Магриба. Освещенная светом прожектора, она поправляла Доминику брови и нос, возвращала на место рот, до того словно побывавший у нее в косметичке.

На другой стороне улочки я заметил несколько автобусов и автокемпинг, оранжевые конусы, толстые черные провода, ползущие по асфальту, точно змеи...

Звукооператор с микрофоном на удочке записывал, как хрустят под ногами людей рассыпавшиеся зерна очень горького кофе. По его лицу я понял, что этот звук показался ему страшно убедительным и должен был понравиться зрителям. А еще в тот самый момент, когда ко мне подошли жена с дочерью, я увидел магрибчанина — или Бея? — честно говоря, я уже совершенно запутался. Он стоял на подножке автокемпинга и взглядом двух разных глаз объявлял мне о том, что с этой минуты позволяет событиям, связанным со мною, идти своим чередом.

— Вот он!.. — сказал я.

— Это же кино снимают, — невозмутимо парировала жена, она еще не заметила, что кофе, который мы так долго выбирали, рассыпался.

— Это сейчас кино снимают, — сказал я, — а тогда...

— «Тогда» — это когда?

Вряд ли мне удалось бы объяснить ей, какую роль в моей жизни сыграли десять минут расхождения во времени. Но мне кажется, жена и без моих объяснений начала все понимать, хоть и сказала: «У тебя точно что-то с головой...»

В автобусе, когда мы возвращались в Монастир, до наших кресел добрался гид. (Он вообще-то не только к нам подходил, он ко всем подваливал, задавая один и тот же вопрос: «Ну как, понравилось?» После чего корректно, без нажима намекал на чаевые себе и водителю: «Кто сколько может, господа, кто сколько может». Просто Чарнота-Ульянов какой-то...) Однако почему-то именно у нас он спросил, видели ли мы, как снимали кино возле французского посольства? Заметив, как я сразу же напрягся — подумал, сказать ему, что не столько снимали, сколько в котле тунисском варили, или все-таки не стоит — он успокоил меня:

— Знаете, люди — везде люди, и у нас, и у вас. И раньше, и теперь. Им всем всегда кажется, что не они такие, жизнь такая. — Он снял свою милитаристскую шляпу и церемонно склонил голову — будто слуга, исполнивший все указания хозяина.

Вот бестия пронируливая, подумал я, отдавая ему двадцать динар за Карфаген и Катона, за Сиди-бу-Саид и дом муфтия Аннаби, за «Биг-Бен» и День Преобразования, за жизнь такую, короче говоря. Мехти-ага бы меня похвалил, он бы замолвил за меня словечко перед первовосходителями.

Ом!

...Кроме того, последние туристы покинули отель. Остались только косоглазый Шрек с женой, мы и еще несколько человек, которых я помнил по самолету. Пляж опустел, было слышно, как трудится море и как трудятся люди возле него.

Небольшой трактор собирал скатанные в шарики водоросли, оставляя петляющий сырой след там, где детвора еще вчера строила замки, слесарь с подручным отключали воду в кранах возле туалета и раздевалок, двое холеных мужчин обсуждали что-то на одной ноте с администратором отеля возле берегового кафе, старик в красной феске неспешно вел верблюда по самой кромке моря, словно задерживал насквозь прозрачный занавес.

Приметив нас, расположившихся под большим соломенным зонтом, он остановился и что-то крикнул нам. Из-за гула трактора и шума моря я не расслышал его и, поскольку он продолжал стоять, уставившись на нас, я отправился узнать, чего он хочет.

Едва подошел к нему и поздоровался, он немедленно предложил за полцены все те поделки, которыми полны здесь рынки и ювелирные магазины.

Я ничего не собирался покупать и объяснил это сделанным из рук крестом, старик тем не менее продолжал выкладывать товар прямо на песок.

Прибежала дочь, она, вероятно, решила, что мне нужен ее английский.

Не знаю, почему мы с ней из всего, что было в двух больших кожаных сумках, выбрали деревянную маску и глиняный фонарь; почему, не сговариваясь, тут же определили им место в нашем доме и почему жена, за которой обычно остается решающее слово, не перечила нам, но сразу согласилась, и это после рассыпавшегося кофе.

— Да, фонарь будет стоять на кухонном столе, а маску ты повесишь...

— Знаю, знаю... Пусть отгоняет злых духов...

Пока жена с дочерью разбирались с фонарем: куда ставить свечу и откуда будет проникать свет, я вспоминал, как мы отмечали вчера в ресторане отеля Рас-ас-Сана Новый 1435 год по мусульманскому летосчислению, и думал о тех открытиях, которые изменили в свое время ход человеческой истории: обнаружении любви и смерти и их связанности с рождением детей и верой в Бога, о первом добытом огне, прирученном животном и первых посевных, о виноградной лозе, пущенной стреле, стремени, попытке записать звук, а затем и слово... Мой список оказался столь длинным, что прежде чем я успел вспомнить об изобретении ключа и замка, старик, продавший нам всего за несколько динар маску и фонарь, успел превратиться в прорастающий стебелек с красной точечкой вместо фески. Я представил себе тот момент, когда, преодолев тысячи километров, дважды проверну ключ в замочной скважине, толкну нашу дверь и втяну ноздрями застоявшийся запах дома. О чем подумаю я тогда? О перезагрузке в Тунисе, о том, что запах выброшенных морем травяных шариков или растертых в ладонях маслин не сравнить с запахом дома? Как бы там ни было, после того, что случилось, быть таким, как прежде, я уже не смогу. Да и Бея, нашего Мехти, похоже, больше никогда не увижу, ни в каком из его воплощений. Сдается мне, что игра окончена. Еще немного, и она станет случаем в моей жизни. Станет ли тем опытом, на который можно опереться или передать другому, тоже какому-нибудь «йск млкннн», теперь зависит только от меня. Но тут, похоже, нет ничего сложного, это как если бы я в двенадцатый раз пересмотрел «Анжелику, маркизу ангелов».

Ян Бруштейн

Воробьиное слово

1961-й

В четыре — очередь за хлебом,
И там встречали мы рассвет.
Я был худым, большим, нелепым,
Тринадцати лохматых лет.
Старухи, завернувшись в шали,
Приткнули плечики к стене.
Они, как лошади, дремали,
Не помышляя обо мне.
Похмельный инвалид Володя
Гармошку тихо тербил
И крепко материл уродин,
Кто в этом всём виновен был.
С подвывом он кричал и с болью,
Обрубок давешней войны,
Что загубили Ставрополье,
Былую житницу страны!

Я дома повторял: «Вот гады!...»
Но стыд взрывался горячо:
Я ж помнил мамину блокаду
И папин Невский пятачок.
Горбушку посолив покруче
И крошки слизывая с рук,
В окно смотрел я на могучий
И равнодушный к нам Машук,
Мычал фальшиво Окуджаву,
Стихи лелеял в голове...

Кончалась оттепель в державной,
Пока неведомой Москве.

Бруштейн Ян Борисович — поэт и прозаик. Родился в 1947 г. в Ленинграде. Кандидат искусствоведения. Работал журналистом, преподавателем, возглавлял региональный медиа холдинг. Автор книги компьютерной арт-графики и стихов «Карта туманных мест» (2006), многих поэтических сборников, в том числе «Планета Снегирь» (М., 2011), «Тоскана на Нерли» (М., 2011), «Город дорог» (М., 2012), «Керосиновое солнце» (М., 2015). Последняя публикация в «ДН» — № 6 за 2012 г. Живет в г. Иваново.

Галки

И кто бы знал, куда иду,
Когда тревожит ветер с юга,
И небо злое, как дерюга,
Забывая в моём саду.
Наш дом сегодня — сирота,
Он дремлет и почти не дышит,
И видит сны под старой крышей,
А в них — простор и пустота.
Меня там нет. Собачий след
Засыпан временем и снегом.
Я — в городе, сыром и пегом,
Где первый нем, а третий слеп.
Второму — мне — не по себе.
Зима растает, и не жалко...
А по весне вернутся галки
И будут жить в печной трубе.

Одесса

Оставь Одессу одесную,
Когда пойдёшь по облакам,
И покидая твердь земную,
Последний опрокинь стакан,
И где-то там, за Ильичёвском,
Глоток занюхай коркой чёрствой,
И сладким духом закуси,
Поскольку берег жарит рыбку,
И прёт кефали запах зыбкий,
А это — Господи, спаси!

И наконец-то растворится
Вкус гари, боли и беды,
И черноморская столица
Солёной изопьёт воды.
Её почувствуешь спиной —
С пожарной пеной, адским зноем,
А птиц крикливая орда
Тебя окликнет многократно...
Но как бы кто ни звал обратно,
Ты не вернёшься никогда.

Валуны

До первого света, до мёртвой луны,
До самого снежного часа,
Искал и ворочал свои валуны —
Попробуй-ка тут не отчайся!
Учил нас когда-то палван¹ Мухаммад,
Солдатиков первого года:
«Ворочая камни, не требуй наград,
Старайся во славу народа!»
Веками лежат в придорожной пыли
Под небом, взирающим строго,
И кто оторвёт их от этой земли? —
Вросли и уснули до срока.
Ворочаю ныне шершавый мой стих,
С ладоней сдирается кожа...
Слова мои, камни, нет веса у них,
Но все — неподъёмная ноша!

¹ Палван (*тюрк.*) — силач, богатырь.

Ерофей Павлович

Сбежать бы туда, где снег опаловый,
Где сосны такого роста, что голову держи,
Там станция есть, Ерофей Павлович,
Высокое небо, низкие этажи.
Мимо, мимо, на Амур везли меня,
А потом — обратно, хорошо что головой вперёд.
Три дня здесь стояли — забита линия,
И любопытствовал местный народ:
Что за вагон, гудящий стонами,
И, хотя нам не велели высовываться из окон,
Понесли пирожки — корзинами, молоко — бидонами,
А то и самогон, замаскированный рюкзаком.
Санитарка Полинька, с округлой речью,
С маленькой намозоленной рукой,
Говорила мне: «Пей молоко, еврейчик,
Поправляйся, а то ведь совсем никакой..»
А я мычал, не справляясь со словом,
Я нащупывал его онемевшим языком,
Я хотел ей сказать много такого,
С чем ещё и не был толком знаком.
В мешковатом халате тоненькая фигурка...
Вот и дёрнулся поезд, и все дела.
Под мостом бормотала блатная река Урка,
Что-то по фене, молилась или кляла.

* * *

Скажу воробьиное слово
И выйду в пространство окна,
Туда, где ни чести, ни славы,
А только свобода одна,
Туда, где вранья ни на йоту,
Где можно забыть о былом,
Где главная в жизни забота —
Размахивать слабым крылом!

Владимир Мощенко

Последний рейс машиниста Новикова

Повесть

Природа — тот же Рим, и кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить, —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить.

Осип Мандельштам

ВМЕСТО ПРОЛОГА — НЕСКОЛЬКО СЛОВ, на мой взгляд, очень важных для понимания этой маленькой повести, к которой я не обратился бы во второй раз, если б не отыскал в архиве касающиеся ее письма Юрия Васильевича Грунина, автора великих строк: «...А угодил я в царство мрака, в загон, где был на все запрет — в явь сюрреального ГУЛАГа: ни то ни се — на десять лет». Не сомневаюсь: придет пора, и многое из Юрия Грунина станет достоянием массового читателя, а кое-что войдет и в хрестоматии. О нем довелось мне рассказывать в книге «Голоса исчезают — музыка остается»¹, в главе «Джезказган. Степлаг. Зэк № СО-654». Переписка с ним, на которого еще в 90-е обратили внимание Евгений Евтушенко и Дмитрий Быков, человеком яркой, драматичнейшей судьбы, талантливым писателем, художником и архитектором, позволила мне кое-что переосмыслить в моем далеком прошлом, в моем детстве.

Грунин в шутку называл меня «земляком», потому что эвакуация в сорок первом году забросила мою семью (кроме отца) «на край света», в Джезказган, где Грунин после немецкого концлагеря, получив «десяточку», попал в новую неволю (из плена — в плен). Я послал ему черновик повестушки, и она его задела страницами о Джезказгане и Боровом (том самом, что между Астаной и горами Кокшетау).

Мощенко Владимир Николаевич — поэт, прозаик, литературный критик. Родился в 1932 г. на Украине, в г. Артемовске (в старинном Бахмуте). Печатается как поэт с 1955 г. Молодость связана с Грузией, где вышла первая книга стихов «Встречный ветер» (1962). В начале 1960-х окончил Литинститут. Работал в окружных военных газетах, был начальником отдела центрального аппарата МВД и секретарем комиссии по законности. Переводил в основном грузинских и северокавказских поэтов, среди них — Галактион Табидзе и др. Автор более 10 книг стихов и прозы, в т.ч., «Оползень» (М., 2005), «Сто стихотворений» (М., 2014), книг прозы «Блюз для Агнешки» (М., 2007), «Голоса исчезают — музыка остается» (М., 2015) и др. Постоянный автор журнала «Дружба народов». Живет в Москве.

¹ «Голоса исчезают — музыка остается»: Роман. — М.: Изд-во «Рипол Классик», 2015.

Прошу Вас, — писал он, — поработайте еще над повестью, не откладывайте в долгий ящик. Хорошо, что Вы обратились к нашим (!!! — В.М.) краям. Видно, заноза тех треклятых лет крепко засела в Вас. Хочется, чтобы Вы ощутили исходник рассказа во всей полноте. Может, Вам пригодятся вот такие сведения. Одним из первопроходцев побывал тут некий А. Дженкинсон, сообщивший московским князьям о «кассаках», которые живут в степях, где нет ни городов, ни домов. В 1701 году по предписанию Петра I Семеном Ульяновичем Ремезовым был составлен «чертеж земли сей безводной и малопроезжимой каменной степи». В горнячком поселке Джезды в музее истории горного и плавильного дела хранится книга путешественника капитана Николая Рычкова о Киргиз-Кайсацкой степи (1771), где описаны нищета и голод, доброта и отсталость местных жителей, плохо одетых, не занимавшихся сельским хозяйством (питались, как древние люди, в основном мясом диких зверей, на которых охотились). Рычков заметил, что на берегу речки Кенгир «великое множество медных руд, копанных древними обитателями <...>, такожде находишь признаки золотой и серебряной руды»¹.

Обратите внимание (в детстве Вы этого не могли сделать основательно), что вокруг Джезказгана всюду — холмы, увалы, сопки, курганы; климат здесь резко континентальный. Представляю, каково оказаться в этих краях мальчишке девяти лет из украинского городка, утопающего в садах. Что касается меня, — я привык к этой местности, к этим людям, к этому климату. Если Россия не приняла — что ж делать...

Нечаянно (но такова жизнь!) у Вас получился сильный контраст: Джезказган с его Спецлагом, колючей проволокой и вышками с охранниками — и вдруг Боровое, рай земной. Вот что писал о нем в 1878 году географ и путешественник И.Я. Слепцов: «...На небольшом сравнительно клочке земли, верст двадцать в диаметре, горные утесы, напоминающие Кавказ и Алтай, поросшие хвоей, вошли в чудное сочетание со стихией вод, которая представляет здесь множество крупных и мелких озер, с водой, прозрачной как кристалл, и окруженных баррикадами скал самых фантастических очертаний — в виде грибов, церквей, столбов, разрушенных крыш и пр.»

Понравился Ваш главный герой — Новиков. Я перед Вашим рассказом — буквально за день за два — читал гениальную новеллу «В прекрасном и яростном мире» Андрея Платонова; там у меня вызвал восхищение следователь, который не похож на своих сотоварищей, он не покривил душой, решая судьбу машиниста Мальцева, понял его драму и пожалел его... И, признаюсь Вам, подумал: какой-то он ненатуральный, что ли. Неужто я ошибаюсь?! Если бы действительно такими были они, вершители наших судеб! Мне попадались совсем другие. Все как на одно лицо. Вот, прошу Вас, представьте себе репатриационный лагерь в германском городе Бютцове, куда нас, военноплен-

¹ В брошюре «Спина земли», изданной в Казахстане в 1999 году, он писал, что сюда и пригнали эзков, освобожденных из немецкого плена, как дармовую рабсилу. «Что ж, буду работать не для качества, а для нормы... Заключенному нужна лишь видимость выполненной работы, как и охране, и начальству — до самых верхов, до самого шалмана а Кремле. Таков весь подневольный труд — не по специальности, не по желанию, не по найму, а в рабских условиях. Такой труд не может быть в радость, не может быть полноценным, а будет всегда халтурой ради показухи и отчетности. И не может быть в лагерях перековки, которой умилялся Горький. А неприязненное отношение к труду прорвется через проволоку лагерей и постепенно охватит всю страну видимостью трудовых побед, потоком незаслуженных наград. И это в конце концов обернется трагедией Чернобыля».

ных, направили после освобождения англичанами. Надо ли говорить, какой надеждой преисполнился я, да и все, кто тогда со мной был! На что мы надеялись? Разберутся. Не станут навешивать ярлыки. Отнесутся к нам по-человечески, справедливо. Свои же — к своим. Да не тут-то было. В их глазах читалась брезгливость, даже нет — полное равнодушие. Граждане начальники. Они — откормленные, вооруженные, читающие газеты и даже иногда журналы, слушающие радио, спящие со своими и чужими женщинами, уезжающие в отпуска и получающие премии... Они виделись себе по сравнению с нами привилегированной кастой. Они или всегда и во всем правы в собственном мнении, или снисходительно прощают себе неправоту над нами. Ведь мы для них — голодные, слабые, грязные, стандартные, пронумерованные нелюди, низшие существа — вне закона, вне милосердия.

Я, зэк со стажем, подтверждаю, что судьба Вашего машиниста более типична, нежели судьба машиниста Мальцева из «Прекрасного и яростного мира».

Я случайно познакомился с интересным отчетом — это как лыко в строку: «С первых дней войны деятельность транспортной прокуратуры была перестроена. Изменился режим работы, отменены отпуска. Резко возросла требовательность к исполнению служебных обязанностей, соблюдению трудовой и воинской дисциплины. Любые проявления «либерализма» и безответственности, нарушения требований приказов Прокурора Союза ССР жестко наказывались. Выполнять поставленные задачи приходилось в условиях острого дефицита кадров...» (Если надо, пришлю полный текст.)

Ну что тут добавить? Ведь все сказано. Проявления «либерализма» жестко наказывать.

Все! Точка.

Еще раз прошу: не откладывайте дела в долгий ящик. Времена, о которых Вы повествуете, не должны быть забыты. Это наша история.

...И я вернулся к рассказу, о котором говорит Юрий Васильевич. Лишнее убрал. Кое-что добавил. А самое главное — выдумывать ничего не пришлось. Так, если что — по мелочам. И в заключение — хочу не согласиться с мнением любимого писателя Андрея Платонова, новеллу которого припомнил Грунин; оно, это мнение, такое: «Привязанность человека к людям обычно приходит позже его детства». Не знаю, у кого как, но со мной было совсем иначе. Пожалуй, не только со мной.

1

День был морозный, градусов под сорок, но безветренный; буран не предвиделся. Я скользил на лыжах по барханам, занесенным крепким, как чугун, снегом. Барачный поселок Джезказган затерялся где-то вдаль. В незапамятные времена здесь находился аул Бекболат со своим десятком юрт. Я ощущал счастье — и настолько большое, что ощущать его может лишь пацан, каким я был тогда, в декабре сорок первого. Лыжи под мамину расписку мне выдали в школе-семилетке; они остались от кружка «Ворошиловский стрелок»; мужики из кружка (в основном деповские) все ушли на фронт; говорят, что осталось

всего несколько человек из них — те, кого направили охранниками в степлагский поселок Кенгир. Некоторые из оставшихся, дескать, не очень-то обрадовались этому и, по их словам, с большей охотой отправились бы на фронт, бить немцев. Они еще верили, что война затянется ненадолго. На самом деле они ошибались. Вместо хороших новостей приходили похоронки; дня без них не обходилось. Сказать, что я, как взрослые, в полной мере осознавал общую беду, было бы неправдой; просто припаянное к планете идущее на закат багряное солнце, бескрайнее пространство, которое именовалось мелкосопочником, ослепительный снег, уносившая меня куда-то скорость (она — больше всего) приносили радость; вот в чем заключалась правда.

Я сообразил, что скоро начнет темнеть; оглянулся и смог рассмотреть лесопилку — она была на самой окраине поселка и различалась едва-едва. Значит, сообразил я, даже не особо ускоряясь, я вернусь вовремя, и на орехи мне не достанется. В общем, я повернул обратно и держал курс на лесопилку, гордясь собой и почти забыв, что у меня обнаружили цингу. Лыжи скользили очень хорошо; руки не мерзли — тем более, что наша соседка Белла Борисовна, вздыхая, подарила мне варежки, которые когда-то принадлежали ее дочери Василисе. Эти варежки были несколько великоватыми, зато теплыми. Я скользил по снежному насту и вспоминал нашу соседку. Она частенько заглядывала к нам в комнатушку, и мне она нравилась. Даже то в ней нравилось, как шарилась по карманам и говорила, что по привычке ищет курево (так ей курить хотелось). Они с моей матерью были знакомы с давних пор: муж этой, как я считал, пожилой женщины был начальником моего отца по деповской линии, а потом они вместе занимались обкаткой паровозов, и оба они одновременно получили повестки в железнодорожные войска. Да и эвакуировались мы с Беллой Борисовной в одном эшелоне, даже в одном вагоне.

Я думал, что она — старуха из-за ее седых волос, но, как я понимаю теперь, ей и пятидесяти еще не исполнилось; что-то около этого. Ехали в эшелоне вместе с нею дочка, Василиса, с черной косой и черными глазами, и внук, имени которого я не запомнил. У мальчика случилась беда: он чем-то отравился (во всяком случае, было такое мнение), он весь горел. Врачиха в нашем вагоне сказала, что его надо срочно, обязательно положить в больницу; мы тогда приближались к Орску; и как назло, эшелон, подцепив к маневровому паровозу, загнали в какой-то тупик. В Орск доставили нас только к середине следующего дня (кто-то сказал тогда: «Уже ровно двенадцать»). Больница, к сожалению, не понадобилась: мальчика не стало под самое утро. Василиса, взяв на руки умершего малыша, пошла с ним в эвакупункт, то есть на вокзал, чтобы хоть как-то, хоть чем-то помогли, и задержалась там: ей попались, скорее всего, бессердечные люди; вот она без денег, без документов и отстала от эшелона. Когда наш поезд тронулся, Белла Борисовна намеревалась выпрыгнуть на полном ходу, чтобы присоединиться к дочери, но ее силой удержали, не выпустили: она бы насмерть разбилась. Она тут же потеряла сознание...

В Джебказгане она жила надеждой на то, что Василиса все-таки разыщет ее. Подобное уже три-четыре раза случалось: отставшие каким-то образом находились и давали о себе знать. Белла Борисовна привязалась к нам, ей нужно было общаться с кем-нибудь, чтобы не уйти в себя и не сойти с ума. Мою маму называла Марусей и на «ты». Вечерами она рассказывала нам о своей работе в археологической экспедиции, о таинственных рудниках Бахмутской котловины,

об Амвросиевской стоянке, о сокровищах Хомутовской степи и Попового Яра. Я мог слушать ее бесконечно. От нее мне стало известно, что загадки и тайны прошлого — чуть ли не на каждом шагу, и нужно только докапываться до самых глубин...

Никогда не забуду, как она ликовала, когда ее в школу, где я учился, зачислили уборщицей; даже не верила в свою удачу. Ей пообещали карточки на хлеб и ежемесячную зарплату — маленькую, но все-таки.

Однажды мама пожаловалась ей, что у меня начинается цинга.

— Ты показывала его врачу?

— Да, конечно.

— И что, подтвердилось?

— В том-то и дело. Подтвердилось. Я заметила: что-то с ним не так. Устает быстро, в школу не хочет ходить; какая-то сонливость на него нападает. А на деснах у него я кровь заметила однажды; они какими-то рыхлыми мне показались. Вот тогда я испугалась и побежала с ним в лечебный пункт.

Белла Борисовна покачала головой и задержала на мне взгляд.

— Что ж ты так, молодой человек? Да... Надо придумать что-нибудь. А хотя... что тут думать. Вам находиться здесь противопоказано. — Она опять стала искать в карманах теплого халата несуществующие папиросы. — Недаром же тут, в Джезказгане, эков держат — чтобы народонаселение избавить от них. Степлаг он и есть Степлаг. И степь зовется тут Голодная. — Помолчала — и опять: — Скажи, Маруся, а ты Сарымсакова знаешь?

— Нет. А кто он такой?

— Местное начальство. Вроде как председатель поселкового совета. Точно не знаю. Сходи к нему; он человек уважительный, неглупый. Я у него пару раз побывала, просила подключиться к розыскам Василисы. Не отказал, спасибо ему. Он в Акмолинске служил в управлении дороги, потом его сюда перевели, в депо профкомом командовал. А сейчас — видишь, как взлетел. Я тебе точно говорю: он не зверюга какой-нибудь, не такой, как все, он тебя не прогонит.

...Я приближался к лесопилке, проверяя языком десна: а вдруг они солеными стали, да и устал я вдруг. Показались шлагбаум, рельсы и семафоры; к станции медленно и тихо катился снегоочиститель, из кабины которого, как мне почудилось, кто-то помахал рукой в мою сторону. А что касается нашей Беллы Борисовны, то на прошлой неделе, на рассвете, она, как всегда, отправилась в школу, потому что ей следовало привести все в порядок к началу занятий, — а с ночи (что случалось нередко) свирепствовал буран¹. Чтобы в таких условиях люди не сбились с пути, от угла каждого дома до школьного порога протянули канаты: двигайся с их помощью к своей цели — и ты цел будешь, не пропадешь, не свернешь в сторону. Но канат нашей соседке не помог. Тут тогда вот что

¹ Сошлюсь на описание Екеля Сычугова, знающего, что такое буран в Голодной степи: «...Пошли уже третьи сутки их непредвиденного пребывания на буровой. Снаружи бесился буран, нельзя было носа высунуть... Подкрепленный двадцатипятиградусным морозом, а то, возможно, и большим, он закручивал не переставший падать снег и забивал его во все дыры буровой, какие мог только обнаружить. Ветер выл, как стая голодных шакалов, пробиваясь сквозь щели в дверях, и с остервенением рвал тросовые растяжки, которые удерживали двадцатичетырехметровую буровую мачту от падения. Рабочий бурильный снаряд, состоявший из множества металлических труб, лежал верхней частью на дуге мачты. Под непрерывными атаками налетающего ветра он лишь изредка подрагивал...»

произошло: оказывается, у нее отказало сердце, и ее нашли метрах в двухстах от дома уже окоченевшей. И была-то женщина эта, повторяю, не пожилая вовсе. Попрощаться с нею мне не разрешили.

А моя мама ее послушалась и была на приеме у Сарымсакова в соцгородке; он согласился, чтобы завтра она явилась к нему со мной.

Трудно передать, с какой надеждой мы собирались к этому важному человеку на прием. К кому еще обратиться? Ведь не к кому больше. Кругом — зона, лагеря. Встали, не сговариваясь, до зари и оказались у дверей начальства за целый час до назначенного срока. Секретарши у Сарымсакова не было: все-таки война шла, вести с фронта, как я уже говорил, не радовали; не до излишеств тут. Вслед за нами явились еще несколько женщин.

— Видишь, — сказала мама, — зато мы первые. А ты не хотел рано просыпаться.

Я не отозвался; зачем ей напоминать, что проснулись мы одновременно; сидел на скамейке, уставившись в потолок, щупая в кармашке окаменевшую ириску и не решаясь отправить ее себе в рот. Но вот распахнулась дверь, и я увидел Сарымсакова, в шинели, но не военной, и в валенках. Он остановился в дверях, отряхнул снег с меховой шапки, очень внимательно оглядел всех нас и поздоровался. И спросил у моей матери:

— Маруся? Ты вчера у меня была?

— Ну да. Была. Сразу после обеда.

О нас ему рассказывала Белла Борисовна, и она очень нахваливала маму — какая, мол, симпатичная девушка. Ему было очень жалко нашу соседку — по его словам, умницу и беднягу. Надо же, не дождалась дочку, — пришло сообщение: отыскалась Василиса. И вздохнул: а что ей ответить, дочке? И как?

По-русски Сарымсаков говорил почти без акцента. В кабинете было холодно, вода на дне графина замерзла. Он пообещал, что через полчаса растопят печку-буржуйку, чай можно согреть — без сахара, к сожалению. У него была хорошая память, он не забыл, что мой отец — в железнодорожных войсках и что до войны ему приходилось обкатывать паровозы.

А про меня спросил:

— Это твой герой?

— Мой. Конечно, мой.

Сарымсаков стал снимать шинель. И тут я обнаружил, что у него нет правой руки — вернее, по локоть нет.

— Маруся, ты справки не забыла? — спросил он. — Особенно от врачей нужна.

Миг — и все справки, какие были, лежали у него на столе. Он по очереди подносил их прямо к носу, к тяжелым очкам, а ненужные, словно боясь, что их унесет ветром, поддерживал локтем руки с подвернутым рукавом кителя. При этом он ухитрялся что-то говорить, на что-то жаловаться, как будто от нас или еще от кого-то хоть что-то зависело. В конце концов он опять обратился ко мне, уточнил, как это я ухитрился цингу подхватить; да, вздыхал он, дело это нехитрое; при нынешнем-то питании; и лекарств — никаких. Еще сказал, что я могу без зубов остаться, а девочки не любят тех, у кого зубов нет. Допытывался: известно ли мне это, но сомневался, что известно, потому что я шибко мал. В общем, подвел он итог, спасти тебя, мальчик, надо.

И повернулся к маме:

— Маруся, ты, кажется, учительский институт кончала?

Мама не ответила. Она и трех классов церковно-приходской школы не одолела, поскольку рано осталась сиротой. Она, конечно, покраснела и опустила голову.

Но Сарымсаков сделал вид, что не заметил. Диплом показывать не следует: он, в общем, и не требуется. Выяснилось, что маму он прикрепил к вагону-библиотеке. Этот вагон не джезказганский, его по ошибке сюда загнали. Еще не то теперь бывает. А направлен вагон на станцию Курорт Боровое: там много раненых бойцов лечится. Боровое — это по-русски. Сосенный бор там, горы. А по-нашему, по-казахски — Бурабай. Верблюды, значит. Вам потом объяснят. Вот куда вам надо, сказал Сарымсаков. И спросил:

— Поняла?

Он назначил нашу маму заведующей! Мы ушам своим не верили.

— Ответственной будешь, — добавил он.

О Боровом мы, конечно, ничего не слыхали. А Сарымсаков успокоил маму: твой герой быстро поправится. Будешь готовить ему хвойный настой; чего-чего, а хвои там хватает. И для тебя, сказал он, кое-что имеется — это махорка. На вес золота она. Бери и мужу пламенный привет шли на фронт; он под бомбами мосты строит.

Мама поднялась; тут же села — и вновь поднялась; она не могла вымолвить ни слова; у нее не нашлось даже слов благодарности: мешали слезы. Она подтолкнула меня к выходу, но голос Сарымсакова остановил нас:

— Поди сюда, — сказал он мне строго.

И вручил баночку коричневого цвета с наклейкой-надписью: «Витамин С».

2

С документом, полученным от Сарымсакова, мы вдвоем уже вечером отправились на розыски нашего вагона. Мама покидала комнату, в которой мы прожили три месяца, с тревогой. Она часто повторяла: «А вдруг? Что тогда?..» И не сомневалась, что желающих вселиться сюда много — человек пятьдесят. Ждут не дождутся. А кроме того, она при нас сомневалась, что власть Сарымсакова что-нибудь значит для Борового: там у них своих командиров хоть отбавляй. Тем не менее нас так и подмывало поскорее распрощаться с Джезказганом, сесть в *наш* вагон, ощутить его своим, собственным. Нашли его легко. Охранники с винтовками, неведомо откуда взявшиеся, поинтересовались, что это мы тут делаем, но, прочитав справку, успокоились. И увидев вагонные ключи в маминых руках, направились к себе в сторожку. Мы перевели дух; не скажу, что встреча с охранниками не перепугала нас. От таких можно было ждать всякое — да еще в военное время, да еще в наступавших сумерках, да еще на станции. Для них и Сарымсаков начальством не был. Что касается нашего благодетеля, то он дал указание прицепить вагон-библиотеку к составу, направлявшемуся в сторону Борового, и уточнил, что это произойдет скорее всего утром, часов в шесть-семь.

Оказавшись на месте, мы с братишкой прямо в пальто плюхнулись в

служебном купе на полки и заснули, хотя было жестко лежать и всем нам очень хотелось есть.

Разбудил нас грохот, оглушительный лязг буферов; задребезжали стекла в шкафах, где хранились книги. Так мы и покинули Джекказган; позади осталась лесопилка, а затем один за другим замелькали разъезды. Сегодня я могу назвать станции, которые проезжали мы тогда: Теректы, Туйемойнак, Кызылжар, Женыс, Жомарт, Мынадыр, Атасу, Жанаарка. Последнее название поразило меня: мне слышалось в нем имя Жанны д'Арк. А я как раз перед отъездом прочитал книжку Марка Твена¹ об Орлеанской Девственнице. Я спросил маму: неужели об этих местах пишет Марк Твен, хотя сам понимал, что это полная чушь: конечно, там — Франция, а здесь — степь да степь кругом, и какая степь — бесконечная, вся в снегу.

Мог ли я тогда предположить, что мне придется десятилетия спустя приехать сюда в служебную командировку! Вот когда мне объяснили, что «Жанаарка» переводится как «Новая Возрожденная Степь». Поэтично, не правда ли? О ней, окруженный секретарями— переводчиками, вдохновенно пел акын Джамбул Джабаев, о «стадах золотых скакунов», «агатом горящих розах», «хрустальных реках» и «благовонных травах», о самой завидной судьбе степняков. На душу населения в Жанаарке приходилось немало художников слова, больше всего — поэтов; был среди них и основоположник казахской литературы — сам Сакен Сейфуллин, автор стихотворений, а вместе с ними... и знаменитого письма товарищу Сталину. Боясь после смерти Ленина, что недруги-шакалы не простят ему его известности и некоторые лирические вольности, он, утратив поэтический настрой, решил «подстраховаться», прибегнул к доносу — обратился к вождю со словами о расколе в рядах большевиков; предупреждал великого и мудрого, что появились правые уклонисты — предатели и изменники. И что? Помогло это вдохновенному певцу, любимцу казахов? В сентябре 1937-го его арестовали, в застенках НКВД ему щипцами повыдергивали зубы и ногти, некогда роскошные усы; а в феврале 1938-го он был расстрелян как «враг народа» в одной из алма-атинских тюрем...

И всю жизнь слышится мне из этой самой степи, из лагерей Степлага, из марта 1953 года другой голос — голос зэка Юрия Грунина, предварившего эту небольшую повесть, и я обязан, чтобы его слышали мои читатели.

Над городом воют сирены.
Над городом стелется дым.
Устав от работы, смиренно
под стражей без шапок стоим.

Застыла в молчании вечность.
Молчит напряжённо конвой.
И холодно, в общем, конечно,
с остриженной головой.

Всё, кроме сирен, замолчало.
Молчит в автоматах свинец.

¹ Именно об этой повести Марк Твен говорил: «Я люблю "Жанну д'Арк" больше всех моих книг, и она действительно лучшая, я это знаю прекрасно». Книга настроила меня на романтический лад, спасибо ей!

А завтра — все снова, сначала?
А где же какой-то конец?

Над городом — в трауре флаги.
В душе — ни слезы, ни огня.
Молчит затаившийся лагерь
в преддверии нового дня.

Памятника Юрию Грунину нет, и в ближайшем будущем не предвидится — тут к гадалке не ходи. Зато памятник Сакену Сейфуллину, слава Богу, есть — и довольно неплохой. Мне его показали и позвали в машину, чтобы ехать к космодрому «Байконур». За руль сел уроженец этих мест по имени Семён Лежин, балагур и весельчак, старший сержант милиции, блондинистый, будто не отсюда он, а откуда-то из Рязанщины. Есенинский такой парень: «Мне осталась одна забава: пальцы в рот — и весёлый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист».

Он-то без оглядки и поведал, ведя машину, что творилось в этой степи, которая с каждым днем, как пели акыны, хорошела, цвела, возрождалась.

— У вас в Москве, небось, судачат про наше ЧП?

— Кончай! — крикнул на него майор, которого прикрепили ко мне на время поездки. — Или ты думаешь, что всем интересны твои байки?

Лежин только распалился:

— А чего тут такого? Военная тайна, что ли? «Протончик» опять долбанулся!

Опять — это потому, что в июле уже был один аварийный запуск ракеты-носителя. А теперь вот, в конце октября, — новая катастрофа.

— И чему ты радуешься, дурак? — упрекнул его майор, но без особой злости.

— Радуюсь?! — не согласился Сенька. Мимо, обгоняя нас, вздымая поэмку, неслись в сторону Байконура машины с высочайшим начальством, оглашая округу сиреной «канарейки»¹.

— Да ни фиги я не радуюсь. Ей-богу. Чему радоваться? «Протончик»-то шлепнулся километрах в двадцати-двадцати пяти от поселка. Мне объяснили люди компетентные, что на борту ракеты оставалось топлива несколько сотен тонн. Ничего? Как по-вашему, товарищ майор?

— Конечно, — согласился майор, — ничего хорошего. Мощные были взрывы — это верно. Заражено почти четыреста тысяч гектаров. Кратеры остались — не хуже чем на Луне². Сам видел. Целое кладбище обломков ракет — аж до самого горизонта. Кто-то решил заработать: стали эти обломки сдавать в металлолом, а обломки радиоактивные; строили из них заборы, гаражи... В космос, бедолаги, отправились, одним словом.

Судя по настроению моих попутчиков, зря ждали нас *пыльные дорожки далеких планет*.

А о чем размышляли генералы-инспекторы в проносившихся мимо автомобилей? Поди догадайся. Скольких на ковер вызывали? Скольких поувольняют? Скольким грозят выговорешники?.. Не того ждали — премий ждали и новых звезд на погоны. Ну, как это у нас водится...

¹ «Канарейка» (прост.) — машина сопровождения.

² В 2007 году осенью едва не произошел скандал. Ракета «Протон» упала недалеко от Джезказгана (привет, Джезказган!), где находился с визитом Нурсултан Назарбаев.

«Канарейки» — все за свое: цыц, нишкни!

— А компенсации кто получает? — продолжал ворчать Семён. — Ясное дело — кто: у кого прав больше. Те, что наверху. Посылаем на место ЧП оперативников — гоните нам за это денежки — валюту, стало быть. А если, допустим, я живу в районе заражения — мне хрен с маслом. К тому ж еще кризис во всей стране. Мы — людишки привыкшие, у нас телефонов нет, электричества тоже почти нет. В общем, процветаем. Надоело. Рвану в Донецк, например. У меня дядька в центре города живет; я у него недавно был в гостях. Там на каждого жителя — тысяча роз (трояндами называются). Рядом — Азовское море, реки тоже — Северский Донец, Миус, Кальмиус. Города — на выбор: Святогорск, Красный Лиман, Мариуполь, Славянск... А девки-то какие! Одна краше другой. Вот возьму и женюсь на дончанке. Я ведь сам из казаков.

Майор похлопал его по плечу:

— Ну, ты не заговаривайся, приятель.

И обратился ко мне:

— У него жена — Айгуль, казашка.

И опять — к Семёну:

— Ты что, бросишь свою красавицу?!

— Не-а, — ответил Лежин. — Это я так. Философствую.

Подумал-подумал — и неожиданно запел:

Если сен мена не любит,
Мен на озеро пойдет.
Сен мен больше не увидит,
Мен как рыбка поплывет.

Вся народа будет видеть,
Как мой тонет живота,
И на лодках спасать будет
Моя бедная тела.

Приезжает доктор-моктор,
С ним какие пильчера,
И ложит на операций
Моя бедная тела.

Вырезает кишка-мишка
И бросает на песок.
Прилетает воробышка
И клюет моя кишок.

— Эх, Семён, Семён, — сказал майор, — допоешься ты, как та канарейка...

3

Вот что ожидало Степь — Новую, Возрождающуюся.

Но кто из нас тогда, в вагоне-библиотеке, мог догадаться об этом? Нам было не до мечтаний — так терзал голод. Три вареные картофелины мы давно съели без соли и с кожурой. Свою каменную ириску я отдал братишке и боялся, что он не будет ее сосать, а сразу проглотит. Хорошо, что мама потихоньку отапливала вагон: кто-то для этого заготовил пару ведер уголька и наколол

дровишек для растопки. Без Сарымсакова и тут не обошлось. Уважали его все-таки, а это в окрестностях Степлага — ну прямо как «по поднебесью сер медведь летит, он ушками, лапками помахивает».

А поезд, гремя буферами и беспощадно сотрясая вагоны, то мчался вперед, то вдруг примерзал надолго к рельсам. Проехали Жанаарку, не подозревавшую тогда, какое блестящее космическое будущее ожидает ее. Проехали мы затем и Коктинколи, такую же безликую, как и все остальные полустанки.

На станцию Жарык прибыли к вечеру, примерно в половине четвертого. Уже начинало темнеть. Наш уютный вагон с довольно чистыми — как ни странно! — дорожками на полу, застекленными шкапами, хранившими книги и журналы, прицепили к какому-то товарняку, уже не джезказганскому, который, как нам сказали, после разгрузки должен был вернуться обратно, в Голодную степь, к медным рудникам, к зэкам, на край света.

Я предвосхищал всем нутром усиление стужи, не сомневался, что вот-вот начнется буран: чутьем я походил на зверька.

От прежнего благодушия, связанного с тем, что по какому-то счастливейшему случаю нам разрешили перебраться из Джезказгана в Боровое, у меня и следа не осталось. Может быть, оттого, что ветер свирепел и свирепел. Мать, несмотря на такую непогоду, рискнула пойти куда-то, чтобы разжиться кипятком, решив, что тут есть что-то вроде вокзала, но ей это не удалось, ничего такого она не смогла найти, как ни старалась. Возвратившись, разрыдалась: ей показалось, что новый наш товарняк вместе с нами исчез и мы потеряли друг друга навсегда, хотя поезд в ее отсутствие передвинулся всего лишь метров на сто или двести; грохота и лязганья буферов хватило бы на долгую поездку. Мы обрадовались появлению матери не меньше, чем она, — пожалуй, даже больше.

А спустя пару минут к нам в вагонное окошко кто-то постучал палкой — это, как выяснилось, был старый казах со слезящимися, явно больными глазами, в огромном латаном-перелатаном тулупе и бесформенной шапке. С его усов и бороды свисали сосульки. В руках он держал что-то, завернутое в мешковину.

Пришлось спуститься к нему.

Он спросил:

— Махорка бар?

Мама не сразу поняла его.

— Чего?

— Махорка! — выкрикнул старик. — Жок?

— Почему жок? — обрадовалась мама. — Бар, бар! Есть махорка! Проходите к нам в вагон. А что там у вас, дедушка?

Она догадалась, что наступил момент вожделенного натурального обмена! Об этом можно было лишь мечтать. Братишка мой почему-то заплакал и схватил меня за руку.

У деда в мешковине была солонина. Я не знал, что это такое, но догадывался, что это еда. И неплохая еда. А старик разглядывал нас тусклыми, глубоко запавшими глазами; вагонное тепло словно удивило и сбilo его с толку. Сняв рукавицы, он вытащил на свет три куса солонины и следил за нашей матерью, которая протянула ему целых пять пачек махорки (называлась она — «моршанская»). Обмен состоялся, и старик, работая кончиком языка, тут же, при нас, смастерил сигарку и закурил. Он жадно затягивался, кашлял, что-то бормотал про себя. И, наконец, сказал:

— Рахмет, кыз¹.

А мама ему в ответ:

— И вам спасибо, дедушка.

Снова лязгнули буфера, и дед поспешил к тамбуру. Он не оглядывался, только что-то по-прежнему бормотал.

— Ну что, народ, — сказала мама, повеселев. — Живем?

До этого ничего лучше солонины я не ел. А главное — кусочек ее можно было держать за щекой хоть целый час. Никакая конфета в сравнение с ней не шла. Но — не одно, так другое. Буран ударил по вагону во всю мощь, во все щели. Даже в Джекказгане такого не бывало. Все вокруг загудело вперемешку с дьявольским свистом; гремели, обо что-то ударяясь, куски жести, камни, доски. В окошко напротив туалета угодила какая-то железяка, и стекло треснуло, впустив вовнутрь стужу и снежные вихри. Сразу же здесь образовался сугроб. Огромный вагон раскачивался, и казалось, что он вот-вот рухнет. Книжная полка с пропагандистскими брошюрами не удержалась на стене; один ее конец, ударившись о пол, раскололся... Эта свистопляска длилась чуть ли не до рассвета.

А утром все успокоилось, улеглось. (Не эта ли ночь в Жарыке помогла мне найти верную интонацию, когда я переводил стихи аджарца Фридона Халваши: «Вначале тишина — и тут же шквал — с таким надрывом и таким замахом, что в одночасье все вокруг сковал печалью, горем, удивленьем, страхом. Он окна вышибал, в любой закут врывался и гремел тележным шкворнем. И вот уж из деревни волокут деревья, бурей вырванные с корнем. Свой гнев лавины выложили весь. Вползли в ущелья — ночи привиденья. Вползли — и пережевывают здесь проклятья наши, бревна и камни...»)

4

До самого Борового будто все беды остались позади, поезд несся во весь опор, словно курьерский. Чтобы описать приближение к нему, то, что открывалось нам, — одних слов мало. Моих, во всяком случае. Это был мираж. Нет, не проделки феи Морганы, оскорбленной дочери короля Артура, которую напрасно отверг рыцарь Ланселот. Куда неожиданней Летучего Голландца! В океане всякое бывает. А тут — заснеженная степь, пустыня. И вдруг... Я вот пишу это и вспоминаю рассказ поэтессы Светланы Кузнецовой о том, как была она в байкальском поселке Огромные Коты и на утренней заре узрела всходявшие над водами колеблющиеся синие горы, медленно куда-то уплывавшие и уступавшие место висящему в небе сказочному городу, сверкающему, непонятному, с фантастическими замками и храмами. «Что это?!» — чуть не закричала Светлана. Стоявшие рядом с нею рыбаки, много чего на своем веку повидавшие, ответили: «Голоменица». То есть морок. Бог знает что. Причуды Времени.

Но сейчас ничего не *голоменилось*. Все было реально, на самом деле.

Было Боровое.

Казахам требовалась легенда, которая объясняла бы, откуда им привалило такое обилие редчайших природных богатств на таком коротком пространстве, воспетое в путевых очерках, как в стихах: *в степи — желтой, выжженной,*

¹ Рахмет, кыз — спасибо, девочка.

неоглядной, неизменной на все четыре стороны — и вдруг наехать на зеленую стену леса; а там, в глубине, — поросшие деревьями взгорья, вздыбленные каменистые гребни, причудливые нагромождения скал, похожие на замерших в угрюмой немоте сказочных духов и великанов, молчаливые, будто заколдованные озера. И казахи сочинили эту легенду¹. И это невольно напомнило мне другое чудо — из Евангелия: Моисей, почуяв погоню головорезов-египтян, протянул руку к Черному морю, и Господь погнал морские воды сильным восточным ветром, так что в течение ночи часть моря перед беглецами сделалась сушей, а воды как бы расступились перед ними; и пошли все потомки Израилевы среди моря по суше, а вода же была им стеною по правую и левую сторону...

Станция Курорт Боровое поразила нас многолюдием, признаками цивилизации, от которых мы уже отвыкли. Мы покинули *свой* вагон, закрыв его двери на ключ. Куда нам направиться? В эвакуопункт. А куда же еще? Там выслушали нашу маму (и вроде бы с сочувствием), переглянулись, пожали плечами. Сказали:

— Это не наша епархия. Давайте проводим вас к начальнику вокзала.

Начальник вокзала придирчиво проверил мамины документы, подумал, показал на меня и братишку:

— Ваши?

— Чьи же еще? — оскорбленно ответила мама.

Он тоже, как и те, до него, развел руками.

— Скорее всего, вам нужно к начальнику станции, к Селезневу. Вас проводят.

Через час-полтора мы оказались в кабинете у начальника станции, молодцеватого человека с военной выправкой. На его письменном столе стоял бронзовый бюстик Ф.Э.Дзержинского, а над ним висел лозунг: «Все для фронта, все для победы». Он тоже потребовал документы и тоже долго изучал их.

— А кто такой этот Сарымсаков? — спросил он со значением. — В каком звании он?

Я догадался, как плохо стало маме. Она предчувствовала, чем все это обернется, и не ошиблась. Ее подробный ответ не удовлетворил Селезнева.

— Следовало бы разобраться с ним, с этим Сарымсаковым. Раздает вагоны налево и направо, кому попало. А ключи у вас с собой? Ну вот и ладненько. Давайте-ка сюда. Пока свободны.

¹ Писатель из Караганды, автор романа «Хроника Великого джута» Валерий Михайлов так излагает эту легенду: «Аллах, создавая Землю, почему-то обделил своим вниманием казахов. Посудите сами: кому-то и горы, и моря, и леса, а тут — одна лишь степь. При этом людям было доподлинно известно, что в мешке у Создателя набор земных чудес вовсе не иссяк — просто Всевышний никак не хочет расстаться с самым сокровенным. Пригорюнились степняки. Но тут, как это всегда бывает (в сказках), откуда ни возьмись скачет на своем вислоухом и мудром ишаке Хасане сам Алдар-Косе. Насмешник, плут и бузотер, но в доску свой парень! Узнавши, в чем причина уныния, Алдар-Косе вызвался помочь народному горю. Чтобы все стало по справедливости. И предложил Аллаху немножечко поразмяться и поиграть в прятки, в пятнашки да догонялки. Чтобы было где прятаться, неугомонный Алдар попросил простодушного Создателя для начала насыпать посреди степей небольшие горы. Так возникли синие хребты Кокшетау. Ну а уж когда наши герои разыгрались до полного самозабвения, Алдару-Косе удалось-таки проделать в мешке Аллаха небольшую дырку, из которой и высыпались на эту землю все бывшие там чудеса, о которых так горевали степняки. И озера, и скалы, и реки, и сосны, и рыба, и зверье лесное...»

Маме совсем стало худо.

— Как же так? — почти шепотом сказала она. — В вагоне остались наши вещи...

Она имела в виду остатки солонины, сверток с моршанской махоркой, всякие тряпки, без которых никак не обойтись.

— Ладно, — кивнул головой Селезнев. И перешел на «ты». — Тебя проводят к вагону, заберешь свое добро. Только — свое. Ясно тебе? Ключи вернешь. А Сарымсаков пусть у себя распоряжается. Сам из эков, похоже. Все. Будь здорова, дорогая, и не кашляй. Тоже мне авантюристка. Пожалела бы детей. Ишь, заведующая. Как же...

Вот так вагон-библиотека вмиг стал не нашим. Мы входили в него принцами, а оставляли его нищими. Из трубы на крыше еще валил слабый дымок. Мой братишка ухватился за рукав маминого пальто, припал к нему лицом и заголосил навзрыд.

— Хочу туда, — лепетал он, показывая на подножку. — Там тепло. А здесь холодно.

Тут-то и оказался рядом с нами машинист Новиков. Конечно, тогда мы не знали, как его зовут и кто он такой. И он про нас ничего не знал. Но он остановился, хотя мог бы спокойно пройти мимо.

— Ты что это, малыш? — спросил незнакомец.

Был он приземистым, в замасленном ватнике, в железнодорожной фуражке, а не в шапке-ушанке, и от него исходило тепло, по которому томился мой братишка. Говорил с одышкой и свистящим дыханием (позже мне стало известно, что у него астма).

— Да вот... несчастье у нас, — пояснила мама.

И, сама того не ожидая, поведала обо всех наших невзгодах.

Незнакомец терпеливо выслушал ее, ни разу не перебил.

— Да, — сказал он, — от Селезнева только и жди гадостей. Я и не сомневаюсь: у него есть, кому подарить вагон-библиотеку. Подходящих кадров у товарища Селезнева — хоть отбавляй. Прыткий парень. Ну, Бог с ним, и без него обойдемся.

— Как это? — удивилась мама.

— Да очень просто, — послышалось в ответ. — Первым делом, ребята, пойдем опять в эвакопункт.

— Мы там уже были.

— Но вы же не зарегистрировались?

— Нет. А потом?

— Потом пойдете со мной. Я устрою вас на ночевку у моей сестры. Все обмозгуем. Время такое — помогать надо друг другу.

— А вас как зовут?

— Никитич. Фамилия — Новиков. Очень простая фамилия. Легко запомнить.

Через полчаса мы были на месте. Хозяйка с моей мамой, братишкой и Никитичем вошли в дом, а я остался у порога, не в состоянии сделать и шага. Вдали в ясном, почти белом вечернем небе высилась громада Синюхи¹.

¹ Көкше, Көкшетау (каз.) — Синяя гора, 947 м, высшая точка массива Бурабай и всей возвышенности Кокшетау, северной части Казахского мелкосопочника.

Казалось, она наплывала на меня, своим сиянием и магнетизмом беря верх не только над голубоватой, очень близкой луной, но и над всем небосводом со всеми его созвездьями.

5

Два-три дня мы жили у двоюродной сестры Новикова, Аксины Александровны, женщины неразговорчивой, не улыбкающей, но доброй, часто бравшей в руки молитвослов, многие страницы которого были отмечены закладками из цветных лоскутков материи. Однажды она принесла с базара для моего братишки кругляш замороженного молока и сказала:

— Ты прокипяти молочко, Маруся. Мальцу-то полезно будет. А то, вишь, отощал он как...

Мама только ахнула:

— Но ведь это дорого!..

А та рукой махнула:

— Да Бог с тобой... Вот Никитича моего подлечить надо. Ты не заметила, что у него дыхание тяжелое?

Новиков нас не забывал. После его хлопот нам дали комнату в доме, где он сам проживал, неподалеку от станции. Он сказал: помогла, мол, справка о том, что ваш отец на фронте, в железнодорожных войсках. Комната недавно освободилась; ее занимал Хельмут Беккер, музыкант, саксофонист. Новиков его нахваливал: грамотный мужик, что у него ни спросишь — тут же ответит, встречался даже с Леонидом Утесовым (то ли в Москве, то ли здесь).

— Вы же смотрели фильм «Веселые ребята»? Вот Беккер был — копия Карл Иванович оттуда. И внешне, и по характеру. Утесов это говорил. Я уважал Хельмута. Безотказный мужик. И в санаториях выступал, когда просили, и перед ранеными бойцами. Как штык. В госпитале благодарственную грамоту получил. И он, и его приятель, Ибрай Айтанов, пианист, кажется. У меня и у Беккера жены одновременно скончались — от страшной хвори. Не помог им местный климат, и кумыс не помог. Оплакали мы с ним — я свою Варю, а он — Ингу. А через пару недель после поминок Беккера зацапали — когда шла депортация немцев. Их-то — сюда, в Казахстан. А Беккера — куда? Хорошо, что хоть его Инга до этого не дожила...

Я находил в нашей комнатке ноты с пометками этого самого Беккера. И все — на русском языке. Помню строки на полях оттуда: «Сдержись, я тайны не нарушу, молчанье в долг мне вменено. Я б всю тебе открыла душу, будь это роком суждено». Тайна. Какая? Меня пугало все неясное, связанное с Беккером, который жил здесь до нас, дышал этим самым воздухом, сидел за этим самым столом, готовил на этой самой плите, смотрел в это самое окно, откуда открывался вид на Синюху. Я старался не думать, что произошло с ним, о том, что его тень иногда мелькает надо мной.

Памятным был день, когда Новиков пригласил меня к себе. Он постучал в дверь, вошел, совсем седой, волосы — ежиком. Вошел, выдыхая пар, давая знать, что у нас не ахти как тепло. Спросил, не остались ли где фотографии Беккера. Попросил, если уцелело что-нибудь, отдать ему — на память. В его двухкомнатной квартире было чисто и уютно, словно всего коснулась женская рука. Никитич объяснил мне, что поддерживает порядок, установленный его Варей,

чей портрет, снятый со стены, он установил на комод. Тут она была совсем молоденькой, задорной, в спецовке и комсомольской косынке, уверенная в себе и в своем завтрашнем дне. Изготовленные ею *кружавчики*, как назвал их Новиков, украшали комод, этажерку и тумбочку возле двуспальной кровати. Через неделю он вновь позвал меня.

— Айда ко мне, — сказал он. — Книжки выберешь почитать. На этажерке поищешь. Жаль, не придет Аспанов, мой кочегар; Акылбай его зовут; он вроде тебя джезказганец.

История Аспанова стала мне известна из негромкого разговора Никитича с моей матерью. Житие-бытие Акылбая было связано с железной дорогой, о другой судьбе он и не помышлял. И путеобходчиком был, и смазчиком, и в кочегары подался. Мускулистый, безотказный, работающий. И неожиданно кому-то дорогу перешел — или, скорей всего, это само собой произошло. В тридцать шестом зимой его арестовали, как будто мало было эков у них в Степлаге. Вызвали на допрос, да не вызвали, а на «воронке» доставили — к следователю. Тот, как и положено, вначале что-то писал: протоколы приводил в порядок. Встав из-за стола, подошел к Акылбаю, заглянул ему в глаза и, ни слова не говоря, саданул его по горлу. Тот охнул и осел — прямо на пол. К следователю еще один пришел на подмогу. Подняли его, усадили на стул. В ту пору Аспанов по-русски говорил не так чтобы очень. Его спросили, когда он заделался участником правотроцкистского блока. Он, понятное дело, об этом самом блоке и не слыхивал. Про энергоблоки ему было кое-что известно. Он попытался удовлетворить любопытство чекистов, как умел, по-своему. А те ему: ах ты, сволочь, *каля-маля* рассчитываешь отделаться?! И с обеих сторон налетели на него. И все допытываются: кто вашу организацию возглавляет, на какие страны-агрессоры надеетесь в получении помощи, сколько вам платят за попытки расчленения СССР и отторжения Казахстана от Союза? А хозяин кабинета, вытащив револьвер, грозно спросил: сколько тебе, гнида, платят и где деньги держишь? Свистопляска эта оказалась впустую. Обыск ничего не дал и дать никак не мог, деповские только плечами пожимали. Пришлось отпустить Аспанова. Повезло ему, что отделался сломанными ребрами и сотрясением мозга: редко кого *просто так* отпускали. А кроме того, болеть начал. Ему и посоветовали приятели: удирай в Боровое, там полечишься, кумыс попьешь, там путейцы требуются, так что без работы не останешься...

— С тридцать седьмого Акылбай у нас обретається, — сказал Никитич. — Хворає часто, и опять захворал. С желудком что-то, аж позеленел... Ну, как-нибудь познакомя тебя с ним. Возьмем у него лыжи: от сынка остались; как раз для тебя, по-моему.

— А сын его воюет?

— Воюет — где ж ему быть...

В тот солнечный, морозный январский денек, когда Синюха парила в прозрачном воздухе, Никитич пригласил еще и своего помощника Прохора Кривцова, вертлявого парня, все время поправлявшего свою прическу и сразу же метнувшего в меня ядовитые дротики: и хохлячонок, мол, ты, и малявка-козявка. Прошка закончил железнодорожное училище в Акмолинске. Там у него остались родители; он за них не беспокоился: они работали на складе маслопрома. Никитич налил мне в кружку самодельного кваса на лесных ягодах и принялся открывать бутылку с «фирменным» самогоном. Появился еще один

гость — Вас-Вас, сутулый, почти горбатенький, примечательный тем, что по его лицу постоянно блуждала то ли ухмылка, то ли стеснительная улыбка. Когда-то он был скрипачом — и, как утверждал Беккер (по словам Никитича), очень неплохим, да вот на чем-то свихнулся, не так чтобы сильно, но все-таки. От Беккера он и «достался» Новикову.

— Давненько не виделись, — приветствовал его Никитич.

— Давненько, — согласился гость, — с тех пор, как разрушили Трою и превратили в развалины дворец Приама. Как погиб Приам, даже Гомеру было неизвестно, а я догадался. Когда Прохор уйдет — расскажу. Не для его ушей это.

Я вздрогнул. В голосе гостя мне почудилось что-то неладное. Дети бдительны к психическому состоянию взрослых.

— Блаженный, — шепнул мне Прошка, но не слишком тихо. — Не все дома у него. Хрен моржовый. Про какую это он Трою?

Новиков осуждающе глянул в сторону Кривцова.

— Никого ты не любишь, друг Прохор. Ни людей, ни паровоз, который нам с тобой жить по-человечески дает. Тебе плевать не то что на любой его нервный узел, но и на всю его машинную душу. Как же звание машиниста ты получишь, когда срок придет? Учись любить, друг Прохор, тогда и все, что нас окружает, полюбит тебя. А главное всего — паровоз. — Помолчал и добавил: — Прошу: прости ему, Васильич, не подумавши это он.

А Прошка замахал руками:

— Ну, хватит, урок учителя усвоил. Сделаем выводы.

— Смотри мне, — сказал Новиков и приказал: — Всем мигом — за стол, друзья. Угощаю сивухой собственного производства и солеными груздями. Грибочки заготовила еще моя Варя, царствие ей небесное. Я любовался, как она это делала. Искусница была. Грибы промывала родниковой водой, срезала ножки, в ведро складывала бережно (руки у нее нежные были!), верхней шляпкой обязательно вниз; воду меняла в день два-три раза, чтобы от горечи избавиться. Солила и добавляла вишневые листочки, корни хрена, дольки чеснока, стебли свежего укропа, черный перец-горошек... Все в восторге от груздей. Две банки трехлитровых всего осталось. В общем, пробуйте, вот они.

На стол им были поданы еще горячие лепешки — наполовину из отрубей и ржаной муки, тончайший аромат которых не мог не волновать. Но больше всего мне понравились грузди. Солонина жарыкская из той мешковины и эти грузди — вот что навсегда будет недосыгаемой вершиной моих кулинарных предпочтений: ничто их не превзойдет.

Василь Васильич захмелел уже после первого стаканчика. Он присмотрелся ко мне и поинтересовался:

— Новенький? Приезжий?

— А ты как считаешь? — спросил навстречу Никитич.

Бывший скрипач поднял руки вверх.

— Сдаюсь, ваше превосходительство. Сам вижу, что новенький. Из той комнаты, где проживал незабвенный наш Хельмут Беккер, — верно? Там по ночам должна звучать музыка. Не всякий ее услышит, а кому повезет — тому бессмертные мелодии откроются. Бах. Чайковский. Бетховен. Ну, это — если повезет. Заслужить требуется.

Он опустошил второй стаканчик и занюхал самогон лепешкой.

— Хорошо пошло? — насмешливо спросил Прохор.

Тот хоть и уловил насмешку, но не вспыхнул.

— Главное — чтобы хорошо отсюда домой доползти. — И сам спросил Прошку: — А ты на каком музыкальном инструменте играешь?

— Я? Я на паровозной трубе играю.

— Гудки, что ли, подаешь?

— Имен-н-но!

— Ну, это не музыка. Это каждый умеет, Проша. А у меня еще вопросик имеется.

— Давай-валяй.

Улыбка исчезла с лица скрипача. Явная грубость уже не пришлась ему по душе

— Вот я хоть музыкант, но казачьих кровей. А ты, мил-человек? Ты каких кровей?

Не расслышав ответа Прохора, Вас-Вас разошелся вовсю: его, как сказал Никитич, понесло.

Он чуть ли не кричал:

— Земля-то вокруг — не казахская, а казацкая. Кто освоил ее? Правильно: казаки, мы то есть. Что тут было? Правильно: наши станицы. Они по себе оставили добрую память. Дорофеевка, Боровая, Александровская, Еленовка, Щучинская. А в этой Щучинской, хотя бы, что было? Ну, что? Четыреста казачьих дворов, торговые лавки богатейшие были, церковь, мужская и женская школы, почтовое отделение, склады всякие... И кому все это досталось? Никитич, ты мудрый человек, рассуди здраво: кому?!

Новиков встал из-за стола.

— Эк тебя дернуло, Васильич, — укорил он скрипача в отставку. — Утихомирься. У нас — дружба народов. Понял? Мы — единая семья. На том и стоим. Что казак, что казах — все одно. Ненароком кто подслушает такие разговорчики — претензии предъявят. Это как пить дать. Держи язык за зубами.

— И верно, — подхватил Прошка, — кончай, Вас-Вас.

А тот встрепенулся, махнул еще один стаканчик, не занюхивая его лепешкой, и направился к дверям.

— Я тебе, молокосос, не Вас-Вас, — кричал он. — Я Василь Васильич Задонский. В музучилище первым был. Первым! А ты... ты кто? Человечишко жалкий — вот кто. Все прическу поправляешь Без мозгов. — И обратился ко мне: — На паровозной трубе он играет. Смотри, пацан: Прошка — вражина, как бы на кривую дорожку тебя не направил.

Хлопнул дверью и выскочил вон.

Когда я уходил, Никитич дал мне синюю лампочку сорокасвечовую — редкостный для той поры подарок. Других, по-моему, вообще не было.

— Вкрути в патрон — читать вечерами будешь. Хельмут очень начитанный был, да все книги его — штук пятьсот, не меньше — увезли куда-то после его ареста.

Я взял у Никитича с этажерки «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Кондуит и Швамбранию» и «Отверженных».

Если б не выходка Кривцова, я чувствовал бы себя на седьмом небе.

6

Братишка мой загрипповал. Кашлял, чихал, температурил. Аксињья Александровна опять принесла для него кругляш замороженного молока. Посидела на скрипучем стуле, повздыхала и сказала с огорчением:

— Завидую спинке вашего стула: у него радикулита нет. — И поежилась: — Холодно тут у вас. Печку не топите. Мальца совсем заморозите.

И спросила меня напрямую:

— А ты почему, юноша, насчет угля не побеспокоишься?

Я не понял.

— Как это?

— Учить тебя надо... На станции этого угля — хоть завались.

— Ну?

— Что «ну»? Пятаки гну. Бери ведерко — от Беккеров неужто не осталось. И таскай себе потихоньку. Никто от этого не обеднеет.

Я послушался Аксињью Александровну и пошел на промысел. Разрешения у мамы я не спрашивал — на свой страх и риск. Добытчиками угля оказались еще трое: женщина и двое пацанов (постарше меня). Я во всем следовал за ними. Мы действовали, как лазутчики в тылу у противника. Какой-то путеец погрозил нам кулаком, но, вспрыгнув на подножку, исчез в недрах локомотива и больше не показывался. «Слава Тебе, Боже! — прошептала женщина — Не стал шуметь...» И мы голыми руками стали наполнять свои ведра. Тащить ведро было тяжело; я часто отдыхал — и все же гордился собой, как будто совершил подвиг. Во второй раз я был без компании, а это, признаюсь, не очень весело; хуже того — сам себе накаркивал беду. И на память все шли слова из «Ночи перед Рождеством», непривычные и пугающие — о том, как мороз крепчал, из-за чего черт перепрыгивал с одного копытца на другое, желая сколько-нибудь отогреть руки и вообще отогреться. Я больше дрожал — но не от стужи, а от леденящего страха. И только я начал наполнять углем беккеровское ведро, как меня цепко схватили за шиворот.

— Ах ты, дьяволенок! — услышал я. — С малолетства воруете! Бандитом хочешь быть! В тюрьму тебя!

Это был, кажется, какой-то путеобходчик. Точно я разобрать не смог. Не до того было. Я даже не пытался вырваться и пуститься наутек.

Странно: оттого, что он назвал меня *дьяволенком*, не еще как-нибудь, я смекнул, что не все пропало и есть надежда, что в тюрьму я не попаду. Во всяком случае — не сегодня.

И я пропищал:

— Отпустите, дяденька. Я больше не буду. Честное пионерское.

— А ты кто такой?

Что-то подсказало мне верный ответ:

— Я, дяденька, сосед Новикова. Рядом с ним живу.

— Какого Новикова?

— Ну как — какого: Никитича. Машиниста.

Хватка на моем ворота ослабла.

— Не врешь?

— Не-а, честное-пречестное!

— Твое счастье, что у тебя сосед такой. Кланяйся ему. И скажи, что в следующий раз никакой пощады тебе не будет. Ну, — крикнул он, — брысь отсюда!

И хорошенько поддал под зад коленом. Я пробежал почти километр и вспомнил, что на месте преступления оставил цинковое ведро и варежку с правой руки — ту, Василюнину. Вернулся, искал пропажу, но ничего не нашел. Попробуй тут разберись. Я сел на груды смерзшегося угля, заплакал, как никогда еще не плакал. Что я скажу? Чем оправдаюсь? И направился не к нам домой, а к Никитичу. Но и тут не повезло мне: Новикова у себя не оказалось. Конечно же, он был в рейсе.

Мама не ругала меня. Она обо всем догадалась. Не упрекнула даже, что вся моя одежонка измазюкана углем. Про ведро и варежку не спросила. Просто подошла к окну с видом на сияющую Синюху, и я увидел, как ее худенькие плечи заходили ходуном. И — ни звука, ни единого. Братишка мой подошел к ней и ухватил ее за руку...

А на следующий день, вернувшись из школы, я признался Новикову, как я был пойман с поличным и чуть было не загремел в тюрьму. Он успокоил меня:

— Ну, попал бы на учет в детской комнате милиции — не больше того. Другой вопрос: как раздобыть уголь. А то вы околете: морозы, бывает, до сорока градусов доходят, а то и выше. Надо было мне раньше побеспокоиться. Пойду с твоей матерью в военкомат — не откажут семье фронтовика, и не сомневайся. А что варежку потерял — тоже не ахти какая беда. Вот тебе Варюхины — еще лучше твоих. И ведро у меня возьмешь; у меня их — хоть пруд пруди. Мы с тобой сейчас оба свободные — так что проведем кочегара моего, Аспанова. Заодно лыжи попросим, которые у него от сына остались, ему-то они не нужны: не до них ему. Боюсь за него, не нравится мне он...

И мы направились в Щучинск. И отовсюду смотрела на нас Синюха. В школе мы выучили стихи о ней, которые принадлежали тому же Сакену Сейфуллину, не беря в толк, какие они слабые, беспомощные:

...Высокие сосны растут на горе,
Берёзы стоят здесь в зелёном шатре.
И ветер, пьянея от трав и цветов,
Их нежно колышет на ранней заре.

На самом верху тоже сосны растут,
Их корни крепки — ни за что не дадут
Деревья свалить. Неприступна гора —
Одни ястреба свои гнёзда там вьют.

И если целуется солнце с горой,
То кажется местность вокруг золотой.
И снова раскроется бездна времён,
Века пред тобою пройдут чередой.

Об этой, о самой чудесной из гор
С деревьями ветер ведёт разговор,
И шепчут о ней и трава, и листва,
И гулкие волны целебных озёр.

Поют о горе и акыны-отцы,
Поют о горе молодые певцы,

И камни, и скалы в свидетели взяв,
Споют о ней женщины или юнцы.

Преданья о ней, о ее чудесах
Нигде не записаны, но на устах.
У старцев-сказителей живы они,
Чтоб знал их и пел о них каждый казах.

...Жену Аспанова, которая открыла нам дверь, звали Абиба.

— Проходите, проходите, — приглашала она. — Извините: Акылбай не встает. Я ему не разрешаю. Слабенький он. Очень слабенький.

Услышав нас, Аспанов попытался приподняться, но Никитич прикрикнул:

— Лежи, набирайся сил. Мне здоровый кочегар нужен. Гляди, как пот выступил на лбу. Наверно, температура высокая...

И пошли у них разговоры сугубо профессиональные — о каком-то новосибирском машинисте Николае Лунине, по методу которого у них в депо работают, о том, как своими силами проводят текущий ремонт паровозов, как экономят топливо, смазку и ремонтные материалы, как удлиняют межремонтные пробеги паровоза, водят тяжеловесные поезда. Мне это, честно говоря, было не очень интересно, зато я с любопытством разглядывал над кроватью Акылбая многокрасочный ковер; на нем были искусно изображены вверху, по бокам, олени, которые неслись, опустив рога, друг на друга, а внизу — четыре женщины и одна девочка, все в тюбанах; еще ниже, на кошке, — чайник и пиалы. Разговор Акылбая и Никитича прервала Абиба: она достала из войлочной сумки фарфоровые *кессе* и начала разливать чай — по ее словам, настоящий, плиточный. Сахара и лепешек не было.

Новикову не требовалось подсказывать, что лучшие времена у Аспановых минули, подступила большая нужда. Но Никитич ничего не сказал. Главное — взять на заметку, не забыть. В самой коренастой фигуре Новикова читалась решимость помочь другу. Мы пили чай не спеша, смакуя каждый глоток. Новиков сказал, что такого чая, как у Абибы, ни у кого не пробовал. Та лишь смущенно улыбалась. Акылбай был доволен. Он с гордостью сказал, что имя его жены переводится как *дружок, милый товарищ, спутница жизни*. И еще вздохнул и сказал, что ему неохота расставаться с нею, но, как ни жалко, а день этот приближается, что до весны он не дотянет. Абиба замахала на него руками, затараторила, укоряя по-казахски. Никитич не укорял, просто принялся его утешать.

Аспанов сделал попытку усмехнуться, из-за чего у него по щеке поползла слеза. Он сказал, что не боится умереть. Есть у нас, у язычников, сказал он, Коркут — что-то вроде архангела (не знаю, как его правильно величать); когда он еще был земным существом, не хотелось ему расставаться с жизнью; вот он и объехал все четыре угла земли, чтобы найти место, где люди жили бы вечно, но он не нашел такого места; заснул он однажды и увидел вещий сон: какие-то люди молча роют могилу; спросил он: «Кому роете?» — «Коркуту», — ответили эти люди; проснувшись, он переехал на другой конец света, и опять повторился тот же сон; и так было везде, во всех четырех углах мира; бедняга затосковал, и тогда, чтобы утешить его, Всевышний даровал ему кобуз с волшебными струнами, а вместе с кобузом — волшебную музыку: мол, будешь в музыке — будешь жить вечно, музыка не позволит тлену коснуться тебя. Будешь с нею падать в бездну, будешь испытывать небывалую легкость, и она, эта музыка,

будет направлять твой полет¹. И, верите ли, как только закрою я глаза — днем или ночью, — появляется со мной рядом Беккер со своей трубой, садится на краешек кровати и начинает играть — и то, что он играет, как голос Всевышнего для всех нас — безразлично, кто ты: казах, или же русский, или немец; а затем я слышу, как вслед за нашим Хельмутом звучит целый оркестр; и я, простой кочегар, все понимаю, все тонкости, всю, всю глубину, все принимаю к сердцу, и мне уже ничего не страшно...

Эти слова Акылбая я никогда не забывал, разыскал легенду о Коркуте (разные ее версии) и вот что выписал себе оттуда: «Поток нашей жизни неумолим: "Как бы густо не выпал снег, до весны ему не остаться". Но люди должны остаться людьми и сохранять человечность. Она — в тебе, пока в тебе — музыка. Самое страшное — потеря человечности, потеря Музыки Свыше. Черным домам, куда не приходит гость, лучше обрушиться; горьким травам, которые не ест конь, лучше бы не вырасти; горьким водам, которые не пьет человек, лучше бы не течь; грубому сыну, от которого нет славы имени отца, лучше бы не выходить из спинного отцовского хребта, не входить в чрево матери, не рождаться на свет. Сколько бы человек ни жаждал, больше своей доли ему не занять. "Где те, — восклицает Коркут, — которые хвастались: мир — мой?! Где они?"»

7

Никитич приладил лыжные крепления так, чтобы мне было удобно, и я готовился к путешествиям на длинные дистанции — увидеть наконец то, о чем лишь слышал. Давно уже хотелось попутешествовать по поселку и его окрестностям. Сколько раз говорили, что все это — вторая Швейцария. И вот она! И тут подвернулся случай. Прохор Кривцов, узнав о том, какой подарок я получил от Аспанова, позвал меня — айда на озеро Боровое. Не купаться, конечно: всю водную поверхность сковало льдом и засыпало снегом. Рождество недавно минуло, Аксиныя Александровна, старая казачка, отмечала его. До Щучинска нас на полutorке попутной довели. И я опять порадовался тому, что движение позволило мне стать ближе к пространству — да и к какому: одно загляденье. Не зря сюда любоваться природой еще с дореволюционных пор стремились. В квартире Новикова висела картина местного художника; на ней изображались три офицера и три барышни, и в руках держали они пиалы, полные кумыса, и всем было весело, все были счастливы. А вдали высилась Синюха, от которой исходило золотистое сияние.

¹ Эта ссылка для тех, кто готов оторваться от текста, чтобы увидеть, как Акылбай был близок в тот момент к философии Андрея Белого (я имею в виду статью «Нечто о мистике», найденную мною во втором номере журнала «Труды и дни»; изд-во «Мусагетъ», 1912 г.). Повторяю: ссылка — только для тех, кого интересуют совпадения легенды о Куркуте и пассажижей нашего великого символиста. Итак: «...Процесс падения в бездну, или, верней, — момент *бездны*, являющийся нам в опытном упражнении так называемого *я*, осознаем мы как бесконечный процесс подстановки под только что найденное дно индивидуальности нового над-индивидуального дна; но и новое оказывается индивидуальным». По мере углубления в эту бездну, говорит А. Белый, «по мере утраты всей первобытно-грубой случайности чувств» падающий побеждает «*звуковой хаос переживаний*», который «*слагает в аккорды каких угодно симфоний*», — это все потому, что ему известен закон всех случайностей; он, как *новый Орфей*, вызывает случайность из тьмы (курсив мой. — В.М.)».

Полуторка остановилась; хоть и ветерок встречный обжигал щеки, а жалко было выгружаться с лыжами на землю.

— Я тебя с Жумбактасом познакомлю на озере, — сказал Кривцов.

— А кто это такой?

— Не *кто*, а *что*. Скала это, да не простая. Как будто живая. Убедишься сам. Ежели доберешься. Не выдохнешься? — спросил он, как всегда, насмешливо.

— В Джекказгане не выдыхался, — ответил я, приученный жизнью огрызаться.

Прошка покачал головой:

— Ну-ну, смотри. Здесь нету троллейбусов и трамваев. Чтоб никакого хныканья.

— Сам смотри не задохнись. — И тут я снова за словом в карман не полез. — Я не курю, а ты вон смалишь одну за одной.

— А тебе-то что? Мой дед смалил до ста лет — и хоть бы хны. Мне двадцать два, жить да жить. — И вдруг выпалил: — Я и на фронт рвался — не пустили, говорят: нужен здесь, не сегодня-завтра машинистом буду, сам себе хозяином.

А насчет того, что рвался воевать, я ему не поверил. Что-то не очень похоже было. Поверил только, что спит и видит, как занять место Новикова.

Он каким-то образом пронюхал про эти мои мысли, фыркнул и поглядел на меня свысока — так, словно впервые пригляделся. Может, пожалел, что взял меня с собой.

И мы тронулись в путь.

Возле клуба, где показывали фильмы и где на витрине под стеклом вывешивались портреты наших артистов (больше — артисток), Прошка не утерпел:

— Привал! Любопытно, какие кинокартины будут крутить.

А сам — за куревом. Лыжные палки положил на скамейку, пускает дым. Хорош.

— Как там Никитич? — спросил он как бы невзначай. — Из Караганды возвращались — так его астма прихватила. Я хотел его подменить, а то бы в график не вложились. А он... знаешь какой... дал мне по шее. Если мужику погано, так чего ж хорохориться? Ему не составы водить — лечиться надо. Но он же лунинец, стахановец. Потому и форс держит.

Возле продмага, чьи двери были заколочены крест-накрест двумя досками, а витрины пустовали, как глаза слепого, Кривцов остановился и тяжело вздохнул:

— Эх, жисть наша копейка! А какая тут до войны колбаска была! С конским мясом, «Семипалатинская» называлась... Все б за ее колечко отдал. — И сам себя подстегнул: — Хватит, рванем под уздцы.

День был выходной, и рядом с нами к озеру двигалось еще несколько лыжников, а если точнее — лыжниц. Они обогнали нас, а Прошка сказал им вслед:

— Бегите, бегите, барышни. Куда вы от меня денетесь. Таких, как я, в поселке раз-два и обчелся. Ауфвидерзейн. До скорой встречи.

Двигались мы не очень быстро: Кривцов, то и дело останавливаясь, не особо стесняясь, хвастался своими победами над женским полом, порою забывая, что козыряет перед второклассником. Я слушал его, правда, вполуха: тревожился за Никитича, хотя причину своего беспокойства не мог толком

объяснить себе. Отвлекся я от этих мыслей, когда вдали показался Окжетпес¹, невероятный, непостижимый, загадочный, как будто пирамида, возведенная неведомыми существами на фоне голубых возвышенностей.

— А перед ним, — сказал Прошка, — Жумбактас². Мы к нему двигаемся со стороны Ясной Поляны. Теперь гляди в оба.

— И что?

— Ты гляди, гляди. Такого больше нигде нету — в целом мире, падлом буду. Сейчас убедишься.

Впервые Кривцов был прав. Сначала я увидел профиль Аксиньи Александровны, ее морщины на лбу и выдающийся вперед подбородок. Я прямо оторопел. А затем, продвигаясь дальше, я замечал, как старушечье это обличье превращается в лицо юной, прекрасной девушки, чей взор устремлялся в небо и чьи волосы отливали золотом. У меня захватило дух.

— Ну что, хороша? — услышал я Прошкин голос. — Казахи говорят, что это пленная калмычка. Залезла на верхотуру скалы, ни за кого замуж выходить не хотела — даже за сыночка знатного бая; в нее стрелы пулять начали, вокруг нее так и свистели они, чтобы не фокусничала и спускалась поскорей, а она взяла и сиганула в воду и пропала на веки вечные. А на этом месте выросла вот такая скала. Гордая была девица. Моя Катерина не уступит ей в наружности ничуть, но ломаться, фифу из себя корчить — ни-ни, жить-то надо, а жить не с кем. Ха-ха. В депо она вкалывает, смазчица; я в строгости ее держу, она и не против. А с чего бы ей против быть?

Мы подошли совсем близко к сказочному нагромождению каменных плит. Возле нас, затормозив, остановилась одна из тех лыжниц, которые обогнали нас. Умела владеть собой.

— Любуетесь Сфинксом? — игриво полюбопытствовала она. И стояла она так, чтобы ее фигура, изогнувшаяся при помощи лыжных палок, изящная и привлекательная, никого не оставила равнодушным.

Но я не на нее уставился. И верно: теперь передо мной был Сфинкс — такой, как в Египте, на картинках, только совсем иной конструкции, — и все же ошибки быть не могло. Конечно, Сфинкс. Те же очертания. Как же это он маханул прямо из озера? И почему так обманывает людей, спешащих к нему? Но его обманы несколько не обидны. Хуже, когда люди обманывают друг друга — даже с продовольственными карточками. Оказывается, у Абибы кто-то спер эти карточки в магазине в очереди за хлебом, о чем Новикову рассказали их соседи.

Проход и барышня уже всю ворковали, не обращая на меня никакого внимания. Он предложил ей сходить с ним в кинотеатр «Темп»: там новый фильм «На защите родной Москвы».

— А как же вьюнош? — удивилась она.

— А что вьюнош, — ответил Прошка. — Не маленький уже. Из Щучинска на попутке домой доберется. Там ехать с гулькин нос или того меньше. — И попросил меня, будто приказал: — Прочитай на прощанье девушке что-нибудь

¹ Окжетпес — (букв.) стрелой не достанешь. И.Слепцов: «Давным-давно, когда только казахи владели вольной степью, на этом пике жил вещун-орел и зорко следил за злыми делами султанов; много богатырей пыталось подстрелить его, но стрелы не долетали до его неприступного гнезда; были смельчаки, которые хотели взобраться на пик, но тщетны были их усилия...»

² Жумбактас — Камень-загадка.

из Александра Сергеевича Пушкина. Например, «Белеет парус одинокий». Ей понравится.

В ответ я высунул язык — им обоим. Не попрощался, повернул обратно. Вот только ноги почему-то стали у меня чугунными.

8

Не любил Никитич привселюдно выступать, хотя и слов у него хватало не меньше, чем у кого иного, — особенно потому, что он не разлагольствовал попусту, опирался всегда на житейские факты, как локомотив на рельсы и шпалы. И приукрашивать ничего не собирался. На собраниях отсиживался, по его признанию, и слово свое вставлял, когда спрашивали. А спрашивали не так уж и редко: он в передовиках числился, два ордена имел, даже орден Ленина; про всякие грамоты и говорить не приходится (Варенька его их в рамочки красивые вставляла). Гадали деповские, кому же ехать на День Красной Армии в туберкулезный санаторий «Боровое», где разместился госпиталь для излечения раненых бойцов; во-первых, следовало поздравить там с праздником всех, а во-вторых, доложить: вот вы, товарищи ученые медики, приняли патриотическое решение по предложению академика Владимира Ивановича Вернадского на свои кровные купить танковую колонну «За передовую науку», а мы, путейцы всей необъятной Родины, поддерживаем ваш замечательный почин и эту колонну обязуемся доставить на передовую, не потратив ни единой государственной копейки.

И выбрали моего соседа Новикова как *представителя*, причем лишь при одном воздержавшемся голосе. Воздержавшегося искали, но не смогли найти. И внесли поправку: единогласно. Отказаться Никитич, ясное дело, не имел никакого права. Он попросил мою маму привести в порядок его амуницию, в том числе темно-синий галстук, купленный им когда-то, до войны, в Евпатории. Услышав эту новость, я сказал, что и наша школьная самодеятельность направляется туда с *шефским* концертом (так тогда у нас говорили).

Никитич обрадовался: мол, ты меня *поддержишь*; в одиночку, мол, гораздо хуже — прежде всего тем, кто выступать избегает. Он присоединился к нам, к ребятам, и с самого раннего утра нас усадили в старенький автобус и повезли к раненым бойцам.

Наш концерт смотрели в конференц-зале; раненым понравились не столько наши выступления, сколько мы сами; и они забыли о своих страданиях, зато о надеждах своих помнили еще сильнее. А в конце какой-то академик предоставил слово прославленному машинисту Новикову; Никитичу аплодировали больше, чем всем нам вместе. Потом его пригласили «попить чайку» в профессорской, и он, разумеется, попросил разрешения, чтобы и я присутствовал.

(Я специально интересовался впоследствии, кто же нас так приветливо угощал «чайком»¹, и вот, представьте, кого я обнаружил среди наших радушных хозяев: Николай Федорович Гамалея, Владимир Иванович Вернадский, Нико-

¹ По замечанию академика В.И.Вернадского, в Боровом собралась «очень хорошая и научно сильная академическая группа». Действительно, здесь находились крупнейшие специалисты с мировыми именами по многим отраслям знаний.

лай Александрович Семашко!) Если б я тогда сознавал, в какой компании нахожусь! Рядом с собой меня усадила жена Гамалеи, Мария Николаевна, которая все интересовалась, откуда я, где мой отец, чем занимается мама, не голодаем ли мы и какая нам нужна помощь. А взрослые говорили о трудностях, о том, что госпиталь плохо обеспечивают гипсом, перевязочным материалом и инструментарием. Люди, однако, не унывали; вату заменяли дикой полыньей, а для частичной замены марли при наложении гипсовых повязок применяли газетную бумагу и корпию.

Николай Федорович, заморозивший меня клинышком бородки, как у Михаила Ивановича Калинина — нашего всесоюзного старосты, запросто переходил с русского языка на французский, с французского — на казахский, смеялся любым шуткам и сам шутил...

(Совсем недавно мне удалось заглянуть в дневник Татьяны Андреевны Казионовой, работавшей в лаборатории Гамалеи санитаркой. Ей запомнилось, как она бегала на бойню, которая находилась в Боровом напротив озера Большое Чебачье, на склоне сопки. Читаю: «Когда резали быков, нам сообщали. Я ходила на бойню, забирала бычьи глаза, завертывала их во что-нибудь теплое, клала за пазуху и быстро относила в лабораторию. Николай Федорович брал жидкость из этих глаз, с чем-то смешивал и делал лекарство. Этим лекарством кололи туберкулезных больных. Он учил меня делать уколы. Мне тогда было четырнадцать лет. Я кипятила пробирки, кормила морских свинок. Из остатков глаз мы варили с морковью очень вкусный гуляш, и он вместе с нами садился кушать. Был очень добрый, веселый. Перед отъездом в Москву он хотел меня забрать с собой. Но я не могла оставить маму. Мне по малолетству не дали трудовую книжку. Но до сих пор храню три справки, написанные руками Марии Николаевны Гамалеи, самого Николая Федоровича, и справку от Владимира Ивановича Вернадского с подписью».

К этому стоит добавить, что Николай Федорович часто вспоминал Боровое — не только потому, что на этой земле он похоронил свою супругу, но и потому, что, как он сам считал, прожитые в Казахстане годы были очень плодотворными...)

Назад мы ехали по-царски — на легковушке начальника госпиталя. В руках я держал два пакета, подаренные Марией Николаевной, один, килограммовый, — с яблоками, другой, поменьше, — с сухофруктами.

— Это для братишки твоего, — сказала она. Обняла меня и добавила: — С Богом!..

Остановились мы у дома, где жил Аспанов, — не могли же проехать мимо. Я обнаружил, что ковер, висевший над кроватью больного Акылбая, вдруг исчез. Желтая стена, будто выгоревшая степь. Желтое лицо Акылбая.

— Продали... — сказал Никитич.

— Пришлось-таки, — последовало в ответ.

И еще что-то такое: всему, дескать, конец приходит...

9

Домой мы шли молча.

Я замечал: Новиков весь в тревогах. С новым кочегаром у него не все ладилось, с Прохором — сплошные нелады. Приступы астмы случались все чаще: то угольная пыль сказывается, то ледяной ветер, меняющий направления, то смена погоды. Да мало ли. Все — под откос. А тут еще с Акылбаем беда. И постоянная забота: как поддержать Аспанова с его Абибой.

Ко мне он привязался по-настоящему: своих-то детишек с Варварой не нажил. В школе гордились, что я дружу с таким знаменитым человеком. Завуч как-то попросила, чтобы я, если возможно, напросился отправиться с Новиковым в рейс, а затем поделился бы своими впечатлениями со школьниками.

— Это будет замечательное мероприятие! — сказала она.

Никитич не возражал и пообещал вскоре взять меня с собой в Караганду. Мама согласилась. Никаких препятствий! В тот день я почти не спал; в пять утра уже оделся и ждал, когда постучится Никитич. У локомотива «ФД» нас встретил Прошка; он как-то загадочно улыбался. Подал мне руку, выставив в насмешку вперед два или три пальца. Правда, я не обратил никакого внимания на эту выходку.

— Как тебе наш красавец? — спросил он, показывая на паровоз. — Мечта. А зовут его Федюк. У него самая высокая сила тяги. Смекаешь?

— Кончай болтать! — прикрикнул Новиков и положил маршрутную карту в боковой карман телогрейки. — Приступаем к проверке. Времени — в обрез.

И бригада взялась за дело. Никитич лично убедился, что регулятор закрыт, реверс поставлен на центр, ручной тормоз тендера заторможен, а цилиндрические продувательные краны открыты. Не упустили ничего — и давление пара в котле, и уровень воды в водомерном стекле, и исправность огневой коробки; в общем, все — по инструкции. Прошка поглядывал на меня с превосходством: «Видал — миндал!»

Шли порожняком; загрузка — в Караганде.

Я прилипал, когда позволялось, к застекленному окну машиниста; светомаскировка тут вообще не считалась необходимой: немцу дорога сюда была заказана. Когда остановка была в Акмолинске, Никитич, сказал мне, что казачий форпост на этом месте основал в 1830 году полковник Федор Кузьмич Шубин, участник Бородинского сражения.

Прохор хмыкнул:

— Никак не сходится, Никитич! Разве такое может быть? Бородинское сражение — и форпост в пустыне!

Новиков даже не повернулся в его сторону:

— Считать разучился? Тебе, брат, еще учиться и учиться.

— Так это Ленин велел, — съехидничал Прошка.

И получил в ответ:

— Тем более!

В Караганде мы ночевали в деповском общежитии; заходили в Красный уголок, где кто играл в домино, кто — в шахматы, кто — на бильярде; а там, на Доске почета, — портрет Новикова, сделанный еще до войны; странно: он и здесь седой и немного угрюмый. Знакомые помогли ему купить десять кило ржаной

муки и десять — кукурузной. Они предложили ему распить бутылочку — он отказался наотрез: утром рано подниматься.

На станцию Боровое мы прибыли в 15.30, по расписанию; еще было светло; вовсю светило солнце. Первым выскочил Прохор, за ним — кочегар Абдикадыр, за ними — мы с Никитичем. Тут-то и началось...

Нас обступили четверо милиционеров.

— Новиков Яков Никитич?

— Да, Новиков. Яков Никитич. Машинист.

— Вы что-то привезли из Караганды. Сами отдадите или нам доверите?

— Берите сами. Только имейте в виду: я ничего ни у кого не воровал.

— А это не нам объяснять будете — следователю. А пацанчик — ваш?

— Нет. Соседский.

— Пацанчик пусть до хаты к себе бежит и пусть забудет, что видел. Тебе все ясно, пацанчик?

Это был последний рейс Новикова. Он не вернулся домой, и вообще я его больше никогда не видел.

С тех пор прошло много лет, даже десятилетий.

У меня в свое время появилась возможность взять в руки «дело» моего дорогого Никитича. Все, что от него осталось. Тюремные фотографии — фас и в профиль. На выцветшей серой страничке: «Утверждаю. Нач. ОСО ГУГБ НКВД (подпись). 27 февраля 1942 г. Справка № 31/а». В невзрачной, серенькой папке — протокол допроса. Опускаю лишнее, оставляю одну суть.

— Вы не знали, что не имели права провозить на паровозе продукты питания?

— Не знал. Такого приказа не видел.

— Не видели? Уточним у начальника депо, почему этот приказ не дошел до вас. Или это вы для отмазки? Забыли, что идет война? А что вы хотели сделать с мукой? Хотели спекулировать ею?

— Я не спекулянт и никогда им не был. Любой вам скажет.

— А для чего везли муку? Да еще в таком большом количестве.

— Не для чего, а для кого.

— И для кого же?

— Для моего кочегара Аспанова Акылбая.

— Почему — для него?

— Он давно не работает. Тяжело болен. По-моему, умирает. Я считал своим долгом помочь ему.

— Значит, Акылбай Аспанов?

— Да, именно так. Он и его жена Абиба очень нуждаются. Они голодают.

— И давно знакомы с ним, с Аспановым?

— По-моему, с апреля 1937 года.

— Вам, думаю, известно, что он находился под следствием как подозреваемый в тяжком антигосударственном преступлении.

— Да, но его же оправдали.

— Вы ошибаетесь. С ним до конца не разобрались. Он состоял в троцкистско-бухаринской группе, цель которой — отторжение Казахстана от СССР.

- Но никто до сегодняшнего дня не предъявлял ему никаких претензий.
- А он замаскировался. Притворился обыкновенным советским трудящимся.
- Не притворялся он, поверьте. Был передовым производственным.
- Ха! Враги даже маршальские звания носят. Маскируются — каждый кто как умеет. Да, кстати, а Василия Васильевича Задонского вы знаете?
- Конечно, он был приятелем моего соседа. Скрипач.
- О соседе потолкуем с вами завтра. А теперь — о Задонском. Вы выпивали с ним, в одной компании были. Может быть, он и скрипач, однако махровый националист. При вас он не вел речи о том, что эти земли принадлежат не казахам, а казакам?
- Бывало с ним такое. Это правда. Я запрещал ему распространяться на такие темы.
- А почему не донесли компетентным органам? Или вы разделяете его взгляды?
- Конечно, не разделяю. И учтите: ведь он же ненормальный. У него уже давно крыша поехала. Кто ж всерьез его разглагольствования принимает?!
- А вы что — врач-психиатр? У вас диплом соответствующий имеется? И ваши диагнозы — истина в последней инстанции? Не кажется ли вам, что специалисты и без вас в силах разобраться? Вашей обязанностью было немедленно сообщить нам о вражеской пропаганде.
- Откуда у вас эти сведения, гражданин следователь? Они яйца выеденного не стоят. Вы их получили от моего помощника Прохора Кривцова? Он давно метит на мое место...
- Суть — не в источниках, не о них речь идет. Суть — в ваших преступных деяниях.

...Ждали мы Новикова. День ждали, два, месяц. Он так и не появился. Никто и не сомневался, чья черная душа виной нашему горю. Когда в тот день я вернулся один со станции, вспомнил, что у нас имеются ключи от его квартиры, и я туда вошел и ничком лег на кровать Никитича, вдыхая его теплый запах. Мне кажется, что попал он в Степлаг, в бригаду Грунина Юрия Васильевича, который именно ему посвятил дружеский шарж и строки: «Где же он, предел сопротивления, в следственной несправедливой войне? Что же здесь творят во имя Ленина? Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»

Михаил Синельников

Золотые песчинки, комки, самородки

* * *

Эти сгустки урана и платины граммы,
Золотые песчинки, комки, самородки,
Это — сила страны и параграф программы,
И негласный закон Колымы и Находки.

Пирожок премиальный и стужа Таймыра,
Тощих смертников дни, превращённые в тонны.
Это — доля твоя в покорении мира,
Это — капля судьбы в море боли бездонной.

То, что позже спустили, воссев на престоле,
Изымалось когда-то у бога и чёрта,
Чтобы грудой руды и подавленной воли
Пересилить тоску мирового комфорта.

Чувашка

Конечно, Аттила, болгары,
Язычество, лапти, лапша...
Но светом неведомой чары
Чувашка была хороша.

Ушла, охлаждение приметя,
Растаяв вдали без следа,
И лишь волшебство керемети¹
Осталось в душе навсегда.

Умела и тешить и нежить,
А в путаной музыке слов
Ютилась какая-то нежить,
Усмешка чувашских богов.

Была и зыбка и желанна,
Свежа и невнятна... Была,
Как призрак лесного тумана
У крайней избышки села.

Синельников Михаил Исаакович — поэт, переводчик, эссеист. Родился в 1946 году в Ленинграде. Автор большого количества книг стихов, в т.ч. однотомника (2004) и двухтомника (2006), составитель поэтических антологий. Лауреат ряда литературных премий, в т.ч. Премии Арсения и Андрея Тарковских (2012 г.).

¹ *Кереметь* — в многообразных языческих представлениях чувашей священная роща, одинокое дерево, украшенное лоскутками, волшебный ключ, опасная, озорная, приносящая порчу сила.

Славянское

Выплывала вила-водяница
В лунный свет из глубины Дуная,
Говорила, что давно томится,
И слабеет сила водяная.

Где он бродит, юноша влюблённый?
Не слышать пастушеской свирели,
Лишь под ветром плещет лист зелёный,
И костры цыганские сгорели.

Только длится дальняя дорога
По гаданью вещему цыганки
В той степи языческой Стрибога,
Где метались танки и тачанки.

Над рекою тянутся туманы,
И приходят греки и варяги.
Печенеги скачут и османы,
Поднимают бунчуки и стяги.

Стынет в шахтах угольная лава,
Дальний гром колышет землю нашу,
И желтеет череп Святослава,
Превращённый в жертвенную чашу.

Карабах

Там в крови сошлись жестоко
Горных речек имена,
Древнетюркские с истока
И армянские до дна.

Всё вам тесно, дети праха!
И кому из вас родней
Эти травы Карабаха —
Мошь Тимуровых коней?

И земля побагровела,
Где в огне сплелись не раз
Гул согласный оровела
И Вагифа звонкий саз.

А у скал в лесном тумане
И вдали от полчищ всех
Чудится пугливой лани
Поступь этих или тех.

Заключение

Есть у неистовства пределы...
Освободившийся народ,
Обобранный и поределый,
Спешит и ничего не ждёт.

Тюремщик не расслышал стона
И задремал усталый суд,
И вот уж голову Дантона
К толпе за волосы несут.

Ущелье

Одинокое дерево там зацвело.
Розовеет, не зная опять,
Что вселенную тайное гложет жерло,
Только ты это сможешь понять.

Там всё те же на месте стоят облака,
Где на них ты глядел молодой.
И привычно всё та же грохочет река
С, леденящей ладони, водой.

Ты узнаешь, как сладостна эта вода,
Даже если подобно воде,
Торопясь, ниоткуда идёшь в никуда
И следа не оставишь нигде.

* * *

Пустеют вагоны ночных электричек,
Темнеют, редеют огни и стоянки.
И верный советчик и едкий обидчик
Давно уж сошли на глухом полустанке.

И если войдёт запоздалая слава,
Попутчицу встретишь, не слишком желая.
Пусть сядет поодаль под грохот состава,
Как девочка детства, давно пожилая.

Снег

Что белеет, бурлит, серебрится?
Это снег всё летит и летит
На почти незабвенные лица,
На непрочный саман и гранит.

Это в детстве моём двуедином
Закипает мираж снеговой —
То подходит к тяньшаньским вершинам,
То бушует над стылой Невой.

Стольких судеб хранитель последний,
Там, где вьюга легка и свежа,
Я стою средь преданий и бредней,
Материнскую руку держа.

Трону изморозь жизни усталой,
Чтобы снова пошёл невпопад,
Вырываясь из повести талой,
Возвращающий всех снегопад.

Мурад Ибрагимбеков

Рассказы

Мой дядя Надыр

Как-то раз в беседе со мной дядя Надыр высказал мысль, что, по его скромному разумению, избранная в юности профессия придает ему, дяде Надыру, дополнительную привлекательность в глазах женщин. Ни под каким видом дядю Надыра нельзя было назвать человеком голословным, все его утверждения всегда основывались на многолетних наблюдениях и практических опытах.

При знакомстве дядя Надыр именoval себя «прикладным зоологом». Он так всегда представлялся при встрече с незнакомыми людьми независимо от их пола, возраста и социальной принадлежности. «Прикладной зоолог», — вскользь произносил дядя Надыр, не вдаваясь в подробности. В том случае, если собеседник, а такое бывало, начинал более подробно расспрашивать о названной специальности, о профессиональных обязанностях и необходимых для этого, как и для любого другого ремесла, навыках и познаниях, дядя Надыр с легким поклоном и недлинной паузой пояснял: «Сейчас я служу в зоопарке». В такие минуты я очень гордился дядей Надыром и давал про себя зарок всегда брать с него пример. Потому как был убежден, что только врожденная скромность и переросшее в застенчивость безукоризненное воспитание не позволяли дяде Надыру честно именовать себя ученым.

Периодически за партией в нарды или пятикарточный покер, время которых, по многолетней семейной традиции, наступало после субботнего ужина, разговор заходил о том, что когда-то дядю Надыра исключили из института за хулиганство. Говорилось об этом не впрямую. Родственники обменивались короткими фразами, понятными лишь человеку, посвященному в семейные неурядицы, о которых не принято говорить с посторонними, хотя в самих этих неприятностях, коих вернее было бы назвать казусами, не было и не могло быть ничего постыдного и непристойного.

И само упоминание этой истории, разумеется, в отсутствие ее героя, со временем стало частью семейной традиции, собирающей раз в неделю под одной крышей родню первого, второго и третьего колена. По негласному уговору, базирующемуся, по всей вероятности, на воспитательных резонах, нас, детей, в подробности не посвящали.

Позже я узнал причину, почему дядя Надыр добровольно-принудительно покинул биологический факультет университета, от первоисточника.

— Мы разошлись во взглядах на вивисекцию, — объяснил он, — и мне пришлось покинуть университет.

Дядя Надыр рассказал мне, что вивисекция вещь для науки чрезвычайно необходимая, но очень жестокая. И поэтому при проведении вивисекции настоящий исследователь ни в коем случае не должен позволять себе шутить и глумиться над

предметом опыта (в случае, о котором идет речь, это был кролик). А один из сокурсников дяди Надыра, не вняв его увещеваниям, продолжал отпускать грязные остроты в адрес невыносимо страдающего зверька, и тогда дяде Надыру пришлось призвать этого студента к порядку.

— Всего один раз бутылкой ударил, — уточнил дядя Надыр. Он тяжело вздохнул и махнул рукой, выразив тем самым свое отношение к излишней суровости наказания. — И мне пришлось покинуть университет, — закончил он свой короткий рассказ, тоном дав понять о крайней нежелательности дальнейших расспросов.

Дядя Надыр часто приходил к нам в гости, мне же никогда не доводилось бывать в его жилище. Знал только, что, как и полагается настоящему ученому-исследователю, живет он один в маленьком доме на побережье. Дядя Надыр был холост, а родители его умерли очень давно.

Иногда, во время школьных каникул, чтобы не оставлять ребенка одного, меня приводили на работу к дяде Надыру и оставляли там на весь день. Я с нетерпением ждал этих посещений, потому что обожал зоопарк и очень любил оставаться в нем надолго. Я мечтал когда-нибудь поселиться в зоопарке. Конечно, я прекрасно понимал, что простому мальчику, даже если он родственник дяди Надыра, никогда не разрешат за просто так жить в столь замечательном месте, и уж тем более не выделят служебную жилплощадь на его территории, а поэтому твердо решил, что, когда вырасту, непременно стану зоологом.

Особенно хорош зоопарк бывал в августе, когда наступала изнуряющая, звенящая, чудовищная бакинская жара. В такую погоду ни один нормальный человек добровольно в зоопарк не припрется, а что может быть прекрасней зоопарка без людей. В тот день их, людей, в зоопарке было двое — я и дядя Надыр.

В тот день дядя Надыр занимался Неуловимым. Он метко обрабатывал Неуловимого водой из шланга, следя за тем, чтобы живительная струя воды, не пропуская ни единой его части, равномерно перемещалась по Неуловимому. Неуловимый, в свою очередь, радостно похрюкивал и ловко, с присущей ему особой грацией, подставлял под струю разнообразные части своего тела.

— *Nipporotamus amphibious*, — дядя Надыр знал множество научных терминов, именно так на древнем латинском языке называются эти животные. Обитают они в теплом, с повышенной влажностью климате, и дядя Надыр имеющимися подручными средствами самоотверженно пытался воссоздать среду мелкого пресноводного водоема, южных широт нашей планеты, где и спасаются от тропического зноя африканские карликовые бегемоты.

Дядя Надыр очень любил животных и делал все, что в его силах, чтобы им жилось в зоопарке хорошо и комфортно. Однажды он даже побил одного работника, который воровал у зверей еду.

— Вы коллеги? — спросил я у дяди Надыра, когда узнал об этом инциденте, — он тоже прикладной зоолог?

— Разумеется, нет, — с улыбкой ответил дядя Надыр.

Смуглый, жилистый, пропорционально покрытый шерстью, обнаженный по пояс — на нем были только старые потертые тренинги, — босой человек и покорно стоящее перед ним дикое, но уже без пяти минут одомашненное млекопитающее. Творец и природа, человек и брат меньший, пастырь и овца, создатель и космос — фреска творения на материале знойного полдня в бакинском зоопарке.

Наблюдая за происходящим из-за ограды вольера — заходить за ограждение мне было категорически запрещено, — я вдруг увидел, что взгляд дяди Надыра остановился на каком-то предмете позади меня, и Неуловимый тоже обратил на это внимание, мы оба повернулись и посмотрели туда, куда был устремлен взгляд дяди Надыра. Не знаю, что подумал Неуловимый, но я в первое мгновение решил, что это мираж.

Не часто на улицах и в скверах нашего города встречаются блондинки. В наших

широтах подобный тип женщин редкость, а шансы встретить одиноко бредущую скандинавскую красавицу в такую жару в пустынном бакинском зоопарке практически равны нулю.

Но это был вовсе не мираж. Плавной неторопливой походкой вдоль клеток с парнокопытными в нашу сторону двигалась девушка, красивой которой я никогда не видал. Она подошла к вольеру Неуловимого и с любопытством посмотрела на происходящее пронзительными голубыми глазами, сверху вниз, она была высокой девушкой, и дядя Надыр заглянул в эти глаза, обрамленные светлыми пушистыми ресницами.

Мир на мгновение замер, когда эти двое увидели друг друга, потому что во фреску мироздания вошла женщина. Замер Неуловимый, замер дядя Надыр, замерли цикады и бабочки и все остальные насекомые, замерла вода, льющаяся из шланга. Я тоже замер, зачарованный происходящим. Я стоял сбоку и, затаив дыхание, наблюдала во все глаза. А потом она поднесла к лицу висящий у нее на груди фотоаппарат «Зенит» и сделала снимок.

Медленно, с гипнотической пластикой дядя Надыр протянул в сторону незнакомки руку, как бы желая продлить это сладостное мгновение. «Подожди, — прошептал он, — подожди», — а потом дядя Надыр бросил на землю садовый шланг, который держал в другой руке и стремглав бросился прочь. Дядя Надыр бежал к маленькой деревянной будочке, размером метр на метр, где он хранил свой инвентарь, необходимый для ухода за его питомцами. Он распахнул дверь этого хрупкого фанерного сооружения и, обернувшись напоследок, с немым на сей раз призывом «Подожди» скрылся внутри, плотно затворив за собой ветхую дверь.

В тот момент я ужасно удивился такому поведению дяди Надыра, потому что совершенно не понимал, что ему могло там так срочно понадобиться и вообще, зачем надо было скрываться, когда все так удачно складывалось. Но уже через несколько секунд дверь распахнулась, и я сразу все понял. На пороге своего служебного помещения стоял дядя Надыр, но облик его был другим, это был прикладной зоолог во всей красе этой благородной профессии. Дядя Надыр был одет в черный костюм и белую сорочку. Никогда бы не догадался, что он предчувствовал этот невероятный день и так тщательно к нему подготовился.

На самом деле наличие костюма объяснялось тем, что вечером дядя Надыр был приглашен на юбилей одного нашего дальнего родственника, дяди Буллы: костюм и рубашку он принес на службу, чтобы не возвращаться домой, а свои черные туфли сдал в починку, их он собирался забрать после работы, и поэтому дядя Надыр был бос, но это ни капельки не умаляло его достоинства.

И дядя Надыр подошел к незнакомке, неотразимый в своей элегантности и со свойственным ему шармом неторопливо завел беседу о животных, что было поучительно и увлекательно, ведь дядя Надыр прекрасно во всем этом разбирался.

Ее звали Дайва, и приехала она в Баку из Клайпеды в командировку по заданию редакции журнала «Старость и море» (органа рыболовецкого профсоюза) писать статью об азербайджанской художественной самодеятельности.

И надо сказать, что дядя Надыр ей в этом здорово помог. Все дни пребывания Дайвы в Баку они с дядей Надыром были неразлучны, и он постоянно устраивал для нее показы разнообразной художественной самодеятельности. До знакомства с Дайвой я и представить себе не мог, сколько наших родственников и знакомых умеют петь, музицировать и исполнять народные танцы. Мне тоже пришлось выступать: когда Дайва пришла к нам в гости, я «с выражением» прочитал стихотворение Роберта Рождественского о войне. Дайва тогда сказала, что у меня есть актерские способности, и спросила, кем я хочу быть. И я ответил, что твердо решил посвятить свою жизнь зоологии.

Через неделю Дайва уехала к себе в Клайпеду, какое-то время они с дядей

Надыром переписывались, но потом перестали. После того случая за дядей Надыром закрепилась в семье репутация знатока женской психологии, ловеласа и сердцееда, именно в этом, по мнению родственников, была причина того, что дядя Надыр так и не связал себя узами брака. Наверно, так оно и было.

— Никогда не понимал, как человеку удастся 25 лет подряд любить одну женщину, — произнес дядя Надыр, поднимая тост на серебряной свадьбе нашего троюродного дяди Азима. Тогда тетя Лейла, по-моему, несколько осерчала на дядю Надыра. Я случайно слышал, что она назвала его фривольным типом. Она так и сказала маме: «При всей моей любви к Надыру, все-таки должны быть какие-то рамки и приличия, он просто необузданный фривольный тип, хоть и родной человек».

Потом я вырос и уехал учиться в Москву. Со временем родственники стали собираться на семейные посиделки не столь регулярно, как во времена моего детства, сократив общение до значительных праздников и юбилеев.

Шли годы. Как-то, вернувшись погостить на родину, я решил навестить дядю Надыра. Последние лет двадцать я его видел редко, знал, что он вышел на пенсию и в городе практически не бывает, телефона у него в доме не было.

Трава и почки на ветках деревьев только начали свой путь к солнцу под пение птиц и стрекот проснувшихся после зимней спячки сверчков. В деревне Мардакан пахло весной. Я очень образовался, когда еще издали увидел сидевшую на крыльце дома мужскую фигуру и развившуюся возле собачонку. При моем приближении щенок с лаем бросился ко мне, но не как надлежит бросаться при появлении незнакомца дворовой собаке, а по-приятельски, словно заранее учуяв во мне человека непостороннего.

Лысый старик не подал виду, что не сразу узнал меня. Вернее узнал-то он меня немедленно, просто вначале не сумел разглядеть, его не вытекший после болезни глаз практически не видел.

Дядя Надыр очень обрадовался моему появлению. По его словам, чувствовал он себя превосходно, неудобство доставляли лишь ухудшившееся с возрастом зрение (читать он мог только с лупой) и хромота: ходил он, опираясь на палку. В остальном же он был очень доволен жизнью. В последнее время он увлекся выращиванием экологически чистых продуктов. Дядя Надыр с гордостью показал мне несколько грядок с помидорами, огурцами и редисом.

Он растопил самовар, и мы стали пить чай. Дядя Надыр очень заинтересовался темой моей докторской диссертации и горячо одобрил предмет исследования. Его тоже волновали африканские носороги.

— Поразительные животные эти носороги, у нас в зоопарке их не было, и мне никогда не приходилось иметь с ними дело, — сказал он.

Дядя Надыр подробно расспросил меня о моих многолетних наблюдениях за этими древними животными в Намибийском заповеднике и высказал надежду, что моя диссертация будет иметь должный научный резонанс. В будущем он настоятельно советовал мне заняться карликовыми носорогами, обитающими в горных районах Малайзии.

— Практически не изученный вид, — доверительно сказал дядя Надыр, — *Direcorhinus sumatreusis*.

Он подробно расспросил меня о моей личной жизни и, узнав, что со своей будущей женой, журналистом по профессии, я познакомился в одной из своих экспедиций, удовлетворенно кивнул. С помощью лупы он внимательно изучил небольшую фотографию, где мы с женой были запечатлены на фоне водопада Виктория, и явно остался доволен увиденным.

— Я всегда говорил, что мужчина-зоолог привлекает красивых женщин, — констатировал дядя Надыр, помолчал, думая о чем-то своем, а потом добавил: —

Знаешь, сейчас я, конечно, не тот, что в былые годы, но всякий раз, когда побреюсь и выйду пройтись по городу, две-три за мной идут...

Это был последний раз, когда я видел дядю Надыра. На похоронах меня не было, я узнал о его смерти через неделю после того, как его не стало. О смерти дяди Надыра властям сообщила туристка из Норвегии Гудрум Эпштейн. Именно она нашла дядю Надыра на улице, стала кричать, привлекая внимание прохожих. Она оставалась с телом дяди Надыра до приезда скорой помощи, а потом поехала в морг, где находилась, пока не приехали родственники: это была тетя Наргиз, внучка тети Севы, кузины его покойной матери.

Гудрум Эпштейн приехала в Баку на экскурсию и познакомилась с дядей Надыром совсем случайно. В далеком 1965-м году она победила на конкурсе красоты и получила приз «Мисс Осло».

Ни под каким видом дядю Надыра нельзя было назвать человеком голословным, все его утверждения основывались на многолетних наблюдениях и практических опытах. Профессия зоолога привлекает красивых женщин.

Телескоп

После непродолжительной командировки, связанной с заключением одной некрупной, но немаловажной для моей карьеры коммерческой сделки, я возвращался домой в Баку на своем служебном автомобиле.

В тот день я продал телескоп. Продал, разумеется, не сам, мне было поручено оформить сделку, подготовить бумаги, провести оценку объекта и прилегающей территории, определить коэффициент возможной рентабельности и аргументировать необходимость скорейшей приватизации. В общем, все как всегда. Это моя работа. Организация, в которой я служу, для того и была создана, чтобы делать частным то, что раньше было общественным или государственным. Ведь совершенно точно доказано, что частное всегда прогрессивней общественного, это аксиома. В этот раз речь шла о телескопе. Телескоп был старенький, много лет не использовался по назначению, исторической ценности не представлял и никому, в сущности, не был нужен.

Хотя к астрономии я абсолютно никакого отношения не имею, но телескопы всегда вызывали у меня живейший интерес. Когда я бываю в заграничных командировках, а ездить мне приходится часто, всегда любопытствую, как в месте пребывания обстоят дела с телескопами. Я даже собирался приобрести себе на дачу небольшой телескоп, но потом передумал. Неизвестно, как может быть воспринята излишняя любознательность с точки зрения политики.

Во многом невинное увлечение астрономией связано с моей службой в вооруженных силах, как раз в армии я впервые в жизни увидел телескоп. Конечно, в армию я пошел не добровольно, мог бы и увильнуть, учитывая связи моего отца, но папа предусмотрительно рассудил, что хотя избежать призыва и можно, но потом это может негативно сказаться на моей карьере и стать помехой для продвижения по службе.

Бескрайние живописные степи окружали нашу небольшую воинскую часть со всех сторон — потрясающе красивый пейзаж, хотя несколько однообразный. Куда ни пойдешь, везде одна степь, летом очень жарко, зимой невыносимо холодно. Изредка можно встретить отару овец или одиноко бредущего верблюда — никаких развлечений и светской жизни. Была только одна вещь, вносящая хоть какое-то разнообразие в монотонный уклад армейской жизни, — телескоп.

Телескоп находился на территории нашей части, в самом ее центре. Небольшой

серого цвета каменный куб с возвышающейся над ним металлической сферой. Располагался он в палисаднике размером десять на десять метров, отделенном от остального армейского мирка неприступной оградой из колючей проволоки, поверху которой был пущен ток высокого напряжения. По периметру ограждения нес караульную службу методом патрулирования бдительный часовой.

По сведениям моего приятеля ефрейтора Леньки Громова, служащего писарем при штабной канцелярии, человека информированного и знающего, из многочисленного офицерского состава нашей части всего лишь три полковника имели допуск на территорию загадочного объекта.

Два раза в неделю, всегда на закате, эти три офицера, образуя треугольник, степенно пересекали плац, приближались к охраняемой зоне и после переговоров с разводящим караула и часовым исчезали на несколько часов в телескопе. Этим самым часовым доводилось бывать и мне, тогда я зычно произносил: «Стой, кто идет?», интересовался паролем, отдавал честь, докладывал разводящему караула и запускал трех астрономов внутрь — в общем, все по уставу, как положено. Устав я замечательно знал, мне даже за знания уставов однажды вынесли благодарность в приказе. У меня с юности был талант к работе с документами и инструкциями. В жизни это качество мне очень пригодилось. Начальство меня ценит. Я очень аккуратен в составлении различных бумаг и документов, необходимых для успешного функционирования государственного аппарата.

И вот в те дни, когда эти три астронома, или кем они были на самом деле, исчезали в телескопе, тогда-то и начиналось самое интересное. С наступлением ночи, когда на землю опускалась тьма, металлическая сфера обсерватории раздвигалась, и оттуда в течение часа или около того начинали вырываться лучи ослепительно яркого зеленого света. Это было поразительное, волнующее зрелище. Исчезающие в звездном небе стрелы света.

В бесчисленных диспутах рядового состава так и не было выяснено, вырываются ли эти зеленые молнии из башни, уносясь в неведомые космические дали, неся в себе важнейшую информацию для наших космонавтов, или же, наоборот, они присылаются из космоса с многочисленных спутников-шпионов, ведущих постоянное наблюдение за нашей планетой. Этого никто точно не знал. Я думаю, могло быть и так, и этак. Когда надо, из телескопа можно было послать сообщение, а если требовалось получить ответ, то телескоп мог работать как космический приемник. И это был вовсе не телескоп, телескопами в наше время никого не удивишь, тем более такими неказистыми. То есть телескоп как оптический прибор в наличии имелся, но так, для отвода глаз. Никто из этих офицеров не занимался астрономией в традиционном понимании этого слова. На самом деле это был секретный пункт космической связи! И я до сих пор горжусь, что в среднем два раза в неделю его сторожил. Ночью один при оружии я стоял на посту, а в нескольких метрах от меня происходила прямая связь с космосом ...

Насчет этих лучей говорили разное. Кто-то, к примеру, утверждал, что от них исходит радиация, пагубно влияющая на мужскую потенцию. Другие, вернувшиеся с побывки, утверждали, что потенция в норме, а некоторые даже уверяли, будто она возросла, что также связывалось с телескопом.

Я в эти рассказы никогда не верил. Потенция или есть или ее нет — точно говорю. Взять, к примеру, меня — я человек сексуально успешный. В браке вполне счастлив и жене никогда осознанно не изменяю. Однако если в деловых поездках принимающая сторона оказывает мне эскорт-услуги (а это частенько случается), я никогда от этих услуг не отказываюсь. Во-первых, из эстетических соображений, а во-вторых, из-за нежелания обидеть партнеров. Конечно, это не совсем легально, но так все делают, такова система.

Если эти лучи и влияли на человека, то на меня они повлияли благотворно!

На фотографии я красовался на фоне телескопа, одетый в парадную форму, с автоматом наперевес. Смотрелся очень значительно. Мама поместила фото в рамку и поставила ее в сервант. Она доверительно рассказывала нашим знакомым, что именно мне была доверена охрана объекта государственной важности.

На той же фотографии виден еще один человек: вдалеке, на крыше телескопа можно разглядеть маленькую фигурку. Этого солдата звали Нариман — единственный человек в части, который имел допуск к телескопу кроме полковников-секретчиков. В его обязанности входила уборка телескопа, вернее не самого телескопа, а его служебных помещений. Наримана периодически запускали на сутки внутрь секретного объекта, где он орудовал шваброй и веником. Парень он был славный, хоть и недалекий, деревенский. Особенно мы не были дружны, служили в разных ротах, ну и социальные различия тоже имели место, если быть до конца откровенным.

На Габлинском перевале я попросил водителя остановиться, чтобы со смотровой площадки полюбоваться горной долиной. Космическая красота пейзажа нашей крохотной планеты Земля, которая непрерывно движется по орбите вокруг звезды под названием Солнце, тронула сокровенные струны моего естества и пробудила в душе волнительное чувство легкого аппетита.

К своему аппетиту отношусь очень внимательно, всегда к нему прислушиваюсь и без внимания не оставляю. К вопросам пищи не следует подходить бездумно и легкомысленно, продукты домой покупаю только в определенных местах и самые свежие, к выбору ресторана подхожу без излишней суеты и торопливости. Потому я и поручил своему водителю, человеку весьма расторопному и смысловому, навести справки. Порасспросив небольшую группу молодых уроженцев здешних мест, ошивающихся на туристическом объекте и коротавших время за дружеской беседой в ожидании случайных заработков, водитель разузнал, что в пяти минутах езды находится известный в округе качеством еды и низкими ценами загородный ресторан под названием «Телескоп». Я не мог сдержать улыбки: после успешно проведенной сделки утолить голод в одноименном с предметом контракта ресторане... Совпадение показалось мне забавным и в чем-то закономерным.

По названию о ресторане судить не следует, обычно по названию не поймешь, хороша кухня или не очень, название должно соответствовать интерьеру, это правда.

Встречаются очень несуразные названия, к примеру, один мой дальний родственник открыл недавно ресторан и назвал его «Вольтер», очень, на мой скромный взгляд, претенциозно и нелепо получилось. Конечно, если ты выхлопотал себе звание «доктор философских наук», можно назвать ресторан «Вольтер», вполне благопристойно и со вкусом, но тогда и антураж должен соответствовать, следует завести бюсты философов и сделать декоративные полки с книгами, чтобы сразу было понятно, что здесь собираются люди интеллектуально развитые. А в том ресторане, о котором мне вспомнилось, сплошной хай-тек и ни одного канделябра на весь кабак. Любопытно, как будет выглядеть «Телескоп».

— Съездим поглядим, — сказал я водителю.

Ассоциативный поток воспоминаний нес меня в прошлое, воскрешая в памяти подзабытые подробности моего солдатского бытия.

Среди салажат ходили упорные слухи, что Нариман на самом деле гениальный астроном-вундеркинд, временно разжалованный в солдаты из офицеров. Я привожу это в качестве особо яркого примера солдатского мифотворчества, граничащего с идиотизмом. С первого взгляда становилось понятно, что к астрономии он не может иметь никакого отношения, даже в перспективе. Он и по-русски-то толком говорить не умел. Разумеется, я его в меру сил опекал, как-никак земляк. У этого деревенского парня была какая-то трогательная привязанность к телескопу, которую он, впрочем, не особенно афишировал.

Как-то раз после ужина мы сидели и курили на спортплощадке.

— У меня наряд только в среду, — Нариман вздохнул, — ты не представляешь, как я тоскую без наряда.

— Ты тоскуешь без наряда? — спросил я удивленно. Представить себе, что человек может тосковать о помывке чужого унитаза, как, впрочем, и своего собственного, я не мог.

— При чем здесь наряд, — Нариман выкинул окурок. — Я тоскую о телескопе.

Я замер. На какое-то мгновение я решил, что миф о гении-астрономе Наримане — не миф вовсе. Расспрашивать я не решался, одно неверное замечание, и он замкнется в себе, не желая раскрывать тайну. А в том, что тайна имела место, я не сомневался с самого начала.

— Ты говоришь об астрономии? — стараясь не спугнуть, произнес я.

— Какое отношение я могу иметь к астрономии? — грустно спросил Нариман.

— А какое отношение ты можешь иметь к телескопу? — поинтересовался я.

— Я за ним присматриваю, — сказал Нариман и замолчал.

Но было в его молчании грандиозное желание поделиться со мной чем-то очень и очень сокровенным, личным. Чем-то таким, что рассказать можно или настоящему близкому или абсолютно незнакомому человеку. Так я и не узнал, в чем там дело.

У съезда на проселочную дорогу был установлен небольшой рекламный щит, извещающий о том, что до ресторана осталось двести метров.

Дорога проходила через гранатовую рощу, и вскоре мы оказались на стоянке для машин перед декоративными воротцами с лаконичной надписью «Телескоп». Ворота эти были весьма уместны в пейзаже, созданном хозяином ресторана. Старинные кувшины, коврики в национальном стиле, плетеная изгородь, дымок из трубы печки-тандыра с запахом свежее испеченного хлеба. На склоне пологого холма, покрытого невысокими кустами кизила, были выстроены деревянные беседки для посетителей, заботливо обсаженные виноградом.

Традиционно, но вполне недурственно. Твердая четверка даже для провинциального ресторана где-нибудь в Европе.

Глаз у меня наметанный, мне даже пробовать ничего не надо, чтобы понять, как в ресторане кормят. Похоже, сведения, полученные от местных жителей, оказались верны.

Человек с метлой, когда мы подъехали, о чем-то переговаривался с мальчиком лет двенадцати, оба весело смеялись. Увидев мой служебный автомобиль, он отдал метлу собеседнику и, подбежав к машине, услужливо открыл дверь. По-видимому, в этом заведении он выполнял роль привратника в униформе.

Наши взгляды встретились, и мы узнали друга. Это был Нариман! Бывают же совпадения, воистину — смол ворлд (маленький мир — по-английски).

Нариман: «Начальниками, а тем более хозяином своего дела так просто не становятся! Я как раз объяснял своему двоюродному племяннику Али, как надо с метлой управляться, он парень работающий, просто стыдится метлой орудовать. Я лично подмел стоянку, чтобы парень понял — стыдного в этом ничего нет, думаю, урок пойдет ему на пользу. Труд есть труд! Когда удастся, я стараюсь сам встречать посетителей, страна у нас небольшая, а людей на дороге много — всегда можно найти общих знакомых, ну и завести новых, разумеется. Номера у подъехавшей машины были не простые, я в этом разбираюсь, явно какой-то начальник... Я его не сразу узнал, хотя память у меня на лица хорошая, мы вместе служили в армии, он был в соседней роте, имени его я не помню. Парень был неплохой, носа не задира, хотя и было известно, что отец у него при должности».

— Вас ждут? — учтиво спросил Нариман.

— Да нет, дорогой друг. Просто проезжал мимо и решил перекусить. Здесь хорошо кормят? — с наигранным недоверием спросил я, доброжелательно улыбнувшись.

— Высший разряд! — уверил меня Нариман, напустив на себя, как и подобает ресторанному привратнику, дурашливый вид.

— Слушай! — вдруг воскликнул я. Может, это прозвучит снобистски, но я никогда не одобрял излишней фамильярности с обслуживающим персоналом. — Слушай! Вот это совпадение, сегодня весь день думал о телескопе! Помнишь?!

Нариман радостно закивал в ответ. Меня тронуло, что армейский приятель деликатно держал дистанцию, отделяющую служащего шашлычной от человека, волей судеб имеющего пусть небольшое, но отношение к управлению страной...

Нариман: «Обстоятельства разные бывают — не следует навязывать свое общение, я к посетителям в друзья некогда не навязывался, клиент есть клиент, если человек хочет пообщаться, я против не буду... Конечно, я помню тот телескоп. Я в роте всем запретил ходить в наряд в обсерваторию, к тому времени у меня авторитета на такое хватало. Я замком взводу, старшему сержанту, так и сказал: "Кого-нибудь в телескоп, кроме меня, в наряд поставишь — не обижайся". Доходчиво растолковал, и с тех пор кроме меня в телескоп никто из солдат не совался. Конечно, вслух я этого не сказал, к чему излишние подробности малознакомому человеку. Просто вежливо кивнул».

Нариман повел меня к лучшей, по его уверению, беседке, где я и расположился за накрытым белоснежной скатертью столом, с которого своевременно возникший официант принялся стряхивать несуществующие пылинки, другой уже расторопно приближался с подносом, на котором стояли холодные бутылки с водой, одна с газом, другая — без. Положительно, ресторан мне начинал нравиться.

Прежде чем сделать заказ, я позаботился о своем водителе, конечно, сажать шофера за свой стол не нужно, но и в машине скучать ему не следует. Я поручил его заботам Наримана, и тот меня успокоил.

С недавних пор я стал разбираться в винах, говоря откровенно, я больше люблю крепкие напитки, к примеру виски (островной, пятнадцатилетней выдержки), но следует соответствовать должности, публично принято пить вино, ну и понимать букет, разумеется, так все делают...

Я полюбопытствовал насчет местных вин. Винная карта в заведении отсутствовала, но официант подробно перечислил весь ассортимент. Ради интереса я заказал бутылку вина знакомой мне винодельческой компании.

Пару лет назад я способствовал приватизации одного винодельческого хозяйства, при прежней власти они выпускали бормотуху, которую нормальный человек пить был не в состоянии. Я оформил сделку, и новый владелец за пару лет наладил выпуск современной продукции.

Дизайн принесенной бутылки был неплох, я сделал глоток и остался вполне доволен.

Комиссионные с той сделки запомнились. Виноделы организовали мне и моей семье тур по Калифорнии, в тех краях много частных винокурен, так что я с удовольствием и с пользой для всех мог отдаться изучению передового зарубежного опыта.

Я всегда получаю комиссионные. Я считаю, это справедливо, ведь мои интересы совпадают с интересом народа. К примеру, недавно мы приобрели экологические фильтры для завода бытовой химии, находящегося в небольшом провинциальном городке. Предприятие это было градообразующим, мы не поскупились, приобрели самые дорогие и современные очистительные механизмы, и воздух в городе и окрестностях сделался, как на курорте. Этот проект был даже упомянут в докладе комиссии ООН по экологии как один из самых успешных на постсоветском простран-

стве. Я лично летал в Токио, чтобы оформить сделку. Город мне очень понравился, а вот кухня оставила абсолютно равнодушным, излишне много сырых морепродуктов. Именно там, в Японии, я точно осознал, что из сырого сифуда воспринимаю только белужью икру.

На закуску мне принесли кашкалдаков, запеченных в тандыре, приготовлены они были безукоризненно, это касалось и самих птичек, и начинки из грецких орехов с гранатом. Местный повар знал свое дело. Я так и сказал Нариману, который подошел к столу поинтересоваться, все ли в порядке.

— Слушай, Нариман, а почему ресторан называется «Телескоп»? — спросил я.

— Потому! — ответил Нариман и указал рукой на что-то позади меня.

Странно, что я не заметил это сразу, неподалеку виднелась будка обсерватории, чуть поменьше той, которая была в нашей части... Ну что ж, название ресторана полностью соответствовало интерьеру. Видимо, раньше эта территория принадлежала какому-то НИИ или его филиалу. Все в жизни когда-то меняется, и это закон.

Скажем, телескоп, сделку по которому я сегодня оформил, очень скоро перестанет быть инструментом астрономии, хотя, на мой взгляд, мог бы вполне еще поработать. Я даже, смешно сказать, попытался сохранить телескоп, абсолютно бескорыстно отдал дань увлечению юности, так сказать. Попытался не напрямую, разумеется.

— Вполне сносный телескоп, — вскользь обмолвился я в приватной беседе со своим начальником. — Может, сделать там базу юных астрономов?

При этом я сослался на известный мне опыт таких начинаний в Европе. Мой руководитель снисходительно похвалил меня за правильное видение политических перспектив, связанных с воспитанием подрастающего поколения в духе цивилизованного мира, куда мы и должны стремиться по долгу службы и природной склонности.

Мой непосредственный начальник мудр и влиятелен, он искренне мне доверяет и всецело на меня полагается, потому откровенно растолковал, почему данная идея не может быть реализована. Причин было две: первая — последний астроном в стране умер пять лет назад, а других у нас пока нет и не предвидится; вторая — на территории старой обсерватории планируется построить элитный коттеджный поселок. Я горячо поблагодарил начальника за разъяснения и с энтузиазмом приступил к оформлению сделки. Я всегда избегаю проволочек в делах службы. Сегодня я продал телескоп.

К этому моменту подоспели угри, угри были речные, я всегда интересуюсь: угорь морской или речной, морские стараюсь не заказывать, жестковаты, хотя бывают исключения.

— Слушай, Нариман, а как ты оттяпал телескоп для кабака? — поинтересовался я.

— Купили, — лаконично ответил Нариман.

— Купили обсерваторию? — переспросил я.

— Телескоп купили, а будку сами построили, так, для посетителей, — смущенно улыбнувшись, пояснил Нариман. — Привлекает клиентов, придает изюминку бизнесу и создает атмосферу.

— И как, работает?

— Вполне, когда облаков нет, — ответил Нариман.

Ну что ж, с точки зрения ресторатора неплохой пиар-ход. Есть, что ни говори, в наших деревенских людях подсознательное стремление к цивилизации и просвещению. Можно только приветствовать, можно и должно. Жизнь идет по кругу, подумалось мне. Раньше человек служил при военном телескопе, а теперь служит в телескопе-ресторане. В юности я с оружием в руках охранял телескоп, а повзрослев продал телескоп. Судьба, говоря иначе — провидение.

— Это карма, дорогой Нариман, — произнес я. — В армии у тебя был телескоп и в ресторане тоже телескоп, ты мог бы и астрономом стать. Твое здоровье, дорогой!

Нариман, приложив руку к груди, вежливо поклонился: «Действительно, кармическое во всем этом определенно прослеживается — столько лет прошло, а человек не меняется, как тогда вынюхивал, почему я телескоп люблю, так и сейчас за старое принял. Почему его это так интересует?»

Кстати, поданные кутабы были идеальны. Я знаю много мест, где хорошо готовят это национальное блюдо, но в ресторане «Телескоп» это были не традиционные, а шемахинские кутабы, абсолютно другое блюдо, если вдуматься, требующее особого умения и сноровки, можно сказать, деликатес.

Если отвлеченно порассуждать, то из меня вполне мог бы выйти хороший астроном. Почему нет? Я за собой хорошо слежу, внешность у меня представительная и в меру интеллигентная, я достойно бы смотрелся среди астрономов.

После армии я думал пойти в астрономию. Я даже поделился с папой этой идеей. Отец не стал впрямую возражать или противиться, он просто задал себе и мне несколько вполне разумных вопросов. Как живет астроном? Сколько зарабатывает и на чем? Влиятелен ли обычный астроном или нет? Мы с отцом не нашли ответов на эти вопросы. А я всегда хотел быть влиятельным, мне с детства хотелось влиять. И потом, говоря откровенно, связей у папы в астрономических кругах никаких не было, ни одного дальнего родственника или просто знакомого астронома.

Все что ни делается, как говорится, к лучшему. Я мог бы стать астрономом, но не стал, я сделался чиновником-управленцем и ни капельки об этом не жалею, ну разве чуть-чуть.

Перед отъездом я осмотрел телескоп. Мы поднялись по винтовой лестнице и увидели установленную на треноге металлическую трубу длиной метра в полтора. Ничего особенного. По словам Наримана, приобретен прибор был через интернет-магазин и по вполне приемлемой цене, даже считая с постройкой будки.

— Детишкам нравится, — заметил Нариман.

Может, все-таки и мне приобрести телескоп? Для сына, ребенку полезно иметь телескоп, вещь хорошая, один недостаток: пользоваться можно только по ночам. Хотя надо отдать должное рассудительности и здравому смыслу моего мальчика, он никогда не испытывал потребности стать астрономом, даже не заикался об этом. Вполне возможно, я не был бы против. Деньги у меня есть, я бы его с астрономией поддержал бы. Но сын не хочет, у него способности к иностранным языкам, надеюсь определить его по дипломатической части.

Видимо, двойной вискарь в качестве диджидистива после бутылки вина был излишним. Я представил себе Наримана, который, сидя в телескопе, пускает зеленые лазерные лучи в космос, вступая в контакт с инопланетянами. Картинка эта меня рассмешила.

— Признайся, Нариман, какое отношение ты имел к астрономии? — подмигнув, поинтересовался я.

Ничего обидного в этой шутке не было, как-никак сослуживцы. Нариман ни капельки не обиделся и заговорщически подмигнул мне в ответ.

«Какое отношение я могу иметь к астрономии? В нашей семье образованных сроду не было, испокон веку мы чабанами были, овец пасли. Отец мой первым в семье в город перебрался, городским стал, дело завел, у отца в ресторане было три столика, и не ресторан это был, а так, придорожная ханыжка с мангалом. Отец за мангалом стоял, а я после школы приходил и посетителей обслуживал. Отец хотел, чтобы я

учился, я первое время отличником был, а потом, когда отец умер, я сам за нашей шашлычной следить стал, о маме и трех маленьких сестренках заботиться надо было, и в школу я ходить перестал. Когда после армии вернулся, то у знающих людей навел справки об астрономии. Сказали, что сперва надо закончить 10 классов, а потом ехать в Москву, поступать в астрономический институт. И мне стало понятно, что я не стану астрономом, какой астроном с шестью классами образования.

Я знал, что не мог стать астрономом, и не мог не стать шашлычником, обидно, конечно, но ремесло свое я люблю, в нем преуспел. Кормить людей вкусно — дело почетное, ну и выгода, разумеется. Вот какой у меня бизнес, двадцать столиков, бывают дни, когда мест не хватает, и тогда мы ставим дополнительные. Восемь человек у меня работает, большинство родственники, и мне надежней, и им заработок. Может я из-за тех лазерных лучей умнее стал».

Профессионал — профессионал во всем, — так, кажется, гласит народная мудрость. Мой водитель после того, как утолил голод, не сидел без дела, а успел вымыть автомобиль. Ценю работающих людей.

Мы тепло попрощались с Нариманом. Я отдельно отметил: мангал, осетрина и ребрышки на углях были выше всяких похвал. При приготовлении пищи на мангале очень важно качество угля.

Нариман не взял денег, а я не стал настаивать. Людям бизнеса свойственна природная предусмотрительность, просек, что я при должности, могу пригодиться при случае. Визитку свою я ему оставил.

«Я настоял, что обед за счет заведения, а как иначе, мы же вместе служили. Я от этого счета ни беднее, ни богаче не стану. Славный парень, излишне любопытный, но у каждого человека свой характер. Я по природе человек не скрытный, но не хотел ему рассказывать, почему так телескоп полюбил. Может же быть у человека тайный секрет, верно? Работа в том телескопе была не пыльная, уборка комнаты отдыха, кухни и туалета. Чем там эти офицеры-астрономы занимались, не знаю, у них не спрашивал, да они бы и не сказали. Вроде пункт какой-то космической связи, что-то вроде космической почты. Там была комната, полностью забитая аппаратурой, но меня туда убирать не пускали, а сам телескоп был открыт, я с него пыль смахивал.

Главное начиналось, когда я в телескопе один оставался, в наряде. Я постепенно освоился и научился телескопом пользоваться, это не сложно было, колесико одно надо было покрутить, люк раздвигался, и можно в телескоп поглядеть. Объект всегда под охраной, вокруг часовой ходит, потому что никто неожиданно прийти и меня засечь не смог бы.

В горах звезды по-другому видятся, не так, как на равнине, ярче, ближе что ли. Я, когда к деду в село приезжал, всегда этому удивлялся, очень мне нравилось на звезды смотреть. В армии я очень по дому тосковал, и когда в телескоп смотрел, успокаивался, звезды ближе становились, как у деда на кочевье, оптический эффект такой. Может, тот, кто телескоп изобрел, тоже о чем-то таком думал. Сидел я в этой башне один по ночам в полном покое, покуривал себе и смотрел на звезды. Названия я их, конечно, не знал, какой из меня астроном.

Мой сын скоро станет астрономом, он уже на пятом курсе учится, в университете. Сегодня звонил мне из Болоньи. Смешное название для города, как название ткани.

Иногда думаю, что то, что мой сын астрономом стал, создает одну маленькую проблему, я не жалею, просто рассуждаю. Ресторанный бизнес — хороший бизнес, но его самому вести надо, мало быть просто хозяином. Кому я свое дело оставляю? Может, со временем Али станет надежным управляющим, парень он толковый, работающий, и стремление стать шашлычником у него имеется. Дело по нему, не всем же быть астрономами».

Наталья Изотова

Былью была я сполна

Моё самое земное

В городе, где земная мантия распахана шахтными скважинами,
Под мегаполисным слоем спрятано самое важное.

Взрытого грунта гул, Google в моей голове — каюсь,
Позовут — не откликнусь.
Зовёшь. Не откликаюсь.

Но когда ты вкладываешь в мою тощую тающую ладонь
горячий кусок пирога
или переписанный от руки сонет,
или хотя бы ключи от своей двери,
мне кажется, ты сердце своё, распахнутое донага,
добываешь из собственных недр
и вверяешь — на вот, бери.

Я всё приму, я ценю дары тех, кому дорога.
Благодарю, я в ответе за каждый кусок пирога.

Слушала рок-н-ролл, мечтала о журавле,
Теперь стою на земле, держу в руках то,
без чего не прожить на Земле.
На этой пронзительно тихой Земле.

Весенне-союзное

Оттаиваю,
Но таюсь.
Вьюнком словесным пре-
Смыкаюсь.
Мой разделительный
Союз —
То птица вран,
То птица аист.

А противительный — привит,
Виток к витку — даёт пружину,
Вдавлю упрямый алфавит
В свой почерк сильного нажима.

Несёт сорока на хвосте.
Кладёт кузнечик пузо в кузов.
Я покоряюсь простоте
Соединительных союзов.

И чаю мятного налью —
Всё глуповато в нём, всё сладко,
Как песенное *онли ю*.
Как *белогривые лошадки*.

* * *

Вот моя тонкая статья —
Дайте ей тонкую нить,
Только бы чем-нибудь статью,
Только бы статью применить,
Только бы я не спала,
Спала бы сна пелена.
Только б тогда и была —
Былью была я сполна.

Изок¹

Месяц изок перепончатокрылый,
Месяц изок.
Время-песок, не спасёшь — хоть помилуй,
Время-песок.

Глаз-аквагрин наполняется синью
До акваблю.

Росчерком взгляда вести ватерлинию —
Я так люблю.

Чайное платье молочного цвета.
Голуби вен.
Солнечный замысел юного лета
Благословен.

* * *

Тут всё ясно: *она не перестаёт*.
Просыпаешься утром, а солнце светит.
Удивляться бы этому всю жизнь напролёт,
Носить в себе солнце и быть как дети.

Тут всё чисто: рви вилами тайну вод
Письменами обманными — будет гладко.
Я как в воду глядела, гляжу теперь в неба свод,
Где прозрачность и тайнопись, и загадка.

Тут всё честно. И даже вонзивший нож
Обретёт и спасётся. Проснись, как столетие прежде:
— Боже милостивый, будь к ним добрее всё ж,
Каждой твари по Вере дай, каждой дай по Надежде.

¹ Изок — 1) *церк.* название месяца июня; 2) насекомое кузнечик.

Елена Клепикова

Из жизни Марты

Рассказы

Красавица и Чудовище

Марта смотрела на две квадратистые угловатые фигуры — то ли из бронзы, то ли из кожи, то ли из дерева. Может, вообще из полимеров «подо что-то». Скульптурная пара сидела на гладком полу спина к спине. «А пойти устроиться на коленях у левого — подумала Марта, — подремлю немного, там, вроде, свободно». На вытянутых ногах правой скульптуры рядом разместилось семейство из Индии: папа с набитым пластиковыми бутылками и пачками печенья пакетом, трое тихих огромноглазых детей-погодков, мама, качающая на руках малыша. Здание аэропорта было переполнено. Амстердам внезапно накрыло густым ватным туманом, и уже двое суток ни один самолет не вылетал из Слипхола. Принимать самолеты Слипхол тоже не мог, и даже правительственный борт, покружившись над взлетно-посадочной полосой, ушел на военную базу. Счастливицы расположились в креслах, менее удачливые сидели на чемоданах, транспортных тележках. Пассажиры заполнили комнаты отдыха, помещения для медитаций и моленные. Люди посменно спали на санитарных носилках, выставленных рядами у стены. В ресторанах, кафе и пабах негде было упасть яблоку. И среди этого толпостояния, толпосидения и толполежания только вытянутые ноги авангардистской скульптуры оставались незанятыми. Марта оглянулась, конкурентов не увидела, шагнула вперед, развернулась и с блаженным вздохом даже не села, а шлепнулась на свободное место.

— Ай! — громко вскрикнула скульптура.

— А-а-а!!! — подскочив, в ужасе завопила Марта.

— Здесь занято, — хрипло сказала скульптура.

— П-п-п-простите, — судорожно выдохнула Марта, — Как же вы меня испугали.

На ногах скульптуры укрытый с головой шерстяным коричневым пальто лежал кто-то маленький. Пальто зашевелилось, и из-под него вылез человек. Отлично пошитый костюм не скрывал, но скрадывал горб на спине и не оттопыриваясь мягко обтекал горб на груди. Круглыми без ресниц глазами, остроносый профилем и манерой резко скидывать голову человек напоминал птицу.

* Рубрика выходит при поддержке фонда «Русский мир».

Елена Клепикова — родилась в Алма-Ате. Закончила исторический факультет Казахского Государственного университета. Работала в Центральном Государственном историческом музее РК, музее истории города Алматы, Центральном государственном архиве кино-фотодокументов и звукозаписей. Публиковалась в казахстанских журналах и альманахах. Лауреат литературных конкурсов. Живет в Алматы. Последняя публикация в «ДН» — «Алма-атинские быльки», № 7, 2010.

— Лёвушка?! — узнавая и не веря этому, прошептала Марта.

— Лёвка-Квазимода, — усмехнулся человек, — Простите, вы... — он всматривался в лицо Марты черными пронзительными глазами, пытаясь вспомнить что-то давно забытое или намеренно вычеркнутое из памяти.

— Я Марта, помните меня? Марта... Дом серый, лето, я, Штык, Николая, Кеша и Яшка... мы никогда...

Лёва улыбнулся:

— Марта... Конечно, Мартиша! Любопытная была у вас компания. Рыцари.

Слово «рыцари» Лев произнес, будто удивлялся, что существовали люди, такие странные и непохожие на всех остальных, понятных в своей бессознательной жестокости. Поинтересовался тут же:

— Дружите? Кто, где, как?

И торопливо добавил:

— Поверьте, это не от праздности, мне правда знать хочется.

— Тынштык после Афгана на инвалидности, сейчас бизнесом занимается. Удачно. Коля — хирург-«золотые руки», Кеша «челночил» долго, устал, решил стариной тряхнуть — шьет эксклюзив, клиенты за год в очередь записываются. Яша в Австралии, да вы, верно, знаете, — Марта замялась.

— Нет, — словно захлопнулась железная дверь.

Марта вспомнила пыльное алматинское лето, шероховатый теплый ствол тутового дерева. Ощутила в переполненном зале аэропорта запах сухой травы, перекаленного подсолнечного масла. Увидела себя, Тынштыка, Колю, Кешку, которые молча сидели плечом к плечу и не знали, как помочь другу в его горе. Она сказала:

— Яшка же не виноват.

— Яшка не виноват. Я тогда ушел. Отрезал. Навсегда. Мисеньку через полгода убили роды, и я уехал. По миру покатался, сейчас в Штатах живу, — прикрыл глаза Лёва.

Жарким июльским днем Марта, Штык, Николая и Кеша сидели на выгоревшей желтой траве, прячась в тени старого тутовника. Минуту назад прибежал Яшка, поставил перед друзьями глубокую фаянсовую тарелку с тушеной куриной печенкой, пробормотал: «Сейчас хлеба принесу — вилок нет!» И убежал. Во дворе старого восьмиквартирного дома собирались гости: дядя Боря женил старшего сына — Михаила. По советским временам свадьба намечалась роскошная: человек тридцать родни, да пятнадцать соседей, да друзья и сослуживцы с обеих сторон. В общем, человек сто, не меньше.

Дядя Боря радовался — теперь все, как у людей, Миша женится, пойдут внуки, и все будет отлично. Сам Борис Соломонович, учитель математики, отличник народного образования, жена Софочка — стоматолог, сын Миша — многообещающий молодой адвокат, младший — Яшенька — чудесно учится и уже кандидат в мастера спорта по фехтованию. И только средний сын, Лёва, не вписывался в благополучную семью. Во-первых, он отличался отвратительным характером и бешеным нравом, во-вторых, закончив с золотой медалью школу, дальше учиться отказался наотрез и устроился в ларек приемщиком бутылок, в-третьих, он пил. Пару лет назад, устав от нескончаемых попреков и в свою очередь измучив семью беспробудным пьянством, Лёва снял квартиру где-то на окраине и почти перестал появляться в родительском доме. На свадьбу брата Лёву, конечно, позвали, и он ответил, что придет не один, а с женой. Гражданской женой. Семья тут же осудила Лёву еще и за безнравственное поведение. Правда, ему об этом благообразно не сказали.

Гости рассаживались за столами, женщины исподтишка посматривали друг на друга, сравнивая наряды и оценивая ювелирные украшения. Яшка крутился вокруг стола, пытаясь набрать капустных и мясных пирожков. Друзья сидели под тутовником,

терпеливо ожидая обещанный хлеб. Наконец появился Яшка с большущим, свернутым из газеты, кульком. Сел под дерево, захохотал:

— Скатерть-самобранка, накройся! — и развернул кулек. В газете оказались пирожки, немного хлеба, три огурца и слегка помятый огромный помидор «бычье сердце». Яшка пристроил рядом тарелку с остывшей печенкой и сказал: «Все, больше я туда не пойду. Только за цимесом».

Друзья быстро поедали печенку, прихватывая кусочки хлебом. Никола промывал с набитым ртом:

— Вкуснее такой печенки может быть только... королева...

Компания покатила со смеху, а Никола, судорожно сглотнув, сказал:

— Чего ржете, господа? Я говорю — королева здесь.

Во двор входили Лёва и незнакомая, невозможно красивая молодая женщина. Она будто плыла, стройная, высокая — Лёвина макушка доставала ей только до плеча. Рыжие волнистые волосы обрамляли нежное лицо, зеленые глаза сияли.

— Не, Колька, не королева — русалка.

— Это почему русалка?

— Потому что колдунья, — заворуженно прошептал Тынштык.

Колдовская, запредельная красота пришла во двор старого дома. Лёва представил спутницу родителям — назвал Мисенькой — и устроился за столом. Лёвина мама захлопотала, принесла тарелки, положила на стол, рядом с рукой сына, вилку, сказав:

— Сейчас еще прибор принесу.

Женщины испепеляли вновь прибывшую взглядами: мало того, что она молода, вызывающе красива, модно одета, на ней сияли и переливались бриллианты! И серьги — с бриллиантами, и колье с мелкой звездной пылью, и браслет, и два кольца! Почему ей все?!

Свадьба шла своим чередом: тосты и подарки, пожелания и поздравления, крики «Горько!». Веселье, веселье, и только Яшка, сидя с друзьями под старым тутовым деревом, причитал:

— Ой, что будет. Ой, что сейчас будет.

Кто-то из перебравших водки гостей обсуждал Лёвину жену, и Лёву, и его доходы — надо же, бутылочник жену в бриллианты вырядил, и уже прозвучало страшное «красавица и чудовище». Но Лёва не слушал и ничего не слышал. Он горделиво посматривал на свою прекрасную половинку. Половинка, смутно улыбаясь, сидела рядом. Гости приступили к сладкому: жевали морковный цимес, лакомились воздушными печеньками, вкушали нарезанный треугольниками «Наполеон» и утопающие в жирных кремowych розах бисквиты. Перед Мисенькой стояла тарелка с нетронутым кусочком фаршированной щуки — вилку ей так и не дали.

— Что ж вы, милочка, не кушаете? Кушайте, кушайте, а то вы такая тошечная — сердобольно завохотала тетя Циля.

— При вашем росте такая нездоровая худоба непременно отразится на здоровье ребенка — авторитетно отозвалась доктор наук Римма Аркадьевна.

— Какой ребенок, какие дети?! — всполошилась мама Софа — Лёва сам дитя. Ему о здоровье думать надо.

— И то, смолоду попил-погулял, так хоть теперь о себе подумать надо, — лицемерно вздохнула сестра Циля Берта, выщедив рюмочку вишневого ликера, — а то ни здоровья, ни образования.

— Соглашусь с вами, дорогая. Образование — прежде всего. Как подумаю, что мы могли нашу Юленьку за Лёву выдать, дрожь берет, — доктор наук поправила очки. Кончик носа побелел от возмущения. — Конечно, у Юленьки бриллиантов нет.

— А у нее и мужа нет, — захихикала Берта, — да за такие «слезки» ваша Юленька не только за Лёву, за самого пропащего гою пошла б. Только не возьмет никто.

— Не смей! — взвизгнула Римма Аркадьевна — Моя дочь — святая! Только такие... манекенщицы... собой торговать могут.

— Сразу торговать. Вы всех одним медом не мажьте — елейно пропела тетя Циля. Повернулась к рыжей красавице:

— Вот вы, э-э-э, милочка, вы же собой не торгуете, — хищным взглядом пересчитала сияющие бриллианты, — Лёва вам просто так подарки делает.

Женщины не заметили, как повисла тяжелая тишина. Лёва сидел, покачиваясь, замурив глаза, судорожно стиснув пальцы. Так очень давно сидел на ветке подбитый Лёвой из рогатки ворон. Потом ворон упал на землю и умер.

Лёвина жена встала, глубоким ясным голосом сказала:

— Меня зовут Мария, — аккуратно сняла серьги, колье, кольца, браслет, сложила сверкающую горку на тарелку с так и не съеденной рыбой. Ласково тронула мужа за плечо:

— Пойдем домой, Лёвушка.

Марта поняла, что Лёва тоже вспомнил тот давний июльский день:

— Но Яшка ни в чем...

— Не виноват, — перебил Марту Лёва. — Он из семьи. Впрочем, хорошо, что у него все хорошо.

Все так же гомонили и толпились вокруг люди, все так же светили лампы дневного света, все так же из репродуктора раздавался неразборчивый металлический голос — мир не рухнул. И вдруг жесткое лицо Лёвы изменилось, взгляд наполнился такой тоской и такой любовью, что Марте стало не по себе, как будто призрак встал за плечом. Она резко обернулась — и не поверила глазам: перед ней стояла высокая тоненькая девушка, рыжеволосая и зеленоглазая.

— Познакомьтесь, Марта. Это моя дочь — Маша.

Смысл жизни

Марта сидела на потертой атласной подушке. Подушка елозила по гладкой отполированной поверхности деревянной площадки. Площадка плавно покачивалась и легко кренилась вперед-назад, вправо-влево. Почти незаметное монотонное движение изматывало мучительнее морской зыби. «Дернул же черт влезть на этого слона — подумала Марта, цепляясь за колючие веревки ограждения. — Меня сейчас стошнит, надо слезать. В туман, как в омут». Позвала слабым голосом:

— Мамацу...

— Мэм? — дежурно-предупредительно откликнулся гид.

— Мамацу, помоги слезть. Я пойду пешком, а слон пусть топает впереди или сзади — как хочет.

— Нельзя, нельзя ногами! — испугался гид, — Мэм, только здесь! — Суетливо захлопал ладонью по площадке. — Сидеть! Сидеть!

— Собаке своей командуй, — железным голосом ответила Марта. — Я пойду пешком!

Гид подчинился, помог женщине спуститься на твердую землю, погонщик увел слона вперед, и Марта с Мамацу остались вдвоем. Джунгли менялись на глазах: несколько минут назад все терялось в белесом тумане, но выглянуло солнце и от тумана остались лишь клочки, разбивающиеся об оплетенные орхидеями стволы деревьев. Капельки росы засверкали на листьях папоротника, свисающей с ветвей бороде мха, высокой траве. Мягкая покоряющая тишина леса приняла Марту: «Как в сказке — дальше будет заколдованный дворец или местная Баба-Яга, на том

малюсеньком травяном пятачке танцуют ночами лесные непальские духи, к тому цветущему дереву по праздникам прилетает Хануман...». На руку опустилась бабочка, подвигала тонким хоботком, ничего интересного не нашла, расправила шелковые золотистые крылья, заскользила среди деревьев: солнечный зайчик вверх-вниз, вправо-влево. «М-м-м, — застонала Марта, — надо отвлечься. Вот деревья великанские, прочные, стойкие... цветы, трава...» Неожданный порыв ветра пригнул траву, тронул кроны. Листья отозвались нестройным шелестом, тонкие ветви закачались вправо-влево, вправо-влево.

— Мамацу, — торопливо заговорила Марта, — почему у тебя такое имя?¹ В моей стране тоже дают необычные имена: Жетпис — малыш родился, когда деду исполнилось семьдесят лет — уважили старика, или еще Торай² — новорожденные умирали и ребенку дали такое имя — запутать злых духов...

— Это не имя, мэм, нет. Это — ник. Имя — Падам Гандхарба. Туристам тяжело запомнить.

— А Мамацу кто придумал?

— Друзья. Мама готовит хорошо и, — гид сконфуженно потупился. — Видите, видите — вот, — показал на свои щеки. — Они круглые и такие, такие... — мучительно пытался подобрать слово.

— Мягкие? Пухлые? — попыталась помочь Марта.

— Вкусные! — Мамацу счастливо засмеялся, на щеках появились ямочки. — Мама говорит — вкусные, как момо.

Гид и подопечная держали путь к обители необычного человека — вроде отшельник, но живет в паре километров от деревни, занимается духовной практикой, но не чурается любопытствующих и туристов. Мамацу называл его то «садху» (святой), то йог, то еще каким-то словом, которому так и не смог подобрать аналог в английском языке.

— Святой давно здесь живет, ученики есть, уходят-приходят. Отовсюду. Туристы приходят — показывает что-нибудь. Никто не знает — что он будет показывать. Всегда разное. Смотрит на людей и показывает разное, можно фотографировать, — рассказывал гид.

— Поговорить с ним можно? — поинтересовалась Марта.

— О чем?

— Ну, не знаю...

— Не знаете, а хотите говорить.

— О жизни, о смысле...

— Разве словами можно научить жизни? — изумился Мамацу.

Слон с погонщиком утопали далеко вперед, и путники шли, путаясь ногами в высокой траве, отводя от себя крепкими палками с рогулькой на конце колючие лианы, ветви деревьев. Справа неожиданно раздался резкий крик. На него отозвалось еще несколько голосов, нарушивших торжественную тишину джунглей, и по деревьям, стремительно перелетая с ветки на ветку, пронеслась стайка дымчато-серых обезьян. Марта проводила их взглядом, устало вздохнула:

— Далеко еще?

— Вот, — гид раздвинул цветущие ветви.

Среди деревьев в потоке солнечного света показалась круглая небольшая поляна. В центре под навесом из слоновьей травы на помосте сидел садху. За его спиной, почтительно склоняясь, стояли двое в белых просторных рубахах и узких штанах. «Надо же, как ангельские крылья», — мелькнула мысль... Марта, подошла к святому.

¹ Мамацу (уменьшительно-ласкательное от момо). Момо — непальские большие пельмени с разной начинкой.

² Торай (каз.) — поросенок.

Ей указали сесть напротив, Мамацу мышонком затаился за спиной. В молчании прошло пять минут. У Марты затекли ноги, затылок кололо ледяными иголками — она слабо пошевелилась. Садху укоризненно покачал головой. Марта повела шеей, показала на фотоаппарат, «ангелы» отрицательно замахали руками. Садху поднял руку запрещающим жестом. Они посидели еще пять минут, и еще, и еще... Марта снова подняла фотоаппарат. Садху вздохнул, удивляясь нетерпению мемсахиб, стремительно встал, прямой и тонкий, отвел за спину руку с раскрытой ладонью. Из одежды на нем были только четки на шее и желтая ленточка в скрученном на темени пучке волос. Правый «ангел» почтительно вложил в ладонь святого метровую тонкую палку. «Как на скалку-то похоже. У нас такими сочни на беш¹ раскатывают». Садху подбородком указал на фотоаппарат, мол, давай-давай, теперь пора, аккуратно пальцами левой руки взял свое причинное место за краешек, положил на «скалку», сделал оборот. Марта вздрогнула. Святой благостно улыбнулся и сделал второй оборот — фотоаппарат упал на щелястый пол помоста. Быстрое движение рук, и палку окрутили три витка человеческой плоти. Садху слегка повернул деревяшку, неуловимым движением поднял поочередно ноги, перешагнул через палку и застыл с расставленными руками. Палка вместе со всем, что он так старательно на нее наматывал, оказалась за спиной. Легкий жест и левый «ангел» принял освобожденную «скалку», святой спокойно опустил на прежнее место.

— Надо денег дать, — зашептал за спиной Мамацу.

«Сколько за такой кошмар дают? Кто бы знал». — Марта пошарила по карманам — там бренчала какая-то мелочь. Женщина поднялась, стала расстегивать ремень на джинсах. Садху дрогнул ресницами, «ангелы» заволновались. «И что затрепыхались — деньги там» — она расстегнула потайной кармашек в ремне, вытащила заначенную на крайний случай стодолларовую купюру — «вот, больше нет» — положила перед святым. Из-за плеча выглянул гид, увидел расправленную зеленую гармошку денежного знака Соединенных Штатов Америки, замер. Все молча смотрели на деньги. Разом быстро-быстро заговорили. Замолчали. Опять заговорили. Один из «ангелов» подхватил деньги, хлопая лапами широкой рубахи, побежал в лес.

— Ждать, — прошелестел сзади голос Мамацу.

— Долго? — спросила Марта.

— Не знаю.

За низкой деревянной оградой собралось уже человек тридцать туристов. Гиды и погонщики слонов стояли поодаль, удивленно переговаривались. Время текло горячей карамелью.

— Ну, все, пошли, — не выдержала Марта.

— Ждать! — запаниковал гид.

Туристы недовольно гомонили. Садху сидел каменным изваянием. Из-за деревьев вылетел запыхавшийся посланец. Дыша, как запаленная лошадь, протянул Марте глиняный широкогорлый горшок. Она заглянула внутрь — в горшке мерцали, переливались медным и серебряным глянцем монетки.

— Зачем это? — поразилась Марта

— Посмотреть стоит десять рупий. Вы дали очень много денег. У него столько нет. Ученик бегал в деревню — там все собирали. Это сдача, — быстро пояснил Мамацу.

— Я не хотела вас обидеть. Простите, — смутилась Марта.

Черные глубокие глаза смотрели сквозь женщину. Садху сложил ладони у груди, заговорил. Мягкий голос сливался со щебетом птиц. Мамацу торопливо переводил, спотыкаясь на совместимости понятий:

¹ Беш, бешбармак — очень вкусное блюдо из вареного мяса и теста.

— Ты — женщина Запада. То, что я показал, — не шоу. Это немного, что может делать человек, когда дух его свободен, а тело — всего лишь песчинка в мире на реснице Шивы. Я не обижен. Ступай с миром.

Рука поднялась, благословляя, на нее опустилась золотая бабочка.

Посиделки

Марта подпирала рукой клонящуюся голову: «Это же надо так налимониться». Музыканты наигрывали тягучую, как переваренная сгущенка, мелодию. На слабо освещенном пятачке танцпола пары, прижимаясь друг к другу, покачивались под хриплый голос певицы, томно шептавший «лямур», «бонжур», «мон амии-и-и». Праздновали день рождения. За столом сидели четыре супружеские пары и две неокольцованные девы. Компания подобралась странная: именинница Хельга с супругом Эндрю — американские гастарбайтеры, Алекс с Мартой, Булат с Кариной, Артемий с Алисой и Лана плюс Дана. Хельга на ушко рассказала, кто есть кто: «Булат-Труба — сколько-то там нефтяных вышек и танкер в Атлантике, Тема-Цемент — генеральный директор строительной корпорации «Сила-надстройка»; с женами — в один фитнес-клуб ходим. Девочки (им замуж выходить надо) — для Шона, он обещал подойти». Жены сверкали бриллиантами, девушки улыбками. Есть уже никто не хотел, чтобы не молчать, все убежали на танцпол. Маленький ансамбль — две гитары, саксофон и ударник, не останавливаясь, наяривал зажигательные латиноамериканские танцы. Непьющие Эндрю и Алекс танцевали подряд со всеми. Дамочки довольно сияли. Марта не танцевала — болела разбитая в горах нога. Труба и Цемент сидели надутые.

— Скучно, девушки, — задумчиво процитировала Марта. — А не выпить ли водки?

— Заметьте, не я это предложил, — подхватил Труба, споро разливая водку по стопкам.

— Ты че, стриженная, водку пьешь? — изумился Цемент.

— Нет, только нюхаю. Будем!

Через пятнадцать минут бутылка опустела. Труба, теребя Марту за рукав, жаловался на жену, которая надела оранжевое платье. Марта сочувственно кивала:

— Да, друг мой, как я тебя понимаю: тайские сапфиры с бриллиантами на морковном фоне — бр-р-р.

В другое ухо Цемент орал, какие все бабы сволочи.

— На себя посмотри, что тут любить? — отвечала Марта.

— Я красивый и умный, — вопил Цемент, тыча в Марту указательным пальцем.

Марта подумала и укусила палец.

— Ты че, — завизжал Цемент, — больно!

— Это тренировка. А за сволочей я тебе сейчас ухо откушу, — выдала Марта.

— Ребята, давайте жить дружно, — увещевал Труба, потряхивая новой бутылкой.

— Наливай, — согласились противники.

Метрдотель провозгласил, что пора подавать горячее. Красные, распаренные танцоры расселись по местам, отсалютовали вилками и потихоньку начали ковырять запеченную в специях и сыре рыбу.

Из полумрака, размахивая букетом, выпрыгнул Шон: здоровенный рыжий ирландец в спортивных трусах и майке:

— Я торопился! Прямо из зала, — извинился, непосредственно улыбаясь, вручил цветы, приложился к щечке именинницы.

— Шон, дорогой, спасибо! Для тебя сюрприз: это — Лана, это — Дана.

Девушки очаровательно потупились и протянули ладошки. Лицо Шона вспыхну-

ло, глаза несчастного спаниеля, которого заставляют лизать ружейное масло, забежали. «Э-э, — подумала Марта, — парня-то выручать надо. У него ж там, за бугром, невеста». Труба и Цемент, перегнувшись друг к другу через стол, напряженно спорили.

— Шон, — крикнула Марта, — ты католик?

— Да.

— Не заморачивайся. Девчонки пусть танцевать идут, а настоящий католик к нам — водку пить.

— Точно, — подтвердил Труба, — третьим будешь.

— Ты че, считать не умеешь? — вспыхнул Цемент. — Нас уже трое.

— Двое, — упорствовал Труба, — Она, — ткнул в Марту рюмкой, — не третий — третья. Он — третий.

— Филолог, блин. Наливай давай.

— Сколько?

— Края не видишь?!

Шон ловко, невзирая на комплекцию, пробрался к Марте, пристроился рядом на скамье. Четверка сдвинула рюмки.

— Спасибо. Понимаете, ваши девушки очень красивые, но у меня невеста. Понимаете, невеста. Она не такая красивая, но невеста...

— Невеста — это святое, — сказала Марта.

— За невест! — рявкнули хором Труба и Цемент.

Шон нарезался быстро. Он пел печальные ирландские баллады, читал стихи и любой тост завершал вариацией на тему своей невесты и Папы Римского. После слов «за моего папу и невесту Его Святейшества» Трубу прорвало: он путано и громко вещал о заповедях, пророках, грехах и воздаяниях.

— П-почем опиум для народа? — поинтересовался Цемент, дергая Трубу за пуговицу на рубашке.

— Попрошу без рук! Я — атеист, хотя наличия бога не отрицаю. А ты кто такой?

— Я? Строитель... — по щеке Цементы ползла скупая мужская слеза — П-шли танцевать.

И они пошли танцевать: плечом к плечу, взявшись за руки, под томные вопли Беркута, притопывая и прыгая, выкидывали коленца псевдоирландского риверданса. Шон грезил о невесте, Цемент думал о боге, Труба о нелепом платье жены, а Марте привиделся розовый слон, кружащийся в полутьме с воздушным шариком в хоботе. Слон подобрался совсем близко, положил на плечо Цементу толстую розовую руку. «И не слон, а слониха. Героиня. Суметь надо — такой костюмчик натянуть. А и хорошо, что слониха. Слон-героин — не комильфо». Под музыку ритмично притопывало и прыгало уже человек двадцать. Издалека донесся голос Хельги:

— Эндрю, гони наших на улицу. Пусть прыгают в подъезд. То-о-орт уже-е привезли-и-и...

И тянет назад, не пускает розовый слон.

Праздничные посиделки завершились в третьем часу утра. Гости вызывали машины и, вежливо икнув напоследок, уползли прочь.

— Я сяду за руль!

— Темочка, ты выпил, я поведу...

— Я. Сяду. За руль. Заткнись.

Лаковая туша «Порше-кайена» улыбалась отблесками ночных фонарей. Тема-Цемент сфокусировал взгляд на машине, стряхнул с руки жену, подошел к дверце, заорал:

— Я! Никогда! Не сяду! За руль! Бабской тачки!

Каждое слово, как точкой, он припечатывал отработанным ударом ногой по

корпусу автомобиля. Полированную поверхность боевыми ранами «украсили» царапины и вмятины. Хрустнуло, стеклянными кубиками посыпалось стекло.

— Никогда! Никогда!

— Темочка, не надо, ты же мне ее только вчера подарил! Сделайте же что-нибудь! — шепот звучал отчаянней крика.

— Ты, аллигатор, кончай клоунаду — Алекс отпустил Марту и двинулся к буяну. Тема крутнулся на пятке, отвел для удара кулак. Марта засмеялась и стала плавно опускаться на асфальт. Глаза у Темы стали как два синих блюдца:

— Держи ее. Ну, блин, ничего, ничего. Сейчас домой поедем...

Из темноты выдвинулась курпулентная фигура в черном костюме:

— Артемий Мамедыч, мы вашу машину подогнали. Ключи... — голос начальника охраны замялся и стих.

— А в табло за Медведыча!? — взвился буян. — Где ты, моя ласточка, детка моя золотая...

Ненавязчиво направляемый телохранителем Артемий добрел до машины, в обводах которой слились мощь и стремительность, распластался на капоте, раскинув руки, запечатлел смачный поцелуй на лобовом стекле, умиротворенно сказал Алексу:

— Пжал-ста, заносите Мартишу в салон. Ща я вас домчу за пять минут.

— Не-е, Темочка, ты пья-яный, мы с тобой не поедем, мы без тебя пе-ешком пойдем — вздохнула Марта. Тема сполз с капота, помог Алексу устроить Марту на заднем сиденье.

— Не трясись, это я здесь пьяный, а за рулем — я трезвый! — забрался в водительское кресло, крикнул: — Алиска, место!

Жена покорно полезла на переднее сиденье. Куда делся хмель. Черная машина, ревя, неслась по ночному городу. На пределе видимости за ней поспешал джип охраны. Начальник охраны сказал водителю:

— Ты новенький, привыкай. Пока все цветочные точки не объедет — не уснем.

— Алиска, это все для тебя! Цветы, кураж, азарт, бред! Все, что было — не в счет. Я ТЕБЯ люблю! — ночные продавцы цветочного базара подносили охапки цветов. Сон, сон, сладкий сон или кошмар. Алекс и Марта вышли из машины, помахали Алисе, пожали руку Теме. Тот все пытался что-то объяснить:

— Слышь, Марта, я ее из помойки выгашил. И мамашу ее — дурынду. Квартиру купил, бизнес. Дурында еще за сыном смотрит. Алиска со мной всегда. Она — неправда. Я ее во сне приснил, потом картину на Арбате с ее лицом увидел — купил. Дома повесил и пошел старой жене морду бить — процент с салона «крыше» не платит. А тут Алиска на маникюр зашла. Я старую даже бить не стал. «Ты, говорю, русалка, пойдешь за меня? Пойду, говорит». Я старой кулаком под ребра: чтоб завтра развод был. Через день на Алиске женился и полтора года уже балдею...

— Окей, Ромео, езжай уже. Спокойной ночи!

— Ага! Созвонимся.

Машина прыгнула в ночь. Цветы заполняли салон автомобиля: восточные экзоты, мясистые зеленые листья, перья папоротника, тюльпаны, орхидеи, ирисы и розы, розы, розы... Давящий аромат — еще чуть-чуть и превратится в смрад.

— Улыбнись, дура! — бешеные синие глаза впились в лицо жены.

— На дорогу смотри, — Алиса улыбалась, глотая слезы.

На повороте машину занесло. Не было визга тормозов, картинных переворотов через крышу, снесенных ограждений. Взметнулся в черное небо алый всполох — и все.

Одноклассники

Марта бежала тяжелой рысью. Тонкий наст похрустывал под ботинками. Вдох — раз-два, выдох — раз-два. Мысли прыгали в такт движению: «Опять опоздаю. Ребята уже заждались. Пятнадцатое февраля — три в одном: день рождения — Тынштыку исполнилось? У-у, как много... Люди столько не живут; день вывода войск из Афганистана; день встречи одноклассников — сколько нас здесь, в городе, осталось? Можно пересчитать по пальцам. И пальцев на одной руке более чем хватит. Четверо. И трое из них афганцы — парадокс. Малой на десять лет моложе, афганчик, младшенький».

Старый дом, скрипучая лестница, знакомая дверь. Звонок продребезжал морзянкой древнее — Та-ти-та ти-та та-та-та — «Под крышей дома моего»...

Дверь распахнулась. Тынштык улыбался, глядя на запыхавшуюся Марту. «Штык, братка, пузан ненаглядный» — Марта помахала букетом:

— Привет, Политрук. Держи презент. Поздравляю, — дружеский поцелуй в ухо, — Как нога?

— Поживем еще. Проплывай, тучка. Спасибо. Куртку давай. Не-не, не разувайся...

Пока Тынштык пристраивал куртку в шкаф, Марта прошла в комнату. Все как всегда, тяжелая деревянная мебель — сталинский ампир, башня напольных часов с боем, на стене потемневшая шпалера с невнятной куртуазной сценой, две парадные шпаги — трофеи деда и фотографии: большеглазая девушка нежно держит за руку офицера в парадном кителе с золотыми погонами; лихой кавалерист с кубарями в петлицах, привстал на стременах; лейтенант с автоматом среди таких же, как он, парней, в панاماх и кроссовках. Казарменный порядок, стерильная чистота. И алые розы каплями крови в длиннгорлом кувшине.

Вокруг стола с одиноким стаканом водки и горбушкой черного хлеба трое — Снайпер, Разведчик и Малой. «Все-таки он меня не любит» — подумала Марта, быстро взглянув на Малого, сказала весело:

— Привет. Что мрачные, в русскую рулетку играем?

— Шутница... — отвернулся Снайпер.

— Дорогая, как можно? — картинно воздел руки Разведчик.

— Плюшками балуемся — окрылился Малой.

— Ой-ой-ой, какие мы нежные, — пропела Марта, — Посмотрите, что я раздобыла. Алле-оп! — Марта выложила на стол упаковку толстых коктейльных трубочек и матовую пластиковую коробку — на этикетке в виньетке из охотничьих ружей, патронташей, валторн — олень: златошкурый, ветвисторогий с вишневым деревом, растущим из лба. Крышку долой! Поплыл тонкий горьковато-свежий аромат вишни. Сочные ягоды лежали, как патроны, бок к боку, глянцевые, крупные.

— Ого! — восхитился Снайпер.

— Откуда такая... прелесть? — пошевелив пальцами, поинтересовался Разведчик.

— «Уж полночь близится...» — плотоядно пропел Политрук.

— Постреляем! — радовался Снайпер.

— Как на выпускном, только тогда трубки из бумаги были, — умилился Разведчик.

— Давай, давай, вперед. «Окропим снежок красненьким!» — резвился Политрук.

— Вы че, с ума посходили?! — поразился Малой.

Компания быстро накинула куртки, топоча, поскакала по лестнице вниз. На ходу перебросились новостями: у Политрука сын заканчивает Высшее командное, Разведчик в очередной раз женился, Снайпер бежит в аэроклуб, Малому присвоили майора, а Марта поменяла работу и имидж.

Солидный капитальный гараж все так же стоял в углу двора. Теперь там вместо

«Жигулей» дяди Бори, которыми когда-то гордился весь дом, хранился снесенный соседями «до лучших времен» хлам, который и выбросить вроде жалко и дома держать невозможно: детские велики, старое рассохшееся пианино, венские стулья, связки журналов, стеклянные банки и прочая ерунда.

— Малой, остаешься внизу — лепишь снеговика и корректируешь огонь, — проруживал Политрук.

— На снеговика снега не хватит... — уныло пробурчал Малой.

— Тогда колобка скатай!

Четверка полезла вверх. Первым взлетел Снайпер. Свесившись с крыши, подтянул Марту. Разведчик, посадив тихо матерящегося Политрука, элегантно взобрался следом.

— Левее, левее кати. Еще. Все. Стоп — командовал Политрук.

— Там камень лежал под фонарем... — вспомнил Разведчик.

— Когда это было, — вздохнула Марта.

— Начали. Серия из трех, — оборвал Снайпер.

— Попал. Попал. Попала. Политрук — мазила, — раздался снизу голос Малого.

— Не мазила, не пристрелялся, — пожалела Марта.

— Что это ты его защищаешь? — ревниво поинтересовался Разведчик.

— Политрук за меня всегда контрошки по математике писал и химии... и физике... иногда, — пожала плечами Марта.

— А ты за него литературу, — парировал Снайпер.

— Он-то шедевры творил: «Осень. Птицы полетели на юг. За ними — бабочки. Но по дороге от холода они сдохли», — ехидно процитировал Разведчик.

— Смейтесь, смейтесь, зато... — начал Политрук.

— Попал. Попал. Попала. Политрук — мимо. — Хрипло комментировал Малой.

— Зато я, как некоторые, клоуном не выставлялся. Забыл, как ты к Мартишкиной маме пришел? «Мадам, позвольте просить руки дочери Вашей...» — манерно протянул Политрук.

— И не мадам вовсе, я по имени-отчеству обратился, — оскорбился Разведчик.

— По имени-отчеству. Ты сам-то понял, что сказал? — «прошу руки дочери Вашей, но не в смысле руки, а в смысле под руку в театр. Жду решения. Засим позвольте откланяться, преданный Белль Шевалье». К психиатру, к психиатру, — ерничал Политрук.

Одноклассники корчились от смеха.

— Попал. Попал. Попала. Политрук — не попал, — обреченно бубнил Малой.

— Классику надо читать! — огрызнулся Разведчик. — Я тогда был Монте-Кристо. Вспомните лучше, как Снайпер — «юное дарование» на конкурсе поэтов перед Мартой выделялся!

На ярко освещенной сцене в актовом зале республиканского Дворца школьников, заполненном разнаряженными родителями и гордыми учителями словесности, бледными, трясущимися или уже отрешенно-спокойными конкурсантами, Снайпер, тогда еще просто Никола, читал нараспев тревожные, странные стихи.

— В позе памятника незабвенному!..

— Майка кр-кр-красная до ко-о-лен...

— Я, говорит, поэт, зо-овусь Сережка. От-от меня вам по-о-варешка-а-а...

— Ой, не мо-огу!..

— Слышь, а почему ты в руке ушанку тискал?

— Кепки не нашел, — спокойно ответил Снайпер.

— Ленин из тебя неудачный получился.

— Дебилы, я Есенина представлял!

Компания взвывала:

— А мы думали!

— Попал. Не попал. Не попала. Политрук — кучно пошло — не попал, — констатировал Малой.

— Ребята, а как вы меня с парашютом прыгать заставили, — вытерла слезы Марта.

— Нырнуть головой вниз

Как в омут

Прыгнуть

Можно «солдатином»

В глубину

В пустоту

В никуда

В никогда

С последней пристани

Вытяжное кольцо

Р-раз!

Хлопок

Лечу под куполом, — чеканно декламировал Снайпер.

— Ве-есь ми-ир мо-о-ой! — дружно закончили одноклассники.

Внизу тихо бубнил Малой, но никого не интересовало: попал — не попал.

Коробка опустела.

— Эй, вы Малому оставили? — провожая взглядом последнюю ягоду, спросила Марта.

— Обижаешь. На стол отсыпал. Если тараканы не зажевали — все там, — солидно отозвался Политрук.

— Что, наш выюнош тоже любитель? — посмеиваясь, поинтересовался Разведчик.

— А то. Помнишь, перед выводом в охранении стояли? Я посты пошел проверять. Ночь, сухо, в горле царапает, холод собачий — слышу за камнем поскуливание жалобное такое, тоненькое. Подкрался. У-у. Сидит наш Малой, автоматик обнял, носом хлюпает. Я ему «...гад... ты на посту... или где?» А он: «Мо-о-ороженого хочется... с вишнями».

Снайпер бросил окуроч. Огонек, прочертив правильную дугу, попал точно в центр заплывающего вишневыми косточками снежного колобка и, брызнув искрами, погас.

— Холодно. Пойдемте домой.

Квартира встретила уютным теплом. Снайпер подхватил гитару, завалился на диван, перебирая струны замерзшими пальцами, — получалось нечто игриво-итальянское. Седой изысканный Разведчик и коренастый, по-моржовьи усатый Политрук дурашливыми голосами затаили «Уно, уно, уно, ун моменто...». Привалясь плечом к косяку, замер Малой.

Марта смотрела на них сквозь сигаретный дым: «Дураки. Какие же мы старые счастливые дураки. Не ревнуй, майор. Ты из другого времени».

Малой вздохнул и пошел ставить чайник.

Здравствуй и прощай

Письмо номер раз. 31 декабря 2013 г., вторник.

Здравствуй, брат мой Лешка!

Пишет тебе дружилка твоя, Марта. Надоело «общаться» с тобой по интернету да слать телепатические послания без ответа и приветов. Буду я теперь писать тебе письма (молвя высоким стилем — эпистолы в прозе) бумажные, годные либо для хранения в

пачечке с розовой ленточкой либо для использования по назначению (бояться не надо — письма писаны чернилами экологически чистыми, из ягод бузины).

Десять лет, как съехал ты в края дальние и сердце мое с тех пор спеклось в камень холодный. Лучшая, чистая часть меня оторвалась, улетела. Осталась обратная сторона Луны.

Раньше ты спрашивал: как ты живешь? Потом: как ты, живешь? Теперь: как, ты еще живешь?!

Да, живу. И хотя память-то, прямо скажем, не того, раз в неделю жди письмо-отчет, выжимку из дневника обормота. Точнее, обормотки. Хотела дать письмам громкое название «Эпистолы, пропетые-прописанные фистулой в момент диастолы», ан нет, вычурно и глупо. И ты не приветствуешь речевые выверты. Что делать, язык портится, теряется, «канает в лето».

Обнимаю крепко! Привет и поцелуй с благопожеланиями Тусе, Ляле, Касечке и Марианне Карповне.

Твоя Марта.

Письмо номер два. 12 января 2014 г., воскресенье.

Здравствуй, друго-брате Алексей!

Утро начинается с рассвета, письмо с ошибки. Правильно писать «воскресенье». И я не обормот.

Короче, пиша... опишивая... описывая... пишу... Говоря короче — вот тебе замочная скважина в письмах. Заглядывай. Начнем с восстановления пропущенного — одиннадцати (/друзей Оушена/ — зачеркнуто) дней нынешнего года.

01.01.14. Среда: Здравствуй, Новый г...

02.01.14. Четверг: Просыпаемся, едим, пьем мало, вечером идем в гости.

03.01.14. Пятница: Просыпаемся. Едим. Пьем мало. Вечером приходят гости. Все равно пьем мало. Едим.

04.01.14. Суббота: Просыпаемся. Пьем много. «Ессентуки-17». Едим мало. Вечером идем в гости. Потом с этими «гостями»-хозяевами топаем еще в одни «гости», забираем и этих и в следующие «гости». Пьем. Распугиваем ночь петардами.

05.01.14. Воскресенье: Просыпаемся не дома. Вода из-под крана. Кто все эти люди? Идем домой. Пьем «Ессентуки-17». Счастье. Едим. Вспоминаем, что завтра на работу. Вечером приходят гости.

06.01.14. Понедельник: День тяжелый. На работе отмечаем день рождения коллеги. Пьем мало. Днюха удалась. Завтра Рождество. О высоком думать не получается. Едим.

07.01.14. Вторник: Рождество. Едим.

08.01.14. Среда: Работа? Отмечаем построжество. Традиция такая — праздновать в коллективе. Едим. Сил нет.

09.01.14. Четверг: Очередной день рождения коллеги. Сколько можно жрать?! Не смешно.

10.01.14. Пятница: Итальянская забастовка. Сидим на рабочих местах. Тарасимся в экраны компьютеров. Телефон: дринь-др-р-р-ринь! Убейте меня. Или верните голову. «Здравствуйте. И вас с Новым годом. Да, конечно, и с наступающим старым. Не помещает. Приходите в понедельник. А лучше в среду. Всего доброго». Голову верните.

11.01.14. Суббота: Если свеча погаснет в светлое время суток — ничего не произойдет. Если в темное — станет еще темнее. Искать потерянное лучше там, где свет. Даже если там нет потерянного. Гарантия от когтей расвирепешей кошки с отдаленным хвостом. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Страшная штука — болезнь.

Как прошли новогодние каникулы у тебя? Тепло-холодно, грустно-весело? Если ответишь, помни — мне это действительно интересно. Не ответишь — все равно интересно. Еще интересно, если не ответишь, то почему?

Жму руку и шлю горячие приветы жене, дочерям, семье Ляли, теще и Тусиному терьеру (забыла, как его зовут).

Больная на голову Марта.

Письмо номер три. 19 января 2014 г., воскресенье.

Здравствуй, дорогой друг Алексей!

Хотела написать «добрый день», но вспомнила Иа-Иа: «если утро, конечно, доброе...».

Завела «масляный» календарик. Вычеркиваю дни. Надо нарисовать дембельский альбом для полноты жизни.

С праздником тебя, православный! Семью твою тож. Крещение Господне.

Ходили с Алексом в парк, кормили синичек. Семечки на ладони, ладонь только из перчатки, теплая. Синички подлетают в очередь, садятся на пальцы, склевывают по семечке, улетают. Лапки проволочные, ледяные. Некоторые смелые пичуги задерживаются на несколько секунд, погреться. Синичье общество сразу голосит: уступи место!

Потом зашли в собор. У собора, справа, помнишь, там изогнутая сосна растет, с двух лотков батюшки разливают святую воду. Очереди. На лотках выросли сосульки.

В храме купили свечи. Правый придел на реставрации — к Богородице не пробраться. Пошли к Серафиму Саровскому, затем к святому Георгию и завернули к Николушке Мирикийскому. Рядом с иконой огромная бочка-чан из нержавеющей стали, к ней подведен шланг — вода поступает непрерывно. Батюшка разливает в бутылки воду, рукава и подол рясы мокрые. Очередь.

Вернулись к святому Георгию — не протолкаться, стоим, ждем, чтобы свечку поставить. Сзади басистое: «Не пугайтесь». Кое-кто обернулся и по лицам, плечам, спинам зашлепали капли воды с кропила.

Уже на выходе в нас с криком врезался запыхавшийся мужик, обвешанный пятилитровыми бутылками: «Где здесь дают воду?!»

Засим давай вернемся к порядку, то есть к понедельнику.

13.01.14. Понедельник: Еще раз: «Здравствуй, Новый год!» Новый старый — старый новый год. Декрет от 26 января 1918 года. «Время, вперед!» Каково это заснуть и проснуться через две недели. Лег баиньки 26 января, вскочил 8 февраля. От римского диктатора до папы римского... Молодцы мужики. С календарем баловаться — это не в бирюльки играть.

Проводили Старый Новый год достойно. Обильно ели. Обильно возливали. В таком количестве виски пил только грязный реалист Чарли. Ах, Буковски, ах, Буковски! «Маленький человек» двадцатого века. Замочная скважина.

Пора спать. Некрасиво.

14.01.14. Вторник: Аврал на работе.

— Успеете до вечера?

— Принтер работает, как печи Освенцима — без остановки.

Немая сцена. Дурацкая шутка.

15.01.14. Среда: Труды праведные. Дирекция. Фейсбук. Обед. Каша с ягодами — полезно, быстро, невкусно. В мордохнике бурный спор о предпочтениях лагманных. Кто, что туда кладет, зачем и почему. Киплинг-сая. Джяндю, почак и джютяря¹. Ты, пожалуй, забыл уже это. Загадка — «живые овощи». Разгадка — быстро, на большом огне, уже не сырые, но еще не мягкие. Советы доброхота — учите китайский! Привыкайте к китайской кухне. А вот «китайские» уйгуры в лагман-сая томат-пасту не кладут. Только помидоры. Томат-пасту в дело ввели уйгуры советские. Экономично и цвет яркий. Насыщенный.

¹ Джяндю — длинная китайская фасоль, она же змеиная, спаржевая или яровая, почак — молодой горох в стручках, джютяря — чесночные стрелки.

Со-сущее чувство голода. Миру — нет! Даешь войну за раздел, передел и новодел мира! Каждому выжившему по курице. Землю — селянам, фабрики — под землю. Власть — кто-нибудь подберет.

К вопросу о недостатке и переизбытке, у коллеги ее (ейный, евонный — нужное прочитайте) муж наемни спросил: «Почему мы не спим на шелковых простынях?» Она в ответ: «Зачем нам шелковые? У нас вшей нету». Чего же в жизни не хватает — вшей или простыней шелковых. Остается цитировать «Роллана Барта о Роллане Барте» — ничего нет нового под солнцем. Под луной тоже.

Страх давит, давит. Жизнь превращается в сон, в кошмар наяву. Мрак и нежить, «да минует чаша сия». Попыталась забить мозги: «Менталист», «Касл», «Анатомия Грей» подряд. О, кто-нибудь, поклонитесь герою!

16.01.14. Четверг: Раньше в городе была улица Правды. Переименовали. Теперь правды нет. Нет улиц Любви, Надежды, Веры. Ни в одном. Надо поискать. Прогуглила. Не нашла. Только улицы продажной любви: почему нынче любовь... Ни веры, ни надежды.

Вместо обеда пошли с подружкой в тренажерный зал. Хорошо. Никого. Тихо. Беговая дорожка не работает. Велосипед, шагоход, пресс, бицепс-трицепс, отвес. Зеркала отражают двух теток с серьезными «социальными накоплениями» на боках.

Называть толстое брюхо пухлым животиком — кощунство слова. Ударим делом по слову: красивое тело к лету!

Надежды питают не только юношей.

17.01.14. Пятница: Текст без контекста — зло! Скороговорка провокаторов. А контекст без кокетства — благо! Требование сексиста. Давай я тебе лучше анекдот расскажу, с контекстом:

Пьяный мужик просыпается на кладбище ночью весь в грязи, встает, смотрит фонарики горят и сторож кладбищенский дорожки подметает. Решил он сторожа пугануть: — Эй, Ур-р-р-фр-р-фр! Сторож взглянул и дальше метет. Алкаш ближе подошел и опять заорал. Сторож метет. Алкаш подумал: — Ну его, пойду домой. Подошел к забору кладбища, только перелезть, тут ка-а-ак получит метлой по голове. Сторож: — Ты дуришь-то дури, а за ограду ни-ни! Вали в могилу обратно, а то светает — народ напугаешь...

Смешно? А в общем, спасибо господа, что удалось дожить до пятницы.

18.01.14. Суббота: Ночью разбудили жуткие крики, стоны, визг. Не страшнувшись окончательно сон, слышать такое страшно. Остатки сна растворились в переходящем в ультразвук вопле. Полицию вызвать? Пять минут раздумий. Тихий ритмичный скрип. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Крики, стоны, визг, вопль. Завершающий аккорд. Понятно. Совокупляются соседи сверху. Не верю! Слишком шумно, господа, убавьте громкость, соседям спать не даете.

Интересная квартира. Перепродается каждые полтора-два года. И все жильцы с повышенным сексуальным аппетитом. Ночная жизнь, с нашими картонными потолками и бумажными стенами, как на ладони.

За десять лет наслушаться довелось. Первая пара — «Красная шапочка и Серый волк». С завидной регулярностью, три раза в неделю — понедельник, среда, пятница с одиннадцати до двенадцати с потолка сыпался drobный перестук по паркету каблучков-шпилек, сопровождаемый редкими мягкими прыжками: Волк ловил Шапочку. Играл, как кошка с мышкой. Потом скрипел диван. В субботу утром благообразная пара с постными лицами уезжала до понедельника на дачу. Оба пухлые, кругленькие, ей около тридцати, ему за шестьдесят. На даме зимой и летом вязаный беретик с помпоном или нейлоновая шляпка. Красного цвета.

Другая парочка била посуду со сладострастным упоением: дзинь! Дринь-дринь! Перебив положенное, кидалась кастрюлями и сковородками. Потом очень долго скрипела кроватью.

Следующие пели «под Никитиных», потом он играл на саксофоне. Шепотом. Потом порция секса. У этих кровать не скрипела. Она монотонно бахала спинкой в стену.

«Бардов» сменили «прыгуны». Занимались квартирным паркурором, устав скакать по стенам, прыгали со шкафа на пол. Напрыгавшись, скрипели кроватью.

Почему у всех такая отвратительная мебель?!

Затрахаля.

Доброй ночи и пусть она будет добрее, чем утро. Передавай привет и прочие чмоки-лафки супруге и девочкам.

С наилучшими пожеланиями,

Марта.

Письмо номер четыре. 26 января 2014 г., воскресенье.

Здравствуй, друже Олексий!

Майдан.

Хаотика.

Дела домашние.

Суета и томление духа. Вечером встреча с подругой (ты ее не знаешь). Разговор. Пустота и образ. Пустота, ипостась, образ.

«Трактат о вреде курения», «Трактат о вреде питья», «Трактат о вреде бытия-жития». Скушно, господа. Надо поесть.

20.01.14. Понедельник: Бутерброды, пироги, пирожки, бутерброды. Сыр, колбаса, огурцы. Икра. Отсроченный день рождения. В обед. В теплом душевном коллективе. Еда вперемешку с красивыми лживыми словами. Надоело. Сколько можно лгать. Столько можно есть.

Бездарный день.

Кот уткнулся носом в диван, делит угол биссектрисой. Вытянулся колбасой, подогнул под себя лапки и хвост. Усы веером, улыбка на морде и тонкий, нежный храп с присвистом — спит себе что-то приятное.

Доброй ночи.

21.01.14. Вторник: Девяносто лет назад умер дедушка Ленин. Помнишь, мы приезжали с детьми в Москву, ты возил нас в Коломенское? Тогда же сходили на Красную площадь, зашли в Мавзолей. Ленин хотел быть похороненным рядом с матерью. Партия решила иначе. Церковь к такому захоронению претензий не имеет — три метра под землей. Предел соблюден.

Ступени потерты, в мелких шербинках, скудный свет, нет ни одного цветка, пропало сияние лабрадорита. Жизнь и смерть у каждого своя, но такого посмертия не пожелаешь никому. Ужасный век. Ужасные сердца?

Завтра очередной день рождения... ми-ми-ми, сюси-пуси, снова вранье, снова еда.

22.01.14. Среда: Работа, практиканты. Ой. Наплыв еды. Большой наплыв. Просто огромный.

Срочно в зал, на тренажеры.

23.01.14. Четверг: Такими благими намерениями вымощены все дороги от рая до ада. Хочешь, как лучше, делаешь, как всегда, — никак. До чертиков надоевшая работа. Много. Выполняется высокопрофессионально. Все остальное — никак. Нет сил. Забирает пар, который уходит в никчемный свисток.

24.01.14. Пятница: Спасибо, спасибо тебе, боже, что удалось дожить до пятницы!

25.01.14. Суббота: Рабочий пол-день, как обычно. Потому так радостно в пятницу — не пол-ный день, а пол-овина. Где пол овина, там и пол риги. Или Риги. Шучу. Не обращай внимания.

Дождь с переходом в неубедительный снег. Снег с переходом в профузный — ой-ой, — дождь.

Преображенский заклинал не читать перед обедом советских газет. По сравнению с нынешней новостной лентой те газетки легкий аперитив.

Очень удобно косить страусов серпом по яйцам, когда они прячут головы в песок. Петь фистулой в финале эпистолы — ты музыкант. Зацени!

Всего доброго!

Удачи!

Привет семье.

Искренне (?) ваша (???)

М.

Письмо номер пять. 1 февраля 2014 г., суббота.

Здравствуй, Алексей Альгердович!

Пишу пятое письмо, пожалуй, что последнее. Ничего прогрессивного и новаторского в нем не будет, только беспокойное и переменчивое. Зеркальный омоглиф. Мимолетная диастола жизни. Медитация над пророком Когелетом и последние новости подсчитанные, отмеренные и взвешенные.

27.01.14. Понедельник: Чувствую себя.

28.01.14. Вторник: Сборник сказок. Выйдет ли.

29.01.14. Среда: Ем яблоки и смотрю в окно... Строка из песни. Королева негатива и фотошопа с покусанным яблоком в левой руке.

30.01.14. Четверг: Начала писать в мордокниге утренние думки. Думаю вот:

— зависание в Интернете — это от тотального недостатка общения или от хронического балдобойства?

— дискретное общение — это отложенное настоящее или предвосхищаемое будущее?

— что лучше, журавль в руке или синица в небе?

— откуда пошел миф о слепоте летучих мышей?

— олимпиадой порадуемся или как?

И это называется мысли. Или как? Как. И еще раз — как.

31.01.14. Пятница: Спасибо, спасибо, спасибо, боже! Пятница. Питница!

Послушай, друг мой любезный, сказку про пятницу:

Жила-была пятница. В понедельник она просыпалась маленькой, скукоженной. С большими зубами. К среде расправляла плечи, поднималась с колен, стреляла глазами направо-налево! А в пятницу вырастала до огромных размеров, пятничных...

— Мам, а почему у пятницы болят зубки?

— Потому что ум зашел за разум, а почки, печень, сердце, легкие уже отказали. Спи, Робин, — сон тебе в руку.

Если мечи перековали на орала, может, и пятно-питницу перекрестить в житницу? Жить и не ждать с ужасом понедельника. Жить и не ждать с ужасом.

Просто жить.

Рукопожатствую и передаю приветы, (/которые нафиг никому не нужны/ — зачеркнуто) не нужные никому.

Засим, когда-то сестра твоя, Марта.

Прощай.

Михаил Каганович

Уходящая натура

Поэт — звание не важное. Скорее — неважное.

Поэт растворен в воздухе языка, ради которого существует, без остатка. Величайшие — незаметны. Как Грибоедов, пословно разошедшийся на цитаты. Или Пушкин, запустивший в русский ум горькую идею маленького человека. Или Блок. Или...

В самом начале семидесятых, еще школьником, в гостях у папиных друзей, я услышал пару строк, без которых русский воздух с той самой поры, как они написаны, смею утверждать, не так «сладок и приятен» более:

Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?

Ленина никто не хаял. Он был, как на октябратской звездочке, — только с закрытыми глазками. Автор его почти любил. Но от того становилось только поноснее (старое русское слово) и... страшнее. А страх исторгал хохот. И следом... — страх.

Спустя годы, волею судеб, я познакомился с автором этих строк. Более того — довольно продолжительное время мне посчастливилось находиться в его присутствии, видеть и слышать его друзей, но главное — слышать его самого. Как он сам говорил об «...историческом недосыпе»: «Было душно... И захотелось свистнуть...»

Коржавин живет теперь в Америке и говорит о ней: «... страна прикладного христианства». И это тоже — взгляд поэта, всем существом отдающего себе отчет в сказанном самим Господом: «...пусть левая рука твоя не знает, что делает правая».

Он и в советскую ссылку был когда-то отправлен за то, что любил свою (нашу) страну не так, как было положено, а как поэт, то есть — как Бог на душу положил.

И эта распирающая грудь любовь. Дочь его кишиневского друга Александра Фридмана, Люся Польшакова, рассказывала, что как-то сидит, смотрит невидящим своим взглядом в пространство и вдруг:

— Дай ей Бог здоровья!
— Кому, Наум Моисеевич?
— Как кому? Русской женщине!

Коржавинский паравраз:

Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
Но кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят...

«весит» сегодня едва ли не больше некрасовского оригинала.

Он настоящий русский Сократ. И мудростью, и любовью к миру, и удивительным портретным сходством. И даже своей Ксантиппой — Любаней (Любовью Семеновной), которой не стало в прошлом году, а он в это никак не верит. Потому что, как не мог без нее дышать, так и не может до сих пор.

Он стар, болен и одинок. Храни его Господь!

Каганович Михаил Вениаминович — поэт, прозаик. Родился в 1956 г. в Москве. Образование высшее медицинское. Автор книги стихов «CREDO» (М., 2008), книг прозы «Начало романа» (М., 2009) и «На конной тяге» (М., 2009). Живет в Москве.

Поэту, на сон грядущему

Умирает Коржавин на том обороте Земли,
Где ни дна, ни покрышки, где «всё так» — да не так и не эдак...
И рифмует, рифмует, рифмует... судьбу, океан, корабли,
Что гудят не ему и не то, и не там — напоследок...

Слепотой прозревая, что некому передавать —
Типа лиры-кифары — деревянной сидухи в сортире —
Лишь со струнами. Типа «как Пушкину делал Державин». Кровать
И проход до сортира, наощупь, по чёрт-ногу-сломит квартире.

Умирает эпоха, топочут коней табуны,
Занимаются избы — аж в полнеба — и бабам пора бы...
Но цикута горчит, не кончаясь... И русский Сократ без страны...
Да Ксантиппа-Любаня готовится выть, как на родине бабы.

Любаня

А Ксантиппа взяла и управилась
Раньше Эмочки своего.
Что ей здесь, среди нас не занавилось?
В небесах ли взыскует чего?

«Масло жизни» жевала — кунжутное —
Час-полчас, что ни утро — урок.
Да китайщина эта непутная
Католичкам, как видно, не впрок.

Порассеял овсяные клеточки
Щедрой жменью рачок-мужичок,
Чтоб — как перст — без Любанечки-деточки
Мудрый Эма — слепой дурачок.

Чтоб, когда за последней завесою
Ангел вечности снимет печать,
Дал ей счастье Всевышний — встречать
Православного Манделя мессою.

* * *

Сейчас, сейчас произойдёт —
Толику только лишь терпенья —
Муз полуголый хоровод,
Сатиров из кустов сопенье...
Вот, вот — на кончике пера,
На самой тонкой паутинке...
Но кто-то вдруг шепнёт: «Пора...»
И всё — ни звука, ни картинки...
Безвольный увалень, душа
Засуетится неумело,
Куль неподъёмный тормоша
Деревенеющего тела:
Назад — в ярем. Взвалить... Нести...
Куда ты?! Господи, прости...

Арслан Хасавов

Рассказы

Шум

Казалось, что шум заполнил его голову. Не просто заполнил, но и вытеснил оттуда накопленные за годы студенчества знания, обрывки информации, имена многочисленных знакомцев. Вытеснил он даже те политические и, что страшнее, этические позиции, на которых он последовательно стоял всю свою непродолжительную сознательную жизнь. День за днем, год за годом шум этот фоном звучал во всем его существовании, лишь изредка с болезненной пробуксовкой притормаживая где-то над ушами. Вот и сейчас, выключив свет и закулив сигарету, он выглянул в окно, за которым московское лето неумолимо подходило к своему концу, и вновь провалился в шум.

Уже который год он проживал в родительской квартире, словно во временке, фактически не разбирая вещей, не находя им подходящего, как полагается в нормальных домах, единственно верного места. Заброшенный рабочий стол был завален бумагами, порядком помятыми газетами с его публикациями да дипломами малозначащих журналистских и писательских конкурсов. В одном углу его комнаты лежали горы непрочитанных книг, в другом не меньшие горы одежды, большую часть которой он давно не носил.

Вообще говоря, он видел себя далеко отсюда, но где именно, разобраться не то что не мог, а даже не пытался. Любил природу, но на дом с высоким сэлинджеровским забором по периметру участка даже не мечтал накопить — предпринимательской жилки в себе он никогда не замечал. Какую замечал? Сложный вопрос — с каждым последующим годом ему все отчетливее казалось, что единственный навык и единственное искусство, которым он в совершенстве владеет, так это сидеть задумчиво у приоткрытого окна, прислушиваясь к нескончаемому шуму, и выпускать табачный дым в холодную пустоту большого города.

В чем был смысл, предмет его задумчивости — вопрос еще более сложный. Он мог размышлять о судьбах мира и биографиях тиранов, мог мысленно

Хасавов Арслан Дагирович (1988) — лауреат независимой литературной премии «Дебют» в номинации «Эссеистика» (2014), Всероссийского конкурса молодых журналистов-международников в номинации «Репортаж» (2013). Проза выходила в литературных журналах «Юность», «Новая Юность», «Вайнах», «Нева» и др. Участник X и XIV Форумов молодых писателей России и стран СНГ. Продолжает обучение в магистратуре факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики», возглавляет литературную студию вуза.

вернуться к сюжету недавно прочитанной книги или, что плохо на него влияло, задумывался о предательстве папы.

Артур часто вспоминал случай из детства, мысли о котором, пожалуй, можно смело назвать уютным убежищем большинства людей. Он, девятилетний, сидит на теплых коленях папы и крутит руль приобретенной их семьей незадолго до этого горчичного цвета BMW. Мощный четырехлитровый двигатель ревет, внушая пассажирам уверенность и, пожалуй, страх, словно дикий зверь из книги Киплинга, которую он тогда читал. Рядом — мама, кожа на ее лице еще совсем гладкая, надо лбом густая темная челка, мама взволнованно причитает под его детскую руку:

— Помедленнее, сынуля, не спеши. Прошу тебя, езжай помедленнее — мы ведь никуда не торопимся.

Машина между тем съедает километры, в то время как за ее окнами проплывают горы Копетдага, накинущие на свои могучие плечи редкие, но пушистые, словно дамское манто, облака. Тогдашний его восторг невозможно передать словами — он царапал в районе сердца, то сползая куда-то к желудку, то молотом стучась в темя.

Или вот еще — папа везет его на лечение в Турцию. Между сидений самолета, следующего рейсом Ашхабад—Стамбул, картонная коробка. В ней щенки, которые то тявкают беспомощно, то затихают, чтобы потом заскулить и снова затихнуть. Ближе к середине полета ко всеобщей радости прогрызли они одну из стенок этой коробки.

Один из щенков, серый пушистик с карими зрачками, вразвалочку подошел к креслу, в котором сидел Артур и, не задумываясь, уткнулся в его колени. Осторожное, в преддверии тяжелой операции, внимание отца и горячее дыхание щенка, отчего-то выбравшего именно его, слились в единый потрясающий миг, который он вряд ли когда сможет забыть.

Постепенно, уже в северных широтах, начинала меняться тональность их отношений, и папа стал превращаться в отца. А еще позднее, когда Артур убедился, что отцовское предательство было осознанным и оттого непростительным, тот стал для сына просто Камилем.

— И потом Камиль подошел, — мог, к примеру, рассказывать что-то Артур.

— Погоди, а почему ты называешь его Камилем? — чаще всего отзывался собеседник в некоторой задумчивости и добавлял: — Согласись, звучит странно — он ведь твой отец.

Выносить сор из избы было вроде бы рано, поэтому чаще всего Артур соглашался с замечанием, спешно поправляя сам себя: «ну да, папа, я имел в виду».

Шум, доносившийся с широкого проспекта и ставший саундтреком его жизни, сильно надоел Артуру. Однако в попытках спастись от липкой духоты он открывал окна, в разы увеличивая децибелы этих звуков.

Втягивая и выдыхая крепкий табачный дым, он размышлял, куда теперь направить свою еще не окончательно иссякшую энергию. Он, наконец, перестал бояться признаться себе в том, что земля давно уплыла из-под его ног. Преданный сын, он хотел просто вернуться на исходную позицию — семья, как оказалось, немало для него значила.

— Включи бойлер, — раздался голос мамы из-за его спины. — Сделай, пожалуйста, так, чтобы я могла завтра спокойно принять душ перед работой.

Да, перед работой: ей после случившегося тоже приходилось работать. Артур быстро выкинул сигарету в окно. Глупо делать это в двадцать пять, но архаичная традиция предписывала определенные нормы поведения — курить при любом из родителей значило бы оскорбить их, расписаться в своем неуважении.

— Сейчас включу, — тоном чуть более твердым, чем требовала ситуация, ответил он.

— Почему все, о чем бы я тебя ни попросила, ты воспринимаешь в штыки?! — вполоборота завелась она. — Ни о чем уже тебя нельзя попросить! На кого мне еще рассчитывать, не подскажешь?

Ее нервная система сильно пострадала за последние несколько лет, и по-хорошему ей вообще требовалось квалифицированное лечение в каком-нибудь живописном месте. Артур вздохнул — промолчать, выпасть из диалога было наилучшим выходом из положения.

На столе, среди измятых бумаг и обрывков рукописей, к которым он не спешил возвращаться, завибрировал телефон. «Мурад-Тула» отобразилось на дисплее его мобильного. Артур задумался на секунду, но потом быстро перетащил ползунок ответа вправо.

— Тутган оразагызны Аллах кабул этсин!¹ — услышал он знакомый голос, приложив телефон к уху.

— Сав бол, ваша! Сизинкин де, тутманланда Аллах гечсин!²

Уразу³ он никогда не держал, поэтому их редкое общение можно было назвать лишь соблюдением правил приличия. Коротко переговорив о делах и передав приветы домашним, простились. А о чем было говорить еще? Отцовское поведение вбивало клин и в отношения Артура с родственниками: притворяться он не хотел, правды они, по его мнению, тоже не заслуживали. Приходилось поддерживать холодный нейтралитет.

Отмахнувшись от мыслей об ожидавшем его бойлере, он позвонил Жене. Этот парень со странными для Москвы подкрученными усами и тонкой бородкой в стиле Троцкого мог бы стать его другом, если бы он когда-нибудь снова научился доверять людям.

— Знаешь, если задуматься, это ведь так странно, — начал Женя, когда они уселись за стойку близлежащего бара, — люди — просто существа, животные, из которых торчат разные конечности — руки, ноги, голова. Они как-то держат равновесие и передвигаются по своим делам. Ты об этом никогда не задумывался? За такие вот отвлеченные разговоры Артур его и ценил.

— В литературе это называется «биологической массой», — поддержал он тему.

— Еще более странно слышать от этой самой биомассы всякие вещи, как, например, «мне не подходит прошлогоднее пальто — я вряд ли когда смогу надеть его снова». Ты ведь меня понимаешь?

— Ну да. Человечество — муравейник, а мы с тобой такие же малозначащие букашки, как и все остальные — прихлопни, и все, что мы любили, чем

¹ Пусть Аллах примет твой пост! (*кумык*.).

² Спасибо, дядя! Пусть Всевышний примет и ваш, ну и простит тех, кто не постился! (*кумык*.).

³ Ураза (*тюрк*.) — 30-дневный пост у мусульман в месяце рамазане. Обязателен для всех верующих, кроме детей до 7 лет, больных, беременных женщин, безумных, путешествующих. (БСЭ. — 1969—1978).

дорожили и что значили, останется лишь во влажном следе, в котором уже мало что разберешь. А потом взойдет солнце и высушит и этот след.

Непрекращающийся шум в его голове, смешавшись с отечественными поп-хитами девяностых, наполнявших кафе, мешал сосредоточиться. Он закурил сигарету и выпустил густое облако дыма.

— Самое интересное, что большинство этого даже не понимает, — вяло докинул Артур еще одну банальность.

— Скорее, они этого просто не хотят! А зачем? Я бы вот, например, тоже с превеликим удовольствием перестал все это понимать, поменялся бы с ними местами. Так ведь жизнь становится гораздо проще, даже будто бы осмысленнее.

— Согласен. Таким, как мы, сложно воспринимать жизнь как реальность — это, скорее, аркадная игра, в которой мало что по-настоящему имеет значение.

С момента отцовского предательства и с каждым новым прожитым годом Артур все чаще задавался вопросами о гипотетической необходимости создания ячейки общества. Если отец, некогда бывший сверхчеловеком, оказался способным причинить такую боль, смогу ли я быть другим по отношению к своей семье, — спрашивал себя Артур.

— Слушай, а что ты думаешь о детях? — спросил он Женю, отхлебнув из тяжелого бокала. — Имеем ли мы право заводить собственных детей?

— Конечно! В этом ведь заключается великое счастье, — без тени сомнения ответил тот.

— Возможно. Но имеем ли мы право заводить собственных детей, в то время как детские дома переполнены? Не лучше ли взять на воспитание сироту?

— Эту разницу ты не поймешь, пока у тебя не появятся собственные детки. Видеть черты любимого человека в вашем совместном ребенке, наблюдать, как он делает первые шаги, — говорил он мечтательно. — И потом, это ведь продолжение рода, как ни крути, твоя кровь.

— Это понятно, но в чем смысл создания еще одного муравья?

Женя поперхнулся неудобным вопросом и, смущенно улыбаясь, начал блуждать взглядом по лицу Артура, пытаясь угадать верный ответ.

— Эгоизм, — сказал он, уронив вмиг потяжелевшую голову на руки.

— Опять напился? — услышал он мамин голос, не успев вернуться домой.

Она устало щурилась — яркий свет в прихожей слепил ее, уже успевшую полежать в темноте.

— Сколько можно это терпеть? Посмотри на себя — да кого ты стал похож?

— На кого? — зачем-то полюбопытствовал он, скользнув взглядом по зеркалу.

— На самого натурального алкаша! Эти мешки под глазами, — безглаголиво начала перечислять она, но, махнув рукой, резко заключила, — да ты уже весь зеленый!

— Я, наверное, просто устал.

Вечная белая ночнушка, переминается с ноги на ногу. Вот, кто устал на самом деле.

Артур же застыл, как вкопанный, рассматривая мамино лицо. Он как никто другой понимал состояние, в котором она пребывала, но ровным счетом ничего не мог с этим поделать. Все в нем сжалось в комочек, и засосало где-то под ребрами. Сцена длилась секунду-две, не дольше. Он думал было обнять ее или

хотя бы провести рукой по щеке, по ее с каждым днем все более редким волосам. Глаза его увлажнились.

— Что ты вылупился, как баран на новые ворота?! — оборвала она ход его мыслей. Внутренняя связь их, похоже, сильно истончилась. — Включи лучше бойлер, сколько раз тебя можно просить.

Качнувшись, словно парусник на высоких волнах, она развернулась и уплыла в некогда их с Камилем комнату. Разуваясь, он слышал, как мама с глубокими, как у загнанной лошади, вздохами укладывалась в постель.

Разобравшись с бойлером — раньше этим занимался отец, — он зашел в свою комнату. Те же бумаги на столе, та же гора одежды на диване и те же высокие стопки книг в углу.

Артур сел в кресло с высокой спинкой, доставшееся ему в наследство от разгромленного отцовского офиса, и задумчиво всматривался в освещенный множеством ламп широкий проспект за окном. Чтобы хоть как-то спастись от духоты, открыл окно. Шум вновь заполнил комнату: перво-наперво облизав подоконник, взъерошил его волосы, согнал пыль с низкого чайного столика и, оттолкнувшись от матового стекла двери, медленно осел на застеленный светлым ламинатом пол.

Телефон вдруг оказался в руках Артура. Не успел он опомниться, как уже застал себя набирающим сообщение папе:

— Привет! Не хочешь поужинать сегодня вместе?

Первое сообщение за без малого полтора года.

— Давай, только это будет ближе к 23-м часам. Как поеду, напишу, — ответил Камиль спустя минут десять.

Артуру стало дурно: выпитое, смешавшись с очевидным пренебрежением отца, подкосило ноги, еще больше затуманило голову.

До сколь долгожданной, столь и неожиданной встречи с Камилем оставалось еще некоторое время, и он решил подремать, чтобы постараться хотя бы немного прийти в себя. Воспоминания детства, диалог с Женей, сложности с мамой, скорая встреча с отцом — все это вихрем пронеслось в голове прежде, чем он провалился в сон.

Он очнулся от оглушительной тишины. Коснувшись ступнями прохладного пола, попытался восстановить в памяти прошедший день. Встреча! Бросил взгляд на настенные часы. Было уже начало пятого. Схватил телефон, ожидая увидеть пропущенные вызовы и уточняющие сообщения Камиля.

Один звонок от девушки, с которой он в то время общался, да несколько малозначащих сообщений в соцсетях. Было похоже, что проспал он не так уж и много.

Подойдя на ватных ногах к окну, с третьей попытки закурил сигарету, а закурив, сделал сразу же две затяжки. Машин на проспекте не было, для пешеходов час, по-видимому, тоже был слишком ранним.

В голове его можно было катить шар — ни тебе мыслей, ни желаний, ни, главное, шума.

Последний, похоже, исчез из его жизни навсегда.

Зоопарк

Даже будучи трезвым, я, кажется, был не в себе. Маялся, измеряя шагами комнату, порываясь то выбросить мусор, то выброситься в окно, при этом ничего ровным счетом не предпринимая. Я просто ходил из угла в угол и чувствовал, как что-то пульсировало внутри моей черепной коробки.

Подойдя к холодильнику и вытянув руку за чем-то съестным, я заметил, что рука эта нервически подрагивает.

Остановившись у зеркала, утопленного в роскошной позолоченной раме, я вгляделся в свое отражение. Ежедневно я выпивал не меньше литра разного рода алкогольных напитков, пытаюсь облачить в буквы переживаемую драму. Выходило скверно, но казалось, что боль отступала на шаг и, сложив руки перед собой, задумчиво и отчасти восхищенно смотрела на мою сутулую фигуру, сидевшую в ночи перед компьютером.

Бессонница же, хохоча от затянувшейся вседозволенности, нарисовала круги под моими глазами. В свете лучей дневного света, робко проникавших в комнату из-за занавешенных окон, сам я казался каким-то зеленым. Я поднял руки и, на манер культуристов, демонстрирующих публике накачанные тела, сжал кисти рук в кулаки. Сонные бицепсы лениво пошевелились и, перевернувшись на другой бок, залезли под одеяло.

Моя собственная голова, казалось, не хотела держаться на шее. Я также отметил, что блестел сединой на висках гораздо сильнее обычного, а неухоженная растительность на лице неожиданно стала отдавать рыжим.

Если бы кому-нибудь пришло в голову облачить меня в повидавший виды бушлат и изношенные ботинки, я бы, скорее всего, в первом же туре прошел кастинг на роль типичного привокзального бомжа.

Завибрировавший в кармане джинсовых шорт телефон заставил меня отвлечься от грустных мыслей и прочитать сообщение.

— Ну что, мы сегодня встречаемся?

Я вновь заходил по комнате, подыскивая верный ответ.

Той, которую я любил, не было в городе, и мы то и дело обменивались многословными письмами со взаимными упреками и, вообще говоря, спустя почти восемь лет отношений, находились на грани болезненного расставания. Хотя, чего греха таить, я был абсолютно убежден, что мы, брезгливо взявшись за руки, уже переступили эту самую грань.

Я пролистал историю нашей переписки. По всему выходило, что двумя днями ранее я сам предложил Кристине пересечься, но, занятая другими делами, она нашла для меня время только в четверг.

— Я не умею так заранее, — зная ситуацию, ответил я ей тогда. — Договариваюсь в день встречи.

— Ок! — со смайликом согласилась она и то ли в шутку, то ли всерьез добавила: — Напишу в четверг.

И вот написала. Проснувшийся лишь двумя часами ранее, я не находил себе места и колебался между тем, чтобы пустить себе пулю в лоб и придушить виновницу моих терзаний, а то и вовсе объединить две эти малоприятные процедуры в общую картину развязки личной драмы.

Выйти на свежий воздух было, в общем-то, неплохой идеей — после

увольнения со службы я редко появлялся на улице, проводя львиную долю вдруг ставшего без каких-либо оговорок свободным времени за чтением собратьев по перу, страданием, потреблением алкоголя и собственными творческими потугами.

— А во сколько? — осторожно уточнил я.

— В 18:30 буду в центре.

— Ты одна приедешь? — уточнил я, так как, еще не успев пропить чувство стыда, постеснялся бы знакомству с новыми людьми, пребывая в подобном состоянии.

— Я собираюсь встретиться только с тобой, — вновь сдобрив свое сообщение смайликом, написала Кристина.

Согласовав место встречи, я стал спешно заниматься собой. Чтобы хоть как-то привести свои мысли в порядок и приглушить неприятный привкус во рту, выпил растворимый кофе со сливками и отправился в душевую. Стараясь не смотреть в подсвеченное изнутри зеркало, подравнял специальной машинкой щетину, а внимательнее присмотревшись к бровям, провел и по одной из них. Брови не стало.

Как бы там ни было, я надел купленные незадолго до этого в интернет-магазине вещи и выбрался на свет божий.

Уставшее лето подходило к финалу, чтобы уступить время и территорию плакучей желтолицей осени, о стремительном приближении которой я в последние дни с ужасом вспоминал. Эта осень могла стубить меня, с шипением затушив пожиривший изнутри пожар, и равнодушно оставить на его месте горстку черных, как беззвездная ночь, углей.

Взяв в магазине бутылку вина, я сел в автобус, который довез меня до Краснопресненской. Бросив взгляд на висевшие на столбе механические часы, я подумал, что мог бы докатить до Пушкинской на велосипеде, но, не разобравшись с правилами проката, был вынужден спуститься в подземку.

Когда я добрался до места, первыми в фокусе моего внимания оказались ее загоревшие под европейским солнцем плечи, под которым она, судя по Instagram, старалась появляться не реже раза в месяц. Не спеша подойти, я скользнул по ней взглядом. Сочное юное тело было одето в легкое черное платье, из которого выглядывали притягивающие взгляд ноги двадцатипятилетней госслужащей. Она была рыжей, с пухлыми губами, над которыми можно было различить заросшую дырку от пирсинга, символизировавшую ее бурную юность. Я хорошо знал ее в годы студенчества и помнил, что ровно такая же дырка есть и на ее юрком языке.

Поникший, словно из тумана, проявился стоявший на высоком постаменте памятник Пушкину. Наконец она меня заметила и, развернувшись всем корпусом, в два прыжка оказалась рядом, ослепив показавшейся идеальной широкой улыбкой.

— Ах, вот ты где, — озорно сказала она, дернув копной рыжих волос, — Куда пойдем?

Казалось, не было этой паузы в общении размером едва ли не в полтора года, а сами мы, как и прежде, встретились, чтобы в очередной раз пропустить по бокалу перед утомительной лекцией.

— Да не знаю, честно говоря, наверное, куда глаза глядят.

Мы пересекли площадь и, перейдя Страстной бульвар, оказались на Большой Дмитровке.

— Ну, что там у тебя происходит? — наконец спросила Кристина, вкратце знавшая суть моей проблемы.

— Трагедия. Чувствую себя погорельцем, потерявшим в пожаре не только все документы, но и близких, включая и не родившихся детей. Короче, меня разлюбили!

— Я знаю, о чем ты говоришь, — отозвалась она с готовностью.

Небезынтересной деталью нашего общения было то, что Кристина когда-то давно обронила: «Если бы ты, наконец, решил свой вопрос, — имея под этим самым "вопросом" мои постоянные отношения с той, которую я любил, — мы бы уже давно были вместе». Сейчас она была довольна жизнью и за прошедшее время потеряла многое, включая интерес к журналистике, девственность и любовь ко мне.

Она знала, что я сделал Маше предложение, и теперь рассуждала, покусывая губу:

— Когда долго чего-то ждешь, а потом получаешь, что-то в тебе неизбежно перегорает.

— То есть получается, что я только все испортил, сделав долгожданное предложение?

— Как ни парадоксально... Думаю, она пересидела, и ваши отношения превратились в перезрелый фрукт: снаружи вроде бы нормальный, а если на вкус... Сам понимаешь.

Ну, что тут скажешь?

Пожалуй, мне нужно было бы что-то покрепче, чтобы затушить потухший было пожар, но начать я решил с прохладного белого.

— Самое интересное, что если бы она увидела меня сейчас, то оглядела бы с презрением, — отметил я, сделав добрый глоток прямо из горла. — Пьющие вызывают у нее отторжение.

Старина Фрейд наверняка объяснил бы это эпизодом из детства, о котором Маша мне как-то рассказывала. Новый год — один из любимых детских праздников. Украшенная несколькими парами рук и ручонок нарядная елка посреди огромной квартиры на Остоженке и запакованные в цветную бумагу подарки под ней, ждущие, когда часы пробьют двенадцать. Тогда еще в детском сознании был жив Дед Мороз со Снегурочкой, сказки казались былью, а мечты неизбежным сценарием предстоявшей жизни. Так вот, столы ломились от яств, приготовленных сердобольной мамой Маши и ее сестер, на девочках были их лучшие наряды.

Все ждали папу Игоря, который явился пьяным и злым.

Маша запомнила ужас, охвативший ее, когда на фоне новогодних декораций между родителями разразился скандал, закончившийся громким звуком двери, которая, казалось, навсегда захлопнулась за папиной спиной.

— Давай зайдем сюда, — предложила Кристина, когда мы поравнялись с украшенным мозаикой и многослойной лепниной зданием МАРХИ. В руках у нее была початая бутылка сидра, по-видимому, выплывшая из глубин дамской сумочки.

Мы прошли во двор института и присели на ступеньки одного из корпусов, скрытых от глаз прохожих парой строительных вагончиков и лесами.

— Я часто здесь сижу, — сказала Кристина, — хорошее место.

— Серьезно? — переспросил я с недоверием. — Больше похоже на местечко для справления естественных нужд.

— Ну не говори! — она, кажется, обиделась за свое хорошее местечко.

— Ладно-ладно, — примирительно сказал я и миролюбиво сел на одну из каменных ступенек.

В этом месте действительно что-то было.

— Я еще не ел сегодня, — вспомнил я посреди длинного и бессмысленного разговора, успевший к тому моменту ополовинить свою бутылку. Выкинув руку вперед, попытался прикинуть, хватит ли мне на сегодня или стоило запастись. Ничего толком не решив, я услышал взволнованное:

— Смотри, сюда идет охранник.

— Сюда? Охранник? — приподняв голову с колен Кристи, на которых я успел устроиться, непонимающе переспросил я. Я не видел ничего, кроме ее подбородка, носа в беспорядочных веснушках и кусочка неба.

— А зачем? — в попытке понять, стоило ли готовиться к серьезному замесу, уточнил я.

Я присел и, опустив голову, прочитал на своей толстовке отпечатанное мелким шрифтом *Life is a joke*.

Охранник довольно миролюбиво попросил нас удалиться с вверенной ему территории и даже не стал выпроваживать нас самолично, дав некоторое время на сборы.

Мы переместились в близлежащее полуподвальное кафе, пользовавшееся в то лето особой популярностью у небогатой молодежи. Я начинал отключаться, находя себя то танцующим под сомнительный dj-сет внутри заведения, то лежащим на газоне в абсолютной пустоте, то вдруг внимающим уличным музыкантам.

Кристина была возмущена моим поведением и в какой-то момент, резко развернувшись на месте, двинулась прочь.

— Ты пьян! — прочитал я по губам, когда она обернулась, но, вопреки ее очевидному желанию, не побежал следом.

Ее предположение насчет того, что мы могли бы быть вместе, утратило свою актуальность за истечением срока давности. Я был ей не нужен.

— Я похож на человека пьющего? — всплыл в сознании мой вопрос, заданный ей ранее.

— В каком это смысле?

— Ну, понятно, что я выгляжу опрятно, но лицо, глаза — они меня выдают?

— Да вроде, нет, — с сомнением ответила она и неуверенно обнадежила, — а вообще я не знаю, как выглядят алкаши.

Внезапная раскрепощенность кавказца, которую я, похоже, демонстрировал, и новая одежда, как это ни странно, сыграли свою роль. Показавшаяся мне миловидной высокая девушка с темными волосами стала крутиться в страстном танце вокруг меня. В какой-то момент мне даже показалось, что если я остановлюсь, она начнет взбираться на меня как на шест, эффектно подергивая узкими модельными бедрами.

Когда она прикоснулась к моему уху влажными блудливыми губами и спросила, чем я занимаюсь, я, не моргнув глазом, ответил:

— Я профессиональный писатель, — и, не удержав сдавливаемый всем существом ик, продолжил заливать, — автор небезызвестных романов «Духless» и «Гастарбайтер».

Моя собеседница отпрянула и, с надеждой держа меня за плечи, вгляделась

в мои мутные глаза, судорожно пытаюсь сообразить, вру ли я. Я был ее шансом как минимум на неплохой заработок, а как максимум и на лучшую жизнь.

— А почему ты решил зайти именно сюда? — с сомнением в голосе поинтересовалась она, пообеда взглядом скромный интерьер, и на всякий случай обхватила меня за талию.

— Я здесь в поисках образов, — туманно ответил я и уточнил, — женских образов...

Потом меня поглотила темнота, выплыв из которой, я оказался сидящим за столом все того же кафе и поедающим маслянистый чебурек с бараниной. Справа сидела девушка, с которой я танцевал, а рядом появившийся как черт из табакерки брат Кристины — усач Евгений, который, насколько я мог разобрать, рассказывал, что является штатным фотографом одного из массовых столичных изданий.

На самом же деле он продавал оливки, пытаюсь выпрыгнуть из тяготившего его мелодраматичного романа с одной из сотрудниц семейного бизнеса.

— Ну что, братан, поедим? — вдруг поинтересовался он у меня.

По его интонации я понял, что мы вроде как продолжили уже завязанный диалог.

— Поедем, — ответил я, вспомнив о своей трагедии. — По коням, братан!

Мне срочно нужно было еще вина, которое я отхватил прямо со стойки, воспользовавшись тем, что заскучавший хозяин бокала на время упустил его из виду.

Потом я нашел себя на заднем сиденье машины, двигавшейся сквозь хлесткий дождь. Справа сидела Кристина, я держал ее за руку. Непьющий Женя уверенно держал руль, слушая непрерывное щебетание потенциальной стриптизерши.

«Как она там, интересно? — пронзили меня мысли о той, о которой наивно клялся больше не думать. — Что делает? Вспоминает ли?».

— Ты ведь не спешишь? — поинтересовался Женя, обернувшись ко мне.

— Так, я спать, — отозвалась Кристина и, сжав мою кисть двумя руками, вышла из машины, не проронив более ни слова.

Я почувствовал, что разочаровал ее. Эту дисциплину уже можно было смело включать в программу моей жизни.

Женя припарковал автомобиль в одном из соседних дворики и сказал, чтобы мы с Леной шли за ним.

В квартире, куда мы вошли, было многолюдно. Парни, девушки — лица их казались размытыми, а сам я не мог сконцентрироваться ни на одном диалоге, которые звучали то там, то здесь.

— Эй, парень, будешь виски? — спросил меня мужской голос.

Я кивнул и заметил, что через пару мгновений в моей руке появился запотевший бокал с бурой жидкостью. Я сделал глоток и, откашлявшись, огляделся. Слева от меня сидел парень в полосатой пижаме.

— Не, ну ты что? — поинтересовался он, издевательски выпучив глаза.

— В смысле, пижамный человек? — отозвался я, сделав еще один глоток.

— В смысле, пижамный человек? — с дурацким выражением лица передразнил он меня, скривив лицо и гнусно, но коротко рассмеявшись.

— Ты кто такой? Откуда взялся? — спустя паузу, уточнил я.

— Питерский я, братишка, питерский.

— Да?! Как-то не похоже.

— А ты что, так хорошо разбираешься в этом?

— А то! Многих знаю в Питере, сам порой бываю. Таких, как ты, я там не видал.

Накапливавшаяся злость делала окружающую меня картину все более четкой. Этот парень явно не отдавал себя отчета в том, что играет с огнем, который мог в любой момент излиться из меня как из дракона и сжечь его напалмом вместе с его новомодным зачесом и глуповатой полосатой пижамой.

— А чем ты занимаешься?

— Посмотри в интернете, — деловито ответил я.

— Так ты у нас типа звезда?! — не унимался собеседник.

Голограмма, сидевшая на широком подоконнике, попыталась вразумить буяна.

— Да что он может мне сделать?! — отмахнулся тот.

— Слушай, парень, ты хорошо видишь мое лицо? Разглядел мою бороду?

Успокаиваться он не собирался, а вместо этого исполнил бездарную попытку юмористического стэнд-апа, поведав о коробке и собаке, которая в этой самой коробке иногда от него пряталась. Он пытался импровизировать, а предчувствовавшие беду девушки совсем затихли, лишь изредка хлопая влажными глазами.

— Ну, не смешно, закругляйся, — дал я ему под дых в момент, когда он подбирал очередное слово.

Он быстро вернулся на диван и, нагло обняв меня, изобразил искреннюю заботу:

— Чего ты сейчас больше всего хочешь, малыш?

— Дать тебе в рыло! — ответил я решительно.

— А сможешь? — на этом вопросе в глазах его предательски мелькнули одежды страха.

Я ударил его в центр лица, после чего, встав, продолжил боксировать по болтавшейся, словно маленькая груша на растяжках, голове. Очнулся я уже на лестничной клетке — хозяин квартиры вместе с Женей, доселе сидевшие в соседней комнате, наперебой орал:

— Ты человек или животное? Отвечай! Ты человек или животное?

Я устался на свои ноги — короткие летние носки на грязной плитке.

— Я не буду разговаривать с вами босиком, — ответил я устало. — Дайте мои кроссовки, и я уйду.

— Зачем ты на него напал? Ты же в гостях! — не унимался крепко сбитый лысый бородач, с которым я, должно быть, знакомился немногим ранее.

«Может быть, его тоже разлюбили?» — подумал я, вглядываясь в агрессивное выражение его лица, но вместо выяснений обстоятельств дела твердо повторил:

— Дайте мне кроссовки. Быстро!

Обувшись, я накинул капюшон толстовки и вышел в сырую ночь. Я брел вдоль широкого шоссе, в котором узнал Дмитровку. Общественный транспорт давно не ходил, поэтому я был вынужден снять деньги в банкомате придорожной заправки и поймать такси.

Видимо, я ошибся, называя адрес водителю, поэтому, когда вновь очнулся,

то покачивался у входа в метро Краснопресненская, с которой по большому счету и начался этот странный день. Пешком до дома было не меньше двух часов.

Каждая точка в этом городе дышала ею и нашими отношениями — кажется, мы тысячи раз обошли, объехали, проползли весь город, и каждое здание, каждый кусочек земли, каждое дерево, каждая вывеска вспоминали что-то о нас.

Там, за выкрашенным в кофейный забором, располагался зоопарк. Я вспомнил, как часто мы ходили туда по студенческим билетам — казалось, все это было в прошлой жизни, когда сердца наши бились в унисон и мы, кажется, без раздумий могли назвать себя счастливыми.

Линия горизонта светилась белым — должно быть, начинало светать. Я подумал о том, что хоть и прожил в Москве десять лет, закончил школу и университет, но так и не обрел настоящих друзей, а чувствовал себя одиночкой, сброшенным с парашютом с иноземного корабля.

«Что делать? Куда идти? Как жить?» — вопросы-кинжалы летали во мне, больно тыкаясь во все, что попадалось на пути.

Мне хотелось проснуться как можно скорее — разомкнуть глаза и, позвонив Маше, сказать:

— Представляешь, любимчик! — так я ее всегда называл. — Мне такой кошмар о тебе приснился... Будто бы ты меня разлюбила и больше не хочешь быть вместе!

— Ну что ты, дорогой Артур, — нежным голосом ответила бы она. — Что за глупости! Это невозможно!

И я знал это, я ощущал это кожей в той реальности, в которую так отчаянно теперь хотел вернуться. Мимо медленно проехал автомобиль, водитель которого, по-видимому, был не прочь подвезти ночного путника. Я отвернулся и вдруг почувствовал ледяной ветер ужаса, дувший, казалось, отовсюду и обжигавший своим навязчивым дыханием все вокруг.

Я улыбнулся самому себе — «Ну что, брат, все с самого начала?! Вернулся на нулевой километр?!» — и, зацепившись в прыжке за верх забора зоопарка, стал подтягивать тело. Костяшки пальцев заныли, напомнив о недавней драке. Перемахнув через забор, я приземлился в застоявшуюся лужу и, неспешно выбираясь из нее, думал о том, что со стороны грязи негуманно быть такой мокрой.

Первые несколько клеток вдоль аллеи, по которой я побрел, оказались пустыми — скорее всего их обитатели спали в теплых вольерах. В третьей клетке я заметил белого тигра, лежавшего на деревянном мостике.

Его поза, все его грациозное существо вдруг напомнило мне о чувстве гордости, чувстве собственного достоинства, осознании природного превосходства хищника над млекопитающим, мужчины над женщиной, бывшей лишь его ребром, но никак не равной единицей.

Вплотную приблизившись к клетке с тигром, я просунул руку и сперва осторожно, а потом увереннее стал гладить его жесткую шкуру. Бояться мне было нечего — в тот момент я, кажется, был готов даже засунуть голову в его пасть, если бы она так же легко могла пролезть сквозь узкие прутья.

Жизнь продолжалась. Что-то должно было умереть, уступив место новому.

— Артур, нам нужно поговорить. Все еще можно попробовать спасти, — получил я неожиданное эсэмэс от нее.

Тигр, резко дернувшись, развернулся и неожиданно громко стал рычать.

— Понял, шеф, — сказал я ему, вытащив руку, — будем спасать.

Приговорён к бессмертной славе

Беседы Константина СИМОНОВА

с генерал-лейтенантом Михаилом ЛУКИНЫМ

Рукопись с записью этих бесед мы с сестрой нашли, когда стали «шерстить» архив отца в надежде обнаружить что-то интересное и неопубликованное к столетию со дня его рождения. Рукопись была большая и нисколько не подготовленная к печати. Пришлось основательно шлифовать запись. При этом постепенно выяснилась и ее история.

В экспериментальной студии «Мосфильма», руководимой Григорием Наумовичем Чухраем и Владимиром Александровичем Познером, по инициативе К.Симонова решили снять документальный фильм, посвященный 25-летию битвы под Москвой. Документальный? На «Мосфильме»? Но студию ведь и создали для экспериментов. И вот бригада сценаристов — Евгений Воробьев, Василий Ордынский и Константин Симонов стали собирать материал для фильма, который первоначально предполагали назвать цитатой из Твардовского «Тут не убавить, не прибавить». Режиссером был утвержден человек, прошедший войну, — Василий Ордынский.

В будущую ленту должны были войти интервью с выдающимися военачальниками, участвовавшими в Московской битве, — с Жуковым, Рокоссовским, Тимошенко, Коневым. По мере работы сценарий преображался. Сменилось название: Симонов пожертвовал фильму свою знаменитую строчку «Если дорог тебе твой дом», а среди фамилий маршалов появилась фамилия генерал-лейтенанта Лукина, военачальника с трудной и сложной военной биографией.

В фильм вошло лишь короткое интервью с Лукиным, но у Симонова, как это с ним часто бывало, судьба Лукина вызвала долгий непреходящий интерес, и в 1967 году, уже сдав сильно пощипанный цензурой фильм, Константин Михайлович продолжил беседы с военачальником. Теперь разговор шел не только о Московской битве, но обо всей военной судьбе генерала: о ранениях, госпиталях, немецких концлагерях, общих и отдельных — для генералов, о том, как он был освобожден американцами, вернулся на родину через Париж и обо всем прочем, о чем вам предстоит прочитать. Текст этой беседы публикуется в журнале полностью под заголовком, навеянным строками Константина Симонова:

Все подвиги его давно известны,
К бессмертной славе он приговорен,

Почему отец не отредактировал текст беседы, сказать не могу — спросить не у кого. Как бы то ни было, он не вставил ее в свою последнюю книгу «Глазами человека моего поколения», надиктованную в феврале-апреле 79-го года в последней больнице и опубликованную через десять лет после смерти Константина Михайловича. Видно, уже не было сил привести запись в приемлемый вид.

Шесть отрывков из этого интервью печатались в апреле-мае этого года в «Новой газете» и возбудили немалый общественный интерес. Теперь у нас есть возможность этот интерес удовлетворить. Символично, что полный текст публикуется в журнале «Дружба народов», в котором отец был членом Редакционного совета. В «Дружбе народов» было напечатано также самое главное, что он написал о войне, — его военные дневники

с комментариями, сделанными через четверть века. Публикации назывались «Разные дни войны» и печатались в обратном хронологическом порядке: первыми вышли дневники 45-го года, а последними — 41-го. Каждую публикацию цензоры прогоняли сквозь строй: достаточно почитать переписку Константина Михайловича с тогдашним редактором «ДН» Сергеем Баруздиным, опубликованную в 12-м томе собрания сочинений Симонова. Автор и редактор были вынуждены вести войну с цензурой буквально за каждую страницу дневника — войну против приглаживания правды о войне. Я уважаю журнал, который стоял с Симоновым до конца в борьбе с этой — не знаю даже как ее назвать — унификацией памяти. С приведением истории войны к единому утвержденному сверху эталону правды о ней. Читать это и страшно, и стыдно. Но «Дружба народов» не сдала Симонова. Как не сдал его когда-то и «Новый мир», где десятью годами ранее дневники 41-го года и комментарии к ним так и не появились на божий свет.

Их всех уже нет в живых, ни Симонова с Баруздиным, ни Твардовского, ни безымянных цензоров, которые участвовали в этих литературных побоищах. А правда о войне нет-нет, да и появляется на страницах периодических изданий, пробиваясь сквозь бравурные марши, отмечающие год за годом ветшающие юбилеи победы.

Алексей СИМОНОВ

Июль 41-го. Смоленск

Константин Симонов: В десятых числах июля оставили вам две дивизии?

Михаил Лукин: Только две дивизии и один механизированный полк. Все остальное у меня забрали. Завязались сильные бои. Появились танки, отбиваюсь, но отхожу... Нечем больше, у меня ничего больше нет, все... В самом Смоленске имеется...

К.С.: А Смоленск — ваша полоса?

М.Л.: Моя, моя полоса. В Смоленске имелся батальон милиции, три батальона добровольцев. Но... без винтовок.

Шестнадцатого числа ночью ко мне вдруг прибегает заместитель начальника политотдела армии и говорит: «Товарищ генерал, в Смоленске немцы. Мосты взорваны». Я быстро вскочил, член Военного совета прибежал ко мне. Сели в машину и поехали в Смоленск.

Приезжаем в Смоленск. В Смоленске — зловещая тишина. Встает раннее утро, солнце. Тишина. Жителей никого не видно, будто вымерший город. Не верится, что немцы в Смоленске. Подъезжаю к Днепру. Обстреляли мою машину пулеметы...

К.С.: С той стороны?

М.Л.: С той стороны.

К.С.: А мосты взорвали, в самом деле?

М.Л.: Мосты взорвали. Взорваны мосты, даже стреляло одно орудие, значит, правильно.

К.С.: А кто непосредственно прикрывал Смоленск, какие части?

М.Л.: Мои части, вот эти отряды, батальоны, выброшенные заранее, 132-й дивизии. Это мои части прикрывали.

Что делать? Свернули мы на развилку дорог Минск—Москва и на Смоленск, здесь вот сажу, думаю, что мне делать? У меня нет взвода. Батальон охраны, который я мог бы пустить в дело, ко мне по мобилизации еще не прибыл. Ничего у меня нет. И мы оба задумались. Передо мной появляется генерал. Я так поднял от неожиданности голову, смотрю. «Кто вы такой?» Он говорит: «Городнянский, генерал-майор, командир 129-й дивизии». «Где ваша дивизия?» — «Вот в этом лесочке, где наш штаб помещается». «Сколько у вас?» — Он говорит: «Два полка, да в полках-то там батальоны, а в батальонах не все. Артиллерийский полк — тоже не все дивизионы. А у вас что? Есть хоть что-то?»

Объяснил я ему обстановку. Он говорит: «Приказывайте, генерал».

К.С.: А он подчинен вам был уже или нет?

М.Л.: Нет.

К.С.: А откуда он пришел?

М.Л.: Отступал.

К.С.: Из 20-й или нет, из 19-й?

М.Л.: Из 19-й. Я дал распоряжения... Да, когда мы с членом Военного совета выехали к реке, то — куда же отряд мой делся, который дрался-то, и куда отошли добровольцы и батальон? Они, оказывается, дрались в самом городе, в той стороне, противник их превозмог, они отошли. Но настолько все были измотаны непрерывными боями, что спали мертвым сном.

К.С.: Прошли еще по мостам, а потом взорвали?

М.Л.: Да, потом взорвали, там в некоторых местах можно было переходить даже вплавь, там не такая широкая река. Теперь я был там, спустя двадцать лет, — тогда она была гораздо шире и глубже. Хотя и сейчас ходят пароходики маленькие по ней.

Когда я их будил, они долго не могли прийти в себя, не могли понять, чего я от них хочу. Для меня картина была ясна — рассчитывать на них я не могу. Но я приказал — занять как можно шире по фронту каменные постройки по Днепру, по набережной и стрелять, вести огонь. Пусть это неприцельный огонь, но надо было показать противнику, что этот берег занят, что тут войска имеются.

Вы знаете, это удалось. Противник шестнадцатого днем не наступал, в ночь на семнадцатое не наступал, а когда семнадцатого он начал днем наступать...

К.С.: Он начал переправляться, да?

М.Л.: Да, начал уже переправляться через Днепр, а у меня переход занят. Я 46-ю дивизию оттянул, с правого фланга туда отошла 20-я армия, а в середину — 129-я дивизия, а дальше, у Гнездова, у меня занимает позицию 152-я дивизия. И куда бы он ни сунулся — везде Днепр. Северная часть города Смоленска занята. Он уже ничего не мог сделать. Во всяком случае, в ближайшие дни.

А две дивизии — 127-я и 158-я — 19-й армии были расположены южнее 46-й моей дивизии по Днепру, охватывая Смоленск с восточной стороны и южнее.

Генерал-лейтенант Конев Иван Степанович прибыл на мой командный пункт и говорит: «Михаил Федорович, очень создалось хорошее положение. Смотри, если я двину эти свои две дивизии прямо, на южную окраину Смоленска, а ты 152-ю — с правого фланга западнее Смоленска, а в цепи будет 129-я. Мы ворвемся в Смоленск, завяжем уличные бои и противника в Смоленске можем застопорить». Я говорю: «Идея-то очень хорошая, Иван Степанович, но у нас с тобой мало артиллерии, мало снарядов. Не хватает у нас сил». Но он говорит: «Нет, надо сделать. Давай, попробуем сделать». — «Ну, давайте, попробуем». Сделали.

К.С.: А он тогда командовал 19-й?

М.Л.: 19-й. Дивизии переправили, начали успешно продвигаться. Иван Степанович приехал на мой командный пункт и говорит: «Наступает пусть твоя 152-я дивизия. И в центре пусть наступает Городнянский, потому что части уже подходят к южной окраине Смоленска. Там шоссе перекрывают уже».

Мы не успели порадоваться успеху этих двух дивизий, как по радио — сигнал: «Дивизии сброшены за Днепр и отброшены на свои исходные положения».

Что же случилось? Когда Иван Степанович уехал, действительно, дивизии переправились и подходили к южной окраине Смоленска. А в это время налетела авиация, по шоссе наступали танки Гудериана, примерно танков семьдесят пять или около ста, а поскольку вся артиллерия была направлена в западном направлении и не успела перестроиться на южное направление, чтобы не поразить своих, — то танки ее смяли. Пришлось отходить, и дивизии ушли в исходное положение. Они потом закрепились на этом берегу, противника дальше не выпускали.

152-я дивизия тоже пыталась переправиться, подошла к западной окраине.

Казармы там были, так называемые Нарвские казармы. Дивизия подходила к ним, но эти казармы уже являлись дотами, туда артиллерию поставили. И мы ничего не смогли сделать, были отброшены обратно.

Я вам не рассказывал один эпизод. Когда дивизия Городнянского шла занимать позицию по Днепру, в центре, в северной части Смоленска... Нас пять генералов стояло: я, Городнянский, член Военного совета мой — Лобачев, начальник политотдела, начальник штаба Шалев стоял, кто-то еще был. В это время красноармеец кричит, — а они идут по другой стороне тротуара, по теневой стороне: «Генералы нас продали!» — и наперерез бежит. Я стоял спиной. Не обратил внимания на это дело, — там какой-то чудаков кричит, — и стоим разговариваем все на тротуаре. Адьютант, который тут стоял, Клыков капитан штык рукой оттолкнул, — а у него было лезвие, нож был, — сильно порезал руку, очень порезал. Обезоружили этого. Оказалось, налет авиации, потом танки наступают, психика у этого красноармейца сдала, а тут еще читали приказ об измене, о том, что генерал Павлов и другие генералы расстреляны. Конечно, генерал Павлов никогда не был предателем и изменником. Он был расстрелян за нераспорядительность, непринятие мер, но в умах многих эта версия еще долго жила.

К.С.: Тем более, что еще были воспоминания о 37-м — 38-м годе.

М.Л.: Вот психика и сдала у этого красноармейца.

Дивизия Городнянского тоже наступала. Он несколько раз пытался переправиться, но ему тоже не удавалось переправиться. Сильный артиллерийский огонь.

На двадцать первое число противнику удалось переправиться в районе Тихвинского кладбища на северную сторону Днепра, в северную часть города Смоленска, завязались сильные уличные бои. В северной части были маленькие домишки-то, редко трехэтажные дома. Дивизия была малочисленной, противотанковой артиллерии мало. У противника — танки, минометы. А в городе очень хорошие минометы, которые стреляют с небольшого расстояния навесным огнем. В любом доме можно крышу пробить. Так что они играли большую роль. А у нас минометов было недостаточно.

Противник завязал сильные бои. В это время авиация доносит, что по шоссе Орша—Смоленск. — не по новому, а по старому шоссе, — движется большая колонна машин противника на Смоленск.

Командир 152-й дивизии — полковник Чернышов, очень расторопный, дисциплинированный, грамотный, любимец красноармейцев и командиров всех, замечательный командир дивизии во всех отношениях. У него заранее были пристреляны все квадраты. У него было четыре артиллерийских полка, два своих полка, один полк корпусной и один полк — сдвоенные пулеметы и четырехствольные пулеметы зенитные. Все было подготовлено. И ему было видно с наблюдательного пункта, как противник в редком лесу у станции Красное начинает сосредотачиваться.

Несмотря на требование артиллеристов открыть огонь и нервное состояние окружающих его штабных офицеров, Чернышов выдержал, чтобы побольше скопилось машин, танков, артиллерии, и как только, по его мнению, скопилось достаточно, — открыл ураганный огонь.

А мне бригадный комиссар этой дивизии Рязанов говорил: «Михаил Федорович, вы посмотрели бы на Петра Николаевича Чернышова. Стоит, смотрит в стереотрубу на наблюдательном пункте, приплясывает со своей никчемной поговоркой “трыньки-брыньки”, — у него такая была дурацкая поговорка, которая прижилась и никак у него не могла пройти, при всех случаях — “трыньки-брыньки”, “вот это хорошо, трыньки-брыньки” — и приплясывал, глядя как стреляет наша артиллерия и как мечутся немцы». Перешли в контратаку, захватили триста человек пленных и, что очень важно, — очень большое количество наших красноармейцев и офицеров вооружились

немецкими автоматами. Захватили много патронов. Они потом нам пригодились в боях за Смоленск и при отступлении из Смоленска.

Пленные оказались 137-й стрелковой дивизии, австрийцы. Дивизия только что прибыла и с ходу была брошена в бой. В боях не участвовала. На мой вопрос к пленным, не боятся ли они, что попали *штрассен*, в плен, они говорят: *найн*. Так это уверенно говорят: *найн*. Я говорю: *варум*? Они говорят: наши деды и отцы в первую мировую войну тоже были в плену у русских; их поставили на сельскохозяйственные работы, там они прекрасно жили, многие из них женились на русских девушках, привезли их к себе в Австрию и прекрасно живут. Вот и нас теперь, наверно, на сельскохозяйственные работы поставят.

Я, конечно, их не разубеждал, что они будут на сельскохозяйственных работах.

К этому времени магистраль уже была перерезана Готом у Ярцева, поэтому отправить я их никак не мог. Пути сообщения перерезаны, продовольствие и боеприпасы мы уже не получаем. Приходилось окольным путем, по очень плохим дорогам доставлять, но это было очень сложно. Поэтому отправить пленных я не мог.

В это время со стороны Духовщины на командный пункт наступают танки противника. Представляете мое положение. Сидят в сарае совхоза Жуково, где командный пункт, к нашему великому несчастью, триста пленных. Что делать с ними было? Немцы могут поднять хай, могут разоружить небольшую охрану. Положение было очень опасное. Но, к нашему счастью, здесь оказалось два дивизиона артиллерии, которые открыли прямой наводкой огонь. Два танка подбили, а остальные скрылись, ушли.

После того как 137-я немецкая дивизия была разбита, ее остатки перешли через Днепр и вошли в город Смоленск. Там была 29-я механизированная дивизия, а теперь стала еще 137-я дивизия. Опять завязались сильные бои. Городнянского выбили из северной части.

К.С.: Он был в центральной части, да?

М.Л.: Нет, он так и был в северной части. Почти выбили уже из северной части. Тогда я приказал командиру 152-й дивизии с запада наступать на Смоленск. И вот опять началось: опять за завод имени Калинина, за Тихвинское кладбище.

К.С.: Это все в северной части?

М.Л.: Все в северной части. Тихвинское кладбище переходило из рук в руки бесчисленное количество раз. Почему за кладбище так долго дрались? Могильные плиты, надгробные памятники давали хорошее укрытие той и другой стороне, поэтому за него так долго и дрались. Потом — за аэродром. На аэродроме долгое время оставалась еще наша 153-я дивизия авиационная. Шли бои, а она все еще там стояла, летала, выполняла задания командующего фронтом. За электростанцию, за железнодорожный вокзал. Железнодорожный вокзал был совершенно разрушен. И, наконец, к двадцать седьмому числу их 129-я дивизия вновь перешла в наступление, и они заняли опять всю северную часть Смоленска.

К.С.: Выбили за реку всех?

М.Л.: Всех выбили за реку. Ворваться в южную часть Смоленска нам так и не удалось. Не было ни сил, ни снарядов. За все время боев с десятого по двадцать пятое июля — почти двадцать дней — я не получил пополнения ни от кого. Кроме двух тысяч коммунистов Москвы, Ивано-Вознесенска, Владимира и Горького. Надо сказать, что эти коммунисты сыграли колоссальную роль в обороне Смоленска. Они были связующим звеном, цементом. Да и так части дрались хорошо. Почему 152-я дивизия, части 16-й армии дрались так хорошо? Почему они нигде не бежали? Когда-нибудь мы с вами вернемся, и я вам расскажу, что представляли из себя условия в Забайкалье, в которых жила и обучалась 16-я армия. Сама природа их закалила. Условия жуткие. Казарм нет, жили в землянках. Землянки — не обыкновенные землянки, а только сверху прикрыто, а земляные стены и кое-какие нары, так чуть-чуть ивнячком

заптели, чтобы не сыпалась земля. Мокро там, сыро было, а морозы 35-50 градусов — это явление нормальное. Ветер — на ногах не устоишь. В уборную ходили по канату, иначе унесет, закатает в степь и замерзнете там. Вот в таких условиях обучалась эта армия. Армия была очень сильная, закаленная. Поэтому так и дрались хорошо.

И когда противник вновь начал переправляться, подтянул танковые части, подошла дивизия СС, полк «Великая Германия», мы начали отступать. Были опять сильные бои за каждый дом, за каждую улицу дрались. Но силы иссякали. И отступали мы не потому, что мы плохо дрались, а потому, что сил не хватало у нас. К этому времени 16-я и 20-я армия соединились, мы встретились — два члена Военного совета — 16-й и 20-й армии, Курочкин и Симановский, Лукин и Лобачев, стали советоваться, что делать нам дальше.

Хоть мы уже к двадцать седьмому оказались в полном окружении, в оперативном мешке оказались, мы знали, что к нам идут на выручку: со стороны Белого идут три дивизии генерала Хоменко, а с востока от Ярцева идут три дивизии генерала Калинина, а у самого Ярцева — три дивизии генерал-майора Рокоссовского, с юга, от Рославля будет наступать 28-я армия генерала Качалова, пока в составе трех дивизий. Мы знали, что к нам идут двенадцать дивизий и, видимо, какое-то количество артиллерии, какое-то количество танков у них, мы так предполагали. Так что, чего же особенно переживать? Будем драться. И решили не отступать. Но двадцать девятого числа противник сосредоточил большое количество танков против левого фланга 20-й армии, налетела авиация, прорвал фронт 69-го корпуса генерала Могилевчика; командир 152-й дивизии доносит мне, что его правый фланг загнут уже фронтом на север, не на запад смотрит, а уже на север смотрит.

Пришел ко мне на командный пункт генерал-майор Могилевчик, командир 69-го корпуса, и говорит: «Товарищ генерал, своего командарма и штаба я не нашел, он, видимо, снялся, перешел на другой командный пункт. Я вам докладываю, чтобы вы приняли меры: мой корпус отходит».

Я выбежал на наблюдательный пункт — у меня он тут в лесочке был, прекрасный у меня обзор, — и вижу, что идет сильный танковый бой наших и танков противника, и пехота начинает цепями уже отходить.

Тогда я приказал командиру 129-й Городнянскому. Замечательный командир, очень спокойный, когда я приезжал к нему в дивизию, мне командиры жаловались, что он не только ходит в боевые порядки батальонов, а даже в боевые порядки рот. Я его ругал: «Авксентий Михайлович, что вы себя не бережете, вы ж для армии нужны». Он отшучивался: «Э, Михаил Федорович, — говорит, — я заговорен бабушкой, смерть меня не возьмет». Он, действительно, всегда ходил с тросточкой, не с тросточкой, а со стэком каким-то ходил, прямо по цепи, не спеша, без фуражки — фуражка все-таки демаскировала — ходил без фуражки. И когда командующий фронтом запросил на должность командарма хорошего командира дивизии, я выдвинул Городнянского. Он принял армию, дрался под Харьковом и там был заколот штыком. Дрался до последнего и немец его заколол штыком.

Я приказал Городнянскому выставить заслон на магистрали Минск—Москва. Создалось угрожающее положение. Противник с северной окраины опять уже выбил 129-ю дивизию, 152-я дивизия еще в северо-западной окраине у меня, и если я промедлю еще ночь, то здесь противник охватит меня с запада и с севера. Две дивизии останутся у меня в Смоленске, без патронов, без снарядов. На исходе все. Продовольствие тоже на исходе, горючее на исходе.

Я принял решение на отход. И в ночь с двадцать девятого на тридцатое армия окончательно оставила Смоленск.

К сожалению, в десятом номере «Военно-исторического журнала» написано, что противник занял Смоленск пятнадцатого и шестнадцатого числа, северную и

южную части. Это совершенно неверно. В Смоленске мы дрались две недели, вели очень сильные бои, положили тысячи людей! Кто это так безответственно пишет?

Был приказ на отход с двадцать девятого на тридцатое, в ночь на тридцатое. Одному батальону 152-й дивизии не удалось. Он еще дрался там и тридцатого и тридцать первого. И остатки этого батальона вышли и организовали партизанский отряд под командованием политрука товарища Томского. Это был храбрый командир, политработник, командир отряда, и погиб смертью храбрых.

Отход

К.С.: В период боев за Смоленск у вас всего-то было сколько? Две дивизии...

М.Л.: Потом третья дивизия, потом две дивизии 19-й армии — 127-я и 158-я, которые так и остались на восточном берегу. Сами они переправиться уже не смогли, но и противника не выпускали.

К.С.: Ну, а в составе вашей собственной армии очень мало частей по существу было? Две дивизии и отряды какие-то еще?

М.Л.: Вот эти отряды только. И три дивизии 19-й армии. Но они все малочисленные были. И вот с этими войсками мы и дрались. Диву даешься, просто диву даешься, как мы держали такую махину. Ведь махину же держали! 17-я, 18-я танковые дивизии, 29-я механизированная, 137-я дивизия, полк «Великая Германия». Это все в Смоленске, по ту сторону Днепра, южная часть. А с этой стороны — части Гота.

К.С.: Ну и как совершался отход?

М.Л.: Лето было жаркое. Но жарко было не только от солнца. Противник, чувствуя, что мы отходим, находимся в кольце, нажимает все время на нас. Вот здесь-то и сказался героизм нашего народа. Все офицеры штаба, политотдела, армии — корпуса мы уже расформировали за ненадобностью, влили все это в дивизии. Все обозы были очищены, все было брошено в части, сражаться. Все командиры штабов, политотделов, дивизии, полков — все были на передовой линии. На каждую атаку отвечали контратакой. Отвечали, но, к сожалению, мало поддержанные артиллерией и минометами.

Я отдал приказ — стрелять артиллерия имеет право только по приказанию командира полка по явно видимым целям и по танкам, в других случаях артиллерия не имела права открывать огня. Снаряды считанные. А танки все время наступают, авиация все время летает.

Мы отступали тридцатого, тридцать первого, первого, второго, третьего.

Третьего к концу дня мы только начали переходить Днепр у Ярцева, у Соловьевской переправы. Эти пять дней — героический подвиг 16-й и 20-й армий, которые кровь проливали и костями ложились, но держали противника, изматывали его.

И самое ужасное, когда четвертого числа, рано утром у меня не было переправочных средств, понтонов, а у 20-й армии оказались понтоны около села Радченко, а у меня были понтонные лодки, надувные лодки А-3, которые больших грузов не выдерживали. Но когда мы подъехали к Радченко переправляться, переправы оказались разбиты. Тогда я вернулся к своим лодкам. В первую очередь пропускали раненых, артиллерию, могущую перейти. А тяжелая артиллерия не могла перейти на этих лодках. Все было брошено на том берегу. И здесь, на переправе, машины одна за другой лезут — и мне сломали ногу. Когда начинали, был туман еще. Взошло яркое солнце, туман рассеялся — налетела авиация, открылся пулеметный, минометный артиллерийский огонь.

Вы были, вы видели, что такое бой. Это был крошечный ад, что творилось. Люди бросаются вплавь. Не могущие плавать тонут. Повозки хотят переправить где-то

вброд — лошади захлебываются начинают тонуть. Весь Днепр загружен повозками, машинами. На той стороне лощина вся усеяна обозом, машинами. Но переправили. Части перешли, заняли оборону, начали приводить себя в порядок. Но ряды наши очень поредели.

Пятого августа вызывают меня на командный пункт командующего 20-й армией. Тимошенко с Булганиным приехали, и вызывают туда меня, туда же приехал Рокоссовский.

Да, я не сказал еще, что Рокоссовскому удалось разорвать кольцо окружения, когда мы отступали около Ярцева, и нам были быстро подброшены снаряды и патроны. Нам уже стало легче, когда переправлялись.

К.С.: Это помогло вам вырваться.

М.Л.: Помогло вырваться. И не только группа Рокоссовского, а и группа Хоменко, группа Калинина, группа генерала Качалова сыграли колоссальную роль в том, что противника все же не пустили к Москве. В том числе, конечно, в первую очередь 16-я и 20-я армии. Главным образом они и держали ту машину, которая двигалась на Москву.

Прибыли мы на командный пункт. Тимошенко поздравил нас с выходом из окружения, поблагодарил за то, что мы хорошо дрались. Я потом вам прочитаю, как он доносил. Может быть, сейчас прочитать?

К.С.: Пожалуйста.

М.Л.: Тимошенко доносил начальнику Генерального штаба Верховного главнокомандующего маршалу Шапошникову:

«Сковывание 20-й и 16-й армиями столь значительных сил группы армий «Центр» не позволило ей развить успех из района Смоленска в направлении Дорогобужа — Вязьмы и, в конечном счете, оказало решающее значение в воссоздании сплошного фронта советских войск восточнее Смоленска, который на два с лишним месяца остановил противника на западном направлении.

Действия 20-й и 16-й армий характеризовались сочетанием упорной обороны с решительными контратаками, как днем, так и ночью.

Я считаю, что боями этих дней мы совершенно расстроили наступление противника. Семь-восемь дивизий, действовавших против нас танковых и моторизованных и две дивизии пехотные, с огромными потерями, лишены наступательной возможности на целых десять дней.

Оценивая действия Курочкина, Лукина в продолжение такого большого времени против столь крупных сил, яростно нападавших с целью окружения и уничтожения наших войск, массируя большую авиацию на поле боя, Курочкину и Лукину надо отдать должное как героям.

Тимошенко».

К.С.: Хороший документ.

М.Л.: Он поблагодарил нас и говорит: «Я решил, о чем донес в Москву, — получил согласие, — Курочкин убывает от нас, а Лукин назначается командующим 20-й армией. Армия эта большая и стоит на главном направлении, а на 16-ю армию назначается генерал Рокоссовский. Причем все дивизии 16-й и 20-й армий сливаются в одну армию, получается большая армия.

К.С.: В 20-ю?

М.Л.: В 20-ю.

К.С.: То есть ваши дивизии остались при вас?

М.Л.: При мне оставались.

К.С.: А там — управление...

М.Л.: Управление мое перешло к нему. Ну и кое-кто там остался еще.

К.С.: Части усиления, да? И новые дивизии ему давали?

М.Л.: И те, которые у него были, которыми он дрался.

К.С.: А у него не было управления?

М.Л.: У него маленькое было управление, группа была. Ни тылов, ничего у него не было.

К.С.: И тут вы расстались с Лобачевым?

М.Л.: Да, мы расстались с Лобачевым.

Возвращаемся к Тимошенко. Он сказал, что уезжает, я перехожу в 20-ю армию, а группа Рокоссовского будет именоваться 16-й армией, и мы разъехались на места.

С Рокоссовским я был раньше знаком, о нем я расскажу как-нибудь в отдельном случае. Если хотите, сейчас расскажу.

К.С.: Очень хорошо.

М.Л.: Я — начальник кадров РККА. Рокоссовский командовал 15-й дивизией в Забайкалье, в Даурии. Там воды нет, в этой Даурии. Воду на конский состав возили в цистернах со станции. А дальше шла степь, как она раньше называлась — Голодная смерть, что ли, черт ее знает. Кругом нет жилья на сотни километров.

Он приехал оттуда, вышел ему срок, является ко мне. Я знакомлюсь с ним и говорю ему: «Товарищ Рокоссовский, дивизии у нас нет, сейчас мы не можем». Он говорит: «Ну, давайте бригаду». Я говорю: «И бригады тоже нет». — «Ну, тогда полк давайте».

Я думаю: «Какой из командиров, пробыв, прослужив на Дальнем Востоке, в такой дыре столько лет, приезжает и просит: “Дайте мне хоть полк!” Это необыкновенный командир».

Я говорю: «Зайдите через несколько дней, Константин Константинович». И я ему нашел дивизию. 12-ю дивизию. Там сделали целый ряд перемещений.

К.С.: А у него что, была такая проблема — не идти на какую-нибудь штабную...

М.Л.: Нет, подождать было надо, а он не хотел. Давайте полк.

К.С.: А, чтобы прямо сейчас, не пребывать в резерве?

М.Л.: Да, не пребывать в резерве. И я ему нашел, потому что это был такой экземпляр командира, который редко бывает. Я вспомнил тут Линевича. Нет, Куропаткина я вспомнил. Когда Куропаткина сняли и назначили Линевича командовать армией, то Куропаткин подал на имя государя телеграмму: «Ваше императорское величество, не лишайте меня возможности быть при армии. Назначьте хоть командиром корпуса — я буду прекрасным командиром у генерал-лейтенанта Линевича». А он полный генерал был, понимаете?

Я говорю: «Э, это человек необыкновенный, дивизию надо найти ему». И нашел. И Константин Константинович поехал.

И вот теперь я с ним встретился вновь.

К.С.: Скажите, Михаил Федорович, по тому периоду командования на Западном фронте какие у вас впечатления, ощущения от Тимошенко были в то время?

М.Л.: Когда противник ворвался в Смоленск и я донес об этом, сразу получил телеграмму за подписью Тимошенко и Булганина: «За сдачу Смоленска будете преданы суду революционного трибунала». Вечером: «Если Смоленск не возьмете, будете расстреляны». И так продолжалось несколько дней это дело.

Я вернулся из 129-й дивизии, где уже в который раз героическая дивизия потерпела неудачу, переправляясь в южную часть города Смоленска. Приехал я, мне подает телеграмму Лобачев. «Смотри, — говорит, — телеграмма от Военного совета фронта. Меня и Лобачева представляют к высшей правительственной награде. «Может быть, это поможет вам взять Смоленск».

В ответ я направил телеграмму, так как был очень злой, расстроенный: «Ни ваша угроза предания суду и расстрелу, ни ваша телеграмма с представлением к высшей награде так не помогли бы, как помогла бы присылка снарядов и пополнения, о чем вас убедительно и прошу».

А когда Тимошенко разговаривал со мной или приезжал ко мне в армию, он и

намека никогда не делал, что мне слал грозные телеграммы. Он шутил, подбадривал, обещал прислать танки, авиацию. Даже в приказе писал: «Танки передаются 16-й армии, авиация дается». Но они где-то оказывались нужнее и в армию ко мне не прибывали.

Я считаю, что Тимошенко в это время был настоящим командующим западным фронтом. Смотрите, с ничтожными силами, когда прежний западный фронт потерпел поражение, то есть фактически развалился, он создал сплошной фронт, правда, с помощью Верховного командования. Он противника два с половиной месяца не пускал к Москве. Покажите мне того командующего, который мог! Покажите! Кто? Где, на каком участке фронта? А он сумел. Говорят, у него были хорошие командующие — Лукин, Конев, Курочкин. Но ведь и у других тоже были командующие. Почему только именно у него? Я считаю, что это большая заслуга его и Военного совета, что он именно на этом направлении держал противника, не пустил к Москве. Я считаю, что он был в то время на высоте. Он никогда не мешал, не вмешивался в мелочи.

К.С.: И он многое сделал за год до войны, за этот год. Многое сделал.

М.Л.: Я считаю, что он привел армию в христианский вид. Правда, видимо, тут Центральный Комитет партии и Сталин поняли, что дальше так нельзя. Финские события показали, что армия к бою не готова, надо что-то делать. А Сталин был, я считаю, не дурак, он понимал и дал такие права Тимошенко. А именно такое и нужно было Тимошенко.

Вы знаете, когда я вышел от командующего при назначении меня на армию, я почувствовал — у меня крылья выросли. Я чувствовал, что сейчас мы получили силу какую-то, которая может перевернуть все в армии у нас, и армия опять станет такой же сильной, как она была до тридцать седьмого года. Ведь это была лучшая армия мира! По своему командно-политическому составу мы стояли так высоко! Вы себе представить не можете, Константин Михайлович, что это были за командиры наши.

Вот у Якира, бывало, на занятиях. Принимается решение. Оценка обстановки — любой командир дивизии, командир корпуса, любого позовите. Какая оценка обстановки, как аргументированно принимается решение, правильно используются авиация и механизированные войска. Просто приятно было слушать.

И потом этой армии вдруг не стало. Это была не армия, это толпа была уже. И финские события показали, что мы не готовы были к войне, не могла армия драться хорошо. А Тимошенко за год с лишним привел армию в христианский вид. Вы видели, сами участвовали, описали бои под Могилевом. Вы видели, что это за люди, вы показали Серпилина. Люди-то те же были, только у них теперь крылья появились, они твердо на земле стали стоять, они почувствовали силу, которая их поддерживает, направляет. И они с радостью ухватились за те мероприятия, которые проводил Тимошенко. И армия стала армией. Если бы еще у нас были командующие войсками этих главных направлений — не эти, а другие командующие войсками, более опытные, более твердые люди были бы, я думаю, что этого бы не случилось.

Все обвиняют Сталина, Тимошенко, Жукова, что неправильно вступили в войну. Хорошо, я спрашиваю вас, почему командующий флотом Кузнецов привел флот в боевую готовность и флот в первые дни войны не пострадал? Почему? А ведь указания для всех были одинаковые. Никто не имел права ничего делать. Почему он заблаговременно из Таллина и из других гаваней, где было опасно, где мог наш флот подвергнуться нападению противника, увел его в Кронштадт? Почему он мог это сделать? Это был командующий на своем месте.

И если бы командующие, как я вам раньше докладывал, Константин Михайлович, учения проводили, артиллерию, саперов в войска бы дали, сосредоточили бы в оперативном направлении, не подводя к границе, границу можно было бы не занимать. Это не обязательно границу занимать, можно было дать встречное сраже-

ние, но кулаком, а не растопыренными пальцами. А ведь войска-то, поднятые по тревоге, дрались отдельными растопыренными пальцами. Они героически дрались, они погибали, но не бежали. Вы сами показали у себя, как люди могли драться. Как 172-я дивизия под Могилевом дралась. Ведь так же это дело было?!

Все могло быть иначе.

Насчет того, как со Сталиным, я вам расскажу потом, сейчас уже время позднее. Как у меня складывалось это дело, я вам расскажу следующий раз.

19-я армия в обороне

М.Л.: Шестнадцатого сентября я был назначен командующим 19-й армией. Прежний командующий 19-й армией, Конев, был назначен командующим Западным фронтом.

Для общей ориентировки надо тут сказать, что штабом фронта все шесть армий были вытянуты в одну линию. Продолжением Западного фронта на юг — две армии: 43-я и 24-я — Резервного фронта. В тылу Западного фронта стояли еще армии Резервного фронта по линии: Ржев — Вязьма и далее на юг.

Обстановка представлялась мне таким образом. Два командующих фронтом — Конев и Буденный, не подчиненные один другому, а армии у всех вытянуты в линию. Резервов в армии почти нет. Полк на армию, какой это резерв? Это не резерв, по сути дела. У командующего фронтом три дивизии и две танковые бригады, разбросанные на довольно большом расстоянии друг от друга.

И когда я говорил с Иваном Степановичем¹, что вот, посмотрите, какое положение создается, два командующих, не подчиненных один другому, и резервов мало, нельзя ли если не подчинить одного командующему другому, то как-нибудь разделить эти два фронта на какие-то составные части. Тогда бы командующие сами имели бы резервы у себя и расставили бы так, как они хотели. А резервы могли бы иметь большие — по две армии было бы у каждого.

Забегая вперед, надо сказать, что когда противник 30-го сентября прорвал Брянский фронт Резервного фронта, то у командующего Резервным фронтом Буденного нет в резерве ничего. Значит, армии начинают откатываться на восток, а три армии его, стоящие от Ржева до Вязьмы, находятся на очень большом расстоянии, их он не может взять. А Конев, когда у него прорвали фронт между 30-й и 19-й, тоже не может их использовать — они ему не подчинены.

И уже в ходе событий Резервный фронт по Днепру также был прорван, и армии не могли быть использованы как следует.

Тут вина в этом, большая ошибка и большой просчет нашего Генерального штаба и Ставки. Безусловный просчет. Надо было это своевременно ликвидировать.

К.С.: А перед ними кто-нибудь ставил этот вопрос, перед Ставкой?

М.Л.: Не знаю.

К.С.: А вы говорили с Иваном Степановичем?

М.Л.: Я с Иваном Степановичем говорил, но не знаю, ставил он этот вопрос или нет. Я думаю, что он ставил этот вопрос. Ну, ведь времени-то было очень мало, видимо, ему было не до этого, надо было познакомиться со всеми армиями.

К.С.: По существу, он только за восемнадцать дней до удара принял фронт.

М.Л.: Да, только. Он еще с армиями-то не успел ознакомиться, поэтому не мог докладывать. Не знаком с армиями своими. Ведь надо с командующими познакомиться, со штабами познакомиться.

Вот, кстати, о назначении командующих и армиями, и корпусами, и дивизиями,

¹ Речь идет о И.С.Коневе (здесь и в дальнейшем все примечания сделаны редакцией).

и даже фронтами в такой сложной обстановке, когда назревало наступление противника... Это происходило с самого начала, с момента вторжения в нашу страну Гитлера, — сменяют командующих без всяких на то оснований. В частности меня. Я за четыре месяца боев командовал четырьмя армиями. Ну что я за командующий, скажите пожалуйста! Ты, говорят, справишься!

Ну, у меня, может быть, семи пядей во лбу и не было. Мне, может быть, так удавалось все организовать, что я везде имел какие-то успехи, и меня как «лучшего» в кавычках всегда перебрасывали на главное направление. Ну, мне, может быть, везло. Может быть, мне это подходило. Но это было совершенно нецелесообразно. Я не успевал узнавать командиров дивизий, я не узнавал штабы. Я свой штаб не мог как следует изучить, на кого я мог положиться и кому я мог доверять с первого слова или с полуслова даже.

К.С.: Тут в сентябре так получилось, по существу, что Буденный с юго-западного направления дал Сталину телеграмму, что надо выводить войска. Сталин был этим недоволен, его оттуда снял, туда перебросил Тимошенко. Тимошенко, конечно, уже в этот момент ничего исправить не мог, только знакомился с положением, уже сложившимся, на месте. А Буденного в это время перекинули на Резервный фронт, которого он тоже не знал...

М.Л.: А Конев назначили командующим, фронта он не знал. Ершаков только что прибыл на 20-ю, с 22-й его почему-то сняли. Лукин — с 20-й на 19-ю. Все новое получилось. И когда я принял армию, Конев уехал, распрощались мы с ним, я начал знакомиться с армией. Объезжаю дивизии. Во-первых, нет окопов полного профиля; артиллерия замаскирована, но артиллерийские позиции недостаточно оборудованы. Противотанковая артиллерия — надо было сделать укрытие надлежащее, тогда она могла бы принести какую-то пользу. Не было ходов сообщений. Были только отдельные ячейки сделаны в ходах сообщений на возвышенности. Тыловая линия не была оборудована. Инженерных средств очень мало, противотанковых средств почти нет. Я говорю о минах. Все пришлось заново налаживать.

Когда я приехал, сразу же созвал командиров и комиссаров частей и приказал немедленно приступить к отрытию окопов полного профиля, с брустверами. Обыкновенно рыли канаву, она простреливалась; если подходил танк, простреливал всю эту канаву вдоль и поперек, поэтому надо было рыть окопы...

К.С.: Змейкой?

М.Л.: Не только змейкой. Брустер, опять канава, опять брустер. Эти вот траверсы, брустеры давали возможность ставить и пулеметы в укрытия. Ходы сообщения переднего края с тыловыми рубежами — змейками. Тоже полный профиль.

Была проделана большая работа. Пришлось вывести целую дивизию в резерв, чтобы у командующего была бы дивизия в резерве. Правда, пришлось слишком растянуть части, потому что части были укомплектованы на 30-40 процентов. То есть, виноват, некомплектность была в частях — 30-40 процентов.

К.С.: Что из себя представляла по численному составу и вооружению армия в момент, когда вы ее приняли?

М.Л.: Семь-восемь тысяч.

К.С.: В дивизии?

М.Л.: Да. А нормально — двенадцать с половиной тысяч.

К.С.: А сколько дивизий было у вас?

М.Л.: У меня было так. Коренные дивизии: 50-я дивизия — это очень боеспособная дивизия, сформированная целиком из пограничных войск; и красноармейский, и командный состав целиком из пограничников; 89-я стрелковая дивизия; 91-я Сибирская дивизия, которая формировалась в Томске; 166-я дивизия полковника Хальзюнова, это тоже сибирская дивизия; 244-я... виноват, 244-я была пограничная, а

50-я была сибирская дивизия. И 134-я, 214-я, 45-я кавалерийская дивизия; 127-я и.... танковые бригады. Авиации никакой, только по заявкам была авиация.

К.С.: А танковые бригады что из себя представляли?

М.Л.: Тут уже начали появляться танки Т-34 и КВ, отдельные, немного их было. А в основном БТ-7. Они очень быстро горели, броня их быстро пробивалась, и они быстро выходили из строя.

К.С.: А снаряды были к КВ в это время?

М.Л.: Были, но мало.

Когда была проделана работа по укреплению оборонительных полос, особо было уделено внимание на предполье. Я слышал, что Рокоссовский докладывал Коневу и Булганину такой проект: сделать предполье, на предполье оставить довольно сильные укрепления, сильными частями, а основные войска отвести на линию Днепра. Вы не проезжали по этой магистрали на Смоленск?

К.С.: Бывал много раз.

М.Л.: Обратите внимание, что восточный берег возвышенный, а впереди громаднейшая долина. Очень удобные позиции были. Приехали туда Конев и Булганин, разгромили его, то есть Рокоссовского. Я уже не предлагал этой вещи. Но я сделал другое. Сделал большое хорошее предполье, а основную линию обороны сделал по реке. И в инженерном отношении хорошо укрепились, завалы сделали. Минные поля устроили в наиболее танковоопасных местах. Мин противотанковых было недостаточно. Для артиллерии сделали ДЗОТы, хорошие укрытия. То есть артиллерию в танковоопасных местах поставили, целые районы сделали противотанковые, укрытия. Правда, укрытия эти были не бетонированные, а одели в земляные ДЗОТы так называемые, но они все же на первое время сыграли большую роль.

Весь политаппарат штаба армии и дивизий все время находился в войсках. Вся армейская печать и дивизионная все время настораживали бойцов и командиров, что противник в скором времени пойдет в наступление. Все данные говорили за то, что противник пойдет в наступление.

Какие были данные у нас? Во второй половине сентября противник развил сильнейшую активную разведку, как с воздуха, так и наступлением сильными частями. Не было большого наступления, а были разведывательные большие группы с артиллерией. Они преследовали цель выявить наши слабые места, выявить наши огневые артиллерийские позиции, нащупать, где мы слабее, и там и производить наступление. Для нас эта картина была ясна.

Кроме того, командующим фронтом двадцать седьмого окончательно было установлено, что противник со дня на день должен перейти в наступление. А двадцать седьмого числа у него уже был взят немецкий фельдфебель, летчик, который говорил о том, что противник второго числа перейдет в наступление.

Со штабом проигрывался целый ряд вариантов. Вызывал командиров дивизий и проигрывал с ними отдельные виды боя. Все то, что было нарушено противником в порядке разведки боем, все это восполнялось ночью. Таким образом, с тринадцатого числа по день наступления противника части проделали колоссальнейшую работу. Но зато они измотались очень сильно. Приходилось спать очень мало.

Второго числа, рано утром я уже не спал, ожидал, что с часу на час начнется наступление противника. И действительно, только начал брезжить рассвет, сразу же заговорили все телефоны, что противник открыл артиллерийскую подготовку. Да я и сам уже слышу. После артиллерийской подготовки налетела авиация, а после этого пошли танки. За танками пехота пошла в атаку.

К.С.: На каких участках у вас, на севере?..

М.Л.: Сильнейший нажим был на моем правом фланге на 244-ю дивизию. К сожалению, командир дивизии генерал оказался пьяницей. Я все время боялся, что он и во время боя будет пить. Пришлось его во время боев снять и назначить командиром

этой дивизии начальника штаба полковника Красноштанова, который оправдал это назначение в дальнейшем.

К.С.: Это пограничная дивизия?

М.Л.: Пограничная дивизия. Нажим на 244-ю дивизию, на правый фланг, на левые фланги 162-й и следующих дивизий 30-й армии.

Противник прорвал фронт в стыке между 30-й и 19-й армиями и быстро начал обтекать фланги.

К.С.: Правее вас была 30-я?

М.Л.: 30-я.

К.С.: А левей?

М.Л.: 16-я, а потом 20-я.

Правый фланг 244-й дивизии загнулся фронтом на север, и один полк оказался в окружении сразу же, в первый же день, уже к двум часам дня. Я спрашивал командира дивизии, что он предпринимает, как он выводит полк свой, нужно ли ему помочь. Он говорит, что сейчас только второй эшелон полка перешел в наступление, и я приказал соседу — резервному полку 91-й дивизии тоже помочь в наступлении. И таким образом, к концу дня полк этот вышел из окружения, прорвался к своим.

166-я дивизия была втянута в первый же день боя. Это резервная моя дивизия. На участке 89-й дивизии противник не смог продвинуться. Три атаки были отбиты. И все атаки на 50-ю стрелковую дивизию левофланговую тоже были отбиты.

Рокоссовский сообщал, что противник повел на него атаки, открыл артиллерийскую подготовку, но он открыл контрартиллерийскую подготовку, и противник в наступление не перешел.

Я считаю, что и своевременное открытие контрартиллерийской подготовки 19-й армией во многом помогло, потому что по местам скопления...

К.С.: А у вас тоже была контрподготовка?

М.Л.: У меня тоже была контрподготовка. И это очень помогло, потому что противник был густо сосредоточен в определенных местах, а мы предполагали, в каких местах он должен быть сосредоточен.

К концу первого дня мы еще дрались все время в предполье, даже в глубине обороны. Когда противник прорывался, дальше реки Царевич не мог уйти. Даже не перешел реку Воль.

Ночью пришлось делать перегруппировку, не столько в пехоте, сколько в артиллерии, артиллерийских позиций. Теперь для меня уже было ясно, что противник обходит правый фланг, нажим будет на правый фланг. Вся артиллерия в основном была сосредоточена на правом фланге.

В это время мне были приданы вот эти танки. Не было, а потом мне были приданы 127-я и 143-я танковые бригады, которые приходилось вводить в бой.

Когда ясно обнаружился разрыв и 30-я армия быстро начинает отходить на восток, мне были приданы еще — сначала 214-я, потом 134-я стрелковая дивизия из состава резерва фронта. Мне стало легче.

Второй день прошел в борьбе за предполье. А в центре противнику удалось вклиниться и подойти к реке Воль. Но контратакой противник был опять отбит.

Таким образом, борьба внутри оборонительной полосы армии продолжалась второго, третьего, четвертого, пятого числа. Позиций мы не уступили противнику. То есть предполье занято, где-то он вклинился в наше расположение, но основная позиция по реке Воль была за нами.

К.М, С соседом справа уже связи не было, а с фронтом оставалась?

М.Л.: Второго числа налетела авиация противника на командный пункт и тыловые учреждения штаба фронта. В это время проводная связь порвалась. Она продержалась примерно до половины второго дня, третьего числа, а по радио связь держалась.

К.С.: А потом проводной связи уже не было?

М.Л.: К сожалению, потом уже не было проводной. Потом ему пришлось менять командные пункты штаба армии. По радио связь все время была. Радио и офицеры связи. Так что я с командующим связи не терял совершенно. Были моменты, какое-то время радио не работало, но это быстро восстанавливалось. Я не могу сказать, что я связи с командующим не имел.

К.С.: Вот такой возникает вопрос, Михаил Федорович, с этой с Касней несчастной, с этим бомбовым ударом. Вот говорят, как же так: готовились, что вот-вот удар немцы нанесут, и не передислоцировали командный пункт, осталось все в известном для немцев месте?

М.Л.: Конечно, надо было рассредоточить. Надо было сделать блиндажи. Обязательно надо было блиндажи сделать. А что получилось? Когда я приехал получать орден Красного знамени, а выдавал мне его Конев, я был поражен. Это какое-то имение, видимо, раньше было, в домах все это расположено. И землянки. И масса дорог. Штаб фронта — это довольно большое учреждение, масса машин движется, поэтому авиация, летающая по всем дорогам, видела, что здесь какой-то командный пункт. Да и разведка наверняка доносила об этом. Как налетела авиация — пункт ВВС был разбит сразу. Человек пятнадцать-двадцать было убитых в штабе фронта, и человек шестьдесят или около этого было ранено. Представьте себе, командного состава, который нужен в управлении фронта. Это было большое упущение. Может быть, Конев не сумел так быстро все это сделать, но нужно было или перенести или, во всяком случае...

К.С.: Запасной сделать.

М.Л.: Безусловно, нужно было сделать запасной.

Кольцо сомкнулось

М.Л.: Четвертого числа¹ был получен приказ командующего фронтом: хорошо дерется 19-я армия, равняйтесь на ее командующего Лукина. Такой был приказ отдан, по радио получили мы. Это еще более подбадривало меня держаться, потому что я полагал так: хотя противник меня и обходит, но, видимо, командующий фронтом примет какие-то меры, и он меня поощряет, чтобы так же дрались, как я дерусь на том месте, где я стоял раньше.

И в это же время получается приказ: вывести управление 16-й армии. Для меня это было непонятно. Почему? Две дивизии передавались Ершакову, а одна дивизия или две дивизии выводились восточнее Вязьмы. От меня забирают две дивизии. Одна дивизия — 50-я — очень хорошая дивизия, жалко было мне ее. Да и все-то дивизии было жалко.

К.С.: А она не в боях была или в боях?

М.Л.: 50-й дивизии должны быть поданы машины. И машины не фронта, а армейские машины. А вы сами понимаете, чем же тогда подвозить? Как снабжать свои дивизии? Ведь это последние машины. Но приказ есть приказ, надо выполнять его.

Четвертого числа я не мог вывезти их и только к вечеру пятого вывез обе эти дивизии. Это был очень тяжелый момент. Противник наседал, днем вывезти дивизии никак нельзя, только ночью можно было это сделать. Пока она соберется, пока подали машины, а машины пришли с опозданием. Когда машины шли, они подверглись налету авиации, несколько машин разбомбило. Поэтому всю 50-ю дивизию погрузить не удалось, только два полка и один артиллерийский полк частично, не

¹ 4 октября 1941 года.

полностью. А остальные пошли походным порядком. Это усложнило очень положение 19-й армии.

К.С.: Это, значит, ваша коренная дивизия?

М.Л.: Коренная.

К.С.: А вторую дивизию у вас забрали, она тоже — коренная?

М.Л.: Тоже коренная.

К.С.: А те, что из резерва фронта вам дали, остались?

М.Л.: Они остались.

К.С.: А обе эти дивизии уже ввязаны в бои были?

М.Л.: Все дивизии были ввязаны в бой. Третий-четвертый день уже все дивизии в бою были. И в каком бою! Это были ужаснейшие бои. Я таких боев еще не видел никогда. В Смоленском сражении были тоже сильные бои, но такого количества танков и авиации противника мы никогда не видели. Буквально волнами по тридцать-пятьдесят машин, начиная от рассвета и до наступления темноты. И артиллерия, и танки.

И вот что хорошо было. Когда в первый день бойцы и офицеры увидели большое количество подбитых танков противника и большое количество трупов, которые валялись перед нашими окопами, это сильно воодушевило их: они увидели, что немцев можно бить.

И потом все же очень большую роль сыграло то, что все офицеры, политработники, все офицеры штаба всегда в нужный момент были в войсках. Поэтому я получал донесения не по телефону от командиров дивизий, а все время циркулировали офицеры. Я беру карту, офицер приходит и чертит — эта отошла так-то, а эта вот так-то, противник там-то. Я им говорю — дальше такого-то места не разрешаю такой-то дивизии отходить и свою подпись ставлю. И это являлось документом для командира дивизии. Хотя и была хорошо организована кольцевая связь, — помимо проводов, которые идут от штаба армии, у меня была сделана кольцевая связь на случай нарушения, — но все равно ведь во время войны и машины ходят, танки ходят, снаряды, так что все это рвется, нарушается, и, конечно, надежды на такую связь никакой не было. А телеграфная связь, я не знаю, как она кончилась. У нас радиобоязнь, и в Смоленском сражении и здесь тоже дивизионные рации очень плохо работали. Почему-то у нас укоренилось мнение, что, если рация работает, противник засечет, запеленгует и все, сейчас же разобьет. Отчасти это конечно верно, но это не всегда было оправдано. Чаще всего старались не прибегать к радиосвязи, чтобы не лишиться связи окончательно. Поэтому делегаты связи — из дивизии в армию, из армии в дивизию — делали большое дело. Я даже, пожалуй, склонен оценить действие этой связи, что может быть благодаря ей армия осталась целая, нерасчлененная до самого последнего организованного боя, до 13-го октября. Все армии. 30-я армия. Если потребуется, я могу документами доказать, оперативными сводками, донесениями самого командующего армией. 20-я армия отходила уступом назад. Правда, она до пятого числа только была целиком, не расчленена, а уж шестого числа она была частично расчленена.

К.С.: А 16-я была роздана?

М.Л.: А 16-я была роздана и уехала.

К.С.: К вам попало что из 16-й? Одна дивизия или ничего не попало?

М.Л.: Ничего не попало. Все в 20-ю пошло.

К.С.: И в тыл?

М.Л.: Но дело-то все в том, что две дивизии должны были уйти из 16-й армии. Две дивизии от меня должны были уйти и две дивизии, кажется, от Ершакова, из 20-й армии. Это все к Рокоссовскому должно было уйти, восточнее Вязьмы. А вышла только одна 50-я дивизия и то двумя полками. И только благодаря тому, что она была посажена на машины, успела. Когда она проходила к Вязьме, Вязьма была уже занята противни-

ком. Дивизия сразу свернула на юг. В это время был какой-то зазор — два полка проскочили, а третий полк уже не мог.

166-я дивизия не могла пройти. Она ввязалась в бой, потеряла большую часть своей артиллерии, полностью обоз потеряла. И остатки дивизии так и остались у меня. Но дрались они не здесь, а в другом месте. Но потом она присоединилась ко мне. Так и не смогла уйти. Рокоссовский мне потом говорил, что он ни одной дивизии, ни моей, ни Ершакова, не получил. Они все ввязались в бой с обходящим противником и не принесли никакой пользы.

К.С.: Михаил Федорович, вы сказали, что в первый момент вам показалось странным такое сочетание: только что был приказ о том, чтобы стоять и драться как войска 19-й армии, и тут же вслед за этим, почти одновременно — приказ о выводе управления 16-й армии.

М.Л.: И мне это было непонятно.

К.С.: На самом деле, видимо, создавалась группа для парирования окружения.

М.Л.: Я становлюсь на место командующего, и судя по обстановке, — тогда я этого еще не понимал, но теперь думаю, что, видимо, Конев хотел сделать следующее. Вывода целиком управление, готовый аппарат, сработанный аппарат, — это был частично мой аппарат, я ему передал 16-ю армию, которой раньше командовал, — частично он заменил, частично остались те же. В общем, это был сильный аппарат управления...

К.С.: Калинин...

М.Л.: Это его, а все остальное — мое. Член Военного совета тоже мой — Лобачев. Вывода эти дивизии, он думал, что соберет сильную армию в шесть дивизий. И если бы ему это удалось, это было бы очень хорошо. Но, к сожалению, все это не могло быть осуществлено. Было уже поздно.

Сейчас многие меня упрекают, в частности, на конференции, которая проводилась в ЦДСА как раз по этим боям, многие выступали и упрекали меня: «Почему ты не уходил? Ты же видел, что 30-я армия уже отошла, разрозненно дерется. Член военного совета фронта Хохлов, присланный для наведения порядка, доносит, что пятого числа армия уже вступила в бой неорганизованно, дралась отдельными частями в окружении. Конечно, там большого сопротивления не могло быть, но части дрались. Ершаков уходит уступом. Почему ты до сих пор сидишь на месте?» Я так отвечал: «Если я буду знать, что противник обходит меня, почему я должен бежать? Почему, спрашивается, бежать? Связь с фронтом у меня держится все время, командующий фронтом меня поощряет, говоря, что я дерусь хорошо. У меня нет никакой нужды бежать. А потом — бежать?! Ведь бежать от противника невозможно, противник моторизованный, механическая тяга у него, он скорее будет меня обходить. А если я уйду с позиций и буду просто бежать походным порядком, он меня быстро нагонит и расчленил, разобьет, развеет все. Поэтому я и оставался. И считаю совершенно правильным, что я не уходил и дрался. И когда я получил приказ отходить на линию Днепра, я все равно не бежал, не сматывался, оставлял большие части прикрытия. Ночью отводил, а утром уже занимал какой-то рубеж, и те части перекастом переходили через этот рубеж, становились арьергардами...»

К.С.: А когда вы этот приказ получили?

М.Л.: Пятого числа. С пятого на шестое.

К.С.: На отход?

М.Л.: На отход, занять новый рубеж. Но когда я уже подходил к Днепру, противник уже прорвал фронт Резервного фронта по Днепру. Значит, здесь уже оставаться было нельзя, противник уже находился восточнее, подходил к реке Вязьма. Поэтому я дал указание здесь не останавливаться и переходить дальше. И когда передовые части прошли, для меня становится ясным, что кольцо уже сомкнулось.

Шестого числа я думал, что еще не совсем сомкнулось, а седьмого утром я уже окончательно убедился, что кольцо сомкнулось.

К.С.: Как практически вы в этом убедились?

М.Л.: Разведка. Во все места тыкается разведка, нигде не может пройти.

В это время опять получен приказ отходить на Гжатский укрепленный район, прорываться в направлении Гжатска. Командующему фронтом тоже было ясно, что противник окружил 19-ю, части 16-й армии, без управления, 20-ю армию. Попала в окружение 32-я армия, которая стояла по Днепру и которая подчиняется, вливается в состав 19-й армии. А также 24-я армия.

К.С.: 24-я была левофланговой?

М.Л.: Левофланговой Резервного фронта.

К.С.: 32-я правее была?

М.Л.: Нет...

К.С.: Какая армия Резервного фронта еще была?

М.Л.: 43-я.

К.С.: 43-я правее была 24-й или еще левее?

М.Л.: Левей.

И когда для командующего фронтом стало ясно, что эти армии попали в окружение, он отдает приказ, вернее, возлагает на меня руководство всей окруженной группировкой. 32-я армия, генерал Вишневский со своим штабом был все время у меня на командном пункте. С Ершаковым я держал связь только по радио.

К.С.: А уже Конев имел право распоряжаться армиями Резервного фронта?

М.Л.: Видимо, уже имел к этому времени, потому что иначе он не мог подчинить мне 32-ю армию.

К.С.: И 24-ю тоже.

М.Л.: И 24-ю.

К.С.: И с ней вы связи не имели?

М.Л.: Не имел. Она откатилась, и, как после я узнал, командующий Ракутин был убит. Она быстро откатилась.

К.С.: Я не мог никак выяснить подробности, так и не нашел концов, где убит Ракутин, как убит, ничего не знаю.

М.Л.: И никто не знает.

К.С.: Все вышли. Член Военного совета вышел, начальник политотдела вышел, начальник штаба вышел...

М.Л.: Начальник особого отдела попал в плен. А из плена он бежал потом.

К.С.: А он жив?

М.Л.: Не знаю. Мы с ним вместе попали в плен, с начальником особого отдела 24-й армии.

Связь была только с Ершаковым... У меня не было никакого маневра. Поэтому я не ставил себе задачу сгруппировать, а наступал на широком фронте тремя колоннами, тремя группами. И ни одна группа прорваться не смогла. Тут уж я окончательно убедился, что я попал в тяжелое положение. Прошу помочь мне авиацией, снарядами.

К.С.: Со снарядами уже плохо в это время?

М.Л.: Да...

К.С.: А запас боекомплекта какой был?

М.Л.: Два боекомплекта.

К.С.: А какой артиллерией вы располагали к началу?

М.Л.: У меня хорошая артиллерия была. 10-й полк гвардейский — минометов; 509-й и 874-й — полки противотанковой артиллерии; 311-й — пушечный артполк, 29-й корпусной артполк, 399-й гаубичный артполк, 44-й дивизион 302-го гаубичного артполка, 57-й и 8-й гаубичные артполки, 7-й и 8-й ОЗАД — отдельные зенитные

дивизионы. Вот этого мало было, потому что авиацию нечем было бить. Буквально нечем.

К.С.: С зенитками плохо было?

М.Л.: Два дивизиона на всю армию. Я даже на главном направлении не мог никого прикрыть. 111-й мото-инженерный батальон, 233-й, 302-й... отдельные саперные батальоны и 45-я кавалерийская дивизия.

К.С.: Артиллерии было порядочно?

М.Л.: Артиллерии было достаточно. Мало было снарядов, вот в чем беда-то.

К.С.: И подвоза не существовало уже с первого дня! Ничего не подвозили?

М.Л.: Смотрите, что получилось. Накануне я приказал сосредоточить основную массу боекомплектов в частях. Это мне помогло держаться на основной линии армейской обороны. А в это время послали получить с фронтовых складов снабжения, у меня еще были машины. Они получили еще два боекомплекта. Таким образом, у меня было два основных боекомплекта, и два я подвез в это время. Но когда у меня отобрали машины, я отправил 50-ю дивизию на машинах, мне уже нечем было подвозить.

К.С.: И машины уже не вернулись.

М.Л.: Машины ко мне не вернулись. Я остался, что называется, без рук. Мне очень было обидно. А в это время, шестого и седьмого числа уже все было закрыто, и поэтому снарядов у меня уже не стало.

К.С.: Подвоза боеприпасов больше не было.

М.Л.: Да, боеприпасы больше подвезти было нельзя. Не было подвоза боеприпасов.

<Пропуск в записи>

В окружении

М.Л.: В Украинском военном округе нас учили всем видам боя. Научили при отходе делать завалы, минные поля, заграждения, малозаметные препятствия ставить, по дорогам устанавливать мины, бросать какие-нибудь вещи, связанные с миной, вещи, чтобы подорвать можно было. Запруды делать. Маленькая речонка, казалось, но если вы сделаете запруду, она расползается по местности, местность становится непроходимой. Не по глубине, а по вязкости, мягкости. В этом отношении все командиры были подготовлены изумительно. И я страшно жалел и вспоминал, что командиры, которые выросли уже после тридцать седьмого года, были выдвинуты, пошли на большие должности, они этой подготовки не имели.

Мы о Павлове, о Кирпоносе говорили, да?

К.С.: Нет, так, мельком касались.

М.Л.: Я не знаю, чем было вызвано такое назначение. Это было такое неудачное назначение, что просто диву даешься. Все мы знали Кирпоноса, все мы знали Павлова, но что такое было — перенести испанские события на наш масштаб? Это вещи несоизмеримые. А он же, когда приехал оттуда и стал командиром бронетанковых войск в Москве, доказал Сталину, что корпуса не нужны. У нас же были прекрасные танковые корпуса, механизированные корпуса. Наш корпус был приграничный на Японском фронте, в Маньчжурии, он не был расформирован. Тысяча триста боевых машин, вы подумайте только! Силища какая огромная! Две дивизии танковых и одна механизированная дивизия. 57-я танковая дивизия — триста боевых машин. Два полка танковых и один механизированный. И если бы этим корпусам придать еще истребительную и бомбардировочную авиацию, хотя бы только прикрыть истребительное, — они бы большие дела делали. А они у нас пропали не за понюх табаку, потому что они были без прикрытия. Налетала авиация и бомбила их. И ничего не могли

сделать. Так вот, когда для меня стала ясна картина, что я попал в окружение, я связался с Ершаковым и говорю, что, товарищ Ершаков, ну, мы по имени и отчеству друг друга называли, Федор — я забыл, как его по отчеству, — что ты думаешь делать? Он говорит, надо выходить. Тогда я ему говорю, что я буду выходить севернее Вязьмы.

У меня 32-я армия, здесь у меня только две дивизии, а две дивизии ушли. Одну дивизию Буденный отозвал, а вторая дивизия под ударами обходящего слева противника была рассеяна. Двумя дивизиями 32-й армии будем пробиваться севернее Вязьмы.

Созвал всех командиров и комиссаров дивизий, сказал им, в какое тяжелое положение мы попали, и сказал, что пробьется только тот, кто будет настойчиво, энергично и смело действовать в бою. И чтобы обязательно лозунг был: «Сам погибай, а товарища выручай». Я подчеркиваю: то, что я сказал, не было сделано потом ни одним командиром дивизии.

Разошлись, начали прорываться. Восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое — успеха нет. Десятого числа Жуков запрашивает (уже Конева нет, Жуков), в каком месте и в какое время нанести бомбовый удар. Обещает помощь авиацией. Я ему сообщил.

Вот теперь он пишет и, когда я встречался с ним, он говорит, что телеграммы от меня не получал: «Я думал, что вы уже больше не существуете». Но я думаю, что, наверное, штаб-то получил, потому что Москва получала мои телеграммы (я потом скажу об этой телеграмме), а почему же они не получили? Ведь связь-то у меня все время была. Видимо, ему было уже не до нас, потому что было такое тяжелое положение под Москвой! Войск нет нигде, чистое поле. Два Подольских училища там были, ну что они могли? Они могли на какие-то часы задержать противника, на день, на два в этом месте. Неширокий фронт они могли занять. Противник мог обойти их.

Не получил я ответа. Одиннадцатого числа собрал я опять всех командиров и комиссаров дивизий и говорю, что снарядов уже мало, патроны на исходе, продовольствия нет уже который день, питаемся тем, что можем у населения собрать. А что у населения в это время соберешь? Ничего нет. Картошку всю съели, капусту всю съели, что там можно собрать? Начали конский состав есть, конечно. Мясо хоть было у нас. Конского состава было много.

Нельзя было ни в одну палатку войти, ни в один дом в деревне: все было забито ранеными. И без перевязок. Нет перевязочного материала, нет медикаментов. Раненые стонут, кричат — пристрелите, что вы делаете? Что вы издеваетесь над народом, вы же видите, что мы уже не жильцы на белом свете. Вы знаете, сердце разрывалось. Невозможно было.

К.С.: А медикаментов не было?

М.Л.: Нет, все на исходе. Нету. Рвали рубашки, все, что у крестьян можно было, быстренько стирали, перевязывали. Загрязнение, заражение ран было. Жуткая картина была, просто невозможно было смотреть на эти страдания, которые выносили люди. Однако все же держались, дрались. Все дрались. В это время многие вступали в партию, все кричали, что за нами Москва, Москву не отдадим. Лозунги, газеты писали, листовки выпускали. Политработники работали. То есть такая была работа, кипело все, буквально кипело. За нами стоит Москва, и Москву надо защищать. Это красноармейцы говорили так, что Москву не сдавать, а мы же понимали, что захват Москвы — это очень тяжелое положение, моральное положение, политическое. Во всем мире это дело откликнется. Быть или не быть советской власти — ведь так стоял вопрос. Поэтому я всячески старался вырваться. Но уж когда не удалось прорваться, то хоть приковать на себя елико возможно больше противника.

К.С.: Михаил Федорович, извините. Вот вы говорите, что эти все дни попытки прорывов неудачны. Но какое-то движение тут было или нет?

М.Л.: Нет.

К.С.: Вы оказались в кольце, обжимали вас?

М.Л.: А они не сжимали, между прочим. Я понимал их тактику. Они чувствовали, что агония наступает. Они знали, что снаряды у меня не сегодня-завтра кончатся. Зачем им было тратить силы и наступать на меня, лезть? Они думали: пусть он лезет на нас, а мы будем отбиваться. Это была правильная тактика у них. Сохраняли свою живую силу и свои средства...

К.С.: Они могли выждать, а вы не могли.

М.Л.: Я не мог. Они знают, что у меня не сегодня, так завтра все иссякнет. Поэтому я старался на широком фронте затянуть их, как можно больше на себя их притягивать.

В частности, командир их танковой дивизии — Функ (это дивизия, которая первой вошла в Варшаву, первой вошла в Париж), и ему было отведено, этому командиру, первым войти в Москву. У них был целый ряд вариантов, захватывать, не захватывать, окружить, уничтожить и т.д. Он получает телеграмму, а я тоже принимаю по радио — Функу уже открытым текстом передают: «Чего вы топчетесь? Идите на Москву!» А он: «Я едва сдерживаю. Командующий 19-й армией также рвется к Москве, я едва сдерживаю. Я пустил своих гренадеров, использую последних, нет сил сдержать».

Я чувствую, что вот тут нужно мне проколоть, но — нет снарядов. Тогда двенадцатого числа я собрал последний раз командиров, все снаряды собрал, свезли все это, залп «катюш» держал на этот момент. Назначаю 2-ю стрелковую дивизию, ополченческую Московскую. Дивизия по своему составу была очень сильная, мало еще была в боях, непотрепанная. Командир дивизии довольно грамотный был — Вашкевич, генерал-майор. И 91-ю дивизию сибиряков назначаю в прорыв. У Вашкевича был отряд моряков восьмьсот человек, матросов.

К.С.: Это плюс к ополченцам?

М.Л.: Да.

Сообщаю командующему фронтом, Шапошникову, Сталину о том, что такого-то числа во столько-то часов собрал снаряды всей артиллерии, последний залп «катюш», буду пробиваться на таком-то участке, в Богородицкое, в направлении на Гжатск. Обещанные вами снаряды, авиацию я не получил. Собираюсь вот то-то и то-то делать, если не прорвусь, буду уходить к Ершакову. Будем совместно прорываться, уже оттуда.

Командир дивизии, на которого я возлагал большие надежды, Вашкевич, — сейчас он генерал-полковник — вступил со мной в пререкания: «Я не могу так быстро, сходу. Дивизия это не полк и не батальон, который можно сходу пустить в бой». Я говорю: «Вашкевич, пойми, завтра у нас с тобой не будет снарядов, противник нас с тобой сомнет. Если мы сегодня ночью не уйдем, завтра мы будем смяты, у нас с тобой стрелять нечем будет. Ты понимаешь это? Ты же видишь, какое положение. Ты слышал доклады командиров дивизий, что нечем стрелять. Продовольствия нет, все съедено у населения. Больные и раненые кричат: "Пристрелите!" Можем мы дальше терпеть такое положение? Нельзя. Надо уходить. Уходить, во что бы то ни стало. Надежда вся на тебя, в основном, и на командира 91-й дивизии, на сибиряков».

Я могу прочитать, как он об этом пишет. Правильно он все это написал в своей книжке¹.

Я говорю ему: «Рассуждения кончены, до свидания, — пожали друг другу руки, — иди и прорывайся». Правда, конечно, это было недостаточно организовано. Надо было бы каждому командиру поставить задачу, нацелить, артиллерию установить. Все это делалось наскоро, конечно, потому что я понимал, что завтра я буду смят окончательно и не прорвусь.

Стали прорываться. Вечер только начинался, только что начинало темнеть.

¹ Вероятно, имеется в виду воспоминания В.Р.Вашкевича, которые под названием «Бои западнее Вязьмы» вошли в книгу «От Москвы до Берлина». — М.: Моск. рабочий, 1966.

Надо было дожидаться темноты, чтобы противник не видел цели: где массы скопления в основном. Я указал двум дивизиям примерно фронт прорыва, примерно шесть-семь километров. Сделали артиллерийскую подготовку и залп «катюш» дали. А место я выбрал довольно мокрое, чтобы немцы танки использовать не могли. Я знал, что танки перед нами, 7-я танковая дивизия непосредственно передо мною стоит, а местность такая, что танки здесь маневрировать не могут. Залп «катюш». Пошли и прорвали.

Прибегает ко мне командир 91-й дивизии и говорит: «Товарищ генерал, выводите штаб армии, прорыв сделан, дивизия уходит». Прибегают офицеры штаба, которые были при 2-й дивизии, — дивизия прорывается, уходит, вводится артиллерия.

Я сейчас же доношу в штаб фронта о том, что вводится артиллерия уже в прорыв, другие дивизии подтягиваются. Я командиру 91-й дивизии Волкову говорю, что я выходить не могу, пока не пропущу — а у меня еще восемь дивизий, — пока не пропущу все дивизии или хотя бы половину. Как же я могу уходить? Приду туда, а вдруг здесь что-нибудь случится. Нет, я не пойду. Идите, выводите свою дивизию. Держите фланг...

К.С.: Волков — это командир 91-й?

М.Л.: 91-й. Боевой командир дивизии. Потом с ним случилось несчастье. Он попал в плен, потом был у немцев, во власовской армии был. Как Конев мне рассказывал, он сделал это для того, чтобы пойти на фронт и перейти. Он так и сделал. Со своими частями, которыми он командовал, перешел целиком. И потом у Конева же дивизией командовал опять, до конца войны. А что теперь с ним, не знаю. Его арестовали потом. Наверно, и не выпустили.

К.С.: Но войну он довоевал?

М.Л.: Довоевал.

Так вот, прорвались, пошли. Когда Волков пошел от меня обратно, в это время уже на его участке противник проход закрыл. И когда мы с членом Военного совета поехали посмотреть, как идет прорыв и выходят ли другие дивизии в этот прорыв, здесь тоже замкнулось.

Почему замкнулся фронт? Я не знал тогда, думал, что противник подвел какие-то силы новые сюда и закрыл. Но, как после я узнал, оказывается, 91-я дивизия, 2-я дивизия прорвали и ушли. Не только не расширяли — не держали фланги прорыва.

К.С.: А Волков тоже успел со своей дивизией уйти?

М.Л.: Дивизия ушла, а он уже нет, не успел. Он пришел ко мне доложить, сказать, чтобы уходить, а в это время противник уже замкнул. Когда я об этом узнал тогда, я метал гром и молнии. Я из себя выходил. Как же так, я все сделал, чтобы прорваться. Все сделал, чтобы, ну не все, так какую-то часть, основные дивизии вывести, пусть без тылов, черт с ними, с тылами, в конце концов, но основную массу вывести. И это мне не удаюсь только потому, что они ушли. И когда я прочитал в книге, где он¹ пишет: «Я ушел в деревню Песково, 18 километров, и целый день ждал прихода других дивизий армии», — ждал, сукин сын! Сидел спал там, ждал! Конечно, ни одна моя дивизия не пришла туда больше. Он и свою дивизию всю разматал, пришел один, на Калининском фронте.

К.С.: А как же разматал-то?

М.Л.: Противник его везде и всюду догонял и разбил его части. Что одна дивизия могла сделать? Они все ринулись к Москве, эта махина — 28 дивизий. Что он мог сделать? Ничего.

¹ Речь идет о генерал-майоре В.Р.Вашкевиче. В своих воспоминаниях он пишет: «К рассвету 12 октября прорвавшиеся части рассредоточились в 18 километрах к северо-западу от места прорыва. Здесь находились подразделения 1282-го и 1286-го стрелковых полков, 970-го артиллерийского полка и часть отряда моряков, а также подразделения из соседних дивизий армии. Быстро сказалась физическая усталость и большое напряжение ночного боя. Все повалились спать. В этом районе мы пробыли весь день 12 октября, ожидая выхода других частей...» (От Москвы до Берлина. С. 83—84).

Когда так получилось, что же делать дальше? Я говорил, что я донес командующему фронтом, что буду прорываться к Ершакову, опять собрал всех командиров и комиссаров, говорю: дело не вышло, давайте теперь уже прорываться чем бог послал в направлении к Ершакову.

К.С.: Между вами и Ершаковым немцы уже были?

М.Л.: Немцы, да. Вся беда была в том, что связь с Ершаковым у меня была уже потеряна. Помощник начальника связи 20-й армии Курцевич говорит, что восьмого числа штаб 20-й армии уже не существовал, все было рассеяно. Но отдельные части все же дрались. Я сам убедился в том, что они дрались еще девятого числа, но Ершакова уже не было. Последний раз он мне восьмого числа сообщал, что наступает, будет прорываться южнее, и указал, в каких пунктах будет прорываться — южнее Вязьмы, сильные мото-мех-части противника, начальник штаба генерал Корнеев тяжело ранен. Если не прорвется, будет выходить группами.

К.С.: Корнеев вышел потом?

М.Л.: Корнеев не вышел, а его вынесли. У него было хорошо организовано все это дело, и его вынесли.

К.С.: А Ершаков?

М.Л.: Ершаков попал в плен. Член Военного совета попал.

Когда я созвал всех командиров и комиссаров, вы знаете, у меня нет слов, что им сказать? Я чувствую, они все смотрят на меня и ждут от меня какого-то чуда. Ну а, сами понимаете, чуда не бывает. У меня комок к горлу подступает. Какие слова я могу им найти? Что дать им могу? А потом все же взял себя в руки и говорю: «Товарищи, положение не безвыходное. Я думаю, что если мы будем прорываться южнее Вязьмы, в направлении к 20-й армии, здесь вы чувствуете, что противник уже все силы сосредоточил в основном в восточном направлении. Враг понимает, что армия переживает агонию, рвемся только на маленьком участке. Он это понимает отлично, не хуже нас с вами разбирается. А вот здесь мы прорвемся, обязательно уйдем к 20-й армии». Предупредил: «Мы видели из предыдущих боев, когда к нам приходили окруженцы, как срывали с себя воинские знаки различия, одевали гражданское платье. Я категорически запрещаю вам это делать! Держите себя в руках, дисциплина — прежде всего, это залог того, что вы сами выйдете и выведете свои части».

Ну все, конечно, пообещали. И вот начался выход. И вы знаете, мы удачно вышли. Вышли, пришли на участок 20-й армии, прошли южнее, юго-западнее Вязьмы перешли речку. Тут много было казусов.

Я вам не рассказывал, что, когда мы наступали еще отдельными тремя большими группами на широком фронте, в это время у местечка Ломы... Предположим, мы с вами — это штаб, а на таком расстоянии от нас, как вот тот дом, — на таком расстоянии проходит дорога, большак. И мы видим, как идут по дороге танки, мотоциклы, бронемашины, и пехота на машинах идет.

Чувствую, что я отрезаюсь от войск. Быстро собрал офицеров штаба и говорю: «Мы сейчас же не проскакать будем, чтобы уйти, а назад к войскам». Это было шестого числа, я уже увидел, что окружаюсь. Сам, собственными глазами увидел.

Нам удалось одного мотоциклиста взять. Как-то он отстал, и мы его схватили. Спрашиваем, какие части идут. Он нам все рассказал, что уже окружение, что уже есть донесение, что с юга 3-я танковая группа, Готт и Гопнер соединились уже.

Член Военного совета и начальник политического управления больше ко мне не явились.

К.С.: С тех пор вы не видели их?

М.Л.: Не видел. Они были убиты. Офицеры и красноармейцы, которые поехали с ними, когда поехали выбирать место, на какие-то группы наткнулись, завязали бой, и в этом бою член Военного совета был сразу убит, а начальник политотдела был ранен, но еще дрался. Отходили, он отдавал приказания, а потом...

К.С.: Потом неизвестно.

М.Л.: Да, потом неизвестно. Остался второй член Военного совета. Тоже хороший, бывший секретарь ЦК Белоруссии Ванеев. Энергичный, хороший коммунист.

К.С.: А первый кто был?

М.Л.: Иван Прокофьевич, не могу вспомнить фамилии.

К.С.: Восстановим потом. Кадровый?

М.Л.: Кадровый. Конев с ним приехал. Хороший парень, молодой такой, смешливый. Я связался с его семьей уже потом, когда приехал из плена. Дети его — инженеры, две дочери, работают в Куйбышеве. Жена сошла с ума. Когда узнала, что пропал муж, сошла с ума.

К.С.: А Вишневский с вами был?

М.Л.: Он все время со мной был.

К.С.: Он в какой роли был? Как зам?

М.Л.: Просто помогал...

К.С.: Деликатное положение ...

М.Л.: Да, положение было деликатное. Он мне сдал восьмого числа армию окончательно. У меня был самолет. Он говорит: «Михаил Федорович, я полечу, доложу, какое положение». Я говорю: «Так они же знают, Сергей Владимирович, знают все без наших донесений. Давай, лучше помогай, ты же видишь, я один. Что ты будешь там помогать? Ты тут помогай...»

К.С.: Начальника штаба не было у вас?

М.Л.: Был. Весь штаб был. «Ты будешь помогать», — говорю ему. Он согласился. Он хороший мужик, между прочим. Я тут беру на себя большую ответственность за то, что он попал в плен. Он мог улететь, конечно. А для того, чтобы не было соблазна, когда прорыв-то закрылся, я самолет отправил. Донесение написал подробное и отправил в штаб фронта, чтобы не было соблазна улететь. Я так себе представлял. Ну, хорошо, вот я выйду лично: «Здравствуйте». — «Здравствуйте, а где ваша армия?» — «Армия там осталась, в таком-то положении». — «Какое же право вы имели бросить армию?» И вот, чтобы не смалодушничать, я отправил самолет.

К.С.: А Вишневский согласился не лететь, да?

М.Л.: Он согласился не лететь. Он порядочный человек, видит, что тяжелое положение, и не настаивал, нужно прямо сказать.

К.С.: Хотя, в общем, у него некоторые основания были, в том смысле, что армию он сдал... А что он сдал-то, собственно?

М.Л.: Две дивизии. И то одна из них ушла уже.

Ранение. Плен

М.Л.: Ну вот, вышли мы. Тут мы переходили речку, скопилось много народу. Вдруг едет один мотоциклист на Вязьму. Кто-то стрельнул по мотоциклисту. Открылась стрельба. Пули жужжат, думаю, побьют своих. Кричу: «Прекратите стрельбу!»

Тут уже группа Болдина пришла ко мне... Я еще не говорил вам про группу Болдина. Я знал, что где-то севернее меня — группа Болдина. Поеду, думаю, разыщу, что она из себя представляет. Поехал, разыскал я ее. Всю ночь проездил, искал. Наконец нашел в одной из деревень. Сидит он в хате с начальником штаба. Спрашиваю: «Иван Васильевич, что у тебя?» Он говорит: «Вот хочу к тебе ехать. А что у тебя?» «Ничего нет, остатки 152-й дивизии, остатки 140-й. Пустяковые остатки». 152-я дивизия — это моя дивизия, которая под Смоленском дралась когда-то, Забайкальская, сформированная из уральских рабочих. Хорошая дивизия. Командир дивизии

изумительный там был, Чернышов. В прошлом году весной он умер. «Ну, что же, — говорю, — поедем». Вот он приехал ко мне. Это так называемая группа Болдина...

К.С.: Которая по первоначальному плану должна была восстановить положение...

М.Л.: Да. И она осталась ни при чем. Он приехал и говорит: «Ну, дай мне хоть сколько-нибудь». Я ему тогда дал две дивизии. Надо же чем-то руководить и ему тоже. Хотя он будет при чем-то, не будет болтаться просто так. Надо сказать, что он очень хороший человек, Иван Васильевич Болдин, но бесхарактерный. Хороший командир, знающий, но бесхарактерный. Или он пал духом, поэтому на меня такое впечатление произвел. Но очень хороший человек, замечательный. Я ему дал две дивизии, выделил для его группы. Она и числилась так: группа Болдина, две дивизии у него было. Он тоже на всех военных советах был у меня с командирами. Он тоже не мог прорваться.

Вижу я, что такая стрельба поднялась. А у меня была верховая лошадь, лошади нет. Смотрю, ординарец куда-то пропал, черт его знает. А пули: пщи-пщи-пщи. Думаю, убьют, сволочи.

К.С.: Это все наши стреляют?

М.Л.: Стреляют. Тогда я решил переходить вброд. Речка — метров примерно пятнадцать ширины, и думал, она мелкая речушка, проклятая эта Вязьма. А она оказалась вот по сих пор. А я сдуру-то оделся — мундир надел свой, китель, теплое белье. На шинель я надел комбинезон немецкий. Хороший комбинезон, мне его летчики принесли, сбили парашютиста одного. Надел комбинезон и сверху подпоясался ремнями. И в таком виде очутился в реке, намок. А противоположный берег занят противником. Когда началась у нас паника, они открыли сильный пулеметный и минометный огонь.

Я говорю члену Военного совета Ванееву: «Бери группу танкистов». Группа танкистов была довольно большая, тысячи две, народ более или менее организованный, сильный народ, дисциплинированный. Я говорю ему: «Ты обходи слева, а я буду справа, вторую группу возьму». У меня тоже было тысячи три примерно людей. И мы их взяли в кольцо, охватили. Там было несколько пулеметчиков, несколько минометчиков, небольшая группа была немцев. И пошли дальше. И везде, где мы шли, вы знаете, больно было смотреть. Везде лежали в ряд положенные винтовки, пулеметы, и все это разбито, поломано. Или вынуты затворы, закинуты куда-то, чтобы нельзя было их использовать.

К.С.: Это уже немцы действовали?

М.Л.: Это уже немцы действовали — отбирали у наших пленных оружие и ломали. Так рядами и сложено было. Это почти на каждом шагу. Я говорю Ванееву: «Дело плохо. 20-й армии что-то не слышно, признаков боя я не слышу. И потом, ты видишь все это?» Он говорит: «Да, положение тяжелое».

И мы нигде не нашли 20-й армии, ее уже не было здесь. И куда бы мы ни шли, везде вот такие маленькие заставы противника. Подошли в один лес, увидели — стоит часовая на возвышенности. Ванеев говорит: «Снять этого часового!» Я говорю: «Нельзя этого делать. Боже сохрани вас, не делайте этого. Мы же все мокрые, это уже не войсковые части, это сброд, люди не высохли, мороз, снежок пошел. Нельзя этого делать, надо обходить».

В это время какой-то выстрел. Часового не сняли, конечно. Открылся пулеметный и минометный огонь, и все — в панике стали бежать.

Я в это время был ранен в руку. Около меня никого не оказалось. А я одной рукой не могу раздеться никак. Слышу, из меня кровь хлещет. А я до этого, наверное, целую неделю не спал, урывками, вздремнешь где-нибудь немножко... И мне хочется пить и спать. Пить и спать. В это время идут две девочки-санитарки. Подходят ко мне: «Что с вами, товарищ генерал? Вы ранены?» Я говорю: «Давайте раздевайте меня скорей». «А у нас нет перевязочных средств. Все уже мы использовали, все бинты. Ничего у нас нет». Я говорю: «Раздевайте меня, рвите мою рубашку и перетяните, чтобы остановить

кровь». Они раздели меня, перетянули мне руку жгутом таким. Потом они меня одели, уже полегче. Я говорю: «Ташите меня». Взяли они меня под руки, две маленькие девочки, лет по шестнадцать-семнадцать, а может быть, восемнадцать. Молоденькие. А я грузный такой, да еще крови-то много потерял. Идти не могу, валюсь...

К.С.: Ранение в кисть?

М.Л.: Нет, вот сюда. Два нерва перебило. Локтевой и срединный нервы.

Я говорю: «У вас плащ-палатка, расстелите, я лягу, возьмусь левой рукой, а вы за концы тяните». Легче стало. Снежок выпал, по снежку-то легко они потащили меня. Втянули они меня в овражек. В это время разрывается мина, и меня в ногу ранило, в мякоть, правда.

Подбежал тут генерал Андреев, мой начальник по тылу. Тоже способный генерал. Я его знал по Сибири, он командовал дивизией 133-й, потом корпусом командовал в Сибири, когда я был начальником штаба, заместителем командующего войсками. Так что я хорошо его знал. Повели меня под руки. Только вышли из оврага на бугорок, в это время разрывается вторая мина, и опять меня ранило. Опять в ту же ногу.

Ну, потом мы ходили, ходили. Мы несколько дней ходили.

К.С.: Уже небольшой группой?

М.Л.: Уже маленькой. Тут уже так: то соберется тысяча, где-нибудь хотим пройти. Как только пулеметы застучали, сейчас же все разбегаются. Остается маленькая группа. Ходить я уже не могу. Я говорю Болдину: «Прикрепи офицеров, чтобы меня поддерживали, потому что я отстаю от вас. Я не могу за вами угнаться, я раненый». Он прикрепил. На первых привалах — все. Расходятся люди. Я же их никого не знаю.

К.С.: А своих уже не было?

М.Л.: Своих уже нету. Я своего адъютанта, который у меня был, хороший адъютант, послал перевозить семью. Я чувствую, что с Москвой плохо — Москву бомбили все время, уже с двадцать второго числа. Я знал, что тяжелые будут бои и Москву будут бомбить. Думаю, хоть семью отправлю. Так и получилось. Никому она не нужна была. Все уезжают, а семья генерала никому уже не нужна стала. Они ее и увезли. А потом ко мне прорваться не смогли. Если бы были адъютанты, другое, конечно, положение было бы у меня. Хорошие адъютанты были, которых я привез из Забайкалья.

К.С.: А вы обоих отправили?

М.Л.: Второй-то молодой был, тоже отправил. Тоже хороший парень. С ними, может быть, не так бы сложилась судьба.

Ходили мы. Пришли в один лесочек. Иван Васильевич подходит ко мне и говорит: «Михаил Федорович, люди мокрые, уже начинают леденеть, шинели колом становятся. Морозец такой, снег выпал. Надо обсушиться».

К.С.: Это все в тот же день?

М.Л.: Нет, уже несколько дней прошло. Ходим по лесам. Выходим. Мы идем по направлению к Брянску, хотим обогнуть, обойти, чтобы по лесам выходить. Есть нечего. Замерзаем. Если куда в деревню пошлем — везде немцы. Тыловые уже части, но это все же немцы.

К.С.: А уже оружия-то нет у вас?

М.Л.: Да, я чувствую, что это уже не войска. Он говорит: «Надо развести костры». И развели костры. Я говорю ему, что сейчас же увидят дым в лесу. А народу-то нас тут было много сравнительно к этому времени. «Противник, — говорю, — поймет, что лес живет, и сейчас обязательно придет». Так оно и случилось.

Когда они развели костры, подходят какие-то двое штатских и говорят: «Кто здесь старший?» Я говорю, что я. «Мы представители особого отдела 24-й армии. Здесь в землянке лежит начальник особого отдела 24-й армии, Можин, раненый тяжело».

Я пошел к нему. А мы с ним были знакомы по Сибирскому округу. Он лежит

раненый, там еще несколько человек раненых. Его особисты там сидят. Он говорит: «Михаил Федорович, не уходи никуда, в землянке оставайся здесь. Я послал верного человека, за нами прилетит самолет. Даю слово, что он прилетит за нами». Поговорили мы, он нас покормил. У него была колбаса, еще что-то было.

К.С.: Он неподвижный раненый был?

М.Л.: Тяжело он был раненый. А остальные-то все ничего. Только еще один особист тоже тяжело раненый был. А у меня, когда девочки меня перевязывали, револьвер выпал. Так я его и не нашел, без револьвера уже хожу. И мы задремали. Вдруг прибегают адъютанты, прикрепленные ко мне, и говорят: «Товарищи, выходите. Немцы». Пока собрался Можин, пока я ему помогал — он раненый был в обе ноги, да и сам-то я раненый, и рука-то у меня, одной рукой, — приходят уже немцы, кричат: «Хальт!» Я говорю: «Давай скорей выходить, еще бросят гранаты сюда. Они же не войдут так сразу, а бросят гранаты, и мы пропадем с тобой ни за что».

В это время лежащий здесь особист, который не мог вставать совершенно, тяжело был ранен, говорит: «Выходите скорей, сейчас гранаты бросят». Мы вышли, смотрим, немцы стоят. Мы руки вверх подняли. Я говорю этим ребятам — с ними девушка была, видимо, машинистка его или какая-то еще работница у него: «Передайте всем, чтобы не говорили, что это начальник особого отдела. Он — интендант». На нашивках-то у него не видно было. Ромб один был у него. Так они и делали. Никто не сказал, что это начальник особого отдела.

Нас быстро обыскивали. У меня все отняли. Серебряный портсигар отняли, часы сняли. Я говорю: «А куда же часы-то забираешь?» Хотел у него отобрать. Он рванул у меня часы. Книжечку смотрит: «Генерал! Генерал!» Тут сразу сбежались все немцы — генерала поймали. Подошел фельдфебель, разогнал немцев и что-то говорит мне. Я очень плохо понимаю по-немецки. А Можина увели уже, всех особистов увели и часть офицеров, которые здесь были. Остался я и несколько командиров.

В это время подходит наша группа, отходящая, открывает стрельбу. Все повернулись в сторону группы... И когда я увидел, что все повернулись, я бросился бежать в противоположную сторону. А с противоположной стороны идет на меня группа немцев. Автомат: «Тр-р-р-р», меня опять в эту же ногу, в коленную чашечку. Я теряю сознание.

Очнулся я уже — теперь-то я знаю это — в Семлево, в школе. Пришел в себя, открыл глаза. Сначала не понимаю, где я. Посмотрел — раненые. Потом все вспомнил. Сердце сжалось. Армия погибла, я в плену. И в это время открывается дверь. «Ахтунг!» Входят три офицера, два полковника и подполковник. Полковник подходит к моей кровати и на чистейшем русском языке говорит: «Нам ваши пленные сказали, что вы командующий 19-й армией. Чем вы можете это доказать?» Я говорю, я не знаю, где у меня документы. Унтер-офицер достает мое обмундирование из-под кровати. Оно все в крови. Вынули удостоверение личности. Он спрашивает: «А почему здесь написано — командующий 16-й армией?» Я говорю: «Был и 16-й, был и 20-й, а теперь 19-й». Вмешивается подполковник: «А мы господина генерала ждали еще в Смоленске, но ему тогда удалось из двух котлов наших уйти». Я промолчал, ничего не сказал. Потом вынимает партийный билет, посмотрел: «О, старый член партии. Это вам теперь не нужно, — и в печку бросил. — А удостоверение вам пригодится. Держите его, когда поедете в Германию. Нам известно, что с вами было еще пять генералов. Скажите их путь, маршруты их». Я промолчал.

Потом он стал спрашивать, какие дивизии ушли, сколько, какие резервы и так далее. Я ему говорю: «Господин полковник, а если бы вы были на моем месте, вы рассказали бы все и предали свою родину?» Он говорит: «Нет».

«А почему же вы тогда меня спрашиваете? Я вам больше ничего не скажу. То, что меня касается, вы меня, пожалуйста, спрашивайте. А про это я говорить не буду».

В позапрошлом году я был в Архангельском. Приезжает генерал-лейтенант

Кузовков из управления кадров и показывает мне фотографию. «Михаил Федорович, узнаете?» Я говорю: «Нет, не могу узнать». Подошла жена, говорит: «Да это же ты снят». А я не узнал. Рука у меня вот так вот, орден виден один. В кителе лежу. И сплю я. Двухъярусная кровать. Я посмотрел: да, действительно, как будто бы я.

У Кузовкова было и письмо от зубного врача из госпиталя, где делали мне операцию и приходили ко мне эти три офицера. Зубной врач этот начал показывать кому-то фотографии времен войны и наткнулся на мою карточку. «О, — говорит, — генерал! Я помню этого генерала». Он описал мой разговор с офицерами генерального штаба и говорит: «Генерал-то, наверное, умер. Вряд ли он мог выжить. Он был очень тяжело раненый, а семья-то у него, наверное, осталась». И переслал фотографию в нашу группу войск в Германии. А оттуда переслали сюда, в Генштаб, и она дошла до меня. Я покажу вам бумажку, в которой он описывает, как это происходило.

В прошлом году я был в Германии, рассказал об этом случае. Они нашли этого человека. Потом интервью с ним напечатали у них в какой-то статье. «Я был ярый нацист, я всецело шел за Гитлером. А когда были сильные бои, увидел русского генерала, так мужественно ранения переносящего. И когда немецкие офицеры спрашивали у него военные тайны, он так смело отвечал им. Я тогда понял, что нам не так-то легко с ними будет справиться». Потом еще события были, и все это дало мыслям этого врача толчок и заставило пересмотреть свои позиции. Может быть, он приукрашивает, но пишет в таком духе...

Так вот, когда я так ответил офицерам, они отдали мне салют. Взяли, значит, под козырек, сказали: «Больше мы вас затруднять не будем» и ушли. А между собой по-немецки говорят — об этом врач пишет: «Мы уважаем точку зрения этого генерала».

А я еще не знал, что у меня ноги нет. Я знал, что больно. Знал, что я ранен в ногу. Но что ноги нет у меня, я не знал. Когда они все ушли, врач открывает одеяло, смотрю, у меня ноги-то нету. Я моментально сорвал повязку. Армии нет, сам в плену, без ноги, рука не работает... Думаю: «На черта это!» Знаю, что из себя представляет плен немецкий. Уже доходили до нас сведения. Жить не хочется. Меня сразу на перевязочный стол. Перевязали, приставили ко мне сначала нашего санитаря, а я вторично... Немцы наших врачей или наших солдат и младших офицеров, знающих немецкий язык, делали санитарями — ухаживать за своими ранеными. Грязную работу выполнять. Вот и приставили ко мне одного нашего товарища, знающего по-немецки. А когда я вторично сорвал повязку, приставили унтер-офицера.

Вдруг у меня очень высокая температура. Я весь горю. Теперь я понимаю, что это у меня была галлюцинация. Мне кажется, что я хорошо по-немецки понимаю. Дословно все понимаю, что говорят немецкие раненые, которые лежат здесь.

К.С.: А раненые немецкие?

М.Л.: Немецкие. Наших никого нет, один я. И я слышу их разговор, что они собираются меня убить. Я срываю повязку и говорю: «Давайте врача». Приходит унтер-офицер и говорит, что врач на краю этого села живет, погода грязная, он очень устал. Врач не может сейчас прийти. Вот тогда я и сорвал повязку...

К.С.: И с вызовом врача тоже была галлюцинация? Вы действительно его вызвали или казалось это?

М.Л.: Вызывал-то я действительно, но мне казалось, что они по-немецки говорят, что хотят меня убить. Врач все же пришел. Пришел, начал меня уговаривать: «Как они могут вас убить? Они такие же раненые, как и вы. Они все без движения». А я не верю. Тогда меня из этой общей комнаты переносят в сторожку, где жил унтер-офицер, и меня к нему положили туда. Со мной этот врач долго разговаривал. И мне, откровенно говоря, стало его жалко. Я же знаю, что у них целый день операции. Ведь раненые все время поступают. Сильнейшие же идут бои, а это перевязочный отряд. Он показался мне хорошим. И он действительно оказался хорошим. Как только кончал операцию, он обязательно ко мне приходил. Разговаривал со мной.

К.С.: Через переводчика? Или он говорил по-русски?

М.Л.: Нет, он ни слова не говорил по-русски. Через нашего санитаря. И он говорит мне: «Я не нацист, я врач. И вы для меня — пленный раненый генерал. Я сделаю все, чтобы вы жили». Показывал он мне карточки своих детей, сказал, где он работал в мирное время. Он был главным врачом в хирургической больнице Берлина.

Унтер-офицер оказался австрийцем. Секретарь венского городского суда. Говорил по-русски. Плохо, но говорил. В первую мировую войну был у нас в плену. И он мне сказал: «Генерал, вы этому врачу верьте. Он сделает все, чтобы вас спасти. Я, — говорит, — со своей стороны тоже все буду делать, чтобы облегчить ваше положение, потому что когда я был в плену, раненый, мне русские спасли жизнь. Я забыл фамилию врача, но я русским благодарен за то, что они мне жизнь спасли».

Второй врач был стервец. Когда не было старшего врача, когда он был занят, а надо на перевязку, кладут на носилки и несут... Нельзя было до меня дотронуться, я кричал в крик. Все же нервы обнажены, и всякое мало-мальское шевеление причиняло ужаснейшую боль. Об этом узнал унтер-офицер и сказал старшему врачу. Он приходил, брал меня на руки и носил на перевязочный стол. Это единственный человек, который оказался человеком. Все остальные, которых мне приходилось видеть, это были звери, а не врачи.

К.С.: Вам не удалось его разыскать?

М.Л.: Разыскал.

К.С.: Живой он, этот человек?

М.Л.: Был живой три года назад. Когда я был в ГДР, я сказал немецким товарищам, чтобы они его разыскали. Когда они пришли к нему, он сказал: «Помню все это», — подтвердил все, что говорилось, но просил его забыть, ничего о нем не писать. «Ни фамилии, ничего, ради бога... Вы знаете, какое положение. Я не хочу, чтобы на старости лет со мной что-нибудь случилось».

К.С.: А он в ГДР или в ФРГ?

М.Л.: В ФРГ.

В госпитале

М.Л.: В этом передвижном лазарете я пролежал до момента их продвижения вперед, на восток. Была подана санитарная машина, где лежали уже три немецких офицера. И когда вносили меня, они узнали, что русский генерал с ними будет ехать: «Век русише генерал! Век!» Значит, не хотят ехать со мной. Тогда пришел врач, который ко мне хорошо относился, и говорит: «Придется вам ехать на грузовой машине». А вы знаете, дороги там...

К.С.: А санитарная машина на четыре койки была?

М.Л.: На четыре, да. Двухэтажная.

К.С.: Это было в Семлеве?

М.Л.: В Семлеве. Куда-то они, видимо, передвигались вперед, за войсками.

Положили в грузовую машину. Солдаты какие-то вещи накидали туда, и ехать до станции — это было что-то кошмарное. Я губу закусил и вытерпел. Посадили в пульмановский большой вагон. Там солдаты немецкие были. Привезли в Вязьму.

К.С.: Сколько в этом госпитале пробыли?

М.Л.: Боюсь сказать.

К.С.: Неделю?

М.Л.: Больше. Недели две, наверно, пробыл.

Приехали в Вязьму. Всех немецких солдат вынесли и закрыли дверь. Я один остался в вагоне. Представляете мое состояние? Бросили. Морозы начинаются большие. Думаю: «Придет какая-нибудь сволочь, преступник, и все. Никто и знать

ничего не будет». Не знаю, сколько прошло времени, мне показалось — очень долго. Наконец дверь открывается: «Генерал!» — «Я». — Поговорили. Забрали на носилки, положили в санитарную машину.

К.С.: Здесь уже в санитарную?

М.Л.: Да, в санитарную машину положили. А, считай, этой-то ноги у меня нет, а на эту сапог я не надел. Так я был замотан, что сапоги все время в руке держал. Солдат говорит: «Генерал», — и так на сапоги показывает чего-то. Я говорю: «Гут, гут». А он, видимо, спрашивает: «А тебе на черта сапоги?» — и забрал эти сапоги. Я думаю: «Черт с тобой, все равно уже теперь».

Привезли в госпиталь. Опять Вязьма. Громаднейший зал, — не знаю, что за здание было, — человек пятьдесят, если не больше, лежит раненых. И тут, смотрю, наши русские девушки. Я одну подозвал: «Русская?» Она говорит: «Русская». Соня Анвайер ее звать. Уже в пятьдесят шестом или пятьдесят седьмом году в Советском комитете ветеранов войны, когда она пришла, я ее сразу узнал. После сорок первого года прошло шестнадцать лет, но я ее сразу узнал. Еврейка, восточного такого типа. Я говорю: «Соня Анвайер?» Она говорит: «Да». — «Меня не узнаете?» Она говорит: «Нет, не знаю». Ну, и я рассказал ей этот случай.

Я подзываю ее и говорю: «Попросите врача, чтобы мне дали снотворное. Я уже несколько ночей не спал. Мне спать хочется, не могу уснуть — боли страшные». Врач как раз обходит. Врач накричал на нее, не дал. Когда всех обошел своих, подошел, посмотрел. Я говорю ему: «Таблетен шляхен». Приказал дать. Дали мне снотворное. А на второй день — на перевязку.

Приносят на перевязку. Смотрю, в перевязочной — знакомая женщина-врач. Где я ее видел? А! У командира сто... забыл, какой дивизии, 20-й армии, когда я командовал 20-й армией. Ну, походная жена, если можно так назвать ее. Красивая женщина. Смотрю, она там работает. Я потом спрашиваю Соню Анвайер: «Почему она в операционных?» Она говорит: «Я вам потом расскажу, что это за женщина». Красивая, интересная женщина. «Она, — говорит, — всех нас, стерва... Плохо к нам относилась». И рассказала мне, что рядом с местом, где живут наши врачи, которые в качестве санитаров используются, было здание кирпичного завода. Совершенно неотстроенное. Дверей нет, окон нет, пола нет, обнесено только проволокой. Их загнали туда. Раненые кричат, пить хотят. Не есть, а хотя бы пить. Жажда их мучает. Когда кричать начинают или сильно надоедать, туда бросают гранату, в оконный или дверной проем. Творится там, говорит, что-то невероятное...

К.С.: Это наш госпиталь такой остался?

М.Л.: Нет, не госпиталь. Это наших раненых забирали, отвозили и вот здесь их поместили.

К.С.: А помощь какая медицинская?

М.Л.: Никакой.

К.С.: И наших врачей не пускали?

М.Л.: Никаких. Вот так они там и валялись. Я говорю: «Что же там делается-то?» Она говорит: «Вы себе представить не можете. Мало этого, и женщины там же. Вместе все».

На третий день приходят санитары, укладывают меня, дают одеяла. Надо сказать, что дали мне много одеял, укутали меня. Одеял, наверно, пять. Знаете, тонкие немецкие шерстяные одеяла. Укутали меня и понесли. Положили в пятитонную машину. Один я и несколько солдат в этой пятитонной машине. И эта машина по Минскому шоссе на Смоленск гнала из Вязьмы. Бешеная скорость. Я вот так вот подпрыгивал. Я сначала кричал: «Камрад, камрад, тише!» Машина все равно не обращала внимания и катилась.

К.С.: А немецкие солдаты тоже раненые были?

М.Л.: Нет, здоровые ехали. Единственно, чего я хотел, — это потерять сознание, потому что боли были невероятные. Жуткие боли были.

Приезжают в Смоленск. Это было ночью уже. В пять или в шесть госпиталей возили — нигде русского генерала не принимают. Нигде! Наконец приехали куда-то. Слышу, русская речь. К своим, значит, попал. Я понял, что это, видимо, лагерь для военнопленных. Ко мне подошли санитары, и сестры подошли наши же, русские. Я попросил воды. «У нас, товарищ генерал, нет воды. Водопровод не работает в Смоленске». Я говорю: «Снега хоть натаяте». «Сейчас, — говорят, — это и сделаем». Натопили снег, процедили его через марлю и дали мне напиться.

Когда меня несли на носилках по лестницам и по площадкам, буквально некуда было ступить ноге. Везде было забито ранеными. Все — лестницы, лестничные клетки, площадки — все было забито, вповалку. Без всяких кроватей, носилок. Ничего! Просто так. И стоит стон.

Меня принесли в палату, где было человек пятнадцать офицеров. В том числе и генерал, начальник артиллерии 20-й моей армии Прохоров. Там кровати были. Меня положили на кровать. Когда я вот так рукой оперся на кровать, из матраца — сукровица, гной. Матрац был этим пропитан. Мне дали подушку, у меня и подушка даже была.

В этом госпитале кормили. То есть немцы ничего не давали. Немножко хлеба. Маленький кусочек. Одна восьмая, наверное. А остальное — давали машину или подводу, и те, кто выздоравливал из раненых, ехали собирать у колхозников, что те могли дать. А так как мельницы нигде не работали, то давали рожь или пшеницу немолотую. И вот рожь и пшеницу распаривали и ели. Больше еды не было.

К.С.: Значит, ехала подвода или машина с немецким сопровождающим?

М.Л.: Да. И у колхозников собирали. Это был кошмар. Большинство умирало. Раненые в живот с поврежденными внутренностями умирали от такой пищи.

Медикаментов давали ограниченно. А чаще всего — врачи, которых забирали, говорили: «Мы знаем, где был медсанбат. У нас там зарыты или брошены медикаменты». Тоже давали подводу, ехали, находили и привозили. Но этого было далеко недостаточно.

Я расскажу вам картину, которую сам наблюдал. Очевидцем был. Привезли меня на перевязочный стол, а на другом столе лежит наш полковник. Врач посмотрел и говорит: «У вас гангрена. Надо немедленно ампутировать ногу». Он говорит: «Ну, что ж, давайте режьте». Врач говорит: «Нет обезболивающих средств. Придется делать так, по способу Пирогова в Севастопольскую войну. Без всяких обезболивающих».

К.С.: Спирту давали, что ли?

М.Л.: Не знаю, что он ему дал. Так, натер чем-то. Вы знаете, я смотрел... Я в ужас приходил, когда он мясо разрезал, отвернул его. Тот только говорит: «Доктор, ну, поскорей... Поскорей, доктор». А доктор: «Ну, потерпи, потерпи, голубчик», — и начинает пилить. Вы знаете, я не мог смотреть. Человек только стонал немножко. Когда кончилось, как будто бы он тоже почувствовал какое-то вроде как облегчение. Через два часа умер этот человек.

Я потом доктору говорю: «Доктор, вы же видели, что он умрет. Зачем вы только его мучили? Такие невероятные мучения человек перенес». Он говорит: «А что делать? Я хотел спасти все же».

К.С.: Начальство немецкое там было?

М.Л.: Наше.

К.С.: Немцев никого не было?

М.Л.: Не знаю. Наверно, был какой-то, но к нам не показывался. У нас были свои врачи. Наши же врачи. Но они были бессильны что-нибудь сделать. Положили меня в ванну, потому что давно я уже не принимал ванны. Вообще не принимал с момента... Да черт ее знает, когда я мылся! Такие тяжелые бои были, когда там к черту мыться было! Ранен был, а в госпитале меня вообще не мыли. Только этот санитар, вернее,

фельдшер — австриец, о котором я вам говорил, — меня протирал камфорным спиртом, а так я не мылся. И вот нужно было меня вымыть обязательно. Так воды немножко нагрели, растворили марганцовку и в эту марганцовку меня положили. Я говорю: «Заражение же будет». «Ничего, с марганцовкой все сойдет». Все благополучно сошло.

В этом госпитале были случаи, когда умирало триста-четыреста человек в день. Триста-четыреста человек! А раненых все подвозят и подвозят. Сильнейшие бои же идут. Тяжелейших раненых привозят. Почему тяжелейших, потому что, видимо, на месте не оказана медицинская помощь. Везут их доживать последние дни, и тут они уже доходили.

К.С.: Видимо, и бои на линии фронта, и, главным образом, бои в окружении.

М.Л.: И в окружении, и партизанские. Все тут. Сплошной идет поток. Поток привозят и поток уносят. Я это говорю со слов врача, который заведовал этим госпиталем. До трехсот-четырёхсот человек в день умирало. В один прекрасный день приходит ко мне врач и говорит: «Вас требует какой-то гражданин». Я говорю: «Кто такой?» «Не знаю, — говорит, — в штатском какой-то». Я говорю: «Я не пойду. Пусть сюда идет».

К.С.: А вы уже на костылях ходили?

М.Л.: Нет, нет, я лежу без движения и говорю: «Я не хочу туда идти. Пусть приходит сюда». Вообще не хотелось мне где-то с кем-то один на один разговаривать. Я не хотел этого. Врач приходит обратно: «Нет, приказал вас принести туда». Положили на носилки, санитары отнесли меня в комнату. Смотрю, молодой парень. Где я мог его видеть? Что-то знакомая рожа. «Вы меня не узнаете, господин генерал?» Я говорю: «Узнал. Вы — помощник начальника особого отдела 19-й армии?» — «Да».

К.С.: А вы один на один разговариваете?

М.Л.: Да, один на один, в комнатке. Я говорю: «Зачем я вам понадобился?» «Вы, — говорит, — господин генерал, конечно, знаете, какая на фронте обстановка. Она не в пользу Советской Армии. Вы знаете, что Гитлер устанавливает сейчас новый порядок». Я говорю: «И вы с этим “новым порядком” уже начали работать?» Он говорит: «Да. Я прибыл сюда по указанию немецкого командования переговорить с вами. Хотите ли вы помогать новому порядку и работать для русского народа?» Я говорю: «Я всю сознательную жизнь работаю для русского народа! Всю сознательную жизнь, как только начал что-то понимать! А вы помните, как вы двух командиров батальона за анекдоты приговорили к расстрелу? Двух лучших командиров батальона! Я вас просил... И приказывал не расстреливать их. Послать в штрафной батальон. Вы, уйдя от меня, все же расстреляли. А теперь вы, стервец...»

Когда я был в Смоленске в партархиве, мне заведующий показал дело этого особиста. Эту сволочь поймали в конце концов. И там есть его показания о том, что он был у генерала Лукина, который не только не согласился сотрудничать, а ругал его и поносил всякими словами. Это в показаниях есть.

К.С.: А его когда поймали? Уже после войны, наверно?

М.Л.: Наверно, после войны. А может быть и партизаны... Боюсь вам сказать.

К.С.: А в каком он звании был?

М.Л.: Майор, наверно. Капитан или майор. В общем, передался, сволочь такая, работал на немцев.

И когда мы с ним так поговорили, я врача позвал, говорю: «Уберите меня. Я больше не хочу с ним разговаривать». Он ушел. Меня понесли. Я был очень нервно расстроенный. Меня спрашивают: «В чем дело?» Я кое-что рассказал ребятам. А на второй день приходят два немца: «Господин генерал, вчера наш представитель был у вас. Вы очень дурно обошлись с ним». Я говорю: «Это изменник, а не представитель. Изменник, русский, который работает на вас». «Не будем это уточнять и не будем больше вспоминать...» Я говорю: «Вы что, тоже пришли меня уговаривать?»

К.С.: Они по-русски говорят, немцы?

М.Л.: По-русски. Отлично по-русски говорят. Один из них окончил гимназию в Ленинграде. Жили здесь в России до революции.

К.С.: Военные или в штатском?

М.Л.: В штатском.

«Мы знаем ваше тяжелое положение, нам известно, что вы очень храбрый генерал. Храбрых генералов мы уважаем. Мы хотим создать для вас более приличные условия». Сразу насторожился я. «Какие условия вы мне хотите создать?» — «Мы ничего вам не предлагаем. Вы не беспокойтесь, пожалуйста. Мы только хотим вас перевести в более хорошие условия, в немецкий госпиталь». Я говорю: «Я один не пойду. Вот если возьмете артиллерийского генерала (бывшего моего начальника артиллерии), я тогда пойду». — «Мы на это не уполномочены». Я говорю: «Тогда я остаюсь здесь».

А через день они пришли и сказали, что немецкое командование согласилось. Нас двоих забрали и увезли в немецкий госпиталь. Там условия, конечно, были уже лучше. Там у них и солдаты, и офицеры — все вместе были. Это тоже был передовой какой-то госпиталь. Кормили там довольно сносно. Сытно и калорийно кормили.

Санитарками работали наши женщины из Смоленска. Одна из них — Дровникова или Дравенникова... Как ее звали, не помню и найти ее не могу. Я ей говорю: «Принеси нам борща. Украинского борща со свиной». Она нам принесла. И только мы начали есть, пришла сестра немецкая, «швестер», ей надавала по щекам, а весь наш борщ вылила.

К.С.: Не положено.

М.Л.: Да, не положено. Была там другая женщина — старушка, переводчица на немецкий. У нее два сына работали журналистами в газете «Известия». Фамилию забыл. Как-то вечером немецкой сестры не было, старушка принесла нам мед искусственный. Знаете, немецкий искусственный мед? Очень вкусный, между прочим. Не различишь, что он не настоящий. И сухарей принесла. Как на грех, появилась немецкая швестер. Тоже старушку избила, сухари и мед отобрала у нас, унесла.

К.С.: А эта швестер была прямо стерва, да?

М.Л.: Вы знаете, она не по отношению к нам была стерва. Она вообще стерва, как человек. Ее больные, я вам потом расскажу, как боялись...

К.С.: Немцы тоже боялись?

М.Л.: И немецкие солдаты боялись. Придут вечером к нам, кто-нибудь сигарету сунет, кто три сигаретки. Кто просто придет посидеть к нам, когда ее нет. Только: «Нихт швестер. Нихт швестер». Значит, чтобы швестер не пронюхала. Боялись ее. Как к сестре — к ней никак не придерешься. Утром приходит, сделает тебе обязательно протирку...

К.С.: Сама?

М.Л.: Да, сама. Там все сестры делают, не разрешают санитаркам делать. Сестра протирает, чтобы не было пролежней. Оправит постель. Прикажет все вынести. Так что к ней как к медицинской сестре никаких претензий быть не могло. Но как человек она просто стерва была.

К.С.: Лупила этих женщин?

М.Л.: Лупила. Она и солдат пихала. Ее все боялись.

К.С.: У вас в палате кто же лежал, кроме вас двоих?

М.Л.: Только вдвоем. Вообще-то к нам не разрешалось ходить. Это так, украдкой приходили. Был там фельдшер, унтер-офицер из монахов. Мы ему объясняем, что рождество, праздник, шнапс надо выпить. «Яволь, яволь». И вечером, когда все врачи ушли, швестер ушла, он приносит нам пол-литра нашей русской водки, московской. Бутерброды принес. Пришли немецкие солдаты. Я себе налил, Прохорову налил. Ну,

так, по полстакана мы налили, видимо. И не знаем, Москва взята или нет, настроение такое взбудораженное.

К.С.: А сведений о том, что уже началось их отступление, еще не было?

М.Л.: Ничего абсолютно мы не знаем.

К.С.: И солдаты ничего не знают?

М.Л.: Откуда же они знают, солдаты? Тоже не знают. В газетах этого не писали. Потом начали писать, что по стратегическим соображениям отошли и так далее. Потом, позднее, когда отходили, писали: «эластичная оборона». Они так называли, но мы понимали, что это значит.

Когда я поднес к губам эти полстакана водки, немецкий солдат схватил меня за руку, чтобы я не умер от этого. Ведь немцы пьют-то как? Глоточками небольшими. И пьют после того, как поедят, а закусывают конфетками.

Потом один солдат говорит: «Япан вступила в войну». Мы поняли, что, значит, Япония вступила в войну. А что и как — мы не понимаем. Сначала неприятно было — не с нами ли они вступили в войну? Придется воевать на два фронта, тогда плохо. Но потом узнали: «с американ». Америка начинает воевать.

Раз меня принесли на перевязку... Перевязку делали, как полагается. Никакого различия с немцами. Только врач, который перевязывал, спросил: «Кто вам делал ампутацию?» Я говорю: «Дейч арст». Он так покачал головой. А когда тот врач отрезал мне ногу, он говорил: «Господин генерал, когда вы вернетесь на родину, ваши врачи-ортопеды будут говорить: “Какой сапожник вам делал операцию?” Вы не обращайтесь внимания. Я старался вам больше оставить кости». Вы никогда не видели ампутированную ногу?

К.С.: Видел, видел, конечно.

М.Л.: Мякотью стараются завернуть. А у меня торчит кость, вот так вот выпирает. Он только кожей ее обтянул. Он говорит: «Вы не обращайтесь на это внимания. У вас большой рычаг управления ногой будет. Протез будет упираться вот здесь, вверху, безболезненно». И я ему сейчас благодарен. Действительно, правильно. До сих пор — прошло больше двадцати пяти лет — с ногой у меня нет никаких забот.

Как-то принесли меня на перевязку, и мне дали чужое одеяло. Мое сняли, а дали, видимо, с того, которого только привезли с фронта. Что такое по мне бегаёт? Вы знаете, когда я увидел, я в ужас пришел. Буквально кишмя кишат вши. И по мне уже ползают. Я скорей позвонил. Пришла швестер, я говорю: «Вот, смотрите, ползают». Она говорит: «Это все ваши русские». Русские! В окопах немцев тоже никто не моет. Они тоже, наверно, в ванне-то никогда не бывают. Ну и заражаются. И в крестьянских избах полно было вшей, потому что битком забиты везде хаты были, понятное дело.

Через некоторое время приходит немецкий майор. Ну, я понял, что из разведки. Приходит и говорит...

К.С.: Тоже по-русски?

М.Л.: По-русски. По-русски говорят, без переводчика. Ведь у них вся разведка, очень много...

К.С.: Прибалтийских немцев.

М.Л.: Прибалтийских, а потом в России немцев много было. После революции они уехали. А потом вся разведка, которая работала по России, они все русский язык знали и изучали. Это закономерно.

Приходит и говорит: «Господин генерал, вот посмотрите на фотографию». Смотрю на фотографию — командующий 28-й армией Качалов. Документы, бумажник разорванный. Карточки в крови. Еще какие-то документы в крови. Письма в крови. — «Узнаете?» Я говорю: «Узнаю. Убитый советский генерал». — «А кто он такой?» Я говорю: «Не знаю». — «Ну, как не знаете? Посмотрите лучше». Смотрю. Качалов. Я говорю: «Нет, не знаю, кто это». — «Это командующий 28-й армией Качалов». Я говорю: «Ну, знаете, Качаловых у нас много. Качалов есть артист,

Качаловы есть писатели, Качаловы есть другие». — «Ну что вы, — говорит он, — рассказываете, вы же наших командующих знаете, и мы знаем ваших всех командующих. Думаете, вас мы не знали? Знали. Хотите, расскажу всю вашу биографию?» Я говорю: «Зачем мне это нужно? Я сам ее знаю». — «Так вот, это Качалов. У вас он объявлен изменником родины. А мы нашли его убитым в танке. У нас бы он героем был. Ему бы железный крест с лавровым венком дали. А у вас он — враг народа». Я говорю: «У нас были объявлены врагами народа — я это знаю, при мне еще был этот приказ, — те люди, которые сдались в плен. Которые не сражались с вами как следует, а пошли в плен». — «Ну а я вам говорю, что он убит». А тогда был уже приказ, что Качалов сдался в плен.

К.С.: Приказ 270.

М.Л.: Вы знаете? Я и тогда не верил этому. Не мог Качалов! Качалова я знал. Качалов очень активно дрался в Средней Азии с басмачами.

К.С.: Пять раз ранен он был.

М.Л.: Качалов под Царицыным командовал, с Деникиным дрался. Ну как Качалов мог быть изменником родины?! Имел два ордена Красного знамени. Нет, не допускал я этого. Я и говорю Прохорову: «Иван Павлович, ну смотрите, разве может это быть, чтобы Качалов поехал и сдался в плен?» Он говорит: «Я тоже этому не верю. Этого не может быть. Это немецкая провокация». Причем тут немецкая провокация? Это у нас он объявлен приказом. Немцы как раз не считают его врагом народа.

Ну, в общем, посмотрели... на том дело и кончилось у нас.

В лагерях

М.Л.: Через некоторое время приходит немец — тот, который приходил перевозить нас из госпиталя. И с ним второй, высокий тоже. По-русски тоже хорошо говорит. Отец его лесопромышленник был в России, заготавливал на всю Европу шпалы. Значит, в России родился, в России вырос. Высоченный такой немец, с бородой. Тоже в штатском. Видимо, тоже в разведке работает. «Ну, господа, — говорит, — собирайтесь. Завтра поедете в Германию, повезем вас». Ну что ж, повезете, так повезете.

К.С.: А о Москве вы еще не слышали в это время?

М.Л.: Ничего абсолютно. Газет-то нет никаких. Никто нам не говорит ничего, и мы не знаем. Да, когда я был в нашем госпитале, я услышал через санитаров, что Международный Красный крест в Смоленске есть. Приходил к нам один немец, всегда раздавал махорку. Видимо обхаживал кого-нибудь, не знаю... Я попросил его, чтобы зашел представитель Международного Красного креста. Зашел швед, и я ему заявляю протест. «Вы посмотрите, в каком положении находятся советские военнопленные». А он говорит: «Ваше правительство конвенции Женевской не подписало, поэтому вы находитесь у немцев из милости. Мы здесь ничего сделать не можем». Не можете сделать, значит и разговора быть не может. Ведь сколько было бы спасено жизней! Они бы как-то вмешивались в это дело. Это возмутительно, что мы даже не подписали конвенцию о военнопленных!

К.С.: А сейчас подписали?

М.Л.: Сейчас подписали. А тогда приходил ко мне швейцарский врач-невропатолог. Я говорю ему, что рука у меня не работает. Он говорит, что надо сшивать. Тогда еще, может быть, можно было бы сшить. Но он говорит: «Вы знаете, немцам сейчас не до этого. У них очень много раненых, вряд ли они будут этим заниматься. А мы вмешиваться в это не можем». Так рука у меня и осталась.

Повезли нас. Привезли на вокзал, впихнули в отдельное купе. Там было уже много-много напихано. Душно было, дверь закрыта. Поехали. Доехали мы до Орши. Поезд дальше не идет — взорван мост.

К.С.: Мост железнодорожный?

М.Л.: Да. Видимо, действовал уже Заслонов. Может быть, даже и не он. Ведь у нас же было как: я при отходе заминировал мост или что-то другое... Я заминировал и не взрывал. А потом проходит какое-то время. Все там успокоилось. Движение там идет или что-нибудь, я вызываю радиста и говорю: «Взорвите номер такой-то». Мост или здание какое-нибудь. Он нажимает кнопку, и все взлетает на воздух. Может и так было, не знаю. По-всякому взрывали, Крещатик-то взорван...

К.С.: По радио взорвали?

М.Л.: Мне кажется, по радио. С какой стати немцы будут взрывать, когда немцы там живут, в гостинице этой? Гостиницу взорвали, как она называлась? Хорошая гостиница.

К.С.: «Континенталь».

М.Л.: Чего они своих людей будут взрывать? Конечно, наши взрывали. Я наверное не знаю, взрывали ли дома. Я этого не утверждаю. А гостиницу-то, я думаю, наши взорвали наверняка.

Внесли нас в вокзальное помещение. В это время приехали только что окончившие военное училище немецкие офицеры. Едут под Москву. А помещение разбито, комнатки маленькие, и мы тут еще занимаем место. И когда они узнали, что тут находятся русские генералы, кричат: «Русские генералы, век на улицу!» Значит — на улицу выкинуть. «Не хотим тут с ними жить». И вот этот, высокий-то, с бородой, очень долго их уговаривал. Они бушевали, бушевали. Не знаю, вернулись они на родину или под Москвой нашли себе дом в земле.

Ну, потом поехали мы. Доехали до Бреста. В Бресте нам сделали баню. Бани там были хорошие, промывали всех. Туда уже не впускали не обмытых, не обработанных в санитарном отношении. И поехали мы дальше. Привезли нас в Берлин. В Берлине поместили нас в один из госпиталей. Там прожили мы недолго. Сопровождающий куда-то ушел. Остались консервы, которые на дорогу нам были даны. Мы консервы и съели. А он, видимо, консервы эти привез домой, для своих. Пришел и очень ругался, что мы их съели.

К.С.: А он вас сопровождал?

М.Л.: Сопровождал.

К.С.: В гражданском?

М.Л.: В гражданском, да.

К.С.: Михаил Федорович, вы как-то упоминали, как вы слышали впервые от кого-то из солдат, что с Москвой у немцев не получилось. Это позже уже было?

М.Л.: Это уже в Берлине мы слышали, что у них под Москвой ничего не получилось. Из газеты. Кое-как разбирали. Не все мы понимали, но понимали, что от Москвы они отошли. Приятно было, что Москва не взята, что Москва в надежных руках, крепко ее обороняют. А потом, позднее, когда нас перевезли в лагерь Луккенвальде, тут мы уже все знали.

К.С.: Недалеко от Берлина Луккенвальде, да?

М.Л.: Порядочно, километров полтора-два. Место сейчас находится в зоне Демократической Германии. Я потом, когда был в Германии, поехал туда посмотреть. Там ничего уже нет, все сожжено.

К.С.: Я знаю это место по сорок пятому году.

М.Л.: Там недалеко полигон был. Это был небольшой лагерь. Югославы, французы (англичан не было) и мы. Лагерь был весь окружен проволокой, а мы еще и от них отделены были проволокой.

К.С.: Значит, в Берлине вас недолго держали?

М.Л.: Нет, передаточный пункт был только. В Луккенвальде мы уже знали все, что происходит, потому что югославы читали газеты, французы читали газеты.

К.С.: А как вы с ними общались?

М.Л.: Через проволоку. Те подойдут к проволоке, и мы к проволоке подходили.

К.С.: Бараки были или что?

М.Л.: Бараки. У них свои, у нас свои бараки...

К.С.: А как выглядели бараки?

М.Л.: Прилично. Бараки очень приличные.

К.С.: Отапливались?

М.Л.: Как-то поступил приказ сократить топливо. На ограниченный режим топлива перейти. Жара была — деваться некуда, так топили углем. И, кроме того, там были электрические кухни, подтапливать было можно. Там разогревали пищу. Потом в печке были такие штуки сделаны, куда, если вы не съели что-то, тоже можно было ставить подогреть. Кормили, конечно, так же баландой, как и везде, во всех лагерях. Абсолютно одно и то же было во всех лагерях для русских военнопленных: литр супу из брюквы, 250 граммов хлеба, черт его знает, какого. Только в одном месте я ел хороший хлеб. В каком смысле хороший? Вы едите его, и не чувствуете, что это суррогат-хлеб. Одиннадцатимесячной выпечки хлеб, в целлофане завернутый, но вы едите, как будто настоящий хлеб. Правда, от него пользы не было никакой. А здесь хлеб давали с брюквой, мягкий такой. Все это тяжелым камнем ложится.

К.С.: Значит, литр супа, хлеб...

М.Л.: И чай давали. Не знаю, клали сахар или нет, мы его не чувствовали. Говорят, что клали сахар туда, только не чувствовалось. Такой рацион был. Я как-то вызвал врача и говорю, что у меня с желудком плохо. Я не могу этот хлеб есть. Он мне ответил, что для вас курочек в Германии еще не приготовили. Я говорю: «Спасибо и на этом».

Югославы помогали, нужно отдать справедливость. Они получали посылки. Получали из дома. Король Петр им присылал. Не всегда, но иногда присылал. Международный Красный крест помогал. Так что они с нами делились. В особенности, когда пришел француз-врач и говорит: «Я хочу вам сделать операцию по сращиванию нерва». Я говорю: «Хорошо, согласен».

К.С.: А он военнопленный был?

М.Л.: Военнопленный. Я говорю: «Давайте делать операцию». А он говорит: «Мне нужна кошка». Я говорю: «Для чего вам кошка?» — «Я, — говорит, — беру из кошки какую-то там часть мозга...» Или что-то такое. Не знаю, какую-то часть из спины берет он. «Положу, — говорит, — это в спирт. В спирте оно пробудет какое-то время, а потом я вам вставлю. Поскольку у вас там разрыв есть, вставлю этот кусок». Я говорю: «Давайте». «Только, — говорит, — надо, чтобы немецкий врач согласился». Приходит немецкий врач, и я ему говорю, что француз мне хочет сделать операцию. Он говорит: «Хорошо, я буду ассистировать ему. Смотреть буду».

К.С.: Это его заинтересовало. А французский врач был сыном военнопленного?

М.Л.: Его отец попал в плен. Отец старый, больной. И сын взялся заменить отца. Отца отпустили, а он пришел вместо него. Это свободно делалось. У французов, по крайней мере.

К.С.: Интересно. Никогда не слышал.

М.Л.: Никогда не слышали?

К.С.: Нет.

М.Л.: Больного на волю, здорового — сюда. Им даже лучше — он же работать будет. Потому что они к французам-то относились по-другому, чем к нам. Только мы были вне закона.

Он мне сделал операцию. И когда меня носили к нему в санитарную часть на перевязку, это были лучшие дни. Там обязательно французы, югославы что-нибудь сунут. Главным образом, сигареты совали. Немцы нам табаку совсем не давали, так что курить страшно хотелось. И вот они снабжали нас сигаретами и кое-что из своих посылок давали. Это облегчало наше положение.

К.С.: А в лагере генералы только были или и офицеры? Офицерский лагерь был?

М.Л.: Никакого различия.

К.С.: Нет, вообще, весь этот лагерь Люккенвадьде?

М.Л.: И солдаты, и офицеры. Ну, у них-то там отдельно для офицеров было, у французов и у югославов. А у нас все вместе. Правда, я лежал в отдельной комнате.

Там был очень хороший переводчик наш, инженер, сапер. Молодой парень такой, по фамилии... Он ко мне очень хорошо относился и старался всячески что-нибудь у немецкого врача выговорить мне. То ли что-нибудь из медикаментов, то ли что-нибудь в смысле смены белья. Белье на мне всегда было чистое, белоснежное. А потом в один прекрасный день одну простыню изъяли. Остались мы при одной простыне. У них начало не хватать простыней. В связи с бомбежкой.

О том, что я нахожусь в плену, узнал один из наших генералов. Фамилия его... потом я его как-нибудь назову. Он потом сюда был привезен и повешен. Выскочила фамилия из головы. Приехал. Я думал, что он тоже пленный, а оказывается, он был начальником оперативного отдела Прибалтийского военного округа, значит, Прибалтийского фронта. И при первой же возможности, в первые дни боев перешел на сторону немцев и работал уже у них. А я и не знал, что он у немцев работает.

К.С.: Он по процессу Власова был повешен. Один из пяти или из шести.

М.Л.: Да, да. Я потом вспомню его фамилию. По-моему, он кое-что привез мне. А я говорю: «Почему вы так свободно?» — «А немцы, — говорит, — отпускают меня». Я как-то не придавал этому значения.

К.С.: А он был в форме советской?

М.Л.: Нет.

К.С.: Уже в гражданском?

М.Л.: В гражданском. А потом, когда в лагерь я переехал, то узнал, что он на немцев работает. Оказывается, у него какие-то родственники нашлись дальние, он сам из дворян. В общем, к немцам перебежал. Потом был он у Власова не то заместителем, не то кем-то и уже носил генеральскую форму немецкую. Только «Р.О.А.» было написано.

Из этого госпиталя меня почему-то перевезли в Берлин, в госпиталь.

К.С.: А там был госпиталь внутри лагеря?

М.Л.: Нет, лагерь был отдельно, а это было чисто госпитальное помещение. А лагерь был тут же, и госпиталь при лагере был.

К.С.: А госпиталь не только для русских?

М.Л.: Для всех.

К.С.: Поэтому вы и могли больше общаться там с югославами?

М.Л.: Поэтому я и говорю, что это давало некоторые преимущества.

К.С.: Вас туда взяли, когда вам что-то делали с рукой? На этот период — в госпиталь? А до этого вы не были в госпитале?

М.Л.: Нет, до этого не был. Перевязку делали, когда надо было. Но рана почти уже зажила.

К.С.: Уже ходили на костылях к этому времени?

М.Л.: На костылях ходил. Правда, трудно было, потому что взять костыль нельзя, рука-то... А у них костыли, у проклятых, знаете, эти... — на локтях. Очень трудно.

Я у него спрашиваю: «Почему вы мне не делаете протез?» Он, видимо, куда-то написал, и меня перевезли в Берлин, в госпиталь. Тоже — французы, англичане, югославы. Тоже смешанный госпиталь. Какую-то гимназию бывшую занимали. И там мне сделали протез. В Берлине.

Как-то приходят ко мне санитары и говорят: «Английский врач хочет с вами поговорить». Ну, меня повезли туда. Вы знаете — подлец! Сидел я с ним часа два, он беспрестанно курил. Хоть бы, мерзавец, предложил мне сигарету. Сам я не хотел у него

просить принципиально. Думаю, даст или не даст? Нет! И нарочно курит и дым — в мою сторону. Разговор у нас шел по-всякому. По-всякому. Он говорит: «Мы сейчас с вами союзники, а ведь нам придется с вами воевать потом». Я говорю: «Да чего это ради нам с вами воевать-то надо?» — «А вот посмотрите».

К.С.: У него определенной цели разговора не было, просто он хотел поговорить?

М.Л.: Да, просто хотел поговорить.

К.С.: Он военнопленный был?

М.Л.: Военнопленный. Он мне рассказал, да я и сам видел: английским офицерам полагалось два часа прогулки не в лагере, а вне лагеря. В сопровождении, конечно, немца. И вот я видел, как этот высокий англичанин делает очень широкие шаги, быстро идет и как за ним вприпрыжку бежит унтер-офицер. Весь мокрый возвращается с прогулки.

В одном из лагерей английские офицеры очень сильно поругались и избили охрану. Ну, может быть, не всю охрану, а несколько человек, так. Гитлер приказал надеть на всех английских офицеров наручники. Это врач мне рассказывает. Об этом узнал Черчилль, на второй день приказал всех немецких офицеров заковать в наручники. Правда ли это или неправда, не знаю, но он мне так говорил. И потом Гитлер отменил приказ в отношении английских офицеров. Он мне много чего рассказал. Потом говорит: «Вот вы, почему не получаете ничего? Вот мы, пленные английские офицеры, у нас производство идет ускоренное даже перед теми, которые на фронте. Мы, — говорит, — получаем на десять процентов больше жалованья, чем офицер получает на фронте». — «Почему?» — «За неудобства плена». Понимаете? За неудобства плена! И ускоренное производство, и жалованья больше платят. Значит, английское правительство и не мыслит себе, что англичанин может быть изменником родины.

К.С.: Или добровольно может сдаться в плен. Или хотеть этого.

М.Л.: Да, сдаться или хотеть этого. Ну, конечно, во всякой стране какая-то сволочь найдется, но принципиально отношение... Это меня поразило.

Операция была сделана, но, к сожалению, ничего не помогло. Мне потом говорили, что всякое инородное тело, раз оно не находится в соответствии со всеми структурами, оно рассасывается. Видимо, опыты делал этот врач тогда. Я спросил его: «Вы делали уже это?» Он говорит: «Три операции сделал». — «А результат?» — «Не знаю». Он мне по-честному сказал: «Не знаю». Ну, попытались, сделали.

Да, вот тут я увидел, сколько получают англичане и французы. В этом госпитале. Посылок сколько получают. У них даже у английских негров-летчиков, которые попали в плен, под кроватью все полностью завалено пакетами картонными. Так что они немецкого ничего и не ели.

К.С.: Немецкий рацион был у них такой же?

М.Л.: Нет, их лучше кормили. Давали им — один раз я видел, в другом уже лагере, где французы были, — как их называют... моллюсков.

К.С.: Креветки?

М.Л.: Я не знаю, креветки это или нет. На улитку как будто похожи.

К.С.: А, мули, мули.

М.Л.: Мули? Как-то принесли с французской кухни, и Прохоров говорит: «Слушай, с мясом дают». А потом посмотрел: «Ой, это же улитки».

Меня в другой лагерь перевели. Переводили много. А потом я попал... Когда же я попал в этот-то лагерь? Здесь или не здесь? Тут еще в Берлине, в одном из лагерей был налет. Днем англичане, а ночью американцы налеты делали. Приятная картина, когда знаешь, что летят, но не над тобой сбрасывают бомбы, а где-то в другом районе. Такое ясное небо — это в двух лагерях мне пришлось видеть — ясное небо и колоссальное количество — пятьсот, семьсот, тысяча машин летят такими эшелонами, эшелонами, эшелонами! Вы сидите, слышите — нарастает гул. Сначала зенитки

бьют, а потом моторы... Гудят моторы, и видите — летят самолеты. Разрывы снарядов. Немецкая истребительная авиация. Какие-то машины падают. Строй все время идет и идет. И потом слышно — у-у-у! Бомбежка. И вот в двух лагерях англичане бомбили французский и францужско-итальянский лагерь.

К.С.: Случайно, очевидно.

М.Л.: Не знаю, случайно или неслучайно. Я не могу этого сказать, потому что это все — рабочая сила, которая работала на немцев. Они же все на фабриках и заводах работали. Французы работали охотно. Ну, ругались, но работали все же. А вся эта работа на фронт была. Может быть, случайно, а может быть, и нарочно. Черт ее знает.

Было устроено убежище, неглубокое даже, пожалуй. Наружу оно выходило. Плиты так и плиты так. Я сидел около печки, рядом труба выходила. И вдруг метрах в ста от меня разорвалась колоссальнейшая бомба. Там, где душевая была, ну, вроде бани. И вдруг я ничего не слышу. Я своего соседа генерала трогаю, он мне что-то говорит, а я ничего не слышу. Оглох совершенно. Потом это все отошло. Меня о трубу, видимо, немножко контузило. Я и сейчас плохо на правое ухо слышу. А когда вышли мы, барака нашего нет. Сгорел. Бараки все сгорели, разбомбили их. Душевая установка снесена. Даже громаднейший бак с водой отброшен далеко.

Из этого лагеря перевезли в другой. Там были цистерны. Нефтеперерабатывающий завод или синтетический бензин вырабатывали. В общем, все время налетала авиация. Правда, бомбы сбрасывали в другом месте. А потом перевезли меня в лагерь... название не могу вспомнить. В этот лагерь отбирали...

К.С.: В который вас перевезли?

М.Л.: В который перевезли и в который этот изменник родины, власовец, генерал-то приезжал. Видимо, он и попросил, чтобы меня в этот лагерь перевели. Там уже был Прохоров, в этом лагере.

К.С.: Он раньше вас туда был переведен?

М.Л.: Раньше меня.

К.С.: Без объяснения, куда, зачем...

М.Л.: Они ничего не объясняли. Привезли меня туда, и я узнаю: в этот лагерь отбирают со средним и высшим образованием. Главным образом, специалистов отбирают в этот лагерь. Спрашиваю, для чего это делается. Начинаю разведку. «А, — говорят, — они проходят потом двух-трехнедельные курсы. Потом их возят на германские заводы, показывают, что за промышленность немецкая. А потом отсылают в оккупированные наши области. Инспекторами училищ, учителями, в администрацию. Рангом пониже — в полицию посылают местную. И целый ряд других... То, что требуется для оккупированных областей».

К.С.: Значит, сначала курсы, потом показывают германскую мощь промышленную...

М.Л.: Да, а потом отсылают туда.

К.С.: Какой же это период? Лето уже?

М.Л.: Это уже были сорок второй — сорок третий годы.

К.С.: Уже после Сталинграда или до?

М.Л.: После Сталинграда. В одном из лагерей я услышал о том, что у немцев вышло со Сталинградом. Преподавали на этих курсах бывшие русские немецкой национальности, жившие в России. Приходят и начинают рассказывать то, что более или менее можно говорить. Что немцам под Сталинградом очень попало. Объявлен двухнедельный траур.

К.С.: Это уже на курсах говорили?

М.Л.: Да, говорили на этих курсах. Я на курсы не ходил. Ни на одной лекции не был. Они меня и не принуждали. Я говорю: «Я не собираюсь на оккупированную территорию ехать и поэтому мне нечего на этих курсах делать». А Прохорова я послал: «Иди, узнай, что там на этих курсах делается». Ну, там главным образом речь о новом

порядке. Как немец будет устанавливать новый порядок. В чем он будет заключаться. Они так называемую «трудовую партию» создавали. Трудовая народная партия — так, кажется, называлась она.

При мне была отправлена только одна группа в нашу оккупированную область. Но к этому времени я связался почти со всеми слушателями, с кем можно было связаться. Кто не вызывал сомнений. Было бы обидно, если наша советская молодежь пойдет не по тому пути, по которому она должна была идти.

У меня сейчас очень много писем от таких людей. Я им говорил: «На курсы идите, не вызывайте никаких подозрений. Будьте активны там. Поезжайте, смотрите заводы. А как только вас переведут на нашу местность, уходите сразу к партизанам». Таких очень много было послано людей. Есть такой Лукин. Писатель, кажется. Александр Александрович. «Чекист» — его книжонка. Не читали?

К.С.: Нет, не читал.

М.Л.: Еще что-то он пишет.

К.С.: Он был на этих курсах?

М.Л.: Нет, он здесь был. Работал в штабе по партизанскому движению. И он знает, сколько людей, которых я пересылал, переходило в партизанские отряды.

Забегая вперед, скажу вам. Приходит он как-то в Советский комитет ветеранов войны, подходит ко мне и говорит: «Вы не знаете генерала Лукина?». «Знаю, — говорю. — А вам зачем?» — «Да мне хотелось с ним поговорить». Я говорю: «А что такое? Может быть, я ему передам что-нибудь?» — «Да вот я, — говорит, — работал в партизанском движении. А он, когда был в плену, посылал. И от него много людей переходило в партизанские отряды». Я говорю: «Наверное, ругали сволочь, предатель». — «Нет, что вы. Они очень хорошо о нем отзывались». Я говорю: «Ну, я ему передам». Потом через несколько дней мы с ним разговорились уже.

Большинство из тех, с кем мы разговаривали, уходило в партизаны. А по окончании, когда сливались с Советской Армией, их брали за шкуру и судили. По десять лет давали. Потом, позднее, многим пришлось писать. Они просили помочь им, чтобы снять с них судимость. Со всех, кто ко мне обращался, судимость снята.

Один раз вызвали меня в суд. Один военнопленный, мальчишка, техник-интендант 2-го ранга. Отец его был работником нашего посольства в Италии, во Франции когда-то работал. Мальчик этот знал немецкий, французский и итальянский языки. Хороший парнишка такой, тяжело был ранен в руку. Он был в штабе 33-й армии у Михаила Григорьевича, который застрелился-то...

К.С.: Ефремова?

М.Л.: Ефремова. Хороший парнишка такой, А когда кончилась война, он быстренько — на машину и поехал в Париж. А из Франции — в Италию. А когда приехал обратно, его за шкуру — десять лет, как шпиону. Немецкий шпион, французский шпион, итальянский шпион.

Меня вызвали. Сначала вызвал начальник особого отдела Московского округа и говорит: «Вы знали такого-то?» Я говорю: «Знал». — «Вы дали характеристику?» Отец ко мне приходил на квартиру и говорит: «Вот мне сын писал, чтобы я к вам обратился. Его вот так-то и так-то судили. Он десять лет получил, но подал, чтобы пересмотрели его дело». Я дал характеристику за то время, которое я с ним лежал в госпитале. Рядом были наши койки в госпитале.

Начальник особого отдела говорит: «Вот вы дали характеристику. А вы знаете, что он шпион?» — «Нет, я этого не знаю». — «А зачем же давали?» Я говорю: «Я дал за то время, за которое знал, как он себя ведет. Ведь это же на моих глазах было. Месяца полтора я с ним лежал в этом госпитале. Я знаю, что это за человек. Мы с ним разговаривали, я нутро этого человека знаю, что он никакой не шпион. Он советский офицер, техник-интендант 2-го ранга». — «Ну, в общем, он шпион. Вы должны эту свою характеристику забрать. Вот она, — и отдает мне характеристику. — Напишите

характеристику другую». Я говорю: «Я писать никакой другой характеристики не буду». — «Нет, вы обязаны это сделать, для того, чтобы помочь нашему правосудию». Я говорю: «Нет, я менять ничего не буду. Я дал характеристику за то время, что был с ним вместе. А что он делал во Франции и дальше без меня, я не знаю. За это я не отвечаю».

Тогда он начал по-другому и говорит: «Ну, я понимаю вас, генерал. Вы вот вышли, свободу вам дала советская власть. А вы под влиянием этого хотите благодеяние сделать и для других. Я вас понимаю, ваши хорошие чувства. Но вы не помогаете правосудию, а тормозите это дело. Ведь в деле будет ваша бумага лежать». — «Нет, — я говорю, — изменять я не буду». «Ну, это мы посмотрим», — сразу меняет тон и начинает на меня кричать. Я говорю: «Вы на меня не кричите, я не боюсь. Я смерть видел, все прошел, все испытал, и я вас не боюсь». — «Так вы не измените?» — «Нет». — «Жалеть будете потом». — «Ну, это, — говорю, — посмотрим, можно идти? Отметьте пропуск». Отметил пропуск, и я ушел. Суд состоялся. Меня вызвали в качестве свидетеля.

К.С.: Это еще при Сталине все происходило?

М.Л.: При Сталине. Это я забегаю вперед, чтобы потом к этому не возвращаться.

Суд сидит. Ввели его. Константин Михайлович, видели бы вы, какими глазами он на меня смотрел, этот парнишка! Он смотрит на меня, я понимаю, что он что-то хочет мне сказать, но не может. Суд спрашивает: «Признаете себя виновным?» — «Да, признаю». Признал себя виновным. И опять на меня смотрит. Думаю, что-то неладное здесь. Вот не хочется верить, понимаете. И ему еще пять лет прибавили к десяти годам.

К.С.: Это вместо того, чтобы... так ему еще добавили?

М.Л.: Да, да, еще прибавили пять лет. Я уходил с тяжелым-тяжелым сердцем. Не мог поверить. Понимаете, ну, не мог. Видимо, он боялся, что с ним что-нибудь еще хуже будет.

К.С.: Лупили, наверное.

М.Л.: Не знаю, не знаю, не могу сказать. Но такими глазами он на меня смотрел, этот парнишка!

К.С.: А потом что с ним было, не знаете?

М.Л.: Не знаю.

Меня спрашивали, что из себя представлял лагерь этот. Я рассказал, что это такой лагерь, куда отбирали людей. Некоторые сознательно там работали. Но большинство людей думало, что пройдя эти курсы и попав на свою территорию, они идут в партизаны. И вы знаете, что много пошло в партизаны людей этих. Между прочим, наша разведка не совсем истинное представление имела об этом лагере, что там все изменники. Это неправильно и неправда. Я сейчас веду переписку со многими людьми, которые оттуда и работают здесь.

Врачи и сестры были присланы в этот лагерь. Приходит ко мне врач одна и говорит: «Что же делать-то? Вот нам говорят — берите паспорта без подданства». Я говорю: «Зачем вам это надо-то? Вы не берите, вы военнопленная. На черта вам это надо? Что это такое за паспорт без подданства!» — «Говорят: “Свободно будете ходить. Где-то работать будете”». — «А на черта вам эта свобода нужна? Зачем вам свобода? Вы же все равно у врага находитесь». — «Вот, а нас некоторые склоняют — берите эти паспорта». Я говорю: «А как домой вы приедете? Раз вы получили паспорт, значит, вы от своего гражданства отказались. Ведь так же получается-то». — «Вот хорошо, что вы нам растолковали».

Ну, в общем, много было народу хорошего, и дрянь был народ. Там был начальник штаба одной из дивизий, не помню, какой... Шмаков. Подполковник Шмаков. Он сказал, что на курсы эти он не поедет. А тех, кто на курсы не ехал, их отсылали на сельскохозяйственные работы к немцам, к бауэрам. Его послали на

сельскохозяйственную работу, и там он подговорил ребят, чтобы они воровали картошку. Чтобы картошку больше в земле оставляли. Потом еще какие-то вещи такие делали. Бауэр несколько раз избивал его и других товарищей, а потом его вызвали в Потсдам в гестапо. Он, проезжая, зашел к нам в лагерь. Мы говорим: «Имей в виду, дело может плохо для тебя кончиться». Он говорит: «Я понимаю, товарищ генерал, на что шел». Не вернулся больше человек.

В паровозное депо в город Ниерюпин были отобраны инженеры-паровозники, человек двадцать пять, чинить паровозы. Они взяли паспорта без подданства. После окончания курсов были отобраны туда. В выходной день они приезжали в лагерь. С ними больше дело имел Прохоров, а я так, косвенно к этому делу был причастен. Но я знал об этой работе, которую проводил Прохоров. Он давал задания делать так, чтобы где-то на перегонах выходили детали из строя. Чтобы паровозы опять в ремонт возвращались. Но делать так, чтобы незаметно это было. Там, где все обыкновенно собирались и курили, немцы устроили подслушивание и двоих забрали в гестапо. Забрали их туда, и вдруг приходит в лагерь немец и говорит: «Герр Прохоров, завтра поедете в гестапо. Вас повезут». Прохоров был тоже очень тяжело раненый. Это мой начальник артиллерии. Он был у меня в 16-й армии, потом я его перевел в 20-ю. Очень хороший, знающий генерал. Он был тяжело ранен и, когда немцы подходили, стрелялся. Пуля прошла на несколько сантиметров от сердца, так что он себя не убил.

Привезли его. Гестаповец допрашивает и говорит: «Знаете такого-то?» — «По фамилии, — говорит, — я никого не знаю, а увижу, может быть, узнаю». Хотя он знал по фамилии. «Мы устроим вам очную ставку». Ввели. Входит товарищ, которому Прохоров давал задания. «Узнаете?» — «Да, — говорит, — я его знаю. Он был в лагере, приходил в воскресный день». — «Вот он говорит, что вы давали ему задания». А тот прямо: «Я от генерала Прохорова никаких заданий не получал». Прохоров говорил, что в его лице даже трудно было признать что-либо человеческое. Всё в синяках, вздутое. И руки чем-то завязаны сзади. Изможденный. «Вы его знаете?» — спрашивают Прохорова. «Знаю, видел его, но никаких заданий не давал». Тогда обращаются к нему: «А ты знаешь, что с тобой будет? Ты же показал, что ты знаешь». — «Нет, на Прохорова я не показывал и не показываю». Человек, который знает, что его расстреляют, добьют его, и не выдал генерала. Понимаете, какие люди там были, а? Инженер, фамилии даже не знаю.

Эти девушки, которым я говорил, чтобы не брали паспортов без подданства. Некоторые взяли паспорта, а некоторые не взяли. Их отправили куда-то, на какую-то работу. На какую, не знаю. Потом вдруг говорят, что будет отправка на временно оккупированную нашу территорию. Говорили, что на территорию Украины или Белоруссии. Приходит ко мне один и говорит, что среди отправляемых есть украинский националист, сволочь, которого надо опасаться. Я говорю: «Странное дело. Вы ходите в лес, свободно ходите. У вас паспорта есть. Вахту несут ваши люди. Он же может из леса не вернуться». — «Понятно». И в один прекрасный день нашли его повешенным. Сделали это так, как будто он сам повесился. Но немцы отлично понимали, что причин никаких нет ему повеситься. Был зачитан приказ. Отправку задержали, но потом все же отправили.

У меня есть несколько писем. Когда стало в газетах появляться, что генерал Лукин выступал где-то по какому-то случаю, и вот некто пишет: «Дорогой товарищ генерал, когда я прочитал вашу фамилию, я аж так хохотал-хохотал до слез, хохотал, что это вы — тот человек, который наставил нас на путь истинный...» Такое безграмотное письмо. Было от души приятно получать такие письма. Жалко, что эти люди все по десять лет отсидели. Все по десять лет за измену родине. Особых-то улик не было, но вот за то, что были на этих курсах. Хотя потом некоторые воевали два года. Некоторые три года воевали, а все равно... Даже вот такой был случай. Один генерал

был, фамилию не могу его вспомнить... Пленный генерал был. Бежал из плена, пришел к партизанам...

К.С.: Не Бутыхо?

М.Л.: Нет. А Бутыхо был у партизан?

К.С.: Да. Перешел туда, командовал, а потом его расстреляли.

М.Л.: Наши?

К.С.: Наши, да.

М.Л.: Так вот и этого генерала. Он попал к партизанам. К Федорову, дважды герою, на Украину. Был начальником штаба у него два года. И все разработки, по которым Федоров воевал, — это его работа. Очень толковый генерал, потомственный рабочий: дедушка рабочий, отец рабочий, сам он рабочий был, металлист. А когда с Красной Армией партизаны слились, его берут за шкурку — и на Лубянку. Вместе с нами он сидел. Ну, потом всех нас выпустили, а он на Лубянке остался.

К.С.: И долго просидел?

М.Л.: Порядочно.

К.С.: Но жив остался?

М.Л.: Да, он и сейчас живет. Сейчас восстановлен в партии.

К.С.: Интересная судьба.

М.Л.: Да. Окончил Академию Генерального штаба, преподавателем был там, потом ушел в отставку. Сысоев фамилия его...

Так вот, в этот лагерь немцы присылали на отдых легионеров всех национальностей — кавказских и среднеазиатских. Большинство из них записалось в отдельные команды — не добровольно, как они теперь говорят. Не знаем, как. У наших изменников был знак «РА», а у них — лошадь. Еще какой-то знак был, черт его знает. Масса там было всяких. И вот один из этих батальонов легионеров был прислан на отдых. Где он был, я не могу сказать. Одни говорят, что в Польше. Охраняли склады. А дрались ли там с партизанами, нет ли, я не могу сказать, потому что они мне этого не говорили. Второй батальон прибыл из Крыма. С татарами что-то там... Опять не могу сказать, что-то путанное... Второй батальон был украинцы, самостийники. И вот как-то я сижу на завалинке, подходит ко мне унтер-офицер, прихрамывает, с палочкой. Украинская национальная форма у них. Она так-то не отличалась от общей, только какие-то другие знаки были. И говорит: «Здравствуйте, папаша». А у меня борода была большая, скобелевская, на две стороны. Я говорю: «Во-первых, я тебе не папаша. А ты, так твою мать, ты — изменник! Иди отсюда!»

А через некоторое время приходит унтер-офицер немец. Он немецкой национальности-то, но — в этом батальоне. Приходит и говорит: «Товарищ генерал...» Я говорю: «Почему товарищ генерал? Господин у вас». «Ну, — говорит, — господин генерал, уезжаем сейчас. Опять отправляют нас, куда не известно. Может быть, какие-нибудь задания дадите, пятое-десятое...» Я говорю: «Что?! Какие задания? Да ты что, с ума сошел? Бить надо русских! Какое тебе задание! Знаешь, как надо? Чтобы свободная была Россия. А ты мне что говоришь?» Он ушел.

А это уж начали подсылать, потому что среди этих кавказцев были хорошие ребята. Сейчас я с ними веду переписку. Там армяне были и азербайджанцы. Хорошие ребята. Сами ли попали они или как-то их завлекли. Но ребята после, может, одумались, связались со мной, вели большую работу, чтобы в случае чего переходить к партизанам, если отправят их обратно. В общем, чтоб не работать на немцев. И они предлагали мне: «Товарищ генерал, вот если мы поедем, мы вас увезем. Мы поедем в Польшу. Что мы вас провезем, мы ручаемся. А в Польше передадим вас партизанам».

Я себе думаю так: «Ну, предположим, я с ними поеду. Предположим, я приехал туда. Они отдали партизанам. Предположим, что меня берут туда. А кто мне поверит, что это не подделали немцы?» — «Нет, — говорю, — на это не пойду, ребята. Тут будем доживать, пока кончится война». Ну, им тоже по десять лет всем дали.

А потом такой случай еще был. Стук в дверь. Я один в комнате был, комнатка у меня небольшая. «Войдите». Входит. Коричневое пальто, желтые ботинки и желтый портфель, в шляпе. «Можно?» — «Можно». — «Вы один?» — «Один». — «Чтобы не было никаких недоразумений, я вам прямо скажу: я бывший комиссар такого-то полка (и назвал какой-то номер). В плену. Сейчас работаю в гестапо. Мне тут наши ребята сказали, что вы ведете пропаганду...» Я говорю: «Что вы, какую пропаганду я могу вести? Да разве можно здесь пропаганду вести? здесь изменник на изменнике! Зачем мне это надо? Я раненый, я пленный, какую я могу вести пропаганду?» — «Да нет, вы не бойтесь. Я вам прямо сказал, что работаю в гестапо. Но работаю я на своих». — «Нет, — я говорю, — я ничего не знаю. Вы меня в это дело не путайте. Знать ничего не хочу».

Потом я ребятам даю задание (а этот человек — азербайджанец) выяснить, что это за фрукт такой. Одни говорят, как будто бы ничего. Другие говорят — в гестапо работает. Черт его знает, что за человек. В общем, по крайней мере, надо быть очень осторожным.

Короче говоря, когда нас уже перевели в Париж, этот человек вдруг является. Там еще был второй, которого я раньше не видел в лагерях, но знаком был с ним по Москве, когда был комендантом города Москвы, а он был оперуполномоченным по Москве.

К.С.: Важным чином был?

М.Л.: Из оперуполномоченных. Пришли в Париже, говорят: «Что вам надо?» Я говорю: «Как, что мне надо? Мне ничего не надо».

К.С.: А по национальности кто этот оперуполномоченный был? Русский?

М.Л.: Нет, азербайджанец. Красивый такой, хороший парень. По-моему, азербайджанец. Да, наверное, азербайджанец. Приходят они и говорят: «Что вам, Михаил Федорович, нужно?» Я говорю: «Ну, что мне нужно?» «Ладно, мы вам портсигар принесем».

Бежавшие наши, которые были там, во Франции, работали с сопротивленцами. Потом, когда война-то кончилась, нужно сказать, что они там творили нехорошие дела, между прочим. Всякая сволочь была. Видимо, деньги хватали везде, где можно было, и всё такое. Ну, купили мне портсигар, а Снегову — такой генерал был — тому золотые часы подарили. Ну, я от золотых часов отказался. Я знал, что своих денег у них нет, и на какие деньги они купили эти часы, черт их знает. А на какие-то я не хотел.

К.С.: А они что, за это время перешли во французское Сопротивление?

М.Л.: Нет, они приехали в наше консульство, к нашему консулу и там у него работали. По отправке наших сопротивленцев на родину.

К.С.: А до этого они у немцев кем же были?

М.Л.: Один-то работал в гестапо...

К.С.: А другой? Из Москвы приехал?

М.Л.: Нет, он тоже пленный. Я его не видел в лагере никогда. Видимо, тоже работал в гестапо. А может, и не работал. Я не знаю, боюсь вам сказать.

К.С.: Может, двойная работа. Тоже могло быть?

М.Л.: Может, двойная. Могло и это быть. Не знаю. Побыли там они, сказали: «Скоро вас будут отправлять, за вами скоро приедут». Дали мне характеристику хорошую.

К.С.: Кто?

М.Л.: Вот эти, работавшие в гестапо-то. Я взял на всякий случай, а потом порвал ее. Ну ее к черту, думаю, свяжешься с этой характеристикой, на черта она мне нужна.

Потом, несколько лет назад, вызывали в партийный комитет, в Контрольную комиссию партийную о восстановлении в партии. Он показал, что вот Лукин знал

меня. Я говорю: «Я знал вот так его. А что он делал, как делал, черт его знает. Он говорил, что ведет патриотическую работу, но как это было, я не могу ничего этого сказать. Ни плохого, ни хорошего». Я им рассказал так, как было дело. Не знаю, восстановили его или нет. Консула надо как-нибудь спросить. У меня, кажется, телефон его есть. Консула потом вызывали тоже. Бывшего нашего консула в Париже.

К.С.: Не Василевский был консулом?

М.Л.: Нет, не Василевский. Я еще про этот лагерь хочу сказать.

«Равнение на советского генерала!»

М.Л.: В этом лагере был один профессор, фамилию сейчас не могу вспомнить. Он заведовал библиотекой в этом лагере. Профессор математики.

К.С.: Библиотека была в лагере?

М.Л.: Большая библиотека была. Вывезена из оккупированных областей. Я ходил туда книги брал и читал. Там была такая книжонка, брошюрка ходила среди военнопленных, в особенности, среди украинцев. Смысл такой, что князь какой-то украинский, не помню, в каком это было веке, хотел отдать дочь свою Анну за какого-то немецкого барона или герцога, я не помню сейчас. Но эта свадьба не состоялась, а оттуда пошло родство немецкой с украинской кровью. Смысл такой. Я искал эту книжонку, чтобы самому прочитать, узнать, в чем там дело. Так я с ним познакомился. Василий Васильевич его звали. Настоящее ли это имя и отчество — не знаю. Там многие не свои фамилии носили. «Так что же вы делаете, Василь Васильевич?» — «А я вот организую казачий комитет». — Я говорю: «Есть русский комитет, есть украинский комитет, зачем вам казачий? Ведь вы же русский. Для чего вам казачий-то комитет?» Он говорит: «Казаки — это особое сословие, самостоятельной республикой могут быть». — «И вы что же, хотите возглавить эту республику?» — «Я не знаю. Меня это не интересует, кто будет возглавлять. Я вот казачий комитет хочу организовать».

И, кажется, ему удалось это дело. А главным образом он, стервец, через этот комитет помогал в формировании казачьих частей для Краснова¹. Краснов же формировал казачьи кавалерийские части, которые воевали в Югославии. На нашем русском фронте их не было. В какой-то степени он, мерзавец, помогал ему, Василий Васильевич этот.

Прибыли туда работать два новых наших офицера. Или он отобрал, или как-то... Я стал вызывать их по одному и говорю: «Почему вы сюда, в этот лагерь приехали? С какой целью?» — «А вот по рекомендации Василия Васильевича работать в библиотеке». — «А вы знаете, что он затевает, этот Василий Васильевич? Он комитет хочет организовать. А потом еще что-нибудь. А потом вас куда-нибудь пошлют. Вы как на это смотрите? Пойдете или не пойдете? Вы же русские офицеры, офицеры Советской Армии». — «Да мы не знаем ничего». Я говорю: «Вы лучше из этого лагеря постарайтесь уйти. Не надо вам здесь». Я вижу, что они — ни то, ни се. Знаете, людей можно совратить как-нибудь. Тем более, что они, видимо, знают его, были с ним в каком-то

¹ Краснов Николай Николаевич (1918—1959) — казачий атаман, эмигрант. Родился в Москве в семье полковника Генерального штаба. В 1919 году вывезен родителями в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Окончил юнкерское училище, служил в Югославской королевской армии. После нападения Германии на Югославию принимал участие в боях с немцами, попал в плен. После освобождения из плена вступил в немецкую армию и добился направления на Восточный фронт. Воевал в составе дивизии «Бранденбург». При организации Русского охранного корпуса на Балканах вступил в его ряды. После окончания войны выдан в СССР, где был осужден на десять лет лагерного режима. Освобожден как иностранный подданный в 1955 году. В дальнейшем жил в Аргентине.

плени. Почему-то он их фамилии запомнил и вытребовал их. Значит, видимо, они вели какие-то разговоры.

Я считал, что это люди ненадежные. Я им говорю: «Я бы вот что вам рекомендовал: постарайтесь как-нибудь, попросите Василия Васильевича, скажите, что вы не подходите ему. И он вас сумеет откомандировать в другой лагерь куда-нибудь». — «А почему вы здесь?» Я говорю: «Ну, это другой вопрос, почему я здесь». Не стал с ними пускаться в объяснения. Тем дело и кончилось у нас.

Когда эти двое вернулись, то были арестованы. Один отсидел, а другой на меня показал, чтобы я дал характеристику ему. Меня вызвали в особый отдел, к прокурору Московского округа. И тот говорит: «Вот такой-то такой-то просит вас характеристику дать». Я говорю: «Там двое было. А второй?» — «Второй, — говорит, — умер, нет его».

Поскольку этот человек в казачий комитет не вошел и работы никакой не вел, я дал ему характеристику. То есть рассказал, как было. Как я его вызывал, как он мне ответ дал. И я лично считаю, что он ничего антисоветского не сумел сделать и не делал. Что у него в мыслях было, я этого не скажу. Не знаю. Но он ничего антисоветского не сделал и антисоветских кампаний в этом лагере не вел. Только выдавал книги. Иногда даже меня предупреждал, с кем Василий Васильевич ведет разговоры и о чем ведутся разговоры. Я дал ему довольно сносную характеристику, и он был освобожден.

Что характерно еще в этом лагере. Вдруг немцы у всех инженеров, работающих под землей в шахтах или где-то там, просят характеристику: какой вуз окончили и т.д. Хотят куда-то отправить. Я вызвал одного инженера и говорю: «Слушай, нельзя это дело делать-то. Значит, вы будете какую-то пользу им приносить. Нельзя этого делать». Он говорит, что уже многие подают, пишут. Я говорю: «Веди работу. Нельзя».

И эту работу сорвали мы. Об этом узнал начальник лагеря Френцель и говорит коменданту: «Вот, создали условия двум генералам! Вы знаете их — Лукин и Прохоров. Они ведут разлагающую работу. Немецкая армия еще сильна, немецкое государство сильно. Мы победим все равно, а они будут рассчитывать. Как они будут рассчитывать, когда кончится война?»

И еще случай. Медицинская часть. В ней — маленькая радиостанция для передач по лагерю. Приходит ко мне радист и говорит: «Михаил Федорович, я могу собрать передатчик». «Ну что ж, хорошее дело, собирай», — я ему говорю. Потом он опять приходит ко мне: «Я собрал. Передатчик работает». — «А ты опробовал его?» — «Опробовал». А ребята увидели, что он зачастил ко мне ходить, предупредили, чтобы особенно я не откровенничал с этим человеком.

К.С.: Передатчик или приемник собрал?

М.Л.: Передатчик. «Я, — говорит, — собрал. Что передать? У вас есть какие-нибудь позывные?» Я говорю: «Какие у меня могут быть позывные? Если и были позывные, они давно уже кончились. Нет, — я говорю, — я не могу этого сделать». «А у меня, — говорит, — все готово, я могу передать». А потом мне через некоторое время говорят: «Никакого у него передатчика нет. Он просто вас провоцирует». И когда он еще раз ко мне пришел, я ему сказал: «Что же ты, сволочь, купить меня хотел, да? Как тебе не стыдно? Ты же знаешь, что я ничего не могу сделать. Я пленный. А ты что же, хотел на мне заработать что-нибудь?» Плакал, каялся: «Михаил Федорович, знаете, меня все время уговаривают узнать, о чем генерал рассуждает...» В общем, это дело так и кончилось.

А через некоторое время приходит бричка, нас с генералом Прохоровым сажают в эту бричку и увозят. Увозят нас опять в Берлин, а из Берлина — из подберлинского лагеря везут нас уже в город Мосбург. Тут ночевали мы в разных камерах в полицейском участке. В два раза уже вашей комнаты. Без окон. Без дверей. Когда я попал туда, у меня сердце сжалось. А почему нас поместили туда? В лагерь, куда нас хотели везти, нельзя было доехать — снег очень большой выпал. И оттуда запросили военнопленных, чтоб приехали за мной.

Да, я еще одно не рассказал. Как-то путается у меня. В одном из лагерей в Нюрнберге я был. Лагерь наших военнопленных. Когда приехала машина туда, и все услышали: русского генерала привезли. А генералов они не видели еще, наши военнопленные. И тут я вылезаю. Немцы ушли, я вылезаю через борт, мне помогли, и вдруг раздается команда: «Смирно! Равнение на советского генерала!» И подходит военнопленный, печатает шаг и отдает мне рапорт: «Товарищ генерал, в этом лагере все обстоит неблагоприятно. Народ умирает, как мухи!»

В это время немцы выбегают: «Кто, что, как?!» Народ стушевался, но этого человека не нашли. Я даже растерялся тогда. А когда немцы ушли, ребята собрались на кухне, говорят: «Товарищ генерал, что вы знаете? Ориентируйте нас, как и что». Я им начал говорить, что дело движется к концу — это уже был конец сорок третьего года, — дело идет на лад. Победа обеспечена, только держитесь, ребята. А они говорят, что вот у нас тут всякие провокации распускают, что советской армии уже нет, разбита. «Как разбита! Да вы только почитайте газеты». «Да газет, — говорят, — не дают сюда. Только когда выходим на работы, случайно получаем газеты».

И какая-то сволочь все передала. Приходит фельдфебель немецкий и говорит: «Сбрить бороду!» А я говорю: «Я не дам брить бороду». — «Сбрить бороду». — «Не дам». Разругались, ушел. Врач: «Почему вы бороду не бреете?» Я говорю: «Я ношу бороду». — «Вы были без бороды, когда вас снимали, когда прибыли в плен». Я говорю: «А здесь я отрастил, потому что бритв нет. А топором бриться я не хочу. Тупые топоры».

Услышали в соседнем лагере и стали сразу собирать деньги. Много собрали немецких марок. Французы давали и те, которые работали у немцев. Они какую-то часть марками получали. В общем, собрали денег. Я думал пробыть в этом лагере несколько месяцев, а меня на третий день — раз, два — в тележку и на станцию отвезли. Уже не на машине, а на тележке.

К.С.: А на что собрали деньги?

М.Л.: Генералам передать собрали деньги.

К.С.: Ах, передать с вами?

М.Л.: Да, со мной передать. Хотя купить там было ничего нельзя. Единственно, что можно было купить — горчицу. Кислую немецкую горчицу. Но для нас и это было приятно — горчица эта с хлебом. Приятно что-нибудь кисленькое. А больше ничего. Воду можно было покупать. Не простая вода, а...

К.С.: Минеральная.

М.Ф.: Не минеральная, а какая-то...

К.С.: Газированная, содовая.

М.Л.: Да, что-то такое.

Ну, вот, повезли меня — я рассказываю дальше, — приехали сани и матросы наши. Матросы не пленные, а интернированные. С торгового флота. Они находились в отдельном помещении. Они приходили с субботы на воскресенье, а в понедельник уходили обратно, на разные работы. И вот мы едем. Не едем, а везут меня. Для них это, конечно, ново — генерал приехал.

К.С.: А вы бороду не сбрили?

М.Л.: Нет, с бородой. Ну, я вел с ними разговор. Немец где-то впереди, можно было вести разговор. Они меня спрашивают, я их расспрашиваю. Мне говорят: «Тут и сволочи есть. В вашем лагере, куда вы попадете. Там есть Мальцев такой — предатель. Мы уже знаем». Рассказали, какие генералы есть наши в плену. Они уже переписку с ними наладили. Приехали мы туда.

К.С.: Это где, в Западной Германии?

М.Л.: Это под Нюрнбергом. Западная Германия. Город Мосбург. Что представляла из себя тамошняя крепость? Это средневековый замок на высокой горе. Очень широкий ров, который, видимо, когда-то наполнялся водой. Потом стена. Колоссальная стена, широкая. А потом — здание и двор. А во дворе сделан бетонированный

колодезь и со всех крыш проведены трубы. Воды-то своей не было, а видимо, дождевая вода скапливалась туда для питья в случае осады. Наверно, так это было у них там.

Посмотрел я, когда приехал. Люди — это было во всех лагерях — или кости и кожа, или вот такие все опухшие. А как одеты! Я увидел генералов, ну, кто в чем. Генеральского ничего на них не осталось. Все уже сношено. Двухъярусные нары. Постельного белья никакого. Тюфячная наволочка, тюфячная подушка из стружек и одеяло.

А когда из госпиталя меня отправили, ребята мне дали две простыни. Но оттуда сейчас же сообщили, что генерал-лейтенант Лукин увез две простыни. Я прихожу с прогулки, и у меня их отобрали. Но у меня была третья простынь. Где-то я раньше эту простынь прикарманил. Смотрю, все наши генералы двумя пальцами сморкаются. Я говорю: «Что же, платков что ли нет у вас?» — «Нету платков». (Это я вам для характеристики говорю только.) Я говорю: «Вот простынь, — и даю ее старшему генералу, — разрежьте на платки эту простынь». Они преспокойно разорвали, разрезали на платки и поделили платки. А потом смотрю — у них у всех простыни есть, у сволочей. А я последнюю простынь им отдал.

К.С.: У них были простыни в запасе?

М.Л.: У них и платки были. Просто по привычке они пальцами сморкались.

Привез я продуктов всяких, мне французы надавали. Сначала у меня отобрали, отдали Мальцеву — этим изменникам родины, группе его. Я запротестовал, к коменданту пошел жаловаться. Часть они сожрать успели, а часть у них отняли и вернули мне. Я все распределил.

К.С.: А этот Мальцев отдельно, что ли, сидел?

М.Л.: В другой комнате. С нашими же. Мы, генералы, отдельно сидели. А в той — ниже майора никого не было.

К.С.: А Мальцев подполковник был?

М.Л.: Кажется, майор он был. Но это явная антисоветская сволочь, его сюда поместили. Почему — не знаю. Видимо, для информации, что ли, или для разложения. Группка такая. А остальные — майоры, подполковники и полковники — это те, которые отказались на немцев работать на заводах, на фабриках, где бы то ни было. Видимо, к ним эту сволочь и подослали.

Разделил я продукты. Ну, досталось там каждому понемножку. Но хоть попробовали, для ощущения. Ничего же там не было.

К.С.: Сколько там генералов было,?

М.Л.: Человек двадцать нас было. Больше двадцати генералов и два комбрига.

К.С.: Одна комната?

М.Л.: Одна большая комната.

К.С.: И только советские в этом лагере были?

М.Л.: Только наши. А там, где моряки, там были и евреи какие-то, чехи были и еще какие-то. Тоже все это отдельно, в другой части. Мы с ними не соприкасались.

Вдруг разносится слух, что образован комитет власовский. Я забыл это сказать раньше. Как-то непродуманно у меня получается. Можно вернуться назад?

К.С.: Конечно.

Два Власова — герой и предатель

М.Л.: В том лагере, где были курсы, ко мне приезжал генерал. Тот самый, что приезжал за мной и в Люккенвальдский госпиталь. Он тут работал на курсах. И приезжал Малышкин. Приезжала и еще одна сволочь — генерал, который работал в генеральном штабе по нашим укрепленным районам. Вот его я и спрашиваю: «Что же ты там делаешь у них? Какую работу проводишь?»

К.С.: А он уже в немецкой форме или нет?

М.Л.: Не было еще у него формы, но он уже должен был форму получить. Комитета, как такового, еще не было. «Да вот, — говорит, — листовки пишу, потому что немцы, сам знаешь, какие неудачные пишут листовки». Знаете, какие нескладные они писали листовки? Я говорю: «А ты что же, подправляешь им это дело?» Он говорит: «Подправляю. А что делать? Попал я в эту грязную историю». Я говорю: «А кто же тебе велит дальше-то продолжать?» — «Что же теперь делать, когда я уже влип». Я говорю: «Надо бежать». — «А как бежать? Одних-то нас не пускают. Куда же я убегу-то?» — «Застрелись тогда». — «Оружия-то не дают». Я говорю: «Эх вы! Как же так? Работаете на немцев... Против своих работаете, а вам даже оружия не дают». — «Мало этого, мы, — говорит, — получаем солдатский паек: три сигареты в день». В тылу-то только три сигареты давали солдатам.

И Малышкин ко мне приезжал.

К.С.: Что он представлял из себя? Он начальником штаба был у вас?

М.Л.: Начальник штаба. Грамотный. Несколько медлительный в работе, но очень грамотный. Я ему говорю: «Ну чего ты-то в это дело полез?» Он говорит: «Михаил Федорович, черт его знает! Ведь я бы не сказал, что я против советской власти. Я бы не сказал, что она мне так уж ненавистна. Мне только обидно было, что меня посадили, что я сидел». — «Тебя же выпустили все же, а ведь другие и до сих пор не выпущены». Он мне говорит: «Ведь генерала-то мне не дали, когда всем давали». — «А я тебя, — говорю, — представил. Может быть, ты уже генерал».

К.С.: А он кем был по должности?

М.Л.: Начальник штаба армии.

К.С.: Вашей?

М.Л.: Ну да. У Конева был, а от Конева перешел ко мне.

К.С.: А он попал в плен во время этого Вяземского...

М.Л.: Он со мною вместе. Только не там, где я. Чтобы о нем больше не говорить, скажу еще, что он ко мне приезжал и в Берлин, в госпиталь. Я говорю: «Ну, чего ты опять приехал ко мне?» — «Отвести душу. Вот ты раненый, а ты же не пошел, удержался». — «А тебя кто заставлял? Ведь тебя силой-то не тянули. Ведь ты знаешь, что и мне предлагали. Ведь Власов и ко мне приезжал». — «Знаю». — «Почему же я-то не пошел? А почему ты пошел? Что тебя заставило?» — «Обида, Михаил Федорович». — «Ну, какая обида? Ты говоришь, что тебе генерала не дали. Но ты же был начальником штаба армии. Получив генерала, ты мог командовать армией. Мог начальником штаба фронта быть. Ты же грамотный человек. Ну как же это так?» — «Вот так вот, попал. Что меня заставило, я даже сам не знаю. У меня семья осталась. Семью, наверное, арестовали». Я говорю: «Наверняка арестовали. Ты же изменник родины. Ты должен был об этом подумать». — «Да вот, — говорит, — еще хуже. Не знаю, насколько это правда, не ручаюсь за это... Посылали мы делегацию к наместнику русского престола в Париж...» Я его спрашиваю: «Это немцы вас подтолкнули?» Он говорит: «Ну наверное. Без меня это было. Власов, наверное, по их указанию. Не думаю, чтобы сам. Пришли туда, камердинеру доложили. Камердинер выходит и говорит: “Его императорское величество российского престола приказал передать вам, что он с изменниками родины ничего общего не имеет”». — «Это царь-то?» — «Царь». Я говорю: «До чего вы дожили! Даже царь вас изменниками родины считает». — «Вот я и приехал с тобой душу отвести». — «А что же я тебе могу сказать? То же, что уже сказал, — стреляться надо. Из окна выбросись. Что хочешь, делай, но не твори грязного дела больше». — «Все пропало теперь уже. Я же вижу, пропало».

Потом Власов ко мне присылал двух адъютантов: чем он мне может помочь?.

К.С.: А сам он не являлся к вам?

М.Л.: Я и забыл сказать. Приехал в Устрав... Не в Устрав, а рядом — в Циценгос, где отбор шел. Приехал Власов и еще двое. Один, который меня сопровождал из госпиталя, — помните, я вам рассказывал, — и еще один, немец. Тот по-русски не знал

ничего. А может быть и знал, но делал вид, что не знает. Вел весь разговор Власов и второй этот. Власова я знал. Он был командиром 99-й дивизии, и его дивизия в сороковом году получила первенство в РККА. Потом, говорят, он хорошо командовал армией под Киевом, под Москвой, и потом его как хорошего командарма послали выводить вторую ударную армию на северо-западном направлении. Говорят, что он сдался в плен. Неправда. Он, — как он мне говорил, — три месяца ходил по лесам. Потом кто-то откололся от их небольшой группы. Видимо, сказал, что здесь генерал. Его и схватили.

К.С.: А вы лично не сталкивались до этого с ним?

М.Л.: Я только видел его на Военном совете сорокового-сорок первого года. Я его сразу узнал. Высокого роста, в штатском пальто. Он вынимает, дает мне лист: «Читай». Читаю: «Сталин, все Политбюро и правительство объявляются врагами народа. Я, такой-то, такой-то формирую армию. Немецкое командование дает возможность сформировать армию из бывших военнопленных советских граждан, и пойду освобождать родину». Я говорю: «От кого?» — «Ну, как от кого? Ты же знаешь, какая у нас система-то». Я говорю: «Знаю. Система такая, что ты вышел в генералы. Ты в мирное время был командир дивизии. Ты уже третьей армией командовал, тебе доверили. Ты Москву защищал. Когда-то очень неплохо защищал. А теперь ты хочешь...» — «Вот я предлагаю тебе первому. Поскольку ты старший генерал, тебе предлагаю». Я говорю: «Не ты предлагаешь, вот он, — на немца киваю, — предлагает. Потому что он знает, что я авторитетом в армии пользуюсь большим, чем ты. Я кадрами ведал, я десять лет командовал дивизией Харьковской отдельной. Я комендантом города Москвы был. Я в мирное время командармом был. Меня вся армия знает. Во всяком случае, высший командный состав меня знает весь. Вот почему они привезли тебя. Не ты, а они тебя надоумили».

К.С.: Он предлагал вам первым подписаться под этим?

М.Л.: Да. «Ты подпишись первым», — он мне уступает первенство. Я говорю: «Власов, я не хочу вдаваться, как ты партийный билет получил, что у тебя в душе было. Но ты пойми: ты поведешь русских на русских! Ты говоришь, Россию будешь освобождать! Ты был у них в лагере, ты видел, как они с нами здесь обращаются? Ты посмотри — вот избивает немец военнопленного». А в это время немец избивал пленного только за то, что тот двумя пальцами сморкался. А ведь платков-то ни у кого нет. И потом привычка у наших так делать. В лагерях вообще били — и по всякому поводу, и без всякого повода били. «Нет, Власов, и я не подпишу, и тебе не советую подписывать. Не будь Иудой. Ведь проклянут тебя, ты пойми». А он мне начинает: «Ты знаешь, как Курбский Ивану Грозному...» — «Да что ты берешь? Это совсем другое дело. И все равно — тот изменник. Пусть Иван Грозный был неправ к Курбскому, но ведь все равно же, он вел иностранные войска за собой. И ты так же поведешь. Ты слышал, как говорят: “Кафе только для немцев. Уборная только для немцев. Пятое-десятое — только для немцев”. Все для немцев. Слышал ведь, наверное, как они обращаются с нашим народом-то. Ты видел в лагерях... Где в лагере было двести тысяч, а уже к концу второго года там оставался десяток тысяч. Куда девались эти пленные? От чего сдохли эти люди? Вот я сейчас сижу здесь, а там опухшие люди ходят. Почему так получается? Не кормят, избивают, непосильная работа. Нет работы настоящей — камни из этого угла двора переносить в тот угол двора и обратно. До изнеможения. Ты ведь все это знаешь. Как же ты мог на это дело пойти?»

Тогда немец говорит: «А вы не кричите. Почему вы кричите?» А мне нужно кричать, потому что за перегородкой мои товарищи сидят. Нужно, чтобы они слышали, какой я веду разговор.

А Власов говорит ему: «Вот, Карбышеву предлагали — не пошел. Снегову предлагали — не пошел. Лукин не хочет. Понеделин не хочет. Понеделин — врагом народа объявлен у нас, а Понеделин тоже не хочет». Я говорю: «Как тебе не стыдно

ездить к советским генералам, предлагать им. Пусть немцы предлагают. Ты-то чего берешь на себя...»

Немец тогда на меня кричит: «Ну, довольно! Вы еще раскаетесь. Вы можете из этого лагеря не вернуться. Знаете, куда вы можете попасть?» Я говорю: «Вы мне не грозите. Не грозите мне смертью. Я знаю. Избиений я не боюсь ваших». И уехали они.

К.С.: Власов был растерянный или гоношился, нервничал?

М.Л.: Уверенности у него не было. Я ему еще что сказал. Хорошо, что вы подсказываете так. Я говорю: «Ты что же, их дураками считаешь? Тебе армию дадут сформировать, а потом, в один прекрасный день обстановка изменилась, ты армию эту можешь против немцев повести. Тебе, думаешь, это позволят? Я не хочу быть пророком, но тебе больше батальона, полка не дадут сформировать. И поверь, что сами немцы будут командовать. Вы будете у них на посылках». Так ведь и оказалось. Отдельные батальоны были, только казачьи полки-то были сформированы. Немец — командир батальона, русский — помощник. Командир роты — помощник. Командир взвода — помощник. И так до самого отделения.

Потом он ко мне присылал двух адъютантов — чем он может мне помочь? Я говорю: «Чем помочь? Да я от него никакой помощи не хочу. Это будет немецкая помощь». Я говорю: «Как вы, молодые люди, ты — лейтенант, а ты — старший лейтенант, как вы дошли до этого? Вы родились при советской власти. Вас выучила советская власть. Вот немецкий язык вы знаете... Значит, вас выучила советская власть! Как вы-то могли до такой жизни дойти?» Плачут.

Где они поймали-то его, Власова? Говорят, говорят... Все очевидцы, между прочим.

К.С.: Я вам могу показать документы. Донесение, как он был пойман.

М.Л.: Это будет интересно. А то все пишут и все врут. И все, главное, очевидцы. И больше я его не видел. И Малышкина больше не видел.

К.С.: А он, значит, обижался: и этот не подписывает, и тот не подписывает...

М.Л.: Да, да. «Как мне трудно это дело. Все меня торопят, а мне трудно. А подписывать никто не хочет. Никто не хочет идти...»

Когда перевозили меня из одного лагеря в другой или в госпиталь — в госпитали меня часто возили, у меня открывалась рана, — в одном из шталагов я встретил Дмитрия Михайловича Карбышева. Встретились. Он меня знал, и я его знал. Он говорит: «Скоренько, Михаил Федорович, что-то затевается, потому что ко мне приезжали и предлагали мне возглавить какую-то армию. Имей в виду и передавай другим генералам, чтобы на это дело не шли». Я говорю: «Что ты, Дмитрий Михайлович! Как ты можешь так говорить, чтобы я пошел на это дело!» — «Вот имей в виду. Чтобы другие-то не пошли».

Ему уже предлагали, Дмитрию Михайловичу. И Власов говорил об этом, и он подтвердил.

К.С.: Он как, физически еще ничего был, Карбышев?

М.Л.: Ничего. Да и выглядел он ничего. Выбритый, в своем, генеральском был. Потертым уже все было. Но выглядел он хорошо. Ведь он в то время был уже пожилой человек, а пожилому труднее. Нужно было быть архиздоровым, чтобы вынести все это.

К.С.: А вы, когда попали в тот лагерь, где генералы, — еще свою одежду донашивали? Как было дело?

М.Л.: Когда я лежал в полевом госпитале, девушки — помните, я вам о них говорил, — разрезали на мне китель, потом отрезали рукав. Иначе нельзя было. Когда я немножко пришел в себя, я врачу говорю: «Как бы пришить мне рукав какой-нибудь?» Они пришили мне немецкий рукав. У меня был один рукав свой, а другой немецкий. А были мы в одном из лагерей, где были итальянцы и французы. И про этот лагерь надо рассказать. Мы там с Прохоровым были. Мы почти всегда были с ним

вместе. Я просил, чтобы не разлучали, а все старались разлучить: по одному-то скорее сговорить можно. А я все настаивал, чтобы вместе мы с ним были.

Стук-стук в дверь. Входит бравый такой француз и на чистейшем русском языке: «Здравствуйте, господа генералы». «Здравствуйте, господин», — мы ему отвечаем. — «Я не господин. Я русский». — «А зачем вы нас господами называете? У нас называется — гражданин, товарищ. А вы тоже пленный, наш союзник тогда». — «Да, я русский. Я сын эмигранта. Увезли когда-то меня маленького. Отец мой был капитан, небольшой человек, уехал сюда, и увезли меня сюда. И вот я — теперь капитан французской армии — попал в плен. Я здесь старшим в лагере. Я пришел вам заявить, что хлебом, сахаром, маргарином вы можете быть обеспечены столько, сколько вам надо». Мы говорим: «Спасибо за это. И картошки, может быть, дадите?» — «И картошки, — говорит, — дам». И картошки, и сахара мы в этом лагере, сколько мы там были, ели до отвала.

Вдруг приносят такую коробку, конусом книзу, и бык нарисованный. Мясо! Сколько времени мы с Прохоровым не ели мяса! Жирный супчик с картошкой сварили. Он сразу сожрал, а я на три части разделил. Шоколад нам приносили, конфеты нам приносили всякие. Я все складывал это, все думал — будут времена хуже. А куда я складывал?..

<Пропуск в записи>

М.Л.: В этом лагере были итальянцы. Когда итальянцы изменили, их забирать начали и везли сюда. Они были в таких условиях, боже ты мой! Мороз. И зима-то какая-то проклятая была.

К.С.: С ними немцы плохо обращались?

М.Л.: Хуже, чем с нами. Нам хоть баланду давали, а им по два дня не давали ничего. В палатках! Мы хоть в бараках были, а эти в палатках. Зимой! В легоньких одежонках. Бедные, как они мучились. Да еще бомбили их.

Как-то приходит этот француз, он к нам часто заходил... Я потом искал его, не то Лебедев его фамилия, не то как-то еще. Хочется найти этого парня. Так вот он приходит и говорит: «А вы почему в таком обмундировании? Попросите итальянское обмундирование. У них умерших много. Обмундирование-то они снимают, не хоронят в обмундировании». — «А вы откуда знаете?» — «Так мы же хороним их», — француз говорит.

Ну, я как-то попросил. Меня отвели в этот склад, и я там выбрал почти новенький китель итальянский, брюки итальянские и чемодан. Чемодан такой, окованный. Думаю, пригодится. На всякий случай взял его. А когда пришел, надел... Так, знаете, противно. Чужая форма, черт его знает. Неприятно. И в это время — стучат. Входит этот русский француз. «Ну вот и приоделись». И смотрю, он так умильно смотрит на эту форму. Я чувствую, что она ему нравится. Хорошо сшита, прекрасный материал. Видно, какой-то большой офицер был. Я говорю: «Может, вы хотите поменяться со мной?» А у французов — обыкновенные пиджаки защитного цвета. Думаю, если он со мной поменяется, мне это подойдет больше, лучше будет. Он говорит: «Я с удовольствием, Михаил Федорович». «Да вам не подойдет, — я ему говорю, думаю, чтобы он не отказался-то. — Я сейчас сниму, померяйте». Померил — как раз ему эта форма. «А я вам, Михаил Федорович, новую принесу». А у французов были рабочая форма и выходная. Им свои присылали. Он мне новенький пиджак приносит французский, без всяких нашивок, без всего, и брюки...

К.С.: Навыпуск?

М.Л.: Нет, у них брюки широкие здесь, а здесь узко...

К.С.: В сапог?

М.Л.: Не в сапог, а у них, видимо, краги были. Я говорю: «На что же мне такие

брюки-то? Мне надо брюки навыпуск». — «К портному, и будет сделано». Портному передали, он быстренько перешил, вставил клинья сюда, и у меня брюки навыпуск. И я ходил в приличном виде.

Возвращаюсь в Гюльцбург. Немцы приходят и говорят: «Идите в комнату, где радио установлено. Будете слушать». Мы не хотели. Нас пригнали слушать. Собрались все в комнате. И выступал Власов: он организовал комитет, это вроде временное такое правительство, организует армию и пойдет освобождать родину. Ну, тут были выкрики, немцы сейчас же подходили и говорили: «Замолчать!!» Тем и кончилось.

А через неделю приехал полковник, забыл его фамилию. Он тоже в числе повешенных потом оказался, этот полковник. Чуть ли не из 32-й армии, не Бушманов ли? Припомню потом. Приехал к нам в крепость и вызывает: «Снегов!»

К.С.: Уже в военной форме он приехал?

М.Л.: Уже в военной форме. «Снегов!» Снегов отказывается идти. «Такой-то!» — Отказывается идти. С изменниками мы не пойдем разговаривать. «Такой-то!» Не идут. Я думаю, отчего они не идут, чего боятся? Ведь этим ты себя-то не запятнаешь. Ты держи себя только как следует. «Лукин!» Я говорю: «А я пойду». И тут все: вот, ты пойдешь с изменником разговаривать! А я говорю: «Что же не разговаривать? Пойду, узнаю, в чем дело». Пошел. Прихожу к нему. Курит. Угощает меня. Я закурил. Он начинает: «Вот, по радио выступал, вы слышали?» — «Я и до тебя знал, господин полковник, что формируется армия. Власов мне предлагал. Я все это знал. И говорю: “Как вам не стыдно! Вы, полковник Советской Армии! Будущий генерал, а может быть, черт тебя знает, до маршала дошел бы. Ведь ты же большой чин имел, большую должность занимал”». — «Теперь уже поздно об этом деле говорить, господин генерал. Давайте рассуждать...»

К.С.: А он вам «господин генерал» говорит?

М.Л.: Господин генерал. Я говорю: «Об этом давайте не говорить. Я хочу, чтобы вы не творили грязного дела. Ведь подумайте, к развязке идет. Сорок четвертый год уже. Ведь конец уже скоро. Вы же видите, что мы почти всю страну свою освободили. Как вам это дело не понять? Куда вы идете? За вами пойдет народ, но какой? У кого-нибудь родственники ущемлены советской властью, арестованы или раскулачены. Таких много у нас еще найдется. Деклассированные элементы, уркаганы, которые работали на границе (там же заключенные работали — на границе, и они сразу же все попали в плен, там большие тысячи попали в плен) — вот эта сволочь всякая, изменники, предатели пойдут за вами. Вы их поведете на свою родину, убивать честных людей наших. Вы об этом подумали? Подумали о том, какое грязное дело вы делаете?»

На мое счастье, из интернированных моряков печник сидел, печку ремонтировал. И потом мне ребята рассказывают: бежит он, сияющий такой, и говорит: «Вот, генерала-то мы привезли, какого!» — и рассказал все, что было. И мне начинают записки оттуда слать: «Спасибо, товарищ генерал, что вы честь поддержали нашего государства, нашей армии...»

К.С.: А другие не пошли разговаривать?

М.Л.: Никто не пошел, кроме меня. Один я пошел.

Вдруг к нам привозят подполковника, в форме, с погонами. А мы еще и не видели офицера нашего в погонах. Стали в окна смотреть, а в окна смотреть нельзя — стреляют. Но сбоку как-нибудь можно. Заходит здоровый, плечистый парень. Летчик, подполковник, Герой Советского Союза, орден Ленина, орден Красного Знамени и еще какой-то орден.

К.С.: Всё на нем?

М.Л.: Да, всё на нем.

К.С.: Сбили его? Бомбардировщик?

М.Л.: Да. Фамилия его — Власов. Кто такой Власов? Был начальником эскадрильи в полку Сталина. Васьки Сталина. Являлся официальным женихом дочери

Сталина. Красавец-мужчина, высокого роста, богатырская грудь. В одну из прогулок подходит ко мне: «Товарищ генерал, я хочу с вами поговорить». — «Почему со мной? У нас есть старшие генералы». У нас старший генерал был генерал Музыченко.

К.С.: Почему считался старшим? По званию?

М.Л.: Нет, звание у нас одинаковое.

К.С.: По давности присвоения, что ли?

М.Л.: По давности мне звание присвоено раньше. Но он до меня был в этом лагере. Я не хотел ввязываться в это дело, на черта мне это нужно?

«Мне посоветовали лучше к вам обратиться, — говорит Власов, — товарищи, и в частности, моряки». — «А в чем дело?» — «Пойдемте, отойдем». Отошли мы с ним. «Я с моряками переписываюсь уже давно и хочу устроить побег с их помощью». — «Как отсюда можно устроить побег?» — «Вот вы послушайте меня...» — и он рассказывает, как должен быть организован побег. Я говорю, что пока я от них сам ответ не получу... У них там место условленное есть. Мы кладем в него записку, они дают ответ. «Я напишу, а вы передайте». Получаю ответ: да, Власов такой-то, такой-то. Мы дадим то-то и то-то. Всё.

Власов рассказывает больным. А при нашем отделении была маленькая комнатка, санитарная часть на две койки. На случай, кто заболит — положить туда. При ней врач, Дубровский его фамилия. Власов должен был всыпать Дубровскому снотворное.

К.С.: А Дубровский был военнопленный?

М.Л.: Военнопленный.

К.С.: Но ненадежный человек?

М.Л.: Никто не знал.

К.С.: На всякий случай?

М.Л.: А чтобы не мешал. Из этой комнаты заложена дверь в следующую комнату. А из той комнаты можно попасть к морякам. От моряков выйти в уборную. В уборной уже подпилены решетки. Решетки только отогнуть, и когда часовой зайдет за угол, спуститься в ров. А с той стороны один моряк, который работает на лесопилке и ночью там остается, спустит веревочную лестницу. По ней подняться — и там уже, как хочешь, иди дальше.

Когда я рассмотрел, говорю, что как будто все, можно сказать, хорошо. Но все учесть надо. «Чтобы, например, ты не в этом обмундировании шел. Надо переодеться». — «А я, — говорит, — приготовил. У моряков уже готов костюм». И я дал добро. «Только вот что, Власов, — говорю (Николай Иванович его звали), — чтобы ни одна живая душа не знала. Даже старший генерал чтобы не знал. В таких случаях, чем меньше народа знает, тем будет лучше». А на следующей прогулке он мне говорит: «Я старшего генерала поставил в известность». — «Напрасно». — «Почему?» — «У меня никаких данных нет на старшего генерала, что он может предать. Но с ним связано лицо, которое мне нежелательно. Генерал Самохин».

Самохин был начальником Информбюро. Получает назначение командующим армией. Летит принимать армию. Забирает всю карту от Белого моря до Черного моря всех наших войск, до полка включительно. Пурга, снег. Заблудились. Садятся на немецкий аэродром. Он говорит, что он как-то успел сжечь карту. Но вряд ли в пургу, на ветру он успел такую обширную карту сжечь. Как он мог это сделать, когда немцы, видя, что самолет садится, прибежали? Верить этому было нельзя. Но хуже всего то, что он три месяца был при ставке Гитлера, при разведке. И, как потом выяснилось, он дал немцам согласие работать на них. А старший генерал был с ним связан, и поэтому было нежелательно. И мои опасения оправдались.

Власов рассказывает больным, его кладут в эту комнатку. За чаем он незаметно всыпает врачу снотворное. Потом он мне в записке пишет, которую оставил: «Я чувствую, как он борется со сном. Чувствую, что он должен уснуть, а он борется, сознательно борется и не спит. И когда все же его сон одолел, я подхожу к двери, ногой

толкая кирпичи, они выламываются. Там уже помогают разобрать кирпичи. Выхожу туда...» В той комнате, в которой никогда никого не было, оказался человек из военнопленных или интернированных. Не моряк, не наш советский, а какой-то еврей оказался. Когда стали разбирать кирпичи, врач проснулся, кричит, что пленный бежал. Крики, сигнал. Прожекторы зажглись. Собаки залаяли. А мы в это время не спали. Знали, что будет побег. Значит, все пропало. Власова поймали.

К.С.: Он еще не успел выйти?

М.Л.: Он в уборную вбежал, в уборной схватили его. Трое их должны были бежать, два моряка и Власов. Моряки убежали, а Власова схватили, страшно избили и посадили его к нам под лестницу. А утром вывели на прогулку. Он уже без ремня, смотрю. Орденов уже нет. звезды уже нет. К окну подходить нельзя, я так смотрю сбоку и вижу, что он все время смотрит на мое окно. Туда, где обыкновенно я стою. Я ему платком помахал, что я тебя вижу. Тогда он, вижу, стоит и ногой притоптывает. Я понял, что он чего-то положил под этот камень. Я дождался прогулки, подбежал к камню. Под ним записка лежит: «Товарищ генерал, вы оказались правы. Нас кто-то предал...» — и он описывает, как все это происходило. «В земле дальше лежит Звезда. Возьмите Звезду. Прошу вас, если вы останетесь живы, покажите моим родителям эту Звезду и передайте ее, кому следует». Я зашил ее вот сюда, в гашник. Родители его ко мне приезжали, я показал им Звезду, рассказал о сыне то, что мог. Звезду передал в Управление кадров. Она и сейчас, Звезда эта, там лежит.

К.С.: А он погиб?

М.Л.: Его увезли сначала в Нюрнберг. Там он встретился с одним из тех, кто с ним должен был бежать. Тот маляром был. Да, а в записке он мне пишет: «Все равно, пока я жив, я еще раз попытаюсь бежать». Его отправили потом в лагерь Заксенбург. В Заксенбурге он снова пытался бежать. Какая-то сволочь выдала и там его расстреляли.

Немцы ясно понимали, что без участия моряков тут не обошлось. Обязали выдать. Если к такому-то часу не выдадите, каждый пятый будет расстрелян.

К.С.: Не выдадите — кого?

М.Л.: Кто бежать должен был.

К.С.: А они не убежали? Никто из моряков не убежал?

М.Л.: Никто убежать уже не мог, потому что собаки, часовые, караул выбежал. Уже бежать невозможно было.

Тогда Сысоев, Леонов и Маракасов приходят в комитет... А у них так партийный комитет и остался. Как в экипаже было, так все и осталось. Подпольно, конечно, нелегально они работали. Приходят и говорят: мы бездетные, мы выдадим себя. Один из них — который не бежал. У нас детей нет, нам терять особенно нечего. Комитет решил: добро, идите. Они сказали, и их увезли из лагеря. Они живы сейчас все.

К.С.: Молодцы!

М.Л.: Моряки вообще молодцы. Они нам крепко помогали. Хлебом, картошкой. От себя отрывали, а нам помогали. Знаете, куда клали? В уборную. Часто все это было в моче. Иногда уборные были настолько полны, что некуда повесить. Запачкано, мы все это обмывали и ели. Молодцы моряки! Замечательный народ. Крепко нас поддержали в этом отношении.

Париж

М.Л.: К нам стали попадать листовки, разбросанные американской и английской авиацией. Пленные, которые выходили на работы к населению, эти листовки подбирали и приносили. В этих листовках за подписью Рузвельта, Черчилля и Сталина было сказано: «За жизнь каждого военнопленного отвечает не только комендант лагеря — начальство, но и каждый немецкий солдат, охраняющий этот лагерь».

Мы чувствовали тогда уже из этих листовок, да и по тому, что днем, в ясную погоду безнаказанно летает американская и английская авиация — даже отдельные самолеты летают, а немецкая авиация и не появляется в небе, — для нас уже было ясно, что идет дело к концу.

И еще раньше я говорил вам, что наши интернированные моряки, уходящие на работы, с собой приносили иногда газеты. В газетах немцы писали о том, что они ведут сейчас на Восточном фронте «эластичную оборону» (мы понимали, что значит «эластичная оборона»), и о том, что они оставляют выжженное поле. Мы понимали, что немцы все уничтожают и отходят. Эти признаки давали нам понять, что конец войны близок.

Некоторым военнопленным, когда они работали у бауэров, удавалось подслушать радио. Сообщения о том, что началась высадка англо-американцев на побережье в Нормандии. И о том, что идут ожесточенные бои. А одно время получилась какая-то заминка. Немцы, захлебываясь, говорили о том, что десантные воздушные армии, которые были сброшены в тыл немецким войскам, попали в неприятное положение. А потом вдруг началось наступление на Восточном фронте. Отсюда мы ясно поняли, что наши советские войска, наше правительство помогают англо-французам, попавшим в тяжелое положение.

К.С.: А скажите, Михаил Федорович, газеты немецкие к вам попадали официально?

М.Л.: Их приносили военнопленные.

К.С.: Но вам их не давали вообще, вы их доставали?

М.Л.: Нет, никогда не давали. К нам приходила газетенка белогвардейцев. Тех, кто работал на немцев, и тех, кто относились к так называемой немецкой национальности. Они издавали газету. Я забыл, как она называлась, эта газета. Ее мы получали.

К.С.: На русском языке?

М.Л.: На русском языке, для военнопленных. Чисто пропагандистская. Грязная газетенка. Очень грязная. Она, конечно, ничего этого не писала. Но мы понимали. Нам интернированные достали карту, и мы даже вели карту.

К.С.: Карта немецкая?

М.Л.: Немецкая. И мы ее вели. Примерно, конечно. Неточно это все было. А как-то раз, когда мы вышли на прогулку, немцы устроили у всех обыск, и карту эту у нас изыали. То есть, они все, что могло что-то нам сказать, изымали.

К.С.: Но эксцессов не было?

М.Ф. Не было.

К.С.: Вообще после этих листовок, которые уже угрожали солдатам, охранявшим лагерь, изменилось отношение или нет?

М.Л.: Нет. Все так же было. Как-то к нам зашел помощник коменданта лагеря, майор, в очень грустном настроении, мы сразу заметили это. Между прочим, он особенно плохо к нам и не относился. Немец как немец был. Комендант лагеря, полковник — забыл его фамилию, — этот был стервец. А когда пришел его помощник, майор, мы сразу почувствовали: что-то у него неладно. Очень грустный, неразговорчивый. А обыкновенно он разговорчивый был. Мы спрашиваем: «В чем дело, господин комендант, что у вас случилось? Настроение почему плохое?» Мы знали, что у него один сын уже погиб под Сталинградом.

К.С.: Он немолодой был человек?

М.Л.: Пожилой. Уже дети его воевали. Лет под шестьдесят наверняка ему было. А он говорит: «Настроение у меня паршивое. Ваши войска вступили в Восточную Пруссию, а у меня пропал второй сын. Не пишет сын. И никак не могу получить никаких сведений». Ну, мы его стали уверять, что бои идут, ему некогда, почта плохо работает. «О нет, у нас почта хорошо работает. Видимо, или в плен попал, или убит. Что-нибудь из двух».

До нас стала доноситься канонада с запада. В особенности по вечерам слышно: где-то идут большие бои.

К.С.: Лагерь, если привязать к какому-нибудь крупному центру, от чего он близко отстоял?

М.Л.: Нюрнберг.

К.С.: Совсем недалеко?

М.Л.: Километров шестьдесят. Мы спрашиваем немцев — проверяющих... Это были гестаповцы, конечно. Капитан, который нами больше ведал, — гестаповец. Унтер-офицер — командир роты — тоже гестаповец.

К.С.: А комендант не был гестаповцем?

М.Л.: Не знаю, кто он такой. Спрашиваем: «Что за стрельба?» — «Налет авиации». Ну, мы понимаем, что это не орудийная стрельба по самолетам, а идет настоящий бой. Мы знали, что какие-то войска — американцы или англичане — с запада к нам продвигаются. А потом по вечерам стала и пулеметная стрельба слышна. Вдруг приходит майор, — не комендант, а майор, помощник коменданта, — и говорит: «Господа, лагерь эвакуируется. Больные и раненые могут остаться здесь».

У нас уже разговор идет о том, как бежать, когда будут эвакуировать лагерь, кто нас будет охранять и так далее. Много разговоров было, как и что делать. Я был тяжелораненый и еще два. Один — генерал-майор, начальник артиллерии 5-й армии Сотинский. У него оказалась свинка такая, он в поход не мог идти.

К.С.: Больной?

М.Л.: Больной. И один генерал был к нам привезен тяжелораненый. Фамилию опять забыл. Вспомнил и опять забыл.

К.С.: Так и не выздоровел?

М.Л.: Нет, он так и лежал у нас тяжелораненый. Остальные могли следовать в поход. Ко мне приходят и говорят: «Товарищ Лукин, оставайся здесь. Через несколько дней придут американцы. Будешь шоколад есть, кофе пить. Накормят. Скорее домой попадешь». Я им заявляю: «Нет, я не останусь, я пойду с вами. Вы хотите, чтобы я вам не мешал? Хотите сделать побег во время похода? Делайте, оставляйте меня. Я вам разрешаю. Обо мне не беспокойтесь, но я не хочу оставаться здесь один. Если погибать, то я хочу вместе с вами погибать. Как они меня ни уговаривали — ты нам свяжешь руки, пятое-десятое, — я говорю: «Я вам совершенно не буду мешать. Даю вам полную свободу. Обо мне не беспокойтесь».

Приходит помощник коменданта. Мы ему и говорим, что вот конец подходит войне-то. И если вы проявите человеческое к нам отношение, мы где-то за вас замолвим слово, что вы так к нам относились.

К.С.: Что он вам на это сказал?

М.Л.: Он говорит: «Я попробую все сделать для вас». Дал нам подводу, одну. Впереди были построены моряки. Потом наши — все, кто ходячие: и генералы, и майоры, и подполковники, и полковники. А на подводу положили вещички у кого какие есть и посадили меня и генерал-лейтенанта Музыченко, командующего 6-й армией.

К.С.: Он что, был болен?

М.Л.: У него была контужена нога. Он ходил с палочкой, опирался на нее. А когда после приехали, ему ногу ампутировали уже здесь.

Во время этого похода мы встречали немецкие части. Вы знаете, врагом иногда можно восхищаться. Идут молодые люди, раскрытый ворот, засученные рукава и поют песни. Уже гибель настала, а эти части идут так, как полагается идти: строем, с песнями. Ну, конечно, когда видели нас, узнавали, что это советские пленные... Видно было, что советские, потому что других пленных так одетых, как были одеты мы, других национальностей не было — ни французов, ни англичан, ни, тем более, американцев. Так вот, когда видели, то были злобные выкрики нехорошего порядка:

«Что вы нянчитесь! Куда вы их ведете, зачем? Кому они нужны! Их надо расстрелять». Довольно угрожающее было отношение.

К.С.: Но дисциплина брала свое, и кроме выкриков ничего не было.

М.Л.: Вы знаете, я как солдат не мог не восхищаться: армия накануне гибели, государство гибнет, по сути дела, а в армии — строгая дисциплина, порядок. Головы не вешают. Не то что какие-то забитые, понурые. Они же знали, что им грозит. Чувствовали это, но вида не показывали.

Остановились мы не помню в какой деревушке. Стоим ночь, стоим сутки...

К.С.: Сколько вас было всего?

М.Л.: Около двухсот человек нас и, наверное, человек четыреста-пятьсот моряков.

К.С.: А генералов сколько было?

М.Л.: Двадцать семь человек. Генералы и комбриги. Там несколько комбригов было. Но это все равно должность генеральская.

Приходит майор. Мы уже коменданта не видели. Майор приходит и говорит: «Господа, вы чувствуете, что фронт приближается?» Мы слышим уже и днем пулеметную стрельбу. Фронт все время движется за нами, довольно быстро идет фронт. «Я могу, — говорит, — дать вам полуторную машину. Поместитесь ли вы все в эту машину?»

Двадцать семь человек, двадцать человек охраны. Мы говорим: «Поместимся».

Какими судьбами я не знаю, то ли посылали кого-то из конвоиров, то ли какими-то другими путями, я и не пытался узнать, до нас дошли слухи, что оставленные в этом лагере два генерала — тяжелораненый и со свинкой — генерал Сотинский погибли. Как только мы ушли, пришли гестаповцы, спросили, где находятся такие-то, им указали, взвалили их на плечи, вынесли за крепость, за тюрьму за эту, и тут же расстреляли и закидали камнями. Не зарыли, а просто камнями закидали, и все. И тут я сказал себе: «Это должно было случиться. Никакой охраны нет, никакого начальства нет. Любой солдат, любой немец может прийти и что угодно над нами сделать». Я как будто предчувствовал, что нельзя оставаться.

К.С.: Впоследствии это подтвердилось?

М.Л.: Да, все подтвердилось. Потом похоронили их. Сели мы в эту машину. Моряков от нас отделили.

К.С.: И офицеров тоже?

М.Л.: И офицеров. Всех. Посадили одних генералов и охрану. Вы знаете, ну, навалом в грузовую машину, как мешки...

К.С.: В одну машину?

М.Л.: В одну машину! Двадцать семь человек нас и двадцать человек охраны. Немцы все пьяные были, разит от них. У меня — один на одной ноге, другой на другой ноге сидят. Я терплю, думаю, не буду ничего говорить. И все терпели, не только я, эти невзгоды. Спрашиваем: «Далеко нас повезете?» — «Да нет, — говорят, — это недалеко здесь. Город Мосбург, часа три езды, не больше».

Едем мы день, едем мы ночь. Всё едем. И чувствуем, что едем в горы. Ну, думаем, дело неладное. Наверное, нас везут куда-нибудь в горы и там расстреляют. Настроение, надо сказать, подавленное. Выжить в лагере, всё перенести и перед концом так бесславно погибнуть — как-то неприятно, должен прямо сказать.

Рано утром мы подъехали к одному из лагерей. Видим, что лагерь — проволочные заграждения. И слышим: русское, традиционное — мат. К своим, значит, приехали. Услыхали родное.

Прибежали к нам наши военнопленные — что и как? Мы говорим, что вот нас привезли сюда. «А что это за лагерь?» — «Это лагерь Международного Красного креста». Сюда собрали пленных всех национальностей. Два коменданта здесь — один

англичанин, другой — американец. Оба полковники. Немцы сдают этот лагерь уже Международному Красному кресту.

К.С.: А раньше был немецкий лагерь?

М.Л.: Немецкий. Обыкновенный лагерь военнопленных. Мы говорим: «Дайте знать как-нибудь этим полковникам, английскому и американскому». — «Да ведь нас, — говорят, — не выпускают. Мы — за колючей проволокой. Те национальности все вместе, а нас, советских, за колючей проволокой держат, отдельно».

К.С.: А у вас тут только остановка была?

М.Л.: Только остановка. Немцам, видимо, чего-то нужно было. Заправка нужна, я не знаю. Нас поместили в один из барakov. И все же нашим военнопленным удалось дать знать. Пришли два полковника высоченного роста, здоровенные. Англичанин и американец. Никто английского языка не знал, а они по-русски не знали. «Гут — гут, гут — гут», — поговорили, посмотрели на нас, головами покачали. Думали увидеть генералов, а увидели какую-то разношерстную толпу, в отрепья одетых да изможденных. Посмотрели-посмотрели, покачали головами и ушли. А через полчаса у выхода из нашего барака встали часовые. Англичанин и американец.

К.С.: Не вооруженные?

М.Л.: Вооруженные. Мы удивились: почему нас охраняют? Оказалось, это было не напрасно. Приходят немцы: «Руссише генерал, век!» Выходи, значит. А часовые — вход запрещен, не пускают. Они там что-то кричали, ругались. Мы прислушивались. Так вот для чего, думаем, поставлены часовые. Чтобы нас не увезли. Они бы нас расстреляли, наверняка. Куда дальше везти-то — раз уж привезли в лагерь?

К.С.: Самое лучшее, казалось бы, — оставить.

М.Л.: Конечно. Тем более, что сдают Красному кресту. Потом пришли еще офицеры этого лагеря. С переводчиками пришли. Спрашивают: «В чем вы нуждаетесь?» Мы говорим, что, прежде всего, нуждаемся в одежде. «Гут, гут». Только не «гут, гут», а как это?

К.С.: Все равно — гут. Только немцы говорят: «гут», а эти говорят «гууд».

М.Л.: «Мы нуждаемся в одежде. Белья у нас нет. Потом поесть нам хочется получше». Постояли, посмотрели, и через некоторое время, смотрим — наполненная обмундированием двуколка. Везут ее солдаты. Подвезли под окно, постучали — забирайте. Ну, мы все переоделись.

К.С.: Английское или американское обмундирование было?

М.Л.: Американское. Никаких расписок, ничего. Теплое белье, носки и все остальное. А потом привезли нам пакеты. Когда мы открыли пакеты, Константин Михайлович, вы знаете, глаза разбежались. И консервы, и масло, и галеты, и колбасы. Батюшки мои! Один открываешь, другой открываешь — везде почти одинаково. Думаю, черт, чего они все одинаковое принесли-то? И нужно сказать, что с некоторыми получилось нехорошо, потому что проглотили сразу столько еды. Не учли, что организм не привык к такой пище. Некоторым было очень нехорошо.

А на второй день — стрельба. Какая-то батарея несколько выстрелов дала, потрещали пулеметы, пули даже в наш лагерь заскакивали. А потом вдруг все прекратилось. Через час примерно к нам приходит американский генерал, командир дивизии, которая забирала этот город Мосбург. Поздравил нас с победой, с освобождением поздравил, посмотрел на наш такой вид и страшно удивился

К.С.: Вы уже были обмундированы в американское?

М.Л.: Все равно вид-то не генеральский. И ушел. А на другой день говорят — немцы уходят. Их забирают в плен, и все начальство будет международное. Вот эти американцы, англичане и еще кто-то. Наверное, французы. Мы стали смотреть, как немцы пойдут в плен.

К.С.: Охрана лагеря?

М.Л.: Да, охрана этого лагеря. Построены офицеры, построены солдаты. Идет

немецкий офицер с двумя чемоданами. Унтер-офицер быстро выбегает из строя, берет под козырек, поднимает чемоданы и несет туда, где ему полагается стоять, этому офицеру, и около него ставит чемоданы. Даже в плен идут, а дисциплина не упала. Офицер остается офицером. Это меня очень поразило. Потом их повели. И когда их повели, солдаты опять взяли чемоданы офицерские и пошли. Куда их повели, я не знаю.

Многие из наших ходили в Мосбург. Американцы, так говорили, отдали солдатам на три дня этот город. Что они там делали, мы не знаем. Но, говорят, творили там всякие безобразия. Наши тоже притащили чемоданы. Нехорошо.

Тут мы увидели английско-шотландские войска. Высоченного роста, в юбочках коротких. А погода была довольно холодная, ноги посинели, хотя чулки натянуты, но коленки голые, ляжки голые. Коротенькие такие юбочки. И для нас это странно как-то было.

Отношение какое было солдат, американцев и англичан? Никакого. Так, из любопытства приходили посмотреть на русских. Но чтобы выражали какую-то радость, что мы вместе воюем, что мы с вами союзники — этого не наблюдалось. Вот если бы мы их освободили, мы бы приходили, разговаривали. Братание бы было. А здесь этого совершенно не было. Приходили солдаты, а офицер ни один больше не пришел к нам. Пришел потом только какой-то начальник американский или английский, я не знаю, и говорит: «Завтра вы уедете. Будете погружены в самолеты и повезем вас в Париж». Посадили нас в транспортные самолеты и повезли в Париж. Привезли в Париж, разместили по гостиницам.

К.С.: А в Париже кто-нибудь встречал? Представитель наш был там, нет?

М.Л.: Боюсь вам сказать. Может быть, он и был, но, по-моему, мы увидели его потом. Я после расскажу про это.

Разместили нас в гостиницах. Я попал в гостиницу на Елисейские поля, а других разместили по другим гостиницам. Свободно ходить уже можно было. В этой гостинице к нам приходила одна русская. Администратором или кем там она была, не знаю. Приходила, спрашивала: «Михаил Федорович, посоветуйте, как мне быть. У меня папа с мамой здесь. В Москве они жили у Елоховской церкви. Там и теперь большой собор, мы все это знаем. Вот они хотят вернуться умирать домой. Как вы посоветуете?» — «Ну что я могу посоветовать? Как я могу советовать? Вы собираетесь ехать с ними?» — «Нет, я не поеду». — «Почему? Папа же с мамой...» — «Ну они уже старики, им теперь не так страшно. А я хочу еще жить». Я говорю: «Чего же вы боитесь?» — «Да, знаете, как-то страшно ехать». Красивая такая бабенка.

К.С.: Как выглядел Париж в это время?

М.Л.: Париж совершенно не разбит был. Был уже май, капитуляция была подписана. Такого Парижа, как представляешь себе — шикарно одетые дамы и все такое, — этого не было. Обыкновенно одетые, на деревянных подошвах ходили, скромно одетые люди.

К.С.: Много велосипедов.

М.Ф.: Как и вообще на Западе, от малого и до старого — все ездят на велосипедах.

И стали мы совершенно свободно ходить. Были гостями военного министерства, питались в офицерской столовой. Завтрак и обед, а ужин привозили нам в гостиницу. Хлеба было очень много. Первый раз мы увидели белейший-белейший хлеб. Сожмешь вот так вот, как вата распускается.

Отношение французов к нам было очень хорошее. Обслуживающий персонал очень хорошо к нам относился. Правда, может быть, сказывалось и то, что мы хлеб им отдавали, потому что мы столько не съедали. Потом много пакетов отдавали французским служащим. Отношение было прекрасное.

Обмундировали нас французы. Правда, не в такое уж хорошее, но в приличное

гражданское обмундирование. Свои лохмотья мы сбросили еще раньше. Теперь сняли американское и ходили уже в гражданском.

На второй день по приезде генерал по репатриациям — Драгун, наш советский генерал-майор, устроил нам банкет. Покушали, поговорили. Некоторым — знакомым своим, тем, кого он знал, — заказал обмундирование наше советское. Сшили с погонами даже.

К.С.: Он был строевой генерал?

М.Л.: Строевой.

К.С.: Михаил Федорович, а были мысли в этот период, как будет дальше, как оно будет после войны, как отольется немецкий плен?..

М.Л.: Пока никак.

К.С.: Не разговаривали? Думали про себя только?

М.Л.: Пока все про себя, а разговаривать — разговаривали мало. Каждый затаился в себе. Ну, с тем, с кем я близок был, — например, с Прохоровым, с которым я весь плен пережил, — мы делились откровенно. А широкого такого разговора не было.

К.С.: Ну и как вам тогда казалось, как оно будет?

М.Л.: Я хорошего ничего не ожидал... Мне было известно, что наши, которые были в плену в Финляндии, ни один не попал домой. Все были отосланы на лесозаготовки. Со мной в плену был, лежал в Смоленске в лазарете, о котором я вам рассказывал, один из тех людей, который отвозил наших пленных на лесозаготовки.

Ну, я за собой ничего не чувствовал, но какое у нас отношение к пленным я знал. Поэтому ничего особо радужного я для себя не ожидал.

У нас был там один, Самохин такой, генерал-майор (я, кажется, вам о нем мельком говорил), который буквально к каждому слову придирался. Мы сидели с ним спина в спину. Столики рядом стояли еще в Бюльбурге, в крепости. И как-то шел разговор о том, почему немцы до сих пор воюют. Дело явно идет к концу, надо бы уже сдаваться, а они все еще продолжают воевать. А я и говорю, что ведь немцам еще Железный канцлер сказал, умирая: «Никогда не воюйте с Россией». Он поворачивается и говорит: «С каких это пор для вас Железный канцлер стал авторитетом?» Я говорю: «Иди ты к такой-то матери. Что ты привязался?» — «У нас Ленин, у нас Сталин авторитеты, а вы на какие авторитеты ссылаетесь!?»

Был еще такой случай. Нами, ротой военнопленных, командует в лагере унтер-офицер. Мы по положению обязаны отдавать ему честь, и ведет он себя как начальник. Чувствуется, что это действительно начальник. И я говорю: «Если бы мы сумели дать армии такого хорошего сержанта, как вот этот немецкий унтер. Эх, что б мы сделали тогда!» — «Вы опять восхваляете немецкую армию! Опять восхваляете! Вам все у нас плохо». Я говорю: «А какие претензии вы имеете к этому немецкому унтеру?»

Я не знаю, говорил я об этом или нет, — я в строй не становился. На проверку я выходил, но сидел на скамеечке. И я никогда не приветствовал даже этого капитана, гестаповца. Он тогда вызывает нашего коменданта... Среди нас был русский комендант назначен, наш, комбриг. «Передайте генералу Лукину, что он не в Азии находится, а в Европе. Он меня должен приветствовать». Я ответил: «Если капитан меня первый поприветствует, а я генерал, никто с меня генеральского звания не снимал, тем более немцы не имеют права снять, — тогда я ему отвечу. Вежливость есть вежливость. А пока он меня не будет приветствовать первый, я его никогда не буду приветствовать».

Ну, никаких репрессий ко мне не применялось.

В Париже мы ездили по городу. Ходили, осматривали. На меня очень сильное впечатление произвел Пантеон. Мы увидели наполеоновскую могилу, в белом мраморе, золоте. И стоит солдат в форме его гвардии. Это на меня сильное впечатление произвело. Французы до сих пор чествуют своего императора.

Повели нас в театр. В Париже был русский театр для эмигрантов. Когда узнали, что мы русские генералы, нас обступили французы. В буфете предлагают и водку, и

другое. Но мы не пили никто ничего. И рассказывают: к нам, говорят, приезжал Блюменталь-Тамарин¹. Хотел в этом театре выступать. Так парижская эмиграция не дала ему слова сказать. Его забросали тухлыми яйцами, апельсинами, всем, чем можно забросать. И не дали ему говорить совершенно.

Нехорошее впечатление на нас произвели нравы французские. Днем, в садике, недалеко от Елисейских полей, где была столовая Офицерского собрания, сидят молодые люди, целуются враспор. Руки запускают, ни на кого внимания не обращают. И на них никто внимания не обращает. Нас это поразило несколько.

Я вам говорил, что два азербайджанца приходили ко мне. Один еще в лагере в Устрове, а второй, который уполномоченным был, уже здесь, в Париже. Помните, я вам рассказывал? Пришли они и говорят: «Михаил Федорович, мы вас поведем в Мулен Руж. А хотите, в другие, более значные места поведем». Мы говорим: «Нет, нам что-нибудь, середка-наполовинку». Ну, повели в Мулен Руж. В основном он был забит солдатами — англичанами, американцами. И конечно население французское.

На сцену выходят десять или больше девиц. Молоденькие все. Видимо, неиспорченные еще, не лишённые девственности. Только здесь вот прикрыто фиговым листочком. И начинают распевать. Поворачиваются, все у них открыто.

К.С.: Ну, я нагледелся на это...

М.Л.: Я говорю, какое на нас это произвело впечатление, представляете? Солдат американский — он ногу ставит на кресло впереди сидящего. Тот ее снимает, он вторую ногу ставит. Тут же распивают. Тут же все курят. Полно дыма. Мы думаем, что такое? Как это в театре такие вещи проделывать? А люди знающие говорят нам: «Это явление нормальное». Ну, нормальное, так нормальное.

Там была показана пьеса из нашей казачьей жизни, как живут наши казаки. Мы хохотали до упаду. В каком-то совершенно извращенном виде было показано.

Некоторые ходили потом, где дома свиданий, всякие изощренные виды там, показывают. Появляются силуэты и все это проделывают. Я-то не ходил, не смотрел. Так только слышал, что это есть, но не пошел.

В Париже чуть ли не каждый день — манифестации. Весь Париж высыпает на улицы. И вот, не помню в какой день, де Голль появился на Елисейских полях. Я сам лично его видел. Идет, и толпы народа его окружили. Он без какой бы то ни было охраны. Его толкают, к нему добиваются, руки жмут ему. Он чего-то отвечает, они кричат: «Вив де Голль! Вив де Голль!» Де Голль — это было что-то такое невероятное у них. Мы знали, что де Голль национальный герой, что он — мы тогда еще ничего не знали — единственный из полководцев, который восстание поднял. Но нас поразило, что правитель государства — и так свободно, без всякой охраны появляется. Мы к этому не привыкли. У нас дело это несколько по-другому обстояло.

А через некоторое время во французских газетах — аншлаг такой. Крупными буквами написано: «Граждане французы и француженки! Завтра на такой-то вокзал, во столько-то часов прибывают наши мученики солдаты — французы из немецких концлагерей. Приходите встречать».

Мы говорим, пойдёмте, посмотрим, как французы встречают своих военнопленных. Пошли. Мы в штатском, но когда мы говорили, что мы русские, нас пропускали.

¹ Блюменталь-Тамарин Всеволод Александрович (1881—1945) — актер, режиссер.

Оказавшись на оккупированной территории с февраля 1942 года начал регулярные выступления по радио, призывая советских солдат сдаваться, а население на захваченных территориях сотрудничать с оккупантами. Ловко имитируя голос Сталина, Блюменталь-Тамарин озвучивал фальсифицированные указы советского правительства. Записанные на немецком радио Варшавы речи транслировались на оккупированных территориях СССР. Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила его к смертной казни. С приближением советских войск Блюменталь-Тамарин перебрался в Кёнигсберг, затем в Берлин. 10 мая был убит в Мюнзингене «при невыясненных обстоятельствах»

Все улицы были запружены. Пройти трудно, но мы все же прошли. Вышли на платформу. Там устроена трибуна. Подходит поезд. Должны были их встречать, а они все из дверей — там ведь каждое купе открывается, — родные их схватили. Крики, радость, слезы, песни. Официальная часть была сорвана. Музыка гремела.

Мы постояли, посмотрели, посмотрели и все задумались: а как нас будут встречать? Одни говорят: «Ну, конечно, тех, у кого родные живут в Москве и вблизи Москвы, придут встречать». А я говорю: «Да вряд ли это сделают, вряд ли. Сначала ведь надо будет отчитаться — как ты, Михаил Федорович Лукин, попал в плен? И я должен сказать. Что ты делал в плену? Как ты себя там вел?» «Ну да, ты всегда ...» — это опять тот же генерал Самохин и некоторые другие тоже. А большинство замкнулось в себе. Начали уже реальную близость дома-то ощущать. Задумались, как там?

В один прекрасный день говорят нам, что за нами приехали из Москвы. Спрашиваем — кто? Какие-то офицеры. Ну, мы предполагали, что, конечно, не рядовые офицеры, не армейские, а из НКВД.

К.С.: Вы в Париже к этому времени уже были несколько месяцев?

М.Л.: Около месяца. Как-то тревожно стало, сердце сжалось. Что ожидает? Это мучает всех, не только меня. И хочется поехать, как будто бы и радостно, и в то же время думаешь: а что же будет? Может быть, лучше, чтобы родные не знали? Может быть лучше, чтобы они считали, что ты погиб и всё.

Драгун устроил нам банкет. Тогда встреча была, а теперь он устроил прощальный банкет с французским коньяком. Закуска прекрасная, водка. Водка, кажется, наша была. Сажу я на углу, на втором углу сидит майор, который прилетел за нами. Я спрашиваю: «Вы кто будете?» Он говорит: «Майор Красной армии».

К.С.: Он в штатском?

М.Л.: Нет, в форме. Общеармейские петлицы. Я говорю: «Ну, это я вижу, что Красной Армии. А на самом-то деле вы откуда, из Смерша». — «А что такое Смерш?» — «Да мы, — говорю, — слышали здесь, что какой-то Смерш есть, но не знаем, что это такое. Мы особый отдел знали. Знали, что у нас есть МГБ...». Он усмехнулся и говорит: «Нет, мы армейские». Ну, армейские, так армейские. Пьем.

Вы знаете, я очень много пил за тем столом. Мне страшно хотелось захмелеть. Не берет. Настолько взвинчены были нервы — ну не берет меня хмель. Я предлагаю: «Ну, давайте выпьем». — «За что будем пить?» Я говорю: «Как сказал Лещенко: “Сибирь ведь тоже русская земля”». — «Ну, зачем такие мрачные мысли, тем более вам?» Я говорю: «Что значит, мне?» — «Ну, чего вам бояться?» Я говорю: «А я и не боюсь, но вообще-то хотелось бы знать, — кто, куда и как? Но, — говорю, — дело это темное пока. И вы мне тоже ничего не скажете». Так мы с ним пьем, пьем, а я совершенно не хмелею. Так и закончилось.

Наутро повезли нас на аэродром. Поданы были самолеты. Наши самолеты, наши летчики. Разместили нас. Самолеты транспортные.

К.С.: Всех повезли?

М.Л.: Всех.

К.С.: У меня по документам — я знакомился с некоторыми личными делами — ощущение было, что Понеделина вывезли из Франции только в декабре.

М.Л.: Нет, с нами вместе вернулся. Не вернулся из Мосбургского лагеря Калинин, комбриг. Калинина я хорошо знал по польской кампании еще. Я командовал бригадой, он у меня командовал полком, в двадцатые годы. Многие знали, что он в плену вел себя нехорошо. И когда в Мосбурге наши генералы заявили, что это генерал такой-то и его надо особо... — он почувствовал, что к нему нехорошее отношение.

К.С.: Заявили, кому?

М.Л.: Администрации лагеря. Мы думали, что они с ним что-нибудь сделают,

арестуют его. Они не обратили внимания. Он не поехал с нами, остался там. Куда он девался, что с ним было дальше, я не знаю.

К.С.: А в чем выражалось его дурное поведение?

М.Л.: Я не знаю.

К.С.: Такое ощущение или были слухи?

М.Л.: Нет, нет, знали, что он где-то с немцами, с Власовым какой-то контакт установил. А потом почему-то к нам в лагерь его бросили.

К.С.: Вы считаете, что, может быть, его подсунули?

М.Л.: Может быть подсунули, а может быть не хотел работать. Может, проштрафился. Но он об этом молчал. С ним не разговаривали, и он на эту тему ничего не говорил. Там было несколько генералов, которые тоже как будто бы начинали с Власовым, потом отказались работать на Власова и были к нам брошены.

К.С.: С ними разговаривали?

М.Л.: Тоже плохо разговаривали. Я вам скажу больше, даже к Понеделину большинство генералов относилось очень плохо — те, которые были с ним вместе с Хаммельбурге. Понеделин, как вы знаете, был объявлен врагом народа. Приказ был о нем и еще о нескольких генералах. Я вам, кажется, рассказывал, что в Хаммельбурге немцы предложили писать историю Красной Армии. Генералам предложили, полковникам. Что, дескать, вам будут увеличены пайки, поскольку вы будете работать. Сигареты вам будем давать. Некоторые пошли на это, а потом большинство начало их срамить: «Для чего вы это пишете немцам? С какой стати раскрываете все, что у нас было и как было? Приедете домой — пишите историю, сколько хотите». Отпали, отошли, бросили. Но к ним предубеждение со стороны генералов уже было. И вот когда меня привезли в Нюрнберг, в госпиталь военнопленных, я вам рассказывал, там услышали, что я буду возвращаться обратно в крепость, французы, югославы и наши, которые работали у немцев и имели марки, собрали мне до пятисот марок. Не знаю точно, но много собрали. Собрали с тем, чтобы я мог дать генералам. Я отдал старшему генералу — Музыченко и говорю: «Вот, распределите». И началось ущемление: одному дают пятьдесят марок, а другому — десять, в зависимости от степени, по его мнению, вины перед советской властью. А я несколько марок оставил, я знал, что он и будет распределять так, — подходил к таким генералам и давал. И вы знаете, они плакали: почему к нам такое отношение? Ведь такой-то тоже с нами был — называют фамилию, — а ему-то ничего, он с Музыченко хорош.

А должен вам сказать, что Музыченко, между нами говоря...

<Пропуск в записи>

Возвращение

М.Л.: Так вот, из Парижа мы на самолетах полетели. Летим над Берлином и видим, что Берлин — разбитый весь. Это нас порадовало, что Берлину хорошо досталось. Сколько мы ни летели — везде разбитые дома. Смотреть приятно.

Опустились в Берлине на аэродроме. Есть там аэродром в самом Берлине. Наши стали выходить. Их спрашивают: «Вам куда?» «Да мне вот нужно...» Обращаются к летчикам, спрашивают: «Когда будем в Москве? Когда полетим?» Летчики не отвечают, отворачиваются. Настроение у всех нехорошее стало.

К.С.: Там что, заправка самолета?

М.Л.: Да, заправили самолет, полетели. Летим. Смотрю — Москву я хорошо знал — кружился над Центральным аэродромом. Я говорю: «На Центральный аэродром мы прилетели».

К.С.: А в Париже представители французские провожали?

М.Л.: Кто-то был. Но так — лишь бы отправить. Наши из консульства были по репатриации, и от французов был кто-то.

К.С.: Там обстановка была нормальная?

М.Л.: Нормальная.

К.С.: Смотрите — Москва цела, в общем.

М.Л.: Москва цела. Сели на Центральный аэродром. Уже темнеть начинает. Подрулили к ангарам. Смотрим, никого нет. Я говорю: «Что-то ни родных, ни музыки, ни цветов нету». Молчат. Все молчат, притихли. Даже Самохин не бросил реплики.

Потом через некоторое время появляется группа офицеров во главе с генералом. Постояли, посмотрели в нашу сторону и ушли. А через некоторое время появились два маленьких допотопных автобуса. Я в жизни таких автобусов не видел. В камуфляже все. И легковые машины. Подходит офицер. Подали трап. «Иванов, Сидоров, Карпов, Лукин, — называют по фамилии, — выходите». Выходим. Подходит ко мне: «Вы можете идти?» — «Нет, — я говорю, — не могу, мне надо помочь». — «Давайте, я вам помогу». Помог мне сойти. «Садитесь сюда, в легковую машину». Посадили меня в легковую машину вместе с энкавэдэшниками и поехали. Спрашиваю: «Куда везете?» — «Вы же Москву знаете, сами видите». Не говорят. Я говорю: «Москву-то я знаю. Мы едем по улице Горького, а куда дальше-то?» — «А вы увидите».

Москва произвела удручающее впечатление. Камуфляжные дома, народ одет в стеганки и ватники. Едем. Поднимаемся по — теперь Карла Маркса, а тогда — по Театральному проезду. Я говорю: «На Лубянку?» — «Нет». Повернули мы в сторону Старой площади. Я говорю: «Неужели в ЦК?» А он мне отвечает: «Вам там делать нечего». Поехали по Маросейке. Я говорю: «Значит, в Лефортово везете». А я знал, что Лефортовская тюрьма — это самая страшная тюрьма. Ну, думаю, в Лефортово везут. Смотрю, нет, свернули по направлению к Люберцам, за город поехали. Приехали в деревню Медвежьи Озера. Остановились. Они не знают, куда ехать дальше. Сразу — ребяташки, женщины столпились. Наши тоже стали выходить. Куда направиться?.. Свернули налево. Три двухэтажных дома.

К.С.: Кто-то в нашей форме, а кто-то в американской по-прежнему?

М.Л.: Все мы одеты в штатское. Кто в форме — в американской. Еще нашу форму не одевал никто.

К.С.: Драгун же кому-то разрешил?

М.Л.: Не одели, потому что погоны-то нам не присвоены. Все в штатском.

Три двухэтажных дома — это строился новый аэродром — и дома были для начальствующего состава. Вышли из автобусов, построились. Комендант говорит: «Я ваш самый ближайший начальник. Я комендант места, где вы будете жить. Вот вы видели, генерал с группой офицеров подходил, и когда он вас увидел, он разрыдался — в каком вы виде. Он обещал к вам зайти, поговорить с вами».

Забегая вперед, скажу. Проходит месяц, два, три, четыре. Мы коменданта спрашиваем: «Как генерал-то, все еще рыдает или успокоился?»

К.С.: Несколько месяцев никакого движения?

М.Л.: Он и не появлялся больше.

Комендант: «Вот видите, стоит грибок? А там, видите, солдат стоит. Вот дальше этого грибка не ходить. Вот здание, от здания пять шагов, дальше тоже не рекомендуем ходить». И начинает говорить, кто с кем в комнатах будет жить. «Вот столовая, будете в столовую ходить». Без строя, без охраны ходим в столовую. Обыкновенная столовая. Кормят довольно прилично. А через несколько дней начали вызывать к следователям. Приехали следователи и начали вызывать.

К.С.: Здесь же?

М.Л.: Там комната есть соответствующая.

Я вернусь к Парижу. Думаю, чего же я поеду с немецким протезом? На черта мне нужен немецкий протез? Пусть мне французы протез сделают. Говорят, французы

делают очень хорошие протезы. Вызвал я нашего азербайджанца, говорю, чтобы французы сделали мне протез. Говорит: «Пожалуйста, в два счета сделают». Пошли в мастерскую. Хозяин говорит: «Два месяца». Я говорю, что не могу ждать два месяца, мне нужно быстро сделать протез. Он говорит: «Ладно, сделаем быстро». Приезжаем в назначенное время, протез не сделан. Почему не сделали? Характерно — манифестации, манифестации, «вива Рус» кричат, а работать некому. Это характерно для французов. Они не работают, а все у них манифестации.

К.С.: Так что — приехали со старым протезом?

М.Л.: Нет, он мне все же сделал. Сделал довольно приличный протез, весь металлический. Я думал, ему износа не будет, а он все равно сломался у меня. Но я довольно долго ходил на нем, на этом протезе.

А немецкий протез... Однажды проснулся я — нет протеза и брюк нет. Фу ты черт, думаю, неужели уборщица куда-то девала? В ванну проскакал, посмотрел. Нет. Под кровать слазил. Нигде нет. Звоню. Объясняю — протеза нет. Переполох в гостинице. И где нашли? У американского солдата нашли. Под кровать, сволоочь, бросил.

К.С.: Что, спер ?

М.Л.: Спер. Ему не протез нужен был, а что-нибудь от генерала раненого.

К.С.: Сувенир.

М.Л.: Да. А у меня, вы помните, я говорил, портсигар был, купили эти два азербайджанца-то, которые в консульстве уже работали. И портсигар этот он спер. А протез ему не хотелось нести, бросил себе под кровать и уехал куда-то. Ну, нашли протез, и я его надел.

<Пропуск в записи>

«Прошу разобрать вторично...»

М.Л.: Следователи: «Садитесь. Расскажите. Идите». Никак не называют, ни Михаил Федорович, ни по фамилии, никак. Мы насторожились.

К.С.: А что из себя представлял следователь? Молодой человек?

М.Л.: Молодой. У меня был следователь Афанасьев. Я должен сказать, что он ко мне относился очень хорошо. Он курил мои сигареты — а мы много сигарет привезли с собой, потому что в американских пакетах было много сигарет, французы давали нам сигареты. Сам он угощал меня сигаретами, но больше мои курил. Следователь этот никаких по отношению ко мне грубостей не допускал. Чисто официальное и, нужно сказать прямо, довольно лояльное отношение. И даже старался мне помочь. Ну, например, я рассказывал вам о том, что ко мне приходил украинский националист — «Папаша, здравствуйте». Он говорит: «А почему вы про это не рассказываете, как вы с ним разговаривали, как вы его послали? К вам подходил югославский полковник русский, бывший белый, как вы с ним разговаривали — почему вы не говорите про это?» А я говорю: «Какое это имеет значение?»

К.С.: А у них, значит, сведения косвенные были, судя по этому.

М.Л.: У них все было. Они знали про меня все и, видимо, про всех знали, кто как себя вел. Я ведь не говорил об этом никому. Не вел разговора про это, а он мне говорит: «Почему вы об этом не рассказываете?» Я говорю: «Ну, если надо, запишите в дело».

И так это продолжалось довольно долго. А потом в один прекрасный день нам выдают обмундирование. Не генеральское, а офицерское. Но без погон. А через некоторое время начали вызывать в Москву. Куда ездили? К Абакумову. Оттуда приезжали со скверным настроением. Кричал на них Абакумов, изменниками называл. В общем, ничего хорошего оттуда они не вывозили. Я ждал, что меня тоже вызовут. Меня не вызывают, в Москву не везут. Тогда я решил сам в Москву поехать.

Но как это сделать? Зубной протез ломаю и говорю коменданту, что я вот сломал зубной протез, теперь есть не могу, надо починить его. Он говорит: «Хорошо, узнаю». Потом говорит, что завтра поедем.

Поехали уже под вечер. Приехали в поликлинику НКВД. Там уже врач ожидал нас, сделал все, и мы уехали. А когда мы ехали по Москве, особенно когда подъезжали к центру, я все время посматривал в окно. «Чего вы смотрите все время?» А я говорю: «А вдруг я жену или дочь увижу». — «Что вы будете делать?» Я говорю: «Ну, как что, закричу, чтобы знали, что я здесь». — «Я, — говорит, — не советую». Я говорю: «А что ты мне сделаешь, неужели стрелять будешь?» Он говорит: «Не советую». — «Да не бойся, не закричу, — говорю. Ну, с какой стати я буду жене кричать — где-то я езжу, она меня не видит, а услышит мой голос...»

К.С.: Свиданий с родными не давали? Требований не выдвигали таких?

М.Л.: Выдвигали.

«Я, конечно, — говорю, — кричать не буду. С какой стати я буду ее звать, если я встретиться с ней не могу. Только в сомнения ее введу. Зачем это нужно? Пусть считает, что я убитый. Убитый, нет ли, но пропал без вести».

Мы начали спрашивать, что с нашими родными, с семьями нашими. Нам: «Давайте ваши адреса. Давайте сведения, где вы их оставляли». Мы сказали. Мне сообщили: «Ваша жена пенсию получает за вас. Дочь ваша учится в институте иностранных языков. Сын ваш находится в морском флоте на Дальнем Востоке». Некоторым, пока разыскивают, ничего не сказали. Понеделину прямо сказали: «Ваша семья репрессирована». И Понеделину, и еще каким-то генералам.

К.С.: Кириллов не был в вашей группе?

М.Л.: Был. Кириллов — замечательный генерал. Выдержанный, подтянутый. Он ведь тоже был объявлен врагом народа. А это очень хороший генерал, замечательный. Не выпустили.

Некоторые из наших генералов, хотя комендант и сказал, что дальше пяти шагов от дома не ходить, пытались пройти к шоссе, посмотреть. А из кустов свечка встает: «Куда?!» — «Да вот так...» — «Ну, давайте, что вам нужно передать. Мы передадим, что надо-то?» Возвращаются обратно. Идут в столовую, официанткам: «Выходной день у вас будет, будете в Москве, бросьте письмо мое, пожалуйста». Письмо, конечно, попадает к следователю.

Я к чему это говорю. Генералы не понимали, куда они попали, где они находятся. Не понимали, что обыкновенная официантка здесь не будет работать. И все это, конечно, попадало к следователю, И следователь говорит мне: «А вы чего не пишете никуда?» Я говорю: «А кому я должен писать? Я знаю, что моя семья получает пенсию, и я спокоен. Раз семья получает пенсию, значит, видимо, все пока благополучно. Дочь моя учится, сын на флоте. Его не изъяли с флота, поэтому я спокоен. Зачем мне писать?» — «Ну, она бы знала, что вы здесь». Я говорю: «А я не знаю, вы меня отпустите или нет. Ведь вы же мне не говорите, что отпустите. Если вы меня отпустите, я тогда напишу письмо. Вы передадите ей, чтобы она была готова меня встретить. Он улыбнулся и говорит: «Этого я не могу вам сказать. Не я решаю. Я только веду следствие». «Но заключения-то вы даете. Как, по вашему мнению?» — «Ну, я не знаю еще, какое заключение дам. У нас с вами еще не окончены дела-то». Вот в таком духе.

К.С.: Он ничего другого и не мог вам сказать.

М.Л.: Конечно, он ничего не мог мне сказать.

Вдруг один генерал записовал. Рожков. Не принимает пищу и отказывается ходить к следователям. Протест заявил — почему нас не выпускают? Приходит ко мне комендант и говорит: «Михаил Федорович, пожалуйста, я вас прошу, поговорите с ним, переселитесь в его комнату. Он психует. Вы тут пользуетесь авторитетом, насколько я понял...» Я говорю: «Какой у меня авторитет? Никакого у меня авторитета нет!» Он говорит: «Я вот наблюдаю, что к вам другое отношение. Поговорите».

Я переселился. Стал с ним в шахматы играть, разговаривать. Я говорю: «Фу ты

черт, обедать хочется, не пойду я в столовую. Пойду сейчас скажу, чтобы принесли сюда обед». А ему я не говорю, что и для него принесут, чтобы он заранее не отказался.

Принесли нам обед на двоих. Я говорю: «Давай поедим, а потом будем доигрывать. Ты, — я говорю, — все же здорово играешь в шахматы. Лучше меня». Смотрю, садится. И начал есть парень. Ничего, успокоился, прошло. Вел я с ним разговоры: чего нам психовать, чего нам бояться? Мы уже смерть видели в глаза. Были в немецком плену. Чего же нам у себя-то бояться? Ну, в общем, парень пришел в себя.

В баню возят нас, в Люберцы. Привезут нас с охраной. Там сторонятся нас, потому что видят — привозят их люди вооруженные, не отходят от них никуда. Неприятно было.

Вышли мы из бани. Сидят девушки, видимо, из последних классов. Сидят, разговаривают с нами, так это весело. Приятно. Я себе и думаю, не знает она, с кем разговаривает. Она разговаривает с изменником родины. Если бы сказать ей, она бы сейчас же от нас убежала. Так приятно было, что человека не подозревают, разговаривают. И вдруг: «Идите строиться!» Офицеры садятся с нами и уезжают. Меня всегда сажали в легковую машину. Не в автобус, а в легковую. Предпочтение давалось.

Через семь месяцев нас переводят в Голицыно. Едем через Москву. Никаких эксцессов не было. Приезжаем в Голицыно, и я попал в ту комнату, где отдыхала моя семья перед моим отъездом на фронт — это был дом отдыха Московского округа, — в ту комнату попал я, где с дочкой отдыхал.

К.С.: А что в это время там было?

М.Л.: Ничего. До нас там Антонеску¹ жил, а потом уже ничего не было. Вот нас сюда и привезли. Уже зима. Выдали всем валенки. Ходим в столовую. Все как следует. Чувствуем, что уже закончилось следствие. Играем в карты, в дурачки играем, в петуха играем. Делать нечего, слоняемся.

К.С.: А книги давали?

М.Л.: Нет, не давали.

К.С.: А газеты?

М.Л.: Ничего не получали.

К.С.: И газет не давали?

М.Л.: Не давали.

Вдруг в один прекрасный день приходит солдат и говорит: «Генерал-лейтенанта Лукина к следователю». Мы все так и опешили: «Генерал-лейтенанта!» И я вздрогнул.

К.С.: А до этого никак не называли?

М.Л.: Никак.

К.С.: Фамилия, и всё.

М.Л.: Нет. Солдат-то говорил: «Лукина к следователю», а следователь только: «Садитесь. Скажите. Идите». А я вздрогнул не потому, что меня называли генерал-лейтенантом, а оттого, что следствие-то кончилось. Думаю, черт возьми, опять кто-то накапал на меня, наверное. А вы знаете, ведь начали друг на друга говорить и писать. Вот он тогда-то сказал то-то и то-то. Он ругал колхозы. Он ругал руководство. А про одного написали (генерал Носков такой был, который в плен позднее попал): «Мы его спрашиваем, как там наши семьи?» А он говорит: «Блещут ваши семьи, потому что аттестата нет, жалованья не выдают, на работу не принимают. Что им делать?» У всех, конечно, подавленное настроение.

К.С.: Неумный человек.

М.Л.: Конечно, неумный. Дурак просто.

И мне следователь говорит: «А отчего вы не пишете ни на кого? Ведь вот были же всякие разговоры». Я говорю: «Знаете, гражданин следователь, мы и так богом убитые. Мы и так перенесли всё. Ну что я буду на них писать? Ну, где-то кто-то что-

¹ Антонеску Йон (1882—1946) — военно-фашистский диктатор Румынии в 1940 — 1944 годах. Правительство Антонеску свергло в 1941 году Румынию в войну против СССР. В 1946-м казнен по приговору народного трибунала.

то сказал. А вы разве не говорите что-нибудь в своем тесном кругу, что у нас плохо, что хорошо? Тоже говорите. Это не значит, что они антисоветские люди. Вы же сами знаете, что колхозы у нас были и плохие, и хорошие. Хороших меньше, плохих больше, вы же сами знаете это. И что такого особенного в этих словах? Или кто-то сказал: такой-то начальник был плох, но ведь это не значит, что он антисоветский человек, что на него надо доносить. А я считаю, такое писать — просто кляузы разводить». — «Ах, вот вы какой!» Да, вот я такой.

Да, он мне еще сказал: «А вы знаете, за вами еще по тридцать седьмому году след большой. Вы еще там не отчитались». Я говорю: «Ну, знаете, бросьте... Я знаю, что за тридцать седьмой год». Вот здесь он и сказал: «Вот вы какой».

И должен сказать, что Афанасьев никогда, как другие следователи, не бил по самолюбию. Никаких каверзных вопросов не задавал, а старался даже помочь мне. Я доволен своим следователем. И после, когда я как-то встретил Афанасьева — я был уже в форме — в магазине, бывшем Елисеева, разговорились, и я говорю: «Как там остальные? Кто выпущен, кто нет?» И он мне рассказал, что такой-то и такой-то не выпущен, по двадцать пять лет получили. В частности, Самохин получил двадцать пять лет, помните, я рассказывал о нем.

Позвали — иду к своему следователю. «Нет, не сюда, в следующую комнату». Ну, уже легче, значит я должен показывать на кого-то. От сердца отлегло. Легче показывать, чем выслушивать, когда на тебя что-нибудь наговорили.

Смотрю, сидят три офицера. «Здравствуйте». — «Здравствуйте. Садитесь. Ну, что ж, Михаил Федорович, собирайтесь, поедem». — «Куда?» И, видимо, я побледнел, потому что он говорит: «Ну, чего вы испугались-то?» Я говорю: «Это от неожиданности. Собственно пугаться-то мне нечего, хотя вы не сказали, куда ехать». — «Поедете домой». — «Я уже восьмой месяц еду и никак не могу доехать. Уже нахожусь на своей территории, в Москве, а домой не могу попасть. И даже родных не пускаете сюда». — «А сейчас поедете. Только никому не говорите. У вас вещей много?» — «Ну какие у меня вещи! Пакеты только». Сундук у меня, помните, я говорил, итальянский. Я туда напихал как можно больше пакетов. Приеду, думаю, наверное, в Москве-то ни черта нет.

К.С.: Пакеты с чем?

М.Л.: Я про то, что нам надавали в Мосбурге и в Париже. Пакетами у них назывались продукты, которые военнопленным присылали — американцам, англичанам.

К.С.: Они сохранились?

М.Л.: Я берег. Мы все берегли, потому что не знали, что будет, какая судьба дальше будет у нас. А пакетов было сколько угодно. Давали неограниченное количество.

«Вы никому не говорите о том, что поедете домой». Я сказал одному, другому, которых знал, что за ними ничего нет, что они вели себя в плену замечательно, то есть так, как подобает советскому генералу. Я говорю: «Давайте телефончики. Нет телефонов, давай адрес». Я сказал, когда вернулся от следователя: «Я, товарищи, уезжаю домой». Они говорят: «Мы так и знали, что ты первый уедешь домой. Хорошо, что ты едешь». Я говорю, что мне сказали — едешь домой, но что я в этом не уверен. Распрощался со всеми, выхожу. Такая площадка большая перед сходом. Выстроились машинистки, несколько следователей, охрана наша, солдаты выстроились и говорят: «Счастливого, товарищ генерал, доброго пути». Вы знаете, я расплакался. Значит, я действительно еду домой. Они-то знают, раз говорят мне это.

Выехали мы за ворота, спрашиваю: «Куда везете?» — «На Лубянку». — «Э, вашу мать, так бы и сказали, что на Лубянку». — «Ну, потом поедешь домой». Приезжаем на Лубянку, поднимаюсь на какой-то этаж, не помню. Привели в приемную. Смотрю, написано: «Генерал-полковник Абакумов». Вот, думаю, к кому я попал теперь. Тогда не попал, так теперь попал. Думаю, ничего тут хорошего я ждать не могу.

Открывается сейчас же дверь: «Войдите. Садитесь». У него кабинет в два раза шире вашего, но очень длинный. И тут же прямо у двери стоит стул. Как только вошел, сразу — садитесь на этот стул. А он там, далеко. Головы не поднял, не поздоровался. И я не поздоровался. Что-то писал, какие-то бумаги смотрел. Не поднимая головы,

спрашивает: «Генерал-лейтенант Лукин?» — «Да». — «Михаил Федорович?» — «Да». — «Нет ноги?» — «Да». — «Вторая нога в двух местах перебита?» — «Да». — «Рука не работает?» — «Да». — «Кто вас вербовал еще?» — «Ну, вы же знаете, приезжал Власов, приезжал с немцами, вербовали меня. Предлагали мне подписать воззвание к русскому народу, объявить врагом народа Сталина, Политбюро и все наше правительство». — «Ну и что же?» — «Вы же знаете, что я не подписал. Не пошел на это дело. Старался и Власова от этого удержать». — «Да, нам это известно. Ваша жена писала мне два письма». Я говорю: «Что же вы ей ответили?»

К.С.: И все это, не поднимая головы?

М.Л.: Да, на меня даже не смотрит. В бумагах что-то там роет все время. Видно, дело мое смотрит. «Меня не было, я был в отпуске». — «А ваш заместитель не мог ответить?» — Промолчал. Поднял глаза и смотрит на меня: «Скажите, вы честный человек?» — «Генерал-полковник, а какая сволочь на себя скажет, что он сволочь?» — Он так это сделал подобие улыбки: «Ну, вот что, я решил вас выпустить».

К.С.: «Я»?

М.Л.: Да. «Я решил вас выпустить. К вам придут на квартиру портные, сапожники, вам сошьют обмундирование. Вам дадут денег. Вы будете зачислены опять в ряды Красной Армии. Но неделю никуда не выходите. Ни с кем, никому ничего не говорите. Мы сейчас пошлем на квартиру за вашей женой». Я говорю: «Это зачем?» — «А чего вы боитесь?» — «Четыре часа ночи уже. Приедут туда, люди спят, а им скажут: “Пожалуйста на Лубянку”. Вы же всех перепугаете там». — «А чего же бояться-то?» Я говорю: «А кто к вам сюда по ночам по доброй воле приходит? Привозят только». — Так улыбнулся немножко: «Ну, хорошо, мы пошлем предупредить вашу семью». Я говорю, что это другое дело.

Пока я собирался, пока выходил, сели в машину, поехали, а посланный, который предупредил семью, уже выходит из двери, уже на квартире был. Дома, конечно, переполох, вы представляете себе?

К.С.: Они что-нибудь знали или нет?

М.Л.: Нет.

К.С.: Не знали, что вы в Москве?

М.Л.: Не знали.

К.С.: Значит, только жена обращалась с запросом?

М.Л.: С запросом и пенсию уже получила.

К.С.: А когда она начала пенсию получать?

М.Л.: Не помню сейчас.

К.С.: Но не во время войны, позже?

М.Л.: Во время войны уже получала пенсию, но на работу ее сначала не принимали, потом приняли. Пайка генеральского ей не давали. Какая-то сволочь получала этот паек. Когда я потом стал выяснять, почему пайка не давали моей семье, так замяли этот вопрос. Потом приняли ее на работу. В КЭО она работала. Но за ней была слежка. Жуткая слежка. Она знала, что за ней следят. А один раз вызвали ее в военкомат. Она говорит, что сразу поняла, что там сидит не военком, а из Смерша. Что вы знаете о своем муже, пятое-десятое. Она говорит: «Может быть, вы что-нибудь скажете о муже, я ничего не знаю».

Она знала, что за ней следят. Там, где она работала, была одна девушка, и она жене говорила: «Все время черти спрашивают, приходят, с кем она встречается, где она бывает, что делает? Я говорю: “Ходит изможденная, измученная, едва ноги таскает”». А паек жена получала очень паршивый, иждивенческий паек, так что тяжело было.

Вот я и приехал домой. Ну, конечно, радости тут было много. На второй день пришли ко мне портные, сапожники, сняли мерки. Принесли пять тысяч рублей денег. Я спрашиваю: «Это за что?» — «А это, — говорят, — распоряжение — вам пять тысяч». Я говорю: «За весь плен?» — «Вот за весь плен вам пять тысяч рублей». Ну ладно, эти пять тысячгодились. Обмундирование сшили. Правда, за пошивку денег не взяли.

Ну, соседи знали, что приехал муж, и ко мне началось паломничество.

К.С.: Со следующего же дня, конечно.

М.Л.: Да. О тех, кого я знал, был уверен, что их выпустят, был уверен, что за ними ничего нет, я говорил: «Я думаю, что ваш муж... я его видел, он в хорошем состоянии. Я наверное не знаю, где он, но ждите, он должен скоро прийти». Обнадеживал.

К.С.: Не ошиблись?

М.Л.: Нет, ни в одном не ошибся. Я же знал всех, у которых нет ни сучка, ни задоринки. Ни в одном не ошибся. Ждали, потом приходили и благодарили за это. А о тех, о которых я знал, что не выпустят или сомнения у меня были, я говорил, что не встречал. Слышал, но это только разговоры, а где и что, не знаю, не могу сказать. Зачем я буду беречь душу, что вот я видел, он сидит там, а его не выпустят. Не хотел я растревлять людей.

Живу. Меня куда не приглашают, ни на праздники, ни в гости товарищи меня не зовут. А товарищей у меня было очень много, и всех как корова языком слизала. К семье моей эти годы никто не приходил, не спросил, как вы живете, не помог ничем.

Подходит праздник, и так обидно становится. Люди празднуют, торжественное собрание где-то проходит, а ты какой-то отщепенец.

Подал я в конфликтную комиссию при ПУРе на восстановление в партии. «Считать механически выбывшим». Вызвал меня начальник ПУРа, не помню, на «Ш» фамилия, где-то сейчас секретарем обкома работает. Вошел я к нему. Стоит он за столом письменным. Сесть мне не предложил. «Генерал-лейтенант в отставке по вашему приказанию явился». На костылях стою. «Скажите, как вы сдались в плен?» Я говорю: «Товарищ генерал-полковник, может быть, вы хотите узнать, как я попал в плен? Я вам расскажу». — «Ну, это все равно». — «Нет, это не все равно». Он молчит, и я молчу. «У вас ко мне вопросов нет?» — «Нет». — «Разрешите идти?» — «Идите». Думаю, чего я от этого чурбана буду ждать? Чего я буду перед ним распинаться? Не хочу больше с ним разговаривать, от него я ничего не могу ждать. И ушел. «Механически выбывший».

К.С.: В кадры обратно не зачислили?

М.Л.: Зачислили сразу же.

К.С.: А отставка?

М.Л.: Нет еще, я нахожусь в кадрах.

К.С.: Вы представлялись — генерал-лейтенант в отставке.

М.Л.: Ну, тут я, видимо, уже ушел в отставку. В отставку я ушел в сорок седьмом году. Вызвали меня Булганин и Конев, — а Конев был тогда главкомом уже, — и говорят: «Мы можем вам предложить должности заместителя начальника Главного Управления военно-учебных заведений или в «Выстрел»». Я говорю, нет, не буду. В первых, я никогда соподчиненные должности не занимал....

К.С.: В «Выстрел» тоже заместителем?

М.Л.: Нет, в «Выстрел» начальником. Я же беспартийный, в партии меня не восстановили. А Булганин с Коневым говорят: «Мы же тебя знаем». Я говорю: «Вы-то знаете, а в партии мне — недоверие, билет мне не вернули. Представьте себе, что-нибудь случится, какие-нибудь казусы по работе, — скажут: откуда идут корни? Будут искать. Скажут, бывший пленный, беспартийный. Нет, говорю, не пойду». — «Ну, хорошо, дело твое. Хотя еще не объявлено, но мы тебе дадим полную пенсию, настоящую, как с погонями и со всем». Я поблагодарил и ушел.

Пришел я к начальнику кадров. Начальник кадров был Филипп Иванович Голиков. Голиков меня знал. Да меня почти все знали. «Что вы думаете делать?» — спрашивает он. — «Вот мне сейчас предложили такие-то должности. Я отказался». Он говорит: «Правильно сделали. Что бы ни случилось, на вас будут собак вешать. Собирается партийная организация, что-то обсуждает. Что там говорят? Вы всегда будете думать, что, может быть, про вас говорят. Всегда будете мучиться. Идите лучше в отставку». Он мне правильно посоветовал.

Я ушел в отставку. Приедешь в дом отдыха, путевка у тебя....Только съездишь,

предположим, в Сочи, тебе в Кисловодск дают путевку. Все это хорошо. Приезжаешь, тебя спрашивают: «Член партии?» — «Беспартийный». Удивленно смотрят — почему беспартийный генерал? А ведь каждому объяснять не будешь. Это все откладывается на сердце, неприятно. Так-то со мной разговаривают, а собирается народ по комнатам, выпивают там, разговаривают, а со мной — только на скамеечке, хотя это мои товарищи, мои подчиненные тут же отдыхают. Бывшие мои подчиненные, теперь они большими начальниками стали...

К.С.: И это только со смертью Сталина изменилось?

М.Л.: Изменилось только со смертью Сталина. А изменилось оно так: всем товарищам, которые были со мной в плену, было предложено идти в Академию Генерального штаба. И мне было предложено. Я сказал, что не пойду. Чего я пойду? Там надо писать, чертить схемы. Что я там сделаю левой рукой? Я сказал, что я служить уже не буду больше. Они все окончили Академию Генерального штаба, и кто поехал в войска, а большинство осталось преподавать в Академии.

К.С.: И Прохоров тоже?

М.Л.: И Прохоров. Все там были.

К.С.: Потапов с вами не был?

М.Л.: Был Потапов Михаил Иванович. Потапов поехал в войска заместителем командующего в Пятую армию, на Дальний Восток поехал. А потом ему дали генерал-лейтенанта, генерал-полковника, потому что Жуков его знал по Халхин-Голу еще. Потом Жуков был командующим войсками Киевского военного округа, и его он перевел на Пятую армию. Так что Жуков его тянул все время. Ну и правильно тянул, потому что он очень толковый, грамотный генерал был. Сравнительно молодой.

После их уволили. Они приходят ко мне и говорят, что их уволили.

К.С.: Это году в пятидесятом, видимо.

М.Л.: Да. Я тогда подумал: сегодня уволили, а завтра начнут арестовывать. Написал Булганину — министру обороны: «Прошу принять меня по личному вопросу, хотя бы на десять минут». Звонок на квартиру на второй же день, как только получили мою записку: «Вас примут во столько-то часов».

Прихожу к Булганину. Вхожу в кабинет. Встретил меня хорошо. Сели мы так за большим столом, сидим, разговариваем. Вспоминаем, как воевали. Он был членом Военного совета Западного фронта, а я, как вы знаете, командующим был. Прошел час, или больше, и он меня спрашивает: «А что, собственно, ты ко мне пришел-то, зачем?» Я говорю: «Вот, товарищ генерал армии (или, кажется, он уже маршал был), я до сих пор хожу в шпионах». — «Как так, ходишь в шпионах?» — «А вот так. Меня никуда не приглашают, товарищи меня в гости не зовут. Кого я приглашаю, ко мне в гости не ходят. Я какой-то отщепенец. Вижу, например, идет знакомый человек, очень хорошо меня знает, и я его знаю. Он начинает смотреть по верхам или старается перейти на другую сторону, лишь бы со мной не встретиться. Я чувствую, что ко мне какое-то недоверие». — «Ну, это ты зря выдумываешь». — «Не выдумываю, а это на самом деле так. Вот товарищи, которые были со мной вместе в плену, генералы, окончили академию, были преподавателями, а теперь их уволили». — «Я их не увольнял». — «Ну, ваш заместитель Жуков, наверно, подписал. Со мной были в плену Понеделин, Кириллов и другие, которые объявлены врагами народа. Качалова убили...» Я рассказал ему, как это все было. Понеделин в плену держал себя прекрасно. Уж кого было вербовать, как не Понеделина, не Кириллова? «Враги народа»! Их каждый убить мог...

К.С.: Да в Париже остаться могли, наконец.

М.Л.: Они могли остаться в Париже. Они в Мосбурге могли остаться. К англичанам, к американцам перейти, так, как ушел Калинин. Могли же они это сделать, но они не сделали этого. С Понеделиным я много раз разговаривал. Я говорю: «Как ты себя чувствуешь? Как ты будешь?» Он говорит: «Ну, ты сам понимаешь, как я себя чувствую. Знаешь, какое ко мне отношение-то у окружающих. Но я поеду, я

докажу, что я не сдался в плен, что было безвыходное положение. Ну, а стреляться, ты знаешь, я не захотел стреляться. Не считал это нужным».

К.С.: С Кирилловым на эту тему вы тоже говорили?

М.Л.: И с Кирилловым, и с другими. Так же они все и отвечали: «Я ни в чем не чувствую себя виноватым. Было безвыходное положение». Кириллов говорит: «У меня осталась горсточка людей, я вижу, что мы окружены. Ну что делать? Стреляться? Патроны все мы выпустили, у нас уже ни одного патрона не осталось». И они были в полной уверенности, что их выслушают, разберутся, как и что было, как попали в плен. К сожалению, этого не случилось. Ни Понеделина, ни Кириллова не выпустили.

Вот я и говорю Булганину, что Понеделин-то и Кириллов прекрасно себя вели. Уж кого-кого было вербовать, как не их? Ведь Понеделину тоже предлагали вместо Власова, он же не пошел. Значит, он не враг народа, значит, какое-то заблуждение. «А ты знаешь, кто подписал приказ о врагах народа?» Я говорю: «Знаю. Еще при мне был подписан приказ. Еще когда командовал армией, знал, кто его подписал». — «Принесите приказ».

Принесли приказ. Сталин, Шапошников, Молотов, Ворошилов, Жуков, Буденный, Тимошенко. Семь человек подписали.

Я говорю: «Товарищ маршал, может быть, тогда, в то время и надо было, чтобы люди более яростно дрались. Но а теперь-то, когда война-то кончилась, зачем же их держать-то?» Кому-то начинает звонить. Говорит: «Да вот Лукин у меня сидит. Про Понеделина говорим — прекрасно в плену себя держал не только он. Любого спросите, никто про него не может сказать, что он где-то с немцами якшался. Ну, да, да, фотографии...» А была фотография, вы сами видели эту фотографию. Как это можно сделать, я не знаю, — сидят немецкие офицеры и чокаются с ним. Я спрашивал его: «Ты где-нибудь сидел с немцами?» Он говорит: «Где-нибудь сидел...». Я говорю: «Ты чокался с ними?» Он говорит: «Нет». Как это можно сделать?

К.С.: Да все можно сделать, это недолго.

М.Л.: Я вам скажу больше. В плену, в Хаммельбурге умер генерал-лейтенант Ершаков, командующий 20-й армией. Никогда он с немцами нигде не якшался. Вышел и вдруг упал. Разрыв сердца, и умер. Как теперь говорят, инфаркт, видимо. Мы, военнопленные, из обыкновенных, не совсем чистых досок сколотили гроб и вынесли за проволоку. Немцы приняли это. Дальше не пошли. А потом получили журнал, в журнале — стоит обитый красной с черным материей гроб, знамена РОА, немецкие знамена, часовые РОА и немцы стоят в почетном карауле. И написано: «Так немецкое командование хоронит генерала, который отказался от советской власти». Мы отлично все знали, что он не отказывался от советской власти. Но для пропаганды было это сделано. А он был очень порядочный, хороший советский генерал, до конца оставался преданным.

Булганин звонит — вот фотография. Я ему говорю: «Я сам эту карточку видел, но этого не могло быть. Его никуда не приглашали, ни в каких пирушках он не участвовал. Замечательно вел себя до самого последнего момента. Когда меня освобождали, отпускали, он еще находился там. Я был уверен, что разберетесь, а его не выпустили до сих пор».

К.С.: Его уже расстреляли тогда или вскоре после этого.

М.Л.: Да. Вызывает адъютанта: «Разыскать семьи Кириллова и Понеделина». Через несколько дней я звоню адъютанту Булганина, спрашиваю: «Как, нашли?» Он говорит: «Нашли. Жену приказано вернуть в Москву. Не могут найти сына Понеделина. Еще не нашли, в каком он лагере». — «А сами Понеделин и Кириллов?» Молчит. Для меня ясна была картина, что их расстреляли. Никто, конечно, Сталину не хотел передолаживать. Боялись. В то время Сталин считался непогрешимым, это понятно.

Булганин спрашивает: «Хорошо, в чем ты нуждаешься?» Я говорю, что я ни в чем не нуждаюсь. Получаю хорошую пенсию, получил выходное пособие, отдано распоряжение построить мне дачу (а потом с меня все деньги получали за эту дачу, ну, это черт с ним), мне машину дали, шофера прикрепили. Так что я всем доволен, ни в чем

не нуждаюсь. Форму мне сшили. «Ну и живи. Будет плохо, приходи ко мне». Я говорю: «Николай Александрович, а как же с партией-то? В партию меня никто не звал, я сам пришел в партию-то. Я в гражданскую войну командовал полком, бригадой командовал. Как же так получается? Какой же я беспартийный?» — «Ладно, все будет».

Через некоторое время вызывает меня тот же, который мне отказал в Конфликтной комиссии ПУРа — он являлся членом партийной комиссии ЦК. Вызывает меня и говорит: «Слушай, что же ты не пишешь нам, в партию не подаешь?» Я говорю: «Я был у тебя, ты мне отказал. Я механически выбывший считаюсь». — «Ну, знаешь, мало ли что там было. Пиши нам». Я говорю: «Нет, я писать не буду. На меня написано столько, я сам написал вот столько, а теперь я не помню, что я писал. И ты будешь мне говорить: а вот ты тогда-то, в такое-то время не там-то был, а там-то... Черт его знает, все теперь уже из памяти-то ушло. Не буду писать». — «Ну, напиши два слова: “Прошу вторично разобрать”». Ну, это я могу сделать.

Написал я и говорю товарищам, которых уволили: «Слушайте, подавайте в партию. Говорят, сейчас можно». «Мы, — говорят, — пробовали. Вчера Кузнецов вызывал, начальник Главного управления кадров». А было так. Собрал Кузнецов всех уволенных и говорит: «Ну что ж, товарищи дорогие, вы теперь ушли в запас, кто в отставку ушел. Вы свое дело сделали уже, сейчас мы армию сокращаем. Вы не подумайте, что к вам какие-то особые претензии из-за того, что вы были в плену. Подавайте в партию». — «Так ведь мы подавали в партию-то». — «Ну и что же?» — «Так нам морду набили. Вызвал нас Шкирятов и сказал: “Скажите спасибо, что у вас погоны на плечах остались. А вы в партию лезете”». — «Ну, да, было время, а теперь совсем другое время. Подавайте. Вот несколько дней назад был Лукин у Николая Александровича и говорит: “Товарищ маршал, я до сих пор в шпионах хожу”. Вы представляете, как ему тяжело?». — «Мы-то, — говорят, — знаем Лукина. Это вы-то его мало знаете». — «Знаете, как ему тяжело!» — «А нам не тяжело?!» — «Ну, давайте, подавайте в партию».

Написали опять. В ЦК написали. Вызывает следователь. А до следователя еще не дошло распоряжение. Когда Булганин со мной говорил, он поговорил с Хрущевым, и решили это дело изменить.

К.С.: Это уже после смерти Сталина?

М.Л.: После смерти Сталина. Когда я был у Булганина, Хрущев через три-четыре дня ушел на председателя Совета министров Союза.

К.М. А до смерти Сталина ходить было бессмысленно.

М.Л.: Бессмысленно. Я им говорю, что Хрущев, он уже председатель Совета министров, говорит: «Товарищ Лукин, все сейчас изменится». Я понял, что он дает мне надежду на то, что действительно изменится.

Видимо, распоряжение не дошло до партийных следователей. Они приходят, и им следователь говорит: «Вы опять в партию подаете!» — и начинает их опять жучить. Они ко мне. «Что ж ты, мать твою так, опять нас спровоцировал в партию подавать!». Я в недоумении.

Вызвал меня этот Леонов, следователь.

К.С.: В ПУР?

М.Л.: Нет, уже в ЦК, уже как член Контрольной комиссии ЦК. Он же был и председателем Конфликтной комиссии ПУРа. «Товарищ генерал, у вас три ордена?» Я говорю: «Да». — «За гражданскую войну?» Я говорю: «Да». — «Кого же тогда в партию-то нужно иметь?» — «Ну, — я говорю, — это уж вам лучше знать, кого в партии держать». — «Ну, вы посидите тут. Сейчас заседает Партийная комиссия, я схожу туда. Вы не бывали там, где Партийная комиссия?»

К.С.: Был.

М.Л.: Были? Узкий коридор такой, и по обе стены стоят стулья. Со мной сидит высокого роста, молодой, красивый парень. Лет так сорок пять, наверное, ему, не больше. Да и сорока пяти-то нет. Я говорю: «А вы чего сюда?» — «А я с целины». — «С какой целины?» — «Да вот бывшие “враги народа” — мы так друг друга называем

теперь, когда возвращаемся, — с целины приехали». Я говорю: «За что вас посадили? Кем вы были-то?» — «В последнее время я, — говорит, — был секретарем Архангельского обкома. А до этого я был секретарем комсомола города Ленинграда. Киров меня выдвинул сначала на второго секретаря обкома, а потом ЦК утвердило меня первым секретарем Архангельского обкома». — «А за что же вас посадили? Что вам предъявили?» — «Да мне, — говорит, — предъявили пустяковые дела. Первое — я хотел убить Кирова. Я им говорю: “Как я мог хотеть убить Кирова? Он же меня выдвинул. Что же я, вместо него сесть хотел, что ли?” А второе — это уже совсем ничемное: выдвинул командующего войсками в Верховный Совет. Так ведь вы знаете, не мы выдвигаем, а нам говорят — такой-то у вас должен пройти. Я бы, может быть, лучше провел бы какого-нибудь рабочего, доярку какую-нибудь. Колхозника какого-нибудь. А мне приказали, я его и выдвинул. Ну вот, мне и дали... Как был в летнем обмундировании, так и послали на лесоразработки. Ой, там и тяжело было, товарищ генерал, на лесоразработках!»

К.С.: После войны, что ли, его загнали туда? Или в тридцать седьмом году?

М.Л.: В тридцать седьмом году это все было. А теперь только выпустили его. Или срок он отбыл. Я не знаю, как это было. Рвсказывает: «Старшими начальниками были уголовники. Кормили плохо, морозы, снег вот так вот. Рубили лес. Норму я, конечно, не выполнял. Мало того — били. Я подумал: ведь, в конце концов, погибну я. И когда один раз подходит он ко мне... Я не выполнил нормы, я чувствую, что он хочет бить меня... “Если ко мне подойдешь еще раз, я тебя зарублю. Вот топор у меня в руках. Зарублю! Мне терять нечего, я бессрочник. А ты погибнешь”. С тех пор как рукой сняло. Нормы я не выполнял никогда. Старался делать так, чтобы разогреться. Но нормы большие давали, не выполнял. Я получал всегда не только свою пайку, а лишнюю пайку получал. Как видишь, я ничего выгляжу теперь, прилично». Действительно, он выглядел ничего себе, прилично.

Пошел туда, его вызвали. Выходит. Я говорю: «Как?» — «Знаете, по всем данным, партийный билет мне вернут. Куда пошлют, не знаю. Все равно. Но я чувствую, что партийный билет мне отдадут».

Рядом сидела женщина, старушка уже. Спрашиваю: «А вы за что?» Интересно все же узнавать-то, зачем народ приходит сюда. «А я, — говорит, — была учительница в Симбирске (или в Куйбышеве)». — «За что же вас посадили?» — «Да вредила в программных вопросах». — «Вас арестовали?» — «Да. Сначала арестовали мужа». — «А муж кем был?» — «А муж был директором педтехникума. Сначала его посадили, а потом уже и меня взяли». — «И вы до сих пор не знаете, где он?» — «Не знаю».

А напротив сидит — коридорчик-то узенький, слышно все разговоры — сидит и прислушивается мужчина, обросший весь, обрюзгший. Смотрит так на нее, и когда она сказала, что муж директор педтехникума, «Аня!» — кричит. Она его называет по имени. Обнялись. Сидели, друг на друга смотрели и не узнали друг друга, насколько люди изменились. По восемнадцать лет сидели. Представляете, картину? Жуткая картина.

Потом вызывают меня. Вхожу. Народу много сидит, человек пятнадцать. «Ну садитесь, Михаил Федорович. Ты меня узнаешь?» — «Вот когда заговорили, я вас узнал». Заместитель председателя Мосгорисполкома. Николай Тимофеевич или Иван Тимофеевич, фамилию его тоже забыл. Когда я был комендантом города Москвы, я хорошо был с ним знаком. Приезжает какая-нибудь организация иностранная, принимали. На банкетах и так далее. И часто мы с ним встречались. Он и говорит: «Ну что ж, товарищи, Лукина я давно знаю. Комендантом города Москвы был. Да вот, Николай Александрович¹ мне звонил о нем. Он с ним воевал, хорошо знает его по фронту. Да и ты, Леонов, наверно его знаешь». Я говорю: «Леонов наверняка про меня знает». — «У вас какие-нибудь вопросы есть?» — обращается к членам комиссии. «Нет». Я говорю: «У Леонова, наверно, есть вопросы, потому что Леонов разбирал

¹ То есть Н.А.Булганин.

мое дело». Леонов немножко смутился и говорит: «Нет, у меня вопросов». — «Ну, знаете, товарищи, я думаю, что товарища Лукина мы восстановим в партии. Товарищ Лукин, мы обыкновенно не объявляем, но вам мы можем объявить. Наше решение обыкновенно утверждает ЦК, но вам мы объявим. Мы вас восстанавливаем в партии. Вы настоящий генерал, советский генерал и будете членом партии. Дай бог вам жить долго».

Я расплакался. Все так вдруг, неожиданно.

«Партийный билет получите в политотделе».

Прихожу туда. Заплатить за тринадцать лет членские взносы. Я говорю: «Да что вы, с ума сошли — за тринадцать лет членские взносы! Я же был беспартийным». — «А вот теперь надо заплатить все взносы». Я говорю: «Дайте мне позвонить вот такому-то». Я звоню и говорю: «Слушай, Иван Тимофеевич, как же так — в партии восстановили, а теперь партийный билет я должен выкупить. Заплатить за тринадцать с половиной лет». «А-а-а, там еще не знают постановления. У нас есть постановление: платить с момента выдачи партийного билета». Я не обратил внимания, заплатил с момента получения билета, только за текущий месяц. А пришел домой, смотрю — перерыв у меня. Тьфу ты, черт возьми! Куда ни приеду, если нужно показывать партийный билет... «А почему у вас перерыв?» Каждому надо объяснять. Мне это дело надоело, откровенно говоря. Я ему звоню и говорю: «Слушай, что же ты мне филькину грамоту выдал?» Он говорит: «Как филькину грамоту?» — «Куда я ни приду, меня спрашивают, почему перерыв. И я должен каждому объяснять, как я долго был в плену, как я себя вел и так далее и так далее. Зачем мне это нужно! Ты уж лучше сделай меня опять беспартийным». — «Ну, ладно, — говорит, — напиши заявление, чтобы сделали без перерыва». Я написал, и тут же быстренько наложил он резолюцию, и все сделали как надо, без перерыва.

А дальше начали вызывать всех остальных моих товарищей, которые были уволены, которых следователи брали сначала в ежовые рукавицы, а потом смягчались. Почти всех выпустили, кроме Понеделина, Кириллова, Сибасева — генерала железнодорожника. Он у меня в армии одно время был. А Самохина не выпустили. Самохину дали двадцать пять лет. Потом выпустили Самохина, и я его встретил. Он был преподавателем военной кафедры Московского университета на Ленинских горах, но в партии его не восстановили. Он так и умер беспартийным. Единственный человек, которого не восстановили.

Последним я давал показания на Герасимова года полтора-два тому назад. Сейчас он живет в Бердичеве, из числа пытавшихся писать историю, но потом он отказался. Сидел долго, потом был беспартийным. Он просил, чтобы меня вызвали в ЦК, в ЦКК. Спросили, знаю ли я такого. Я говорю, что знаю. «Напишите». Я написал. Ничего плохого я не мог о нем написать. Восстановили тоже в партии. Всех восстановили в партии, кроме одного Самохина.

И работали. Потапов работал долго, умер два года назад. Хороший генерал. Да все вели себя примерно. Были колебания у некоторых по написанию истории, а чтобы идти работать к немцам — все категорически отказались. Так что наш генералитет, находясь в тяжелых условиях немецкого плена, очень тяжелых условиях, остался верным своей родине.

Один из генералов, он в плену не был с нами, где-то в другом месте сидел, звать его Петя, фамилию забыл. Хороший генерал, очень веселый, симпатичный такой. Освободили его американцы. Это было как раз на границе Югославии и Италии. Он спрашивает: «Могу я машину взять и поездить?» — «Пожалуйста, поезжай». И он говорит: «Я поехал в Югославию, потом махнул в Италию. А когда наездился уже, пришел к консулу и говорю: “Я вот такой-то, такой-то. Отправляйте меня домой”». Его отправили. Когда он приплыл в Одессу, его за шкирку и посадили. Тут уж он вместе с нами сидел. Хороший парень. Не выпустили. Жалко парня.

К.С.: Погиб?

М.Л.: Погиб.

Лидия Салохидинова

Русская печка

Небольшой городок в советском Таджикистане. Улица Садовая. Она без труда оправдывала свое название. Вдоль улицы росли горделивые пирамидальные тополя, космическими ракетами устремлявшиеся ввысь, словно алюминевые, матово поблескивали их крупные серо-стальные листья. Вдоль арыка росла дикарка-алыча. Оттого дикарка, что ее здесь никто не высаживал и не культивировал — сама росла. По весне, лишь только запоют лягушки (и от того, по местной народной примете, враз издрябнет редька в темной комнате), раскидистые шатры этой алычи радовали взгляд буйством белых с розовой середкой цветов, а к июлю — редкими (потому как объедены ребятней еще зелеными) спелыми плодами. От одного упоминания об алыче вяжет язык, сводит в оскомине скулы. По-королевски развесив крону, подчеркивая свою избранность, пурпурно-величаво цвели тут по весне гранатовые деревья. А осенью, словно застрявшие в ветвях маленькие кометы, на них висели огненно-красные плоды; со временем они блекнут, становятся коричневыми и затвердевают — остывшие кометы. Яблони разных сортов, изнемогая под тяжестью плодов, переваливаются через заборы. Красавицы-таджички, кокетливо играя сурьмленными бровями, изящно, как и подобает красавицам, будут по осени снимать с них плоды.

В центре улицы несколько домов подряд занимали татарские семьи. Мы с мужем снимали комнату в этом татарском «околотке», в саманном доме на двух хозяев, вернее, на две хозяйки — жили в этих половинках одинокие женщины преклонных лет. Нашу хозяйку звали баба Фая, ей было восемьдесят. «Казанские мы...» — при знакомстве сказала бабушка. Старая женщина была полной и одевалась всегда в просторное ситцевое платье, расширяющееся от груди; на голове — светлый посадский платок, она повязывала его, не складывая угол на угол, поэтому платок разлетался при ходьбе за плечами, как крылья. Ходила она по двору, переваливаясь с ноги на ногу, как большая, неизвестной породы птица. Так же, как хозяйка, переваливаясь с ноги на ногу, бегал по подворью старый беспородный песик. Зато звали этого песика, как английского принца, — Чарли. Правда, бабушка Фая и все ее многочисленные родственники — сын, сноха, две дочери, зятья и внуки — уже скоро вслед за мной стали называть

Салохидинова Лидия Петровна, живет в Сургуте, работает в школе учителем истории. Публиковалась в местной печати. В 2012 году входила в шорт-лист Каверинского конкурса, печаталась в журнале «Сибирские огни».

собаку Чебурашкой. Они так дружно и весело переключились на новую кличку, будто всю жизнь ждали: вот приеду я и перекрещу, как расколдую, их собачонку.

Двор был поделен асфальтированной дорожкой на две половины. У края дорожки с ранней весны стоял небольшой кумган¹, в нем, нагретая от солнца, всегда была вода. Бабушка регулярно совершала омовения и молитвы. Вдоль дорожки, по обе ее стороны, все лето, до самых заморозков — поскольку были разных сортов — цвели розы. Правая сторона двора-сада была по-южному классической: при выходе из дома росла высокая раскидистая яблоня, под нею, вкопанный в землю, стоял стол. Часто мы втроем до сумерек сидели под яблонькой, разговаривали, пили, утоляя жажду, зеленый чай, швыркали голиком², как сказала бы моя родная бабушка, баба Фрося.

Над нами — яблочный дух, густой и вязкий. Наплывали, переплетаясь с яблочным, плотный бархатный запах базилика и родной, простой, как льняная холстина, легко узнаваемый запах укропа; плавно вплетался в этот букет тягучий шелковый аромат роз; и параллельно, по касательной, легкий, словно гарус, — едва уловимый запах тмина. С предгорий по-мальчишески озорно врывался освежающий аромат можжевельника, а совсем издалека, из Каракумской пустыни, ветер-суховея нес жар раскаленного песка. Мне так хорошо было рядом с милым. И казалось, что и из моих родных далеких мест доносились смородиновое благоухание и влажный, пропитанный дождями дух земли.

Бабушка уходила творить молитвы, а мы с мужем еще долго сидели рядом, наслаждаясь друг другом. Вечерний прохладный воздух отяжелял пыльцу, витавшую в воздухе, она садилась на легкие наши одежды, на волосы, лицо, шею, руки. Мы становились сладкими.

За яблоней росла зелень: укроп, кинза, базилик и несколько кустов помидоров. В конце двора-сада опять шли посадки: вишня и два персиковых дерева, одно взрослое, плодоносившее, другое — отросток-отрок. В самом углу двора, как бы из-под забора, воровато и виновато, потому что самозванец, тянулось абрикосовое дерево. По нему четырехлетняя внучка хозяйки, полненькая и на первый взгляд неуклюжая Гульнара, лазала проворно, как кошка. «Кошка» эта часто была ободранной: трещал и рвался подол платья, оставались красные штрихи-пометки на руках и ногах. Один сук, крепкий и надежный, позволял малышке выделять довольно сложные кульбиты, она висела на нем диковинным фруктом, кувыркалась, а то возлежала, отдыхая, подставив ладонь под свою круглую симпатичную мордашку.

Абрикосовое деревце, словно боясь, что его срубят, каждый год давало щедрый урожай. Поспевшие плоды бабушка особо не жаловала. Обходя свои владения, она срывала горсть абрикосин, до того спелых, что на солнце они просвечивались, словно рентгеном, и были видны овальные косточки. Входя в дом, небрежно забрасывала их на козырек над дверью — там и сушился урюк. Гульнарка, очередной раз придя попроведать бабушку, надув красивые губки, говорила с большой обидой за свое любимое дерево:

¹ Кумган (*тюркск.*) — кувшин для воды, с узким горлышком, носиком, ручкой и крышкой, применявшийся в Азии в основном для умывания и мытья рук.

² Швыркать голиком, т. е. пить чай без сахара, конфетки и варенья (сибирское выражение).

— Аби, ну почему вы абрикосы не любите... не собираете? — И, не дождавшись ответа: — Я возьму кисайку?

Взяв большую чашу, она шла в угол двора и, насколько хватало маленькой девочке терпения, срывала поспевшие плоды. Кисайку с абрикосами она уносила с собой, что уж она делала с ними — съедала сама, делилась ли с братьями, а может, по дороге домой раздавала друзьям-подружкам, — неизвестно.

Та часть абрикосового дерева, которая смотрела на соседский двор, обиралась, объедалась тамошней многочисленной детворой.

Вторая половина двора-сада представляла собой осколок среднерусской равнины: под окном росла... малина, и это было откровением тоскующей души родом из заснеженной России. Сразу же за малинником располагался небольшой дровник с пахучими маленькими полешками. За дровником — курятник. Куры были пестренькими, такими же, как и у моей мамы. За курятником — банька.

Когда мы с мужем по утрам уходили на работу, старая хозяйка выходила проводить нас, как родных. Она долго стояла у калитки. Мы переходили добротно асфальтированную дорогу и оказывались у проулка. Девочка-таджичка, подметавшая у своего забора, поднимала голову и с нескрываемым любопытством и восхищением смотрела на нас с мужем. Ей было лет семь, платьице радужной расцветки и такой же расцветки национальные штанишки — видно, ата-отец достал своей ненаглядной доченьке радугу с неба на пошив наряда. Мы шли по проулку, а бабушка все стояла и смотрела нам вслед. Проулок приводил нас на главную улицу города. Эта улица тоже вполне могла называться Садовой, но называлась, как и все практически главные улицы советских городов, улицей Ленина. Наискось от проулка было учреждение, в котором я служила. Здесь мы с мужем прощались до вечера и расходились. Все время, пока мы не скрывались из вида, бабушка стояла у калитки.

Однажды утром, по обыкновению выйдя втроем за калитку, мы столкнулись со старшей дочерью хозяйки. Гузель Садыковна, так звали сорокапятилетнюю дочь бабушки, была в городе уважаемым человеком — главным бухгалтером крупного предприятия. Женщина вопросительно взглянула на мать, ревниво на меня и моего мужа и молча вошла в калитку. Наверняка между дочерью и матерью состоялся разговор — уж очень красноречив был взгляд сдержанной восточной женщины. Но бабушка по-прежнему выходила провожать нас. И стояла, стояла у калитки, пока мы не скрывались из вида. Любила она нас, непутевых.

В другой половине дома жила баба Рая — худая и подвижная, торопкая, крутая, хотя на два года старше нашей хозяйки. Ходила соседка, слегка склонившись к земле, как будто искала место, где бы прилечь. Лицо нашей бабушки, бабы Фаи, было круглым и плотным, что подчеркивало ее этническую принадлежность, лицо же бабушки Раи — вытянутым, без дополнительных данных не разобраться, чьих она кровей. Эти две бабушки были не просто соседками, а подружками с молодости. Часто они говорили о своей третьей подруге, Лене, и при этом все вздыхали. Со временем я познакомилась и с бабушкой Леной. Поджидая мужа с работы, я вышла за калитку и присела на лавочку. Вскоре ко мне присоединилась бабушка Фая, в руке у нее была тряпичная, сшитая из лоскутков кримплена сумка. В ней лежали литровая банка

с супом-лапшой, закрытая пластмассовой тугой крышкой, и несколько беляшей, завернутых вначале в газету, а потом еще в старый платок.

— К Лене схожу...

Я напросилась проводить бабушку, зная, что и эта ноша тяжела для нее. Направились вверх по нашей улице. Тихое ясное небо хрустальным шатром накрывало землю. Кричал ослик деда Рахматуллы, что жил через дорогу. Тихо журчал арычок, довольный, что почти до краев был наполнен светлой водой. Все купалось в сладкоголосом пении птиц.

Шли-шли и свернули в проулок. Здесь стоял высокий дом, выгодно отличавшийся своей добротностью от других. Но забор был облупившимся, давно не крашенным.

— Пошли... — позвала меня бабушка, когда я, отдав ей сумку, собралась уходить.

Мы вошли во двор. Он был захламлен, везде валялись какие-то ненужные предметы: старый стул без сидухи, ведро на боку, сломанная лопата, в углу — разваленная поленица. Прошли к небольшому строению без окон. Здесь, в бывшем дровнике, и жила бабушка Лена. Дверь в эту клетушку была открыта; на панцирной старой кровати — до того старой, что сетка проваливалась почти до пола, — сидела маленькая щупленькая, похожая на бабушку Раю старушка. Она оживилась, заулыбалась, оголяя десны. Бабушка Фая взяла табурет, стоявший рядом с клетью, принесла его в комнатенку, села на него боком к подруге — сесть прямо перед нею не позволяли размеры помещения. Я взяла валявшееся ведро, перевернула его вверх дном и села рядом с дверным проемом. До меня доносились лишь отрывки фраз.

Назад шли молча. Только присев на лавочку у своего дома, бабушка сказала:

— Совсем сдурел Василий... пьет, как собака, Люба терпела-терпела, да и ушла с детьми... Мать вот из дому выгнал, да еще пенсию отбирает, — покачала сокрушенно головой старая женщина. Помолчав, добавила: — Втроем — Лена, Рая, я — в одной кибитке от басмачей-разбойников прятались...

Во многих дворах, но не во всех — город все же, — стояли печи-тандыры. В них хозяйки выпекали пресные душистые лепешки и тонкие, сплюснутые или пузатым почтовым треугольничком, или круглые чебуреки. Запах распространился на всю округу. Ребяшня короткоштанная, черноглазые, сероглазые, голубоглазые, но все как один смугленькие — одни по природе, другие до той же степени загорелые — безошибочно определяли, в каком дворе сегодня пекли лепешки, крутились подле этого дома, ожидая, когда им вынесут свежее испеченного хлеба, а если расщедрится хозяйка, то и чебуреков.

Кто-нибудь из старших детей хозяйки выносил лепешки, и, если то был сын, куражливо подавал мальчишкам (потому куражливо, что несколько лет назад сам был таким же счастливчиком), одну обязательно горячую — только что с пылу с жару. Мальчишки на лету хватали и разламывали, обжигаясь, эту лепешку и тут же съедали. Остальной хлеб радостная ватага уносила в свой любимый уголок, под сопку, что начиналась в конце улицы. Быстрые, как саранча, не останавливаясь, на ходу, срывали они зеленую еще алычу. Два-три раза зажатая в руке алыча проводилась по глади речушки, считалось — помыли. Здесь, под сопкой, начиналось настоящее пиршество. Запасливый какой-нибудь мальчонка доставал из-под камня аккуратно завернутую в газетку соль. Ели,

макая кислую ягоду в соль. Откусывал такой мальчонка алычу, и лицо его перекашивало от кислоты; непроизвольно закрывался один глаз, именно один, вышибало слезу, но откусывал и жевал до ломоты в зубах. Передохнет, зажует лепешкой — хлеб-то ели экономно, «вприкуску» — и опять алыча.

...Дворы соседок разграничивались невысоким забором. За забором со стороны бабушки Раи богато, заслоняя обзор, разрослось гранатовое дерево.

Хозяйка держала уразу-пост. За два дня до окончания поста попросила, чтобы я помогла отнести кастрюлю с тестом к бабушке Рае. Я знала, что у соседки был тандыр, — часто она приносила свежее испеченные лепешки подруге, угощала и нас. Открыв калитку соседки, я остолбенела, потому что увидела чудо-чудное: половину двора занимала... русская печка. А рядом с русской печью расположился тандыр. Важный и надутый, словно напыщенный восточный мужичок, он охранял русскую красавицу. Печь белой лебедушкой плыла в жарком мареве дня, как наваждение. Над нею полог, защищающий от непогоды. Султанчики-столбики из металлических труб надежно поддерживали сень и были украшены восточными вензелями. А вокруг цвели розы.

В эти последние дни уразы весь наш татарский околоток выпекал хлеба в этой русской печке: многослойные, круглые, высокие, словно шапки, пироги-губадии; полулунной формы пирожки картофельные; звездами — шаньги. Караваном тянулись к дому бабушки Раи женщины с дочками в помощь, с казанами, кастрюлями, тазиками, в них — сдобное тесто для праздничных пирогов; на больших блюдах — кисайки с начинкой: корт, приготовленный накануне по-татарски в казане из кислого молока; отварной рассыпчатый продолговатый рис; янтарная курага, золотистый изюм, чернослив; с белыми, словно жемчужными, вкраплениями жирный фарш. Назад сосредоточенные и торжественные женщины и их дочери несли готовую выпечку — перед собою, на плече или поставив тазик на бедро, а одна средних лет татарка умело, как тюрбан, несла огромное блюдо на голове.

В один из приездов домой, в сибирское село, я рассказала маме об этой русской печке в дальней жаркой стороне, на татарском подворье. Мама слушала, дивилась, вздыхала с сожалением; свою-то печь она уж лет десять как выбросила — без надобности стала: хлеб выпекался для селян теперь в огромной хлебопекарне и развозился по окрестным деревням.

Бабушка Фрося, приезжая к нам, сильно ругала маму, дочь свою:

— Нюся, ты пошто така-то? Печь выбросила... все вам места мало... за модой погналась, а о старости не подумала, аль думаешь, всю жизнь молода будешь... придет и к тебе старость, и косточки негде будет погреть... Ребятёшки по зиме мокры с улки приходят, а у тебя и лопотьё просушить негде. Зять с рыбалки, намерзнется, приедет... Ой, Нюся, Нюся...

Отношения с мужем у меня разладились. Уезжала я от него, взяв такси, измученная и опустошенная.

Бабушка вышла меня проводить, обнялись, поцеловались на прощанье.

— Может, еще все сладится... — сказала старая женщина. В ее голосе слышались нотки моей родной бабушки — бабы Фроси.

Машина тронулась, я, спохватившись, оглянулась: бабушка Фая все стояла у калитки; взгляд выхватил и русскую печь на соседском подворье, она отдалялась, уплывала лебедушкой.

А в машине играла музыка из балета «Лебединое озеро». На вокзале тоже слышалась та же музыка. Она преследовала меня в тот день. Она преследует меня всю жизнь.

Кавказское испытание восхождением

В мае нынешнего года в Горной Ингушетии прошла научная конференция «Кавказский текст», организованная Ингушским государственным университетом. Конференция была приурочена к Году литературы, а потому в центре внимания докладчиков, главным образом филологов и писателей, оказались проблемы, связанные со спецификой литературного изображения Кавказа. Предлагаем вашему вниманию фрагменты некоторых выступлений.

В «круглом столе» приняли участие Александр БОЛЬШЕВ, Арсамак МАРТАЗАНОВ, Владимир МЕДВЕДЕВ, Александр МЕЛИХОВ, Эльбрус МИНКАЙЛОВ.

Александр Мелихов (прозаик, публицист, г. Санкт-Петербург)

Плоский Кавказ

Можно с гордостью за нашу всемирную отзывчивость отметить, что в годы самой жестокой борьбы за Кавказ наши литературные пращуры писали о горцах в выпрессанном тоне. В «Кавказском пленнике» молодого Пушкина даже хозяйственные заботы «черкесов» представлены только кратким и праздничным упоминанием: «С полей народ идет в аул, // Сверкая светлыми косами». Зато набегам, которых пленник видеть не мог, посвящены самые звонкие строфы: «Обманы хитрых узденей, // Удары шашек их жестоких, // И меткость неизбежных стрел, // И пепел разоренных сел, // И ласки пленниц чернооких», — даже «ласки» насилуемых женщин воспеваются с восхищением.

В «Аммалат-беке» Марлинского «татары» постоянно произносят примерно такие монологи: «Полюбуйся на смелость наших женщин, пули, как мухи, жужжат, а им и горя мало! Достойные матери и жены богатырей!..» Но если мы пожелаем заглянуть в их мир метафизический, то найдем лишь такую настораживающую цитату: «Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. *Изуверство* (курсив мой. — А.М.) заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов». Религия горцев мимоходом определена как «изуверство».

Даже в «Герое нашего времени» горцы как будто свободны не только от серьезных метафизических размышлений, но и от нужд «низкой жизни» — разве что Казбич продает баранов, но и то не желает торговаться: сказал — отрезал. А если Азамат и совершает низкий поступок, то все-таки не корысти ради, а токмо из страстной влюбленности в лихого скакуна.

Мечты Оленина тоже порождены романтической кавказской поэзией и прозой: «Все мечты о будущем соединялись с образами Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей... То с необычайною храбростию и удивляющею всех силою он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость». Романтический юноша мечтает сражаться на стороне врага!

Но когда он наконец-то видит настоящих горцев — гордых, бесстрашных, — их душа для него остается совершенно закрытой. Что неудивительно — ведь он их видит лишь издали. Зато толстовский «кавказский пленник» видит их очень близко. В первом же столкновении с горцами, которых автор наделяет обыденным для русского уха именем татар, повествователь упоминает об их совсем не поэтических свойствах: «Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят». И везут его не на «летучем» аркане, как у Пушкина, но без всяких театральных эффектов: «Сидит Жилин за татаринком, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синееется». И в сарае бросают его даже не на кошму, а на обыкновенный навоз. И наблюдает он вокруг себя самую что ни на есть будничную жизнь. И даже в набеге не заметно ничего героического: «Бывало, приезжают они — гонят с собою скотину и приезжают веселые. А на этот раз ничего не пригнали, а привезли на седле своего убитого татарина, брата рыжего».

Жилин несколько не романтизирует горцев, но при этом не испытывает к ним и враждебных чувств — у них свой интерес, а у него свой, вот и все. Но у него проходит стороной и старик с белым «полотенцем» вокруг папахи, когда-то убивший сына-предателя, своего рода татарский Тарас Бульба. Внешний облик его впечатляет: нос крючком, как у ястреба, вместо зубов два клыка, но во имя чего он совершил сыноубийство, Жилина несколько не интересует.

Вероятно, романтическое отношение к горцам можно назвать дворянским, а обыденное — народным, и Толстой стремился выразить народное отношение к Кавказу. Сражаясь с горцами, русское дворянство восхищалось ими и даже подражало в одежде, верховой езде и т.п. Казаки же, тоже подражая горцам в боевых повадках, не испытывают к ним ни ненависти, ни восхищения: Лукашка, убивший абрека, только досадует на ускользнувших его товарищей так же, как на упущенного на охоте кабана. Правда, над телом убитого его посещают и более сложные чувства: «Тоже человек был!» — проговорил он, видимо любясь мертвецом». И тут же досадует, что ему не подходят портки убитого: «Мне не налезут: поджарый черт был».

Столь простое отношение к смерти противника отнюдь не мешает казакам шеголять знанием его языка, Лукашка, даже смертельно раненный, ругается «по-татарски»: «*Ана сени!*» — в отличие от Оленинского лакея Ванюши, вставляющего французские слова: «*ла филь*», «*ла фам*». Но какая сказка, какая мечта движет горцами, не интересуются ни лакей, ни барин. Даже в гениальном «Хаджи-Мурате» всего только намечена симметрия Шамиля и Николая, а на сверхполитические, метафизические цели встречаются разве что намеки: Хаджи-Мурат «стал думать», прежде чем принять газават, но как и о чем он думает — ни слова. Хаджи-Мурат «стал на молитву», и дело с концом, и его изумительное мужество предстает и впрямь почти что жизнестойкостью репейника. Имам же

Шамиль молится в силу общественного положения религиозного руководителя, но и для него самого это «так же необходимо, как ежедневная пища».

В итоге даже поклонники кавказской доблести не пошли дальше юного Лермонтова: «Им Бог — свобода, их закон — война». Однако свобода не может быть Богом: Бог указывает человеку высшие цели, а свобода лишь развязывает руки. Во имя каких высших, метафизических ценностей сражаются «черкесы» — этот вопрос в русской литературе даже не обсуждается. Таковы по-видимому и все национальные литературы — притом, что никаких других литератур мир пока что не видел. Этому нежеланию (неспособности) одной культуры войти в метафизические глубины другой можно дать и жесткую оценку: даже восхищение оказывается бессознательной маской высокомерия — да, они храбрее нас, но мы-то сложнее! Хотя не исключено и более мягкое толкование: мы не хотим вглядываться в душу «благородных дикарей», чтобы не разочароваться, — но счастья нет и между ними, их души так же сложны и запутаны, как наши. Так что приятнее изображать их мир плоским, лишенным метафизической вертикали. Не зря в этом мире нет женщины-матери, чья миссия быть мостом между метафизикой взрослого мира и душой ребенка, который все самое главное узнает именно от матери.

Ну, а в литературе последнего десятилетия, когда уже не требовалось имитировать «дружбу народов», пишущий эти строки просто-таки не может припомнить произведения, где бы сколько-нибудь подробно изображались отношения русских и кавказцев, связанных друг с другом единым бытом, кроме своего романа «Исповедь еврея», вошедшего в диологию «Тень отца». «Народный» взгляд пятидесятых на ссыльных ингушей, чеченцев и балкарцев представлен там как полностью лишенный даже проблеска романтизации — их оценивают как обычных соседей, и оценивают по самым приземленным критериям: насколько они удобны и безопасны для окружающих (и от того, и от другого местное население далеко не в восторге: это почти непобедимые конкуренты в очередях и на танцах). А в чем-то подражать им, учиться их языку, видеть в них носителей особой культуры или жертвы несправедливости никому даже не приходит в голову: они воспринимаются скорее как победители — горцев судят не свыше повседневности.

К чести народного восприятия, в депортированных кавказцах не видят не только жертв (в Северный Казахстан мало кто попал по своей воле), но и преступников: никому и в голову не приходит поминать ту «измену родине», которую шило им государство

В последние годы довольно громко прозвучали два романа о Кавказской войне девяностых — «Асан» Владимира Маканина и «Чеченский блюз» Александра Проханова. Оба романа открыто идеологичны, то есть герои более аллегории и сюжетные функции, чем живые люди, но горское *во имя* все равно не затронуто ни там, ни там.

Это и неудивительно, если в первом романе представлено мировосприятие кладовщика (Ж и л и н а!), у которого достает, однако, социально-философской квалификации сформулировать ту либеральную и отчасти, вероятно, справедливую идею, что торговля между противниками смягчает накал войны, — порождая, впрочем, и новые конфликты интересов, но уже не такие яростные, как конфликты воодушевляющих грез. Однако в чем заключаются эти грезы,

кладовщика не интересует. Горцы же изображены просто партнерами по бизнесу, а какое в бизнесе может быть «во имя»!

В «Чеченском блюзе» тоже представлено лишь мировосприятие «простого человека», солдата: «Я их ненавижу за то, что они убивают моих друзей», — и не более того. Да не просто убивают, а предельно коварно: зазывают в гости, клянутся в любви к России и лично к гостям, а потом, когда гости расслабляются, устраивают кошмарную резню. И женщины в этом участвуют, и местный интеллигент — все не задумываясь попирают священный долг гостеприимства.

Я не собираюсь обсуждать, бывало такое или не бывало, а тем более — типично это или нетипично, я отмечаю лишь то, что и здесь автор даже не пытается — хотя бы карикатурно — изобразить, во имя какой высшей правды чеченцы творят эти ужасы, — одновременно ставя на карту и собственную жизнь: ясно же, что российскому командованию не позволят оставить такой разгром, такие потери безнаказанными. Столь страстный идеолог, как Проханов, не может не понимать, что без хотя бы смутного ощущения какой-то своей высшей правоты ни человек, ни, тем более, народ жить не могут, но...

Его интересует лишь одна сторона конфликта — своя.

Героя «Шалинского рейда» Германа Садулаева в военную мясорубку тоже вытягивают заурядные житейские обстоятельства — без всякого «во имя». Сначала пошел служить, чтобы прокормить семью, на службе выдали пистолет вроде бы просто в качестве атрибута власти, а потом его приходится применять, оттого что отступить поздно...

Короче говоря, вопрос о метафизической стороне кавказского менталитета в нашей литературе, похоже, еще не ставился.

А между тем в любом диалоге каждая сторона готова принять лишь те мнения и чувства партнера, которые не разрушают ее собственную экзистенциальную защиту — ее ощущение своей красоты и значительности. И, поскольку важнейшие элементы кавказского мироощущения в нашей литературе не представлены, это означает, что к диалогу мы не готовы. Я почти уверен, что и образ русского человека в кавказских зеркалах в каких-то важных пунктах тоже был бы отвергнут оригиналом, — так что же говорить об обыденном сознании, если диалога нет даже в литературе? Поэтому с него-то и стоит начать. Для начала я бы предложил совместную подготовку и издание российско-северокавказского сборника, где писатели разных народов постарались бы высказать то лучшее, что они видят в другой стороне, которая что-то приняла бы, а что-то уточнила. Возможно, мы обнаружили бы, что даже наша идеализация оказалась бы неприемлемой для наших партнеров по диалогу, — зато мы получили бы шанс узнать, какими они хотят выглядеть в наших глазах.

Быть может, это бы нас сблизило. Но, может быть, и отдалило бы. Сближение возможно лишь при наличии общей экзистенциальной защиты, которую в принципе могли бы создать имперские государственные начала, способные преодолеть этнический эгоизм во имя более высокого и многосложного целого.

Владимир Медведев (заведующий отделом публицистики журнала «Дружба народов», г. Москва)

Третье открытие Кавказа

Русская литература «открыла» Кавказ с началом Большой Кавказской войны.

При всем при том в этой войне не было ничего нового или необычного. «Первые контакты в военно-политической плоскости», как деликатно выразился один историк, между Россией и Кавказом произошли в X столетии и продолжали происходить до самой «пушкинской поры» (о нашем времени речь пойдет позже). Относительно незадолго до Большой войны — в 1801 году — закончилась очередная кампания на Северном Кавказе, и воевавшие там офицеры считали тамошние горы вполне заурядным театром военных действий.

А всего лишь пару десятилетий спустя все изменилось. Кавказ вдруг стал чрезвычайно важен. Горный край и его жители ворвались в умы образованного русского дворянства, на страницы книг и журналов, в очерки, романы и повести, бесчисленные стихи и сотни поэм... «Кавказский пленник» Пушкина стал камнем, стронувшим с места лавину. Известный литературовед Виктор Жирмунский подсчитал: «Число романтических поэм, напечатанных в течение двадцати лет — от 1822 г., когда появился «Кавказский пленник», до 1842 г., времени выхода в свет посмертного «Собрания сочинений» Лермонтова... превосходит 200 отдельных названий».

Кавказ превратился в ярчайший «культурно-психологический феномен в умах просвещенного дворянства». При этом, по-видимому, произошло любопытное явление. Не война стала причиной расцвета романтической литературы, а напротив, сама Кавказская война привлекла общее внимание «во многом благодаря творчеству русских романтиков, и прежде всего молодого А.С.Пушкина. Романтизм оказался именно тем литературным направлением, который позволил «уловить», «увидеть»... войну»¹.

Романтизм был лекарством, противоядием от разочарования, растерянности, скуки, одолевших в те годы мыслящих и чувствующих русских людей. Это настроение ярко описал и объяснил его причины Яков Гордин в статье «Русский человек и Кавказ».

Середина 1810-х годов. Военный триумф России — победа над Наполеоном. «Однако именно в этот период, — пишет Гордин, — дворянский авангард входит в полосу тяжелого психологического кризиса». Предпосылки для него появились раньше. В конце XVIII века просвещенная часть русского общества испытывала отчаяние от катастрофических результатов «века Просвещения». Молодое русское дворянство ощутило усталость от культуры этого века. Нужны были не только новые идеи, но и новые сферы приложения сил. Такой сферой стала война с Наполеоном. В этой титанической борьбе русский дворянин решал задачи мирового масштаба. И понимал это. Но когда Отечественная война

¹ *Архиреев М.В.* Кавказская война в русской литературе 1820—1830-х годов: Автореф. дис. канд. филол. наук. — Тверь, 2004.

12-го года ушла в прошлое, «просвещенный дворянин, осознавший свои возможности и почувствовавший себя человеком историческим, оказался — по контрасту с минувшими годами противоборства с великим Наполеоном, в «мертвой зоне»... Дело было не в отсутствии поля деятельности, но в масштабах деяний»¹.

Дикий горный край — недоступные снежные вершины, бездонные пропасти, «непокорные» народы — стал именно тем местом, где возможны «масштабные деяния». Один из друзей Лермонтова — Ксаверий Корчак-Браницкий развивал даже концепцию о том, что именно на Кавказе и — шире — на Востоке лежит историческая миссия России.

Под волшебным лучом романтизма образ Кавказа расцветился яркими драматическими красками, обогатился возвышенными ассоциациями, библейскими и античными: вспомнилось, что «Ноев ковчег причалил к горе Арарат. Что земли Кавказа, в частности, Грузия — удел Богородицы, а сам Кавказ — рай на земле. Что это место абсолютной свободы, а «незамирные горцы» — не только «туземные орды», но своего рода байронические разбойники»².

В нашу литературу Кавказ пришел в западноевропейской одежке. Хотя в пору своей зрелости русский романтизм был оригинальным и самостоятельным явлением, вначале он всего лишь следовал за книжными западными образцами, и прежде всего за Байроном. «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Мцыри» (о слабых и подражательных сочинениях я уж не говорю) — прекрасная поэзия, которая имеет, однако, мало отношения к реальному Кавказу. Это всего лишь фантазии на тему декоративного Востока, соответствующие общему романтическому направлению. Возможно, именно благодаря этому отрыву от обыденности, от «пошлой действительности» поэмы и стали той линзой, через которую большинство современников рассматривали Кавказ.

«Реальный» Кавказ пришел в литературу позже. Стоит перечитать «Муллу-Нура», «Аммалат-Бека» Бестужева-Марлинского и «Героя нашего времени» или кавказские повести Толстого, чтобы увидеть, сколь большие сдвиги произошли в изображении горца (правда, эталонное произведение — «Хаджи-Мурат» написано лет через семьдесят после повестей Марлинского). Однако и романтиков, и «реалистов» того века отличает одно — рисуя кавказского горца как противника, они отдавали ему дань уважения. Горец в них — гордый, свободный, искренний, страстный, мужественный человек.

«Свобода» — ключевое слово. Кавказец олицетворял идеал личности, не скованной условностями, ограничениями, регламентами «цивилизованного» общества Николаевской эпохи, в котором задыхались мыслящие люди той поры. Они не подозревали (а литература им не рассказала), что горец, свободный от пут «цивилизованного» общества, скован по рукам и ногам нормами своего, «традиционного». Причем горская, как точно сформулировал Артур Цуциев, «повседневнорутинная система социального контроля — одобрения, поддержки или

¹ Гордин Я. А. Русский человек и Кавказ // Культура и общество. Альманах Фонда им. Д.С.Лихачева. Вып. 2—3. СПб., 2006.

² Багратион-Мухранили И. Другая жизнь и берег дальний. Репрезентация Грузии и Кавказа в русской классической литературе. — Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2014.

отвержения» сковывает человека из аула, пожалуй, крепче, чем связаны люди в европейском городе.

Этого не сознавали не только те русские авторы, что наблюдали горцев, так сказать, издали, но и писатели, тесно с ними общавшиеся, — скажем, Бестужев-Марлинский, который владел кумыкским языком, понимал по-азербайджански, по-лезгински, или Толстой, имевший горских кунаков.

Почему? Во-первых, даже при самом искреннем и бескорыстном стремлении изучить и понять чужую культуру происходит невольная и неизбежная ее подгонка под свою собственную. Наблюдатель видит только те реалии, которые важны для него самого. Более того, у него попросту нет средств, чтобы различить то, чему не находится соответствий в его родной культуре (эту проблему более полного понимания других культур начала решать лишь в XX веке культурная антропология). Но главное, думаю, в другом — русских писателей занимал прежде всего, конечно, не столько горец, сколько русский «кавказец»: либо условный байронический герой, либо списанные с натуры офицер, солдат, казак... Протагонистом, как правило, является русский человек (единственное исключение, наверное, — толстовский «Хаджи-Мурат»; повести Марлинского, по меркам нашего времени, вряд ли можно отнести к «серьезной» литературе), и главная тема той поры — его драматическое столкновение с Чужим.

С окончанием войны тема Кавказа ушла в тень. Киплинга, зачарованного экзотикой Востока, у нас не нашлось. Примечательно, что завоевание Средней Азии прошло для русской литературы незаметно и не добавило в нее никаких «восточных мотивов».

Кавказ вернулся в литературу позже, в семидесятые годы следующего, двадцатого века. Думаю, сказалось влияние советского проекта «Дружба народов», и кавказские народы по ряду причин стали олицетворенными объектами (или субъектами?) этой дружбы.

Горец, который столетие назад был противником, сделался кунаком. Настало время «кунацкой литературы», наиболее ярким представителем которой стал, на мой взгляд, Андрей Битов («Уроки Армении», «Грузинский альбом», «Кавказский пленник»). «Кунацкая литература» повествует не о повседневности, а о празднике. Ей не до того, чтобы слишком пристально вглядываться в приветливого, по-восточному мудрого друга, стремиться понять его внутренний мир, мотивацию его поступков и прочее в этом роде. Он всем хорош, просто потому что — друг, и этим все сказано.

На создание этого парадного образа в немалой степени повлияли произведения нескольких ярких кавказских писателей: Расула Гамзатова, Гранта Матевосяна, Чабуа Амирэджиби... Правда, это была литература для «своих». Важным, на мой взгляд, был не столько сам факт, что книги писались на национальных языках и переводились на русский, сколько то, что писателю не надо было растолковывать читателю особенности национальных культур и образов мысли — он и сам ловил все на лету и понимал с полуслова. Что-то при этом доходило при переводе и до русских читателей. В той мере, в какой любой перевод способен передать подлинник.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что кавказцы тогда из «чужих» превратились для русских если не в «своих», то, по крайней мере, просто в «других». Это было время второго открытия Кавказа. Грузины, армяне, аварцы,

ингуши — всех не перечислить, и, надеюсь, никто не будет в обиде — стали рассказывать сами о себе. Без посредников, хотя и при посредстве переводчиков.

Однако подлинным открытием стали, на мой взгляд, книги двух кавказских писателей, не нуждавшихся в переводе, — роман «Из тьмы веков» Идриса Базоркина и эпопея «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера. Оба писателя дали русскому читателю возможность познакомиться с восприятием мира, образом мыслей, глубинными ценностями горских народов — то есть той самой национальной метафизикой, на отсутствие которой в нашей литературе справедливо сетует Александр Мелихов. Оба они равным образом принадлежат к двум культурам — ингушской или абхазской и русской, что позволило им ярко изобразить жизнь горца одновременно «изнутри» и «со стороны».

Судьба обоих писателей сложилась так, что задолго до того, как в нашем словаре появился термин «транскультурализм», им довелось воплотить его суть в своей жизни. Дед Идриса Базоркина был одним из первых ингушей-генералов, а отец — офицером царской армии. Мать писателя — дочь швейцарца французского происхождения, инженера, работавшего во Владикавказе, — привила Идрису основы русской и западно-европейской культур. Мальчик вначале учился в подготовительном классе гимназии во Владикавказе, а после смерти родителей провел отрочество и юность в ауле в горной Ингушетии. Именно эта укорененность в двух культурах наполнила его роман, который критики называют «энциклопедией жизни ингушского народа», глубоким пониманием двух трудно совместимых миров — «традиционного» ингушского и городского, русского... С этой почти хрестоматийной для писателя нового типа (Чингиз Айтматов, Салман Рушди) биографией во многом сходна личная и писательская судьба Фазиля Искандера.

Чеченские войны в конце XX века вернули в литературу образ горца как противника, а Кавказа — как арены противоборства. Но сейчас разговор о другом.

Гораздо важнее, по-моему, то, что Кавказ перестал быть далекой окраиной. В каком-то смысле он «переместился» в города и веси центральной России. Кавказец из «далекого друга» превратился в ближайшего соседа по дому, кварталу, улице. Нередко его и другом-то не назовешь, потому что он сам не стремится к дружбе и приехал не для культурного обмена, а за наживой. Хочу, чтобы меня поняли правильно, — говорю вовсе не обо всех без исключения кавказцах, а о тех, кого и в своем народе не жалуют...

Ситуация возвращает всех нас к опыту двухсотлетней давности, к первым десятилетиям XIX века. Предстоит решить те же задачи, что и тогда, — преодоление социально-психологического кризиса и установление взаимоотношений с иными культурами на новом уровне.

Готова ли русская литература к решению этих задач и третьему открытию Кавказа?

Арсамак Мартазанов (доктор филологических наук, профессор Ингушского государственного университета г.Магас)

Явление в процессе развития

Я полагаю, что о «кавказском тексте» русской литературы в его современном бытовании следует рассуждать осторожно и взвешенно, избегая поспешных выводов и неоправданных обобщений. Ведь мы имеем дело с явлением, находящимся в процессе развития и становления, перед нами разноплановый материал, который требует систематизации, тщательного анализа. Сегодня достаточно широко распространена точка зрения, согласно которой «кавказский текст» русской литературы претерпел существенную трансформацию, явственно обозначившуюся в астафьевском рассказе «Ловля пескарей в Грузии» (1986) и распутинской повести «Дочь Ивана, мать Ивана» (2002). Но на мой взгляд, эти произведения не дают оснований для столь однозначных выводов.

Прежде всего, поскольку оба названных писателя принадлежали к так называемой деревенской прозе, хочу подчеркнуть, что в 1960 — 1970-е годы образ Кавказа у «деревенщиков» был неизменно позитивным. Важно помнить, что для мастеров «деревенской прозы» очень значима была оппозиция «свое — чужое»: эти писатели настороженно относились ко всему, что казалось им чужеродным и представляющим опасность для глубинных основ русской жизни. Но посмотрите, как любитесь разноплеменными кавказцами Белов в рассказе «Моздокский базар»! Или возьмем повесть Астафьева «Кража»: самым привлекательным персонажем в ней является кавказец Ибрагим — храбрый, честный, самоотверженный человек, тоскующий на северной чужбине по своей родине. Попробуем разобраться, чем же было обусловлено появление астафьевского рассказа «Ловля пескарей в Грузии», а затем распутинской повести «Дочь Ивана, мать Ивана».

Что касается Астафьева, то рассказ «Ловля пескарей в Грузии» стал частью цикла его произведений о рыбной ловле, опубликованных в 1986 году. Особенность этих текстов состоит в чрезвычайной концентрации негативного жизненного материала: по Астафьеву, все тогдашнее позднесоветское общество находилось в состоянии тяжелой духовно-нравственной деградации. Вот, например, как охарактеризована русская деревня в рассказе «Слепой рыбак»: «Некому было косить, копать, граблить — народ в приозерном краю, доживая век, постепенно забывал землю, ремесла, обряды, труд; снова, как при царе Горохе, мылись в русских печах славяне, в огородах тыкали выродившуюся, малоурожайную картошку, чернеющую в середке, кое-где морковь и редьку, за капустой, луком и чесноком и за яблоками ездили осенью на сплавщицком тракторе в ближний городишко. Бабы забыли, как и что варить, разучились стряпать и ткать, шить и молиться, но все люто матерились, сплетничали и смекали «средствия» на выпивку...» А в рассказе «Светопреставление» возникает резко негативный собирательный образ столичного жителя, москвича. Вот в этом ряду и оказался рассказ о Грузии. Кстати сказать, когда дело доходит до сравнения грузинского села с русской деревней, Астафьев нередко отдает безусловное предпочтение Кавказу — так, например, отмечая заботу горцев о своих родниках, писатель с

горечью вспоминает о печальной судьбе родников у себя на родине: «И грустное, горькое недоумение охватило меня и охватывало потом у каждого ухоженного кавказского родника — на моей родине, возле моего села родники давно умолкли, возле одного еще сохранился лоточек, но родник стих. Последний родник на окраине моего родного села был придушен лесхозовским трактором, мимоходом, гусеницей заткнувшим его желтый, песчаный, словно у птенца, доверчиво открытый рот».

Разумеется, принципы межэтнической политкорректности никто не отменял: критиковать своих соплеменников правильнее и полезнее, чем осуждать недостатки другого народа. Но следует помнить, что оценки, суждения, выводы, содержащиеся в художественных произведениях, статьях и письмах Астафьева, нередко носят всецело эмоциональный характер. В особенности же экспрессивны и субъективны его обличительные инвективы. Уже в самом начале творческого пути Астафьева критик Александр Макаров назвал важнейшим элементом его мироощущения «обжигающую, как кипяток, солдатскую ненависть к социальному злу»¹. И действительно, сталкиваясь с различными проявлениями зла, Астафьев, как правило, реагировал именно по-солдатски: он выплескивал аффективный гнев, нисколько не задумываясь о какой бы то ни было политкорректности, а подчас и вопреки объективности.

В наиболее совершенных его произведениях («Последний поклон», «Пастух и пастушка», «Царь-рыба» и т.д.), помимо непосредственной эмоциональной (и нередко весьма субъективной) реакции на явления изображаемой действительности, развернут также и глубокий социально-философский их анализ, в результате чего жизнь представляла бесконечно сложной и противоречивой. Но в поздних произведениях, включая и рассказ «Ловля пескарей в Грузии», прежняя гармония публицистического и философского начал уступила место доминированию обличительного пафоса. Здесь царит стихия прямолинейно-однозначных, эмоциональных суждений, крайняя тенденциозность которых очевидна.

Таким образом, следует признать: в 1980 — 1990-е годы изменилось не астафьевское отношение к Кавказу, но само мироощущение писателя, его психологическое состояние. На заключительном этапе своей творческой биографии автор «Ловли пескарей в Грузии» слишком часто оказывался во власти неконтролируемого гнева, который обрушивал на самые разные явления окружающей его действительности.

В повести Валентина Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» речь идет о тяжелейшем духовном кризисе, в состоянии которого оказался народ в 1990-е годы. Неурядицы героев повести обусловлены не враждебными внешними силами, но атрофией воли и утратой духовно-мировоззренческих ориентиров: прежние цели и ценности в одночасье рухнули, а новые еще не сформировались.

У Распутина есть целый ряд произведений, где показано, что в обществе, находящемся в состоянии морального хаоса и разлада, реальная власть может оказаться в руках хорошо организованного и сплоченного криминалитета, национальная принадлежность которого в данном случае не играет особой роли. Так, например, происходит в повести «Пожар» (1985), где группа пришедших уголовников и пьяниц (так называемые архаровцы) фактически подчинила себе огромный поселок. Примерно то же самое мы видим и в повести «Дочь Ивана,

¹ Макаров А. Во глубине России... Критико-биографический очерк. Пермь, 1969. С.18.

мать Ивана»: в депрессивном провинциальном городе, где единственным по-настоящему действующим учреждением является рынок, владычествуют заезжие торговцы и местные блатари, между которыми не видно особой разницы.

Распутин, ставя российскому обществу неутешительный диагноз, все же сохраняет веру в общенациональное возрождение. В этом плане особую роль приобретает образ Ивана, сына главной героини. Юноша еще не знает, что необходимо сделать для спасения своего народа, но в нем подчеркивается особая внутренняя сила: «какая-то прочная сердцевина, окрепшая в кость, чувствовалась в нем, и на нее, как на кокон, накручивается все остальное жизненное крепление...» Унаследовав от матери волю и твердость, Иван обладает также и самостоятельным, гибким умом, он осуждает эмоциональные необдуманные порывы Тамары Ивановны: «Прежде остынь, потом решайся на размашистые движения». Точно так же Иван не желает примкнуть и к скинхедам. Будущий путь его туманен («Для чего-то поспевал он неведомого...»), однако очевидно, что именно с такими молодыми людьми, достаточно сильными, чтобы противостоять искусам и соблазнам, связаны все надежды Распутина. В концовке повести Иван, отслужив в армии, занимается сугубо мирной, созидательной деятельностью — строит церковь.

Итак, произведения Астафьева и Распутина, на мой взгляд, не дают оснований для вывода о радикальной трансформации «кавказского текста» русской литературы. В них речь идет о негативных тенденциях, которые в позднесоветские, а затем и перестроечные годы носили в достаточной мере универсальный, общераспространенный, а вовсе не специфически кавказский характер. Феномен современного «кавказского текста» требует объективного научного изучения и осмысления, именно это осмысление и является главной задачей научной конференции, которая, начиная с этого года, проводится в нашем университете.

Эльбрус Минкаилов (главный редактор литературно-художественного журнала «Орга», г.Грозный)

Нужно всего лишь следовать правде жизни...

С первой половины XIX века кавказская тема занимает особое место в истории русской литературы. Писателей разных поколений привлекали и величественная природа Кавказа, и характеры живущих там людей. Достаточно вспомнить имена таких писателей, как А.А.Бестужев-Марлинский, А.И.Полежаев, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Л.Н.Толстой, посвятивших Кавказу целый ряд своих произведений, вокруг которых вплоть до наших дней не прекращаются дискуссии и споры.

Новый всплеск интереса к кавказской тематике появился в конце XX — начале XXI веков в связи с «чеченско-русскими войнами». К сожалению, зачастую и даже слишком часто эксплуатируют ее авторы, которые понятия не имеют ни о Чечне, ни о чеченцах. Пишут книги, снимают кинофильмы и

руководствуются при этом либо своими политическими пристрастиями, либо чисто коммерческим интересом. Они забывают о том, что эти войны сломали судьбы тысячам наших современников — и русских, и чеченцев, — погибших или продолжающих жить среди нас. Они не думают о том, что память о тех страшных событиях слишком свежа. Понимают ли они, что режут по живому? Ложь порой способна причинить боль не меньшую, чем раны, оставленные оружием.

Чеченцев изображают полуграмотными, жестокими, кровожадными хищниками, стремящимися только к наживе любой ценой. Примеров — великое множество. Подобные образы заполняют многочисленные «боевики», появившиеся в печати в последние годы. В кино — это обросшие, увешанные оружием люди, говорящие на ломаном русском или каком-то искусственном языке, который и создан-то авторами только для того, чтобы русский зритель не понимал смысла слов и чувствовал только, что язык — «чужой». При этом совершенно не принимают во внимание, что чеченцы — реально двуязычный народ. Люди здесь владеют русским языком наравне с родным и говорят на русском без заметного акцента.

Деление персонажей по принципу «свой — чужой» («хороший — плохой») доходит до абсурда. Герой одного рассказа А.Миронова восклицает: «Бей чеченов, спасай Россию!» Все это отталкивает чеченского читателя и зрителя, а порой и вызывает у них ответную реакцию. А поскольку я занимаюсь редакторской работой, то мне с подобной реакцией приходится сталкиваться сплошь и рядом.

Разделение на героев и злодеев тем более несправедливо, что конфликт, в котором Чечня в силу различных обстоятельств оказалась на острие противостояния, имел международный характер. На стороне сепаратистов воевали выходцы из стран Ближнего Востока, Прибалтики, Украины, стран СНГ и регионов самой России, а чеченцы были разделены на несколько непримиримых лагерей. Так в ходе драматических событий Россия проверялась на прочность...

Я не ставлю перед собой цели сделать обзор всей литературы о чеченской войне и хочу остановиться на нескольких ключевых, на мой взгляд, произведениях. Это романы «Чеченский блюз» Александра Проханова и «Асан» Владимира Маканина, которые привлекли широкую читательскую аудиторию. Есть ли в них правда жизни? Можно ли, прочитав их, получить хотя бы некоторое представление о том, что происходило в действительности?

В начале романа А.Проханова генерал в канун Нового года ставит перед офицерами задачу перед штурмом города: «Части группировки, дислоцированной в окрестностях города Грозный, должны войти в город. Продвинуться к административному центру — дворцу президента, к почтамту, к вокзалу, к зданию министерств и ведомств. Встать блоками по центральной улице и, обозначив присутствие, занять оборону. Не вступать в соприкосновение с противником, давая ему возможность группами уходить из города по оставленным коридорам... Выдавленный из города противник становится мишенью для нашей авиации и артиллерии, будет разбит и рассеян... на открытых пространствах в сельской местности». Что это? Собственные домыслы писателя или федеральные войска действительно планировали захватить Грозный таким образом? Проханов словно забывает, что месяц назад, 26 ноября, танки уже входили в город и были полностью уничтожены или захвачены.

Недоумение вызывает и описание праздничного города: яркие неоновые фонари, украшенные витрины магазинов... Ничего подобного в тот новогодний день не было и быть не могло. В домах оставались только старики и дети, а также те, кому некуда и не на что было уезжать. Зато боевики, хорошо вооруженные и подготовленные к ведению боевых действий, никуда не собирались уходить. Грозный тогда почти опустел, остался без света и воды. Поэтому ни в какие ворота не лезет изображение пышного приема, которое «вероломные» чеченцы устроили для Кудряцева и его товарищей, и описание последовавшего затем жестокого убийства солдат. Зачем автору потребовалось придумывать этот эпизод, как не для того, чтобы показать «звериное» лицо врага? Так с первых глав в романе нагнетаются вымышленные события, доказывающие кровавый характер чеченцев...

Проханов как-то признался: «Я писал страницы и главы, как пишут фрески, где вместо святых и ангелов — офицеры и солдаты России, а вместо коней и нимбов — танки и кровавое зарево горящих Кабула и Грозного». Симпатии писателя на стороне солдат и офицеров, которые противопоставлены Генералу, мнящему себя новым президентом России, бизнесменам Бернеру, Вершицкому, кровавому журналисту, утверждающему, что «любая война прекрасна», и другим. Но тем не менее в романе нет правды жизни, настоящего реализма, а много идеологии, пафоса, предвзятости, что, естественно, снижает его художественный уровень.

Еще больше вопросов оставляет роман «Асан» Владимира Маканина, отмеченный в 2008 году литературной премией «Большая книга». В аннотации к роману отмечается: «Классик современной русской литературы Владимир Маканин "закрывает" чеченский вопрос своим новым романом "Асан"». Так ли это? В основе романа — выдуманный писателем «миф» о двуликом Асане («Асан хочет крови», «Асан хочет денег»), древнем кавказском языческом боге. Никакого Асана в чеченском фольклоре нет, этот образ целиком выдуман автором. Аркадий Бабченко, который сам много пишет о войне на Кавказе, спрашивает: «Что мы осмысляем (и осмысляем ли) и что мы хотим осмыслить из своего прошлого? Хотим ли мы его знать или по-прежнему питаться своими же сказками? Хочет ли моя страна знать, как именно и за что погибали люди? Или предпочитают думать, что и те и те погибали за соляру? Война — это купи-продайка? Или же это было столкновение двух взаимоисключающих систем мировосприятия?» Я полностью согласен с его утверждением о том, что не следует оценивать «Асан» как произведение о Чечне. «Это фэнтэзи о войне на тему "Чечня". Весь роман — представление автора о том, как он представлял бы войну, будь она такой, какой ему хотелось бы ее описать»¹.

Если это фэнтэзи, при чем тут чеченцы? Действие могло быть перенесено в любую другую действительность, хоть на другую планету. И «чеченский вопрос» этот роман закрыть никак не может!

Мне представляется, что ни тот, ни другой писатель не создали «новую матрицу» изображения военной действительности, да и вряд ли ее вообще кто-нибудь создаст. Нужно всего лишь следовать правде жизни, быть подлинным реалистом, каким был великий Лев Николаевич Толстой.

¹ Бабченко А. Фэнтэзи о войне на тему «Чечня» // Новая газета, 2008, № 90.

Александр Большев (доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского и Ингушского государственных университетов, г. Санкт-Петербург)

О метафизике «кавказского текста»

В конце прошлого века В.Топоров ввел в научный обиход термин «петербургский текст русской литературы». «Петербургский текст» в трактовке Топорова — это литературное отображение петербургского мифа, совокупность произведений, которые, будучи написанными разными авторами в разное время, могут быть, однако, прочитаны как единый в своих основах свертхтекст. Подобного рода подход по территориальному принципу, обосновывающий приращение ряду отдельных и самостоятельных текстов, связанных с неким географическим локусом, статуса структурно-семантической целостности, обрел популярность, и вслед за научными трудами, посвященными «петербургскому тексту», в гуманитарном сообществе ожидаемо возникли аналогичные концепты: «московский текст», «одесский текст», «кавказский текст» и т.д.

Важно подчеркнуть, что Топоров никогда не ставил знак равенства между «петербургским текстом» и петербургской литературой. Точнее говоря, к «петербургскому тексту», с точки зрения Топорова, относится та часть литературы, посвященной северной столице России, которая являет собой концентрированное выражение метафизики и телеологии Санкт-Петербурга, нашедшей художественное воплощение в произведениях А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, А. Блока, А. Белого и др. Топоров сфокусировал основное внимание не столько на эмпирических реалиях жизни города, сколько на его скрытой духовно-трансцендентной сущности. «Петербургский текст» рассматривается Топоровым как сакрально-мистическое образование, которое, далеко выходя за рамки отражения социально-исторических, культурно-идеологических, географическо-климатических характеристик города, сосредоточивает в себе некие свертхэмпирические высшие смыслы.

Парадоксальную идеологическую установку, которую Топоров назвал смысловым ядром «петербургского текста», можно охарактеризовать как путь к нравственному спасению и духовному возрождению через погружение во мрак. И действительно, Петербург чаще всего изображается и трактуется как воистину inferнальный локус, это «центр зла и преступления», здесь «жизнь гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют над истиной и добром», но это и место, где в результате погружения во тьму человеку открываются новый свет и новые горизонты. В Петербурге невозможно жить, и постоянное пребывание здесь фактически означает отречение от человеческих норм и законов, но именно благодаря этому «расчеловечиванию», как подчеркивает Топоров, может быть достигнут качественно новый уровень духовности: «Бесчеловечность Петербурга оказывается органически связанной с тем высшим для России и почти религиозным типом человечности, который только и может осознать бесчеловечность, навсегда запомнить ее и на этом знании и памяти строить новый духовный идеал».

Я напомнил основные топоровские концепты для того, чтобы мы правильным образом подошли к осмыслению феномена «кавказского текста». «Кавказский текст» и «литература о Кавказе» — вовсе не синонимы. Концепт «кавказского текста» не в состоянии охватить всю совокупность произведений, посвященных изображению эмпирической реальности жизни региона, но относится

лишь к ряду этих произведений, раскрывающих духовно-трансцендентную идею Кавказа, его глубинную метафизическую сущность.

Сегодня вряд ли возможно сформулировать суть смыслового ядра «кавказского текста» — решение этой проблемы, по-видимому, требует коллективных усилий. Но размышления о метафизической сущности «кавказского текста» наводят на мысль о том, что в целом ряде аспектов он являет собою едва ли не прямую противоположность «петербургскому тексту». И в самом деле, в трактовке Топорова, Петербург есть inferнальный локус: это бездна, смерть, невозможное для проживания пространство. Петербург в произведениях русских классиков предстает городом, населенным в основном тяжело больными людьми. Прежде всего бросается в глаза невероятное множество психических патологий и дисфункций (Поприщин, Германн, Евгений, Голядкин, Мышкин...), но кроме того свирепствует и чахотка, не щадящая ни старцев, ни юношей: и те, и другие надрывно кашляют в преддверии неминуемой скорой кончины. По ходу развертывания большинства сюжетов «петербургского текста» мрак сгущается, а все мечты героев о благополучии разбиваются вдребезги.

А теперь вспомним, как русские классики изображали Кавказ: «На холмах Грузии лежит ночная мгла»; «Кругом меня цвел божий сад»; «Пустыня внемлет Богу»; «Звезда с звездой говорит»; «Спит земля в сиянье голубом». Кавказ воспринимается героем русской литературы как божественно-прекрасный сон: «Вдруг он увидал, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были всё те же». Кавказ чаще всего предстает в русской литературе как воплощение неземной красоты, величественности, физического и нравственного здоровья. Немногочисленные полемические контрафактуры, вроде толстовского «Кавказского пленника», где яснополянский гений подчеркнуто показывает Кавказ без сакрально-романтического ореола, следует признать исключениями, которые подтверждают правило.

Эта традиция нашла продолжение и развитие в произведениях, созданных нашими современниками. Например, Андрей Битов восторженно изобразил горную Армению как некое волшебное царство «чрезвычайной воплощенности»: «Просто страна, где все было тем, что оно есть: камень — камнем, дерево — деревом, вода — водой, свет — светом, зверь — зверем, а человек — человеком... Где всем камням, травам и тварям соответствовали именно их назначение и суть... Я нашел слово «подлинный» и остановился на этом». Даже в злом астафьевском рассказе «Ловля пескарей в Грузии» мы обнаруживаем эти традиционные для русского «кавказского текста» сакральные коннотации, когда дело доходит до описания «священного места» Гелати: «Высокие слова, употребляемые Отаром здесь, не резали слух, ничто здесь не резало слух, не оскорбляло глаз и сердце, и все звуки и слова, произносимые вполголоса и даже шепотом, были чисты и вняты».

Выстраивается довольно любопытная оппозиция, в системе которой inferнальному Петербургу, где путем погружения во мрак пытаются обрести новый свет, противостоит сакрально-романтический Кавказ, и в координатах этого райского локуса русский человек тоже как будто проходит какое-то странное испытание. Парадокс состоит в том, что кавказское испытание восхождением к божественному свету оказывается для героя русской литературы не менее сложным, чем петербургское испытание погружением в inferнальный мрак.

Знакомство по существу

Олег Лышега. Памяти поэта

«Печальный парадокс, что поэт такого масштаба (премия американского ПЕН-клуба за лучшую переводную книгу 2000 года), как Олег Лышега (1949 г. р.), известен в Киеве только в узких кругах и совершенно неизвестен в России. Между тем его роль в украинской поэзии в чем-то аналогична роли Бродского в русской: это адаптация нескольких удаленных влияний строем украинского стиха и его «прозаизация». Интонации Эзры Паунда, Элиота и Лоуренса вслед за медитациями Ли Бо и Ду Фу оказались впитаны без следа и переварены украинским настроением Лышеги. Ни одной явной или скрытой цитаты вы не обнаружите в его стихах последних десятилетий. Только принцип: одно стихотворение — один развернутый образ. Таких украинских стихов вы еще не читали».

Это абзац из антологии «Неизвестная Украина» (М.: Emergency Exit, 2005), весь небольшой тираж которой разошелся в Украине и практически не дошел до российских читателей. После американской премии и московской антологии компатриоты поэта немного опомнились и принялись переиздавать Лышегу, приглашать выступить, брать интервью. Оставаясь поэтом прежде всего, Лышега тем временем ушел в иные области — занимался деревянной скульптурой, керамикой, искал темы и сочинял сценарии документальных фильмов. В декабре 2014 года он умер в киевской больнице от двустороннего воспаления легких и был похоронен в родной Тисменице под Ивано-Франковском, нанеся это местечко потомственных скорняков на литературную карту мира, не сумев и не захотев оторваться от него в своих стихах и скитальческой участи тисменецкого «гадкого утенка».

Подборка стихов в переводах Андрея Пустогарова, журналистская запись последнего выступления поэта в интернет-издании «Збруч», а также не публиковавшаяся статья четвертьвековой давности о его дебютном поэтическом сборнике «Большой мост» (Киев: Молодь, 1989) в сумме способны дать читателям некоторое представление о феномене Лышеги, самого глубокого и оригинального украинского поэта последних десятилетий.

Игорь КЛЕХ

Из цикла «Зима в Тисменице»

Песня 2

Этот городишко
Ночью попрощается со мной,
Сыграв на губной гармошке...
Меня в нём не будет...
Знаю, что когда я сплю, он кривляется, гримасничает,
передразнивает мои слова, мою исковерканную походку.
Жеребец тянет фургон с хлебом по площади: цок, цок...
У меня под ногами застывшая лава,
это заставляет трезвее глядеть вперёд,
это раздирает мне веки...

Чувствую, там, глубоко внизу,
ночью что-то случилось,
но, может, не этой, а позапрошлой...
Из глубины идёт неясный гул...
Чтоб его расслышать,
чтобы в сердце проснулся
голос далёкого утра,
надо уснуть,
прикинуться сильно уставшим...
Жеребец тянет дощатую будку,
упрямо борется со временем:
цок, цок — белый хлеб, сегодняшний, свежий, горячий...
Когда-то и я боролся со временем...
Смерчем подхватывало оно меня
и вертело над крышами...
Теперь я знаю, что оно замкнутое, тёмное —
втиснуто, как хлеб в будку,
в дощатое сердце...

Песня 4

Осталось большое ведро без дна...
И можно ещё уколоть палец об иголку,
пошарив в выдвижных ящиках...
Там напёрсток без дна...
Ещё застал время, когда свежеекрашенные шкуры
раскладывали на печи, на полу...
Всё тут пахнет выделанными шкурами, мехом и хлебом...
Зима, не уходи от нас...
Только вчера рассказывали мне
про силки и капканы вокруг Тисменицы —
там лис попался, а там барсук вытащил окровавленную лапу...
Не уходи от нас —
из окрестностей Надворной на плечах принесу горы
и огорожу тебя высоко...
Приведу для тебя ветер с Днестра...
Не уходи от нас...
Пусть вокруг и сеют, и пашут,
пусть цветут сады,
а ты останься с нами...
Охотники возвращаются, лают псы —
но снова с пустыми руками...

*Из цикла «Большой мост»
(в последнем издании — «Снегу и огню»)*

Черепаша

Нюхом чуял — тут должен быть гриб!
Дуб, мох, сырость — где-то рядом.
Сделал пару шагов в сторону и резко обернулся —
Чтоб он не успел спрятаться в траву.
За кустом кто-то замер.

Я отвёл взгляд в сторону, сделал вид, что ухожу,
А сам всё ближе, ближе... нет, это не дубовый лист...
И не камень... какая-то тарелка из бронзы...
Прямо в солнечном пятне
На высокой подушке мха,
Раскинув лапы, лежала черепаха.
Может, у кого-то убежала?... но вокруг ни души...
Однажды в детстве видел такую в Запорожье,
В гниющей заводи.
А эта вот в вытоптанном лесу.
Поднял её.
Панцирь нежный, прохладный.
Костяная пластина, а живая —
Всегда б держал эту ношу.
Скажи только, куда тебя отнести!
Кость бледная, истёртая, как ладонь —
На ней прорезана, наверное, линия любви...
И дороги, и смерти...
Снова опустил её в мох,
Ушёл, не оглянувшись.
...Несколько дней в троллейбусах, метро
Чувствовал на правой ладони её прохладу —
А работа рукам всегда найдётся —
Пилить, строгать, месить глину.
Меня снова потянуло в лес,
Но пробродил весь день,
А на то место так и не вышел.
У дороги высился в сумерках муравейник.
Я присел на корточки
И почти вплотную приблизил к нему лицо.
Казалось, что проворные, методичные муравьи
Тащат в нору под землю острые гвозди.
И вдруг моя правая ладонь,
Словно отделившись от меня,
Сама легла на муравейник.
Не мог оторвать её, чужую, онемевшую,
Облепленную железными кристаллами.
Большая, неповоротливая,
Покорно лежала она
Далеко внизу под моими закрытыми глазами...
Что, не так-то легко прокусить
Мою воловью шкуру?..
Словно поднявшись по глубокому колодцу,
Постепенно запульсировал в жилах
Муравьиный яд.
Кусайте, кусайте, я стерплю.
...Утром, проснувшись,
Первым делом посмотрел на ладонь —
Бледная, плохо натянутая кожа,
Изъеденная мылом и работой.
Может, мне приснилось, что,
Словно на подушке из мха,
Лежало на ней
Пятнистое от листьев и солнца существо?
Но тогда зачем швырнул ее вчера в злобную
Муравьиную нору?

Мартын¹

В тот день на прудах я увидел мёртвого мартына.
Он покачивался на воде у самого берега,
Голова под крылом, словно задремал.
На белых аккуратных перьях ещё не обсохла роса.
С дамбы видны были бесконечная вода, облака,
Поле, лес, а под ним темнела хата,
Где давно никто не живёт.
Поле пересекала насыпь из битого камня —
Когда-то, ещё до войны, железнодорожная ветка шла
Из Станислава через Хриплин на Бучач.
Теперь поросшая бурьяном насыпь одним концом
Упиралась в остатки Железного Моста,
А другой её конец, тот, что в сторону Хриплина,
Терялся в кустах боярышника и тёрна.
Если б глянуть сверху, разве не выглядела бы эта насыпь
Змиевым Валом или Большим Курганом Ужа?
Но человек узнаёт только то,
Что способен перешагнуть —
Немного, даже если он молод и шаг твёрд.
Брошенная хата словно соединяла поле и лес.
Такого тёмного, будто в крови намокшего, кирпича
Я больше нигде не встречал... наверное, это оттого,
Что стояла она под лесом. Крыша цела,
А двери выбиты.
Но, может, ночной бурей...
В комнату, где когда-то спала женщина
(Говорили, что её муж наложил на себя руки),
До потолка натолкали сена.
Эй, кто бы ты ни был — зверь или человек — выходи!
Тишина... и вдруг из-под крыши выскользнула ласточка.
Так вот кто здесь живет.
Летишь прочь, хочешь увести меня от своего дома.
Много же ты накосила, натаскала сена — под самую крышу —
Чтоб перебить затхлый дух людского жилья.
Тебе ведь ни к чему варить на обед картошку
Или кулеш на завтрак.
Это ведь не ты от одиночества
Швырнула в угол смятую алюминиевую миску
И после одним ударом проломила почерневшую печь.
Или всё-таки это сажа на твоих острых крыльях?
Я забрел сюда случайно,
Напрасно вторгся в завоёванное тобой пространство.
Оно рвёт меня на куски.
Этот тёмный, словно намокший в крови, кирпич
Тянет к себе, но это уже не жильё человека.
Давно, когда я был молод,
На нашу речку под фабрикой
Откуда-то занесло мартына.
Он пролетел по низкому коридору под деревьями,
Развернулся, снова пролетел —
Он, конечно, ошибся — на этой речке

¹ Мартын — чайка (укр.).

Не было того, что он искал:
Распростёртые крылья касались одновременно
Обоих берегов.
Он этого не простил —
И, белея в сумерках,
Высушил своим полетом речку до дна.
А я жил над той узкой речкой,
Что текла под самой стеной фабрики.
Там действительно было тесно.
Но разве и я ничего
От этой речки не взял?

Он

На горе, что кажется мокрой от переспевшей ежевики,
Темнеет вход в его жилище.
Как же крепко надо было сжать в руках
Острый кол, чтобы
В глухом закутке каменной норы
Из горла вставшей на дыбы тени великого отшельника
Хлынула тебе на грудь кровь.
Кроме содранной шкуры, отрубленной лапы,
В которой зажата его сила,
Кроме густого духа дикого чеснока,
На каменной стене над самым логовом остались
Глубокие знаки —
Борозды от его кривых когтей.
Здесь он точил их.
И впрок запомнила эти знаки рука.
Конечно, когда собирала грибы
Или нащупывала под камнем форель,
Память эта была не нужна.
Но после, когда утомилась, плетя сеть
На большую, очень большую рыбу,
Монотонная работа вынудила найти
Занятие полегче: знаки.
Хоть каким-то оправданием служат они
Для первобытных убийств.
Это ведь просто — окунуть палец
В свежую кровь или чиркнуть остриём
По кости, коре или потом уже
По бумаге: чёрточки в определенном порядке.
Но откуда берётся бумага?
Знала ли рука, что это вырубленный лес,
Рухнувшие шахты, заброшенная земля?
Явно не хотела знать —
Всё пробовала добела отмыться от дыма, навоза,
Принадлежать себе самой, стать деликатной,
Совершенным орудием, которого нет у других.
С горечью догадывалась,
Что вторая, с виду точно такая же рука, день и ночь
Куёт цепь для молодого медведя,
Чтоб научить его танцевать
На раскалённом листе железа.
Та же самая рука подбрасывает в огонь дрова,
Чинит перо — и впрямь совершенное орудие,

Но иссушается рука
И хочет, увечная, прижаться к груди, к сердцу.
Как же оно болит,
Если хочет вернуться назад,
В едкий подземный рассол,
В родной карпатский грунт,
Где каждый камень и куст можжевельника
Брызжет нефтью,
Чтобы отмокнуть в нём,
Чтобы снова рука нашла для себя долю более лёгкую,
Чем скитания по аравийским пескам...
От сладкой ежевики гора потемнела,
Но даже юркая птица
Не может никак сесть на колючую ветку
И ухватить ягоду,
А только раскравливает её, кропит соком землю
И, голодная, летит прочь.

С украинского. Перевод Андрея ПУСТОГАРОВА

Олег Лышега

«Поэзию следует принимать в микроскопических дозах»¹

На посвященный его 65-летию вечер во Львовском этнографическом музее Олег Лышега пришел в футболке с портретом Эзры Паунда. С этого и начался разговор.

Не только я родился 30 октября, но и великий поэт Эзра Паунд. А также художник Михайло Бойчук². Дома у Чубая³ висели три портрета выдающихся поэтов. Один из них Паунд — то фото, где он с зажмуренными глазами. Его только что выпустили из психлечебницы, и он зажмурился от света.

Моя жена ругается. Говорит, что я ее не слушаю, могу босиком выйти на снег. Она считает, что мои болезни от бестолковости — я непослушный, все делаю наперекор. Но я думаю, что слишком уж легко мы перешли к рациональному объяснению жизни, отказавшись от судьбы. Я не могу согласиться с тем, что просто замерз. Ведь между людьми существует особый теплообмен. Он возникает при общении с теми, кто уважает тебя и доверяет тебе. Они оберегают тебя от беды. Бывает, что заболеешь в самую жару, если нарушится внутренний теплообмен. Человек попадает на свой внутренний Северный полюс, и некому его защитить. Тогда он болеет. Из этого и складывается судьба — а это вещь потоньше, чем какое-то непослушание.

Поэзию надо принимать в микроскопических дозах, гомеопатических. Иначе

¹ Материал интернет-издания «Збруч» от 5.11.2014. Подготовила Ольга Неборак.

² *Михайло Бойчук* (1882—1937) — украинский художник-монументалист.

³ *Грицко Чубай* (1949—1982) — украинский поэт, знакомство с которым оказало сильное влияние на творчество О.Лышеги.

она просто убьет человека. Я начал писать поздно, после двадцати лет. В школе говорили, что в восьмом «Г» классе есть поэт. Я пробовал представить, какой он из себя — это же поэт! А он оказался прыщавым и нелюдимым.

Стихотворение мне представлялось забором: строчки, рифмы — это такой штакетник. Чередуются длинные и короткие доски. Важно, чтобы забор был красивый, ярко покрашенный и из хорошего дерева, чтобы были крепкие ворота. Ворота — очень важная для забора вещь. А что там за забором — уже неважно и неинтересно. Мне кажется, такой взгляд на стихотворение давно устарел. Но порой и сегодня еще сталкиваешься с таким представлением о стихотворении: чистый ухоженный забор — что еще нужно?

Есть поэты, которые идут от слова. У них имеется определенный запас слов, они сперва отталкиваются от слова, затем выстраивают свой стиль. Они придерживаются принципа, что все начинается со слов, что прежде всего ты должен хорошо владеть словом. Другой подход у поэтов, которые не знают, что такое слово. У них тоже есть запас слов, но они сомневаются, какое же слово — именно то, что им нужно. Они не совсем доверяют словарям. Они начинают писать, имея размытые представления, в темноте нащупывая слова. И так или иначе находя их, наделяют своей энергией эти полужнакомые, но ощутимые сгустки. Можно еще так сказать: что для поэта — слово, то для художника — линия. Линия — это вершина абстрагирования. Но возможна и такая вещь, как «до-линия», — так же как «до-слово», — и это очень много значит. «До-линия» — это то, что не стало еще линией и встречается на каждом шагу! Нам кажется, что все вокруг воплощено в слове, имеет название. Что такое «до-линия»? Это могут быть ветки, листья на ветру. То, что не оформилось в линию, исчезающее, но существующее повсюду. Линия — это только крохотный сегмент мира.

Я хочу показать вам мозаичность сознания поэта. Он — существо легкомысленное, в нем должно быть немного безумия. Только тогда можно создать что-то стоящее, когда есть такая закваска внутри. Иначе поэт — несчастное, забитое и затравленное существо. Но прощается ему это безумие только после смерти.

Грицко Чубай был моим учителем. Он как раз умел выговаривать слова. Я их, скорее, прорисовываю, выявляю детали, а он их выговаривал. У него была другая эстетика. И это свидетельствует о том, что воспитание учителем ученика в том и состоит, чтобы научить его не продолжать что-то, а сопротивляться чему-то. Именно так Тычина¹ сделался самым значительным учеником Ивана Франко.

Говоря всерьез, я совсем не знаю китайской эстетики. Об этом спрашивайте Мыколу Рябчука². В нашей компании это он штудировал тома древнекитайской философии и подолгу стоял на голове. Наверное поэтому он сейчас такой умный. А во мне жив дух степей — моя мама из Запорожья. В каждом украинском человеке сосуществуют Восток и Запад. Когда я очутился в Бурятии, Чубай прислал мне письмо: «Только что жена сообщила мне, что ты уже у легендарных курганов древних поэтов». Там я проходил службу и преподавал в школе английский язык.

Во Львове моим учителем был Чубай. А в 77-м году я переехал в Киев и там встретил Мыколу Воробьева³. Долгое время мы были близки, работали вместе в Лавре. Я тогда занимался керамикой. Это Воробьев сказал мне: «Ты и то хочешь делать, и это. А ты возмись, скажем, за рыбу — и лепи ее каждый день. Тогда тебе не будет равных. Рыба утренняя, вечерняя, дневная, весенняя, зимняя, придонная и верховодка — это же все разные виды рыб!» Нельзя распыляться, надо бить, как дятел, в одну точку.

¹ Павло Тычина (1891—1967) — украинский поэт-новатор.

² Мыкола Рябчук (1953 г.р.) — украинский писатель, публицист, критик.

³ Мыкола Воробьев (1941 г.р.) — украинский поэт.

Я открыт. Одно время поэты киевской школы даже не показывали друг другу свои стихи, чтобы у них не позаимствовали какие-то образы. Они культивировали замкнутость. А у меня нет образов, красть нечего. Если вор заберется в мой курятник — он растеряется. Он или не увидит никакого образа, или же все куры покажутся ему чудными. Он не поймет, что делать.

Я не пишу прикладных стихотворений. Моя поэзия по своей сути абстрактна. Она говорит сразу обо всем. В поэзии существуют, конечно, прикладные жанры — оды, например. Но настоящая поэзия — абстрактна. Сейчас меняется наше восприятие поэзии. Накладывается на фон — жестокий, абсолютно неожиданный фон войны. Мы все подвергаем переоценке. Но вместе с тем становимся ближе нашим прошлым поколениям, тем, кто уже ушел. Мы были отделены от поколения, пережившего войну. А теперь мы едины с ним. Мы стали глубже все понимать. Влияние войны отражается на всех уровнях сознания. Несколько дней назад мне приснилось, что я лежу на одной кровати с Порошенко и Путиным. И нам очень тесно. Они оба стиснули зубы и молчат. Я не выдерживаю, наконец, спрыгиваю с кровати и кричу: «Вы померяйте сперва ширину спин и тогда уже укладывайте с собой на кровать. Разве не видите, что нам тесно!»

С украинского. Перевод Андрея ПУСТОГАРОВА

Игорь Клев

Лышега. Несколько тезисов

Вышла пятая поэтическая кассета в издательстве «Молодь»¹. Серьезный повод поговорить о ней дает один из шести входящих в нее сборничков — тот, что стоит 30 коп. Собственно, остальные я купил как бы в нагрузку, как принято у нас продавать индийский чай, скажем, в пакетах с просроченным маргарином или печеньем. Вообще-то не хотелось бы обижать остальных пять авторов, уверен — они найдут своих читателей. Возмущает другое: власть неуверяющего и непробиваемого слоя профессиональных составителей «кассет» в издательствах, основной пафос которых — все смешать и поделить на всех, удручает эта вьезшаяся во все поры распределительная идеология, рядящаяся ныне в тогу «демократизма», цинично овладевающая «перестроечной» демагогией — с тем чтобы тем надежнее давить персоналистский смысл культуры, где иерархии таланта еще никто, находящийся в зрелом уме и трезвой памяти, не отрицал, не отменял и отменить не в состоянии.

Казалось бы, какая разница — вот издали хорошего поэта. Да, издали, но издали вынужденно, нехотя, запутав следы и напустив мороку, издали, когда «молодому» стукнуло 40 лет, обрили, как призывника, и загнали, как пулю, в барабан, — лишь бы не высывался, — пытаюсь не мыгьем, так катаньем сравнить его с остальными пятью. Такой беспринципный «колхозный» подход в культуре свидетельствует о заболевании самого ее центра, — где обретаются смыслы ее и ценности, — и служит обесцениванию литературного труда. По-прежнему предполагается, что литература не требует какого-то особого дара и является всего лишь функцией всеобщей

¹ Киевское издательство, выпустившее в 1989 году в серии «Первая книга поэта» сборник Олега Лышеги «Великий міст» («Большой мост»).

грамотности и выучки. Потому только ленивый в СССР не пишет романов и стихов. Хотя, по большому счету, беда не в том, что пишут много, а в том, что пишут удручающе плохо, и задача не в том, чтобы писать ЛУЧШЕ, а в том, чтобы писать ИНАЧЕ. Налицо какое-то глубочайшее заблуждение относительно природы поэзии и вообще литературы. Собственно, забвение и неведение ее подлинных задач и смысла. Процветает поэзия, понятая как бюрократия, как власть письменного стола, как что-то, что можно, сев за стол, написать, составить как особый род циркуляра, состряпав его из готовых и отвлеченных канцелярских блоков общепринятого и общедоступного «поэтического». В частности, *шляхи трафляють*¹ от непереваренных цитат (моду на которые ввели в свое время «шестидесятники») — от всех этих «Ван Гогов», «Ли Бо», «рапсодий», «фуг» и проч., от вдохновенного приобщения литературных пэтэушников к «вершинам мировой культуры». Речь не идет о действительной попытке диалога культур, а лишь о поспешном манифестировании собственной «культурности» — это как гордиться перед всем миром, что перестал есть руками. Имеется маленькая разница между «культурой» и «культурностью». Я готов даже утверждать, что последняя с поэзией несовместима в принципе и действует на нее угнетающим и ослабляющим образом. В этом плане замечательным мне кажется опыт Лышеги, что, отразившись от опыта новейших англосаксов и древних китайцев, вернулся к себе — «в рідну мову» и аутентичный менталитет. Вот подлинно культурная реакция — прочитав и «забыть», отбросить все несущественное, измениться внутренне, а не внешне. В стихах его нет ни одной прямой цитаты!

Еще важным мне представляется момент сюжетности, прозаичности стиха Лышеги — его, в некотором смысле, «бедности». Поэзия вообще-то, всегда развивалась (или изменялась) так, что что-то не бывшее поэзией, не воспринимавшееся современниками как «поэтическое», начинало таковым быть. Ведется как бы постоянная игра на эстетической бирже между курсами на повышение и на понижение. В Новое время пиками эстетики «высокого курса» были классицизм и символизм, а также такое, химерного и отчасти принудительного свойства, образование, как соцреализм. От каждого из них начинался последовательный и длительный исход поэтов в сторону человечески-личного, конкретного. То, что в критическом обиходе воспринимается как «прозаизация», являет собой на деле восстановление прав и реабилитацию самой ткани человеческого существования. Это движение тоже имеет свой эстетический порог в виде «человеческого, слишком человеческого» (по выражению одного философа) и опирается в непроходимый материализм, в косную «падшую» сторону природы человека, что порождает резиньяцию и новый всплеск вождения «высокого», т. е. абсолютного.

Но современная украинская поэзия едва начала свой спуск с дурно пахнущих высот, где разлагаются трупы вчерашнего «высокого», — не столько даже вынужденно политизированного, сколько нерасчлененно-фольклорного свойства. Что мне лично особенно импонирует в поэзии Лышеги — это ее сдержанный строй, полное отсутствие той расхожей эстетической эмоции *млення*, которая не отпускает даже одаренных поэтов — как, скажем, Воробьева или Кордуна, особенно. Есть лакмусовая бумажка этой эмоции — уменьшительные суффиксы. Их у Лышеги нет.

Разумеется, речь не идет о посягательстве на «золотой» архетипический запас национальной культуры, что содержится в широко понятом и неадаптированном, кстати, фольклоре. Но я против его разжижения в бесчисленных имитациях, — т. е. творческой неспособности выйти за пределы очерченного им круга тем и мотивов. Самому этому кругу только пойдет на пользу, когда появится у него серьезный оппонент в виде современного «прозаического» поэта ли, художника, композитора etc. Свобода от поэзии неотделима, и, по большому счету, последняя может возникать

¹ Польско-галицийский эквивалент нашего «чёрт поberi».

только в разрывах «поэтического» контекста. Ее ветер гуляет где-то между атомами, если воспользоваться чуть наивной формулой другого, гораздо более древнего, философа.

«Вчерашнее» искусство не существует объективно. Есть духи культуры, и чтобы они заговорили, с ними надо поделиться своим временем и напоить их своей кровью. В противном случае Шекспир (фольклор, культура и пр.) останется для нас только мертвым англичанином, то есть не будет значить ничего. *Знать* и изучать можно скелет... или «Бога» — но *принять* и вступить в какие-то живые отношения можно только с существом одной с тобой крови, хотя бы. Может, я ошибаюсь, но, кажется, так. В открытом участии, в готовности и способности изменяться (а это всегда риск), в споре и собеседовании обретается бесценный дар — внутренняя свобода. Потому и нет у Лышеги прямых цитат и апелляции к авторитетам, что он не нуждается в подпорках, он «свой» в мире культуры, субъект и суверен ее, обладающей правом собственного голоса. Ему не страшно и не стыдно быть собой, потому что для него не самое важное быть собой, — он ищет не самоутверждения, а взыскует своей поэзией членораздельного смысла. Кто-то назвал стихи Лышеги «научно-естественными экскурсиями» в духе натурфилософии Торо, мне же явственно слышатся в них ноты смятения: эти переходящие из стиха в стих вопросы, обращаемые к себе, начинающиеся с «но» («*алэ...*») и звучащие как коаны (вот она, скрытая перекличка, как у болотных птиц, со старыми дальневосточными поэтами).

Здесь уместно было бы задаться вопросом о месте и роли такой категории, как «природа», в современной украинской поэзии. Несколько поколений выросло у нас в социопатическом обществе, где тоталитаризм очень ловко играл на сужении и расширении сферы человеческого. Доминирующим оказался тип человека усеченного, «партийного» в буквальном смысле, то есть частичного. Я не буду развивать эту тему, но вот смешной пример: в конце 1950-х такое довольно невинное явление, как «разрешенный» туризм, было воспринято его адептами почти как духовная революция. Как ныне такой революцией воспринимается переход к экологически ориентированному мышлению. Таким образом, поворот к «природе» наших современников — это почти аллегория, подстановка, попытка человека в изначальной, первичной природе обрести утраченную им в социуме свободу и далее — вернуть себе полноту *человеческого*. Но человек так «узко» устроен, что здесь его поджидает другой плен — обольщение *органического*. И начинаются — в поэзии, в частности, — бесконечные идиллии, пасторали и прочая ложь, вполне логично заканчивающаяся переносом чудовищного «органического» заблуждения на всю природу человека, общества, государства. Даже такие простые вещи, как часть и целое, не даются нам. И это проблема не только авторитарных культур. В такой внешне благополучной и многообразной культуре, как американская, резкую потребность в десоциализации ощутили такие разные художники, — в чем-то очень родственные Лышеге, — как Сэлинджер и Э.Уайет. Родственные, скорей всего, в общей склонности к пути одиночек. Только совершенный жлоб, недостойный человеческого общества, способен задать вопрос: к чему нам опыт одиночек? Пусть обратит этот вопрос к себе в свою смертную минуту.

Вереница зверья, не нуждающегося в человеке, проходит по страницам книги Лышеги. Целый бестиарий. Однако смысл его не символический, не моральный, тем более, и не космический, как принято в классическом бестиарии. Лышега не собирается лепить еще одну мифологию. Зверинец тоже не подходит, уж скорее заповедник. Звери его представляются мне носителями онтологического смысла — точнее, онтологической загадки, своего рода хранителями онтологии, микросфинксами. То есть разгадка их существования была бы равносильна разгадке существования вообще. Бог показал Иову сотворенных им Левиафана и Бегемота — и Иов, перешедший за всякую грань отчаяния, вдруг понял нечто, и был спасен. С ним разговаривал Бог. Не то звери. Они молчат. Они немые. И их немота, неразгаданность их существо-

вания, природы в целом, мучает нас. И не из сострадания, а из солидарности, если уместно здесь это слово. Мы интуитивно чувствуем, что наши загадки каким-то глубинным образом связаны между собой, что это, собственно, одна загадка. И подкрасться к ней человеку сподручнее через «малое», т. е. конкретное — как и подобает поэзии.

Вот этот вот *мартын*, залетевший на абсолютно достоверный канал в Тисменице, — и заворуженно следящий за его демонстративным и умонепостижимым летом столь же конкретный поэт Олег Лышега, вдруг перестающий походить на самого себя, выходящий из себя и неизвестно кого вопрошающий. Хоть кто-то же должен *это* увидеть?! Вся сцена эта — не знак чего-то, не знамение, а полнокровное поэтическое присутствие вдруг выступившего из сущего глубинного смысла, выгнувшего краем плеча нашу реальность.

Так же в заворуженности поэта картинками детских воспоминаний видятся не идиллия, не счастье, не утробное бегство в утраченный рай, а нечто большее — столь же глубокая пораженность когда-то, в возрасте впечатлений, вдруг ниоткуда выступившей и захлестнувшей полнотой бытия. Потому так рисков и бдителен Лышега, по следу куниты входящий в лес, в богатство его связей. И так похож — по существу — на описанного им в своем лучшем, как мне кажется, стихотворении «*верткого птаха*», который на горе, «*аж мокрий від перестиглої ожини*»¹, оказывается не с состоянием утолить жажду и на лету, «*Не сідаючи на обтикану колючками галузку, / Ніяк не може склювати цілої ягоди, / А лише роз'ятрює її, скроплює соком землю, / І летить голодний далі...*» Только голод поэта — онтологический, и это единственный из всех видов жажды и голода, в принципе не поддающийся утолению.

Характерным признаком поэзии Лышеги является почти полное отсутствие в его стихах примет большого города — фактически уже мегаполиса, — в котором он живет. Поэзия его отворачивается от города, для автора город лишь место жительства и пункт исхода, для него, как бы априори, в нем нет места ни для свободы, ни для поэзии. То есть он безусловно предпочитает естественные образования искусственным. Не буду спорить с такой ориентацией; долгое время, отвернувшись лицом к природе, многие из нашей генерации считали так же. И все же теперь думаю, что это вопрос вторичный, вопрос предпочтений и темперамента, возможно, какого-то этапа, потому что в природе ведь тоже нет ни Бога, ни свободы, ни поэзии, — в ней есть естественность и только. Бог же, свобода и поэзия везде и нигде — они в любой точке, но не в любой момент. И здесь все действительно зависит от сосредоточенности и рассеянности поэтической страсти — собственно, от востребования поэтом ему причитающегося. Важно добыть поэзию. И все же такая ориентация на один предпочтительный способ ее добывания — свидетельство некоторое «бедности», что ли, ограниченности средств. После Лышеги хочется почитать что-то противное ему, прямо противоположное.

Можно сказать, что это ведь книжка, объединенная какой-то одной темой или периодом. Но почему-то не верится, что у Лышеги есть «урбанистические», непантеистические стихи — во всяком случае, сделанные на таком же уровне, как «Великий міст». Точнее, собственно «Великий міст» — не весь сборник, а вторая его часть, поскольку первая его часть, «Зима в Тисмениці», представляется совершенно неудовлетворительной и, как кажется, просто не дотягивает до заданного самим Лышегой уровня. Возможно, эти стихи пятнадцатилетней давности — его вступительный аванс за вхождение в легальную украинскую литературу: дескать, не бойтесь, товарищи редакционные работники, литконсультанты, критики, коллеги-поэты, я такой же, как все. Здесь все неудачно — и «*пісенькові*» трюизмы, типа «*бийся головою об лід*», и та «*пісня*», которую «*не зрозуміли і спотворили люди*», «*а я ж вклав у неї все своє життя*», и нумерация стихов, выглядящая как неудачная шутка. Ибо если таких «кантос» у него и вправду больше восьмисот, то перед нами графоман, и все слова,

¹ Ежевика (укр.).

сказанные о поэте, я беру назад на предмет коррекции (бывали такие случаи часто с Хлебниковым — он отчаянно острит и сам давится смехом, но никто вокруг не смеется). Надо сказать, что в стихах этого цикла изредка видна поэтическая «хватка», а один стих — о хлебной будке времени — просто очень хорош, но если бы Лышега не ушел от такого рода стихов, не пошел дальше, от переживаний и настроений к «сюжетам», то нам вряд ли было бы о чем сегодня говорить.

И, пожалуй, последнее. Лышега пишет верлибром. Лет тридцать назад у нас шла страшная борьба за него. Вот он победил и теперь широко распространен. И что же?

Оказалось, что рифмованный стих — это не столько вопрос традиции и ремесла, умения «слагать стихи», версификационного мастерства. Что в нем не только скованность, но и, парадоксальным образом, свобода, игра со случайностью, с ловлей предсказуемо-непредсказуемых отступлений ритма от канвы метра. Он оказался богаче верлибра, как-то всегда чересчур равного самому себе, когда поэты слишком хорошо знают, что хотят сказать... примерно, как регби по сравнению с футболом.

И если уж я «подыграл себе рукой», то хочется коснуться этого действительно навязчивого у Лышеги образа *руки*. «Рука» его способна к самостоятельным поступкам, либо даже — в нескольких стихах — отсечена. Я не приверженец Фрейда, но «кастрационный комплекс», им описанный, по-моему, здесь налицо. Хотя психоаналитический смысл — лишь указатель, один из уровней смысла, и сам по себе еще ничего не говорит. Образ намного богаче: здесь магия переноса мощи от отрубленной медвежьей *лапы* к руке пишущей — немощной, виртуозной, загадочной. Она виновна и будет наказана... Но она еще и орган созидательный, а также мануально-осознательный, гносеологический.

Вот класс сюжета: поэт едет за город, в леске ему попадается черепаха, он берет ее в руку. Целую неделю в городе затем его ладонь ощущает «отсутствие черепахи», ее гнутого, идеально легшего в ладонь панциря. Ровно через неделю он вновь на том же месте, но черепахи нет. Да и была ли она? Здесь его «гносеологический орган» подвергается испытанию. Удостоверение абсолютной подлинности всего происходящего и реальности всех участвующих в нем сторон поэт получает, сунув — неожиданно для самого себя — руку... в муравейник.

По-моему, это блестяще!

9/10 украинских поэтов никогда бы не пришлось в голову искать в этом поэзию — а если б и пришлось, то они не рискнули бы, не посмели записать этого. Подлинность и воображение — вот тот гуж, который единственный способен вытянуть верлибр с обочин пара- и псевдолитературы на открытую движению дорогу поэзии. Не считая таланта, разумеется.

Самое плохое, что может приключиться с «верлибром на фоне природы», — это если поэта, не дай бог, одолеет стремление писать идиллии и пасторали (Кордун и др.), если произойдет у него «гармония с природой» (в которой — реальной — хруст костей стоит, кстати). Это конец всему — и в первую очередь поэзии и вообще литературе. Поскольку последняя строится на страсти — на конфликте, если угодно. И в любом художественном — т.е. имеющем отношение к искусству — произведении всегда наличествуют два разнонаправленных витка энергии, которые в результате сложной композиционной и формальной игры — в идеале — аннигилируют, открывая пролом в инобытие — откуда и исходит кайф. Что заметил еще Аристотель.

Вообще литература — страшный враг готового мировоззрения. Все люди н а ш е д ш и е — им нечего делать в литературе. Да она им и не нужна. Не будем забывать об этом.

1990 г.

Валерия Пустовая

Пядь Патрокла

Григорий БАКЛАНОВ. Пядь земли: Повесть. — «Новый мир», 1959, 5—6.

Повесть не только написана после войны, но и обращена ко времени, далеко отстоящему от рассказчика. Даже — настоятельно обращена. Ее легко перечитывать с сегодняшней точки зрения, с точки максимальной удаленности от плацдарма и болот, от разрывов и переправы через Днестр. Бакланов запечатлевает войну для мира, и читателю приятно быть понимающим, познающим законы боя в тишине чтения. Приятно и оттягивать момент боя вслед за автором, кормящим нас тревожным ожиданием, днями прозябания, когда не единожды рассказчику вступит в ум: да полно, здесь ли война и не покажется ли наблюдателю из-за Днестра, по ту сторону сороковых, что обтоптал я, обползал свою пядь земли почем зря?

В повести есть на что переключиться, повлечься за чем-то куда более общечеловеческим, обещанным нам, в отличие от войны, о которой ведь всегда рассказывают с припиской: не повтори. Зачем война — если все вокруг рассказчика Мотовилова вспыхивает, сверкает, блестит, дышит паром? Не война и мир, а война и свет — повесть переполнена бликами, отсветами, она вся играет мелкими, переливчатыми гранями под солнцем.

Да, так: повесть о пяди земли на самом деле заморожена солнцем.

«Громадная проблема: индивидуальность на войне», — очень ловко поймал Лев Оборин особенный ракурс Бакланова («Знамя», 2010, №5). Но хочется еще уточнить: индивидуальность — везде, как на войне. Рассказчик то и дело оговаривает: эти его сослуживцы — зануды, крохоборы, пригребатели благ, самодуры — они ведь «и в жизни» такие. То есть вот этого до исступления неприятного рассказчику трубача Мезенцева и непроходимого комдива Яценко вроде как легко перенести к нам, из плацдарма в офис, и вместо связи на болотах налаживать с трудными коллегами международные продажи.

Вот только шахматиста в шрамах — медведя и блиндажного барина Бабина до нас не донести. Сейчас таких мужиков не делают.

Бакланов пытается завещать нам войну, его беспокоит искажающая линза времени, тревожит будущая беспечность чужой молодости, которая забудет, что воля ее оплачена войной. Но сам он как будто не вынимает линзу — а еще подкручивает окуляр.

Война в повести обманчиво прозрачна, проницаема для мирного взгляда.

Бакланов пишет после войны, рассказчик его рассказывает накануне победы — оба глядятся в чаемый мир с упованием, оба хотят вписаться. Не остаться одиноким плацдармом мужества там, за пределами памяти современников и потомков. Повесть работает как усердная напоминка. Вот, скажем, окоп, линия обороны. В мирное время — пустые слова, схема. И автор с торопливым надрывом поясняет: это не просто

окоп — это пехотинец «упал» и «прежде всего подрыл землю под сердцем» — «к утру на этом месте он уже ходил в полный рост...» Бакланов умеет объяснять, потому что старается. И чье-то чужое, отдельное сердце, не известно, достучавшее ли до победы, легко представляется нам в чьем-то прижатом к земле, роющем себе надежду теле.

Но несмотря на правильную установку держать плацдарм, и автор, и мы разжимаем руки. Выпускаем землю. Повесть слишком открыта миру, звучанию капель, запахам леса, сиянию звезд и теплу солнца, чтобы мы могли удержаться на пяди окопной правды. И сама военная необходимость предстает не более, чем пядью земли, которую удерживаешь, пока не откроются вожаемые высоты, не поманит другой берег Днестра.

Когда взяли высоты, поняли, что главная высота позади: «Странно все же устроен человек. Пока сидели на плацдарме, мечтали об одном: вырваться отсюда. А вот сейчас все это уже позади, и почему-то грустно, и даже вроде жаль чего-то. Чего? Наверное, только в дни великих всенародных испытаний, великой опасности так сплываются люди, забывая все мелкое. Сохранится ли это в мирной жизни?» Бакланов завещает нам войну как истинно опыт «индивидуальности» — опыт жизни в заброшенности и вынужденности, опыт действия на свой страх и риск, причем учит страшиться скорее своей совести, нежели немца, и рисковать покоем души, нежели жизнью.

«Как смотрел на меня умирающий Шумилин...» — эта боль выбора, которого у героя не было, эта высота трагического долга остаются с нами. Повесть Бакланова очищает состраданием, как трагедия, и Мотовилов то и дело предстает как трагический герой: поступая правильно, он еще больше загоняет себя в глубину горя. И друг Шумилин воспет, как Патрокл, потому что, хотя ради оставшихся без матери троих своих детей не хотел идти на плацдарм, все-таки последовал за товарищем — «ни на кого не переложил свою судьбу».

Вот это напряжение между вполне офисной, корпоративной суетой (комдив комбригу обещает организовать ансамбль и тем спасает от трагического долга малодушного Мезенцева) и возможностью головокружительной человеческой высоты — главная интрига повести. И это напряжение составляет все содержание «индивидуальности» Мотовилова, который сам кусает за хвост свою несправедливость и гнев, сам ищет точку истины между формальным бесчувствием и слабостью ненужных, придавливающих в бою чувств.

«Они возвращались соскучившиеся, мы возвращаемся живые...» — сопоставляет рассказчик опыт разлуки в военной и мирной жизни. Бакланов выдерживает нас в пространство такой интенсивности переживания, что подле него и впрямь стыдно скучать: хочется быть живым в полную силу.

Но «будем живы — это позабудется», — рассказчик страшится продолжения, перекрывающего ценность только что полученного опыта. Плацдарм ему хочется взять с собой, пронести до конца войны, как когда-то хотелось сберечь первую боевую шинель или пробитую пулями палатку.

«Все это проходит». Бакланов учит понимать и видеть войну — не перед глазами у меня стоит не эпическая пядь плацдарма, а междумирие — мокрый лес, через который герои временно покидают окопы.

Мокрый лес, где ничего не происходит и все позабудется. И два пескаря, занесенные волной в воронку, зная не знающие о смертном трепете едва не погибшего и теперь философски взирающего на них человека.

«И в жизни» так — потому что она не знает конца. И, собственно, только этим берет свое, одерживает победу. Потому что жизнь, как показывает и повесть Бакланова, открыта свету и бескрайна, в отличие от войны, которая всего лишь — пядь жизни.

Александр Котюсов

Семруг — птица счастья

Древняя восточная легенда гласит, что когда-то слетелись птицы всей земли на торжество, чтобы веселиться и радоваться жизни. Вот только праздника не получилось, начали ругаться и ссориться. Долго кричали, на всей земле было слышно, устали все от того шума. И тогда самый мудрый из всех, угод, предложил остановить распри и выбрать повелительницу, которой бы подчинялись остальные. И птицы решили просить Симурга, птицу счастья и справедливости, стать их царицей.

Долог был путь, семь долин предстояло пройти, семь морей пролететь. Много опасностей ждало птиц на том пути, и не все выдержали его тяжести: одни погибли, другие вернулись домой. И только тридцать самых стойких добрались до дворца Симурга. Огляделись вокруг и поняли — они и есть та самая божественная птица. Симург — это каждая из них и все они вместе взятые.

Имя Симург переводится как «тридцать птиц». В татарском варианте оно звучит как Семруг.

Гузель Яхина рассказала нам легенду. По-своему, по-женски, по-татарски. Легенду длиною в роман. О тридцати переселенцах, переживших сотни других, преодолевших тяжелый и опасный путь. Путь от Казани до маленького никому неизвестного поселка, расположенного на высоком берегу реки Ангары. Поселка, которого в далеком 30-м году прошлого века не было на карте, — они построили его и

называли Семрук. Хотели «Семь рук», правда. Мол, на четверых главных работников семь рук всего, один инвалид. Да машинистка ошиблась, допустила опечатку, и пошла бумага по инстанциям. Семрук и Семрук. Не переименовывать же. По-татарски почти как имя царицы птиц.

«Зулейха открывает глаза» — книга, пронизанная болью за нашу страну. Роман, каждая строка которого полна страданий, оставляющих в душе глубокий след — до невольных, непрошенных слез. Таких книг в современной литературе — по пальцам пересчитать.

«Зулейха открывает глаза» — книга об одном из самых трагических периодов становления советского строя в нашей стране, времени, когда нищета и беднота брали власть в свои руки и требовали равенства. Тысячи и тысячи самостоятельных крестьян, владеющих собственным, зачастую совсем небольшим хозяйством, огородом, пашней, признавали кулаками и высылали в далекую Сибирь — зачастую навсегда. Хозяйство Муртазы — жителя маленького татарского поселка Юлбаш — подлежит раскулачиванию. Есть разнарядка, выехал вооруженный отряд красноармейцев. Муртазу убивают — не захотел сдаться добровольно, поднял топор на командира отряда Игнатова. Зулейха, главная героиня романа, жена Муртазы, остается одна. На сборы пять минут. Всего-то и успела взять, что теплый тулуп. Повезло, хоть не замерзнет в Сибири. А вот профессору Лейбе — доктору, ученому, арестованному по доносу прислуги, не позволили вернуться домой и собрать вещи... Полный поезд переселенцев. Много питерс-

Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза: Роман. — М.: Изд-во АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. (Проза: женский род)

ких интеллигентов. С нежными музыкальными пальцами, писатели, художники, поэты. Страна не выполняла план по раскулаченным. Чиновники «на местах» делали приписки, переводя сотни людей из одной социальной группы в другую. Шесть месяцев поезд идет в Сибирь, неделями простаивая на полустанках в ожидании своей очереди. Десятки эшелонов, сотни. Страну выворачивают наизнанку. «Как жить, мама? Как жить?! Грабят, грабят, грабят. Забирают все. Когда уже не остается у тебя ничего — хоть к праотцам отправляйся! — дают отдышаться. А придешь в себя, приподнимешь голову — опять грабят», — плакался своей столетней матери Муртаза. И ей нечего ответить сыну. Муртаза трудолюбив. Пашет, сеет. Крепко стоит на ногах. Врос в землю, словно огромный вековой дуб. Не подарок Муртаза. Жене за целую главу десять слов всего и сказал. По имени не назвал ни разу. Только и слышала Зулейха от мужа — «женщина!» Женщина, принеси! Женщина, убери! Женщина, подай! Словно рабыня. Впрочем, рабыня и есть. Хоть и жена.

Стоит дуб, держит землю, страну крепит своими корнями. Однако ищет врага новая власть. Не нужны ей сильные самостоятельные мужики. Роемся у корней дуба кто-то, острым клыком подрезая силу, червячком скользким пробираясь под кору, жучком вертким выпивая влагу. Они настоящие хозяева страны. Кузнец, Игнатов, Бакиев, Мансурка-Репей, Денисов... Хоть под одну гребенку всех и нельзя. Вот Горелов. Яркая личность. Урка, блатной, уголовник. Две ходки, эта третья. А под конец книги — галифе, мундир, погоны: «франтоватый военный в жестко наглаженной форме и обильно надушенный одеколоном» — лейтенант. Из зеков — в начальники. Кулаки — враги народа, враги власти, а урка для власти — помощник. Старший по вагону, смотрящий, стукач — и в конце романа, уже после войны, новый комендант того самого сибирского поселка переселенцев. Где разница между уголовником и энкавэдэшником? — слов-

но спрашивает автор. Один посадил на перо фраера, другой... Давай у тебя в поселке «обнаружим заговор, раскроем, организаторов расстреляем по закону военного времени, а сообщников — по лагерям. Вся Сибирь узнает. Поселенцам — урок: во избежание! Другим комендатурам — пример. А нам с тобой... дырочки сверлить в петлицах», — говорит Кузнец, сотрудник НКВД, отвечающий в районе за пересыльных. Это он Игнатову предлагает. Игнатов — красный командир, раскулачивал, сопровождал до места поселения, волею судьбы и начальства — комендант их поселка. Застрелил мужа Зулейхи Муртазу, бровью не повел, не первая смерть на счету. Только там война была, революционная борьба. А здесь другое. Отказывается. Совесть проснулась.

И это лишь командиры и начальники. А сколько еще разных мелких нахлебников, рванный картуз да дырявые портки. А еще большой рот и тысячелетиями взращенная злоба, зависть взращенная. Как сорняки на поле — растут, не дают свободы полезному, забирают влагу и солнце. Жизнь забирают...

«Зулейха открывает глаза» — роман о кромешно трудной жизни, написанный прекрасным языком. Женским, ласковым. Россыпь татарских слов — кульмэк, камча, бичура... Интересен не только слог — быт тех лет, национальные устои. Труд с раннего утра, еще затемно. Пока не проснулась Упыриха, столетняя мать Муртазы, слепая совсем, надо вынести ее ночной горшок. Подоить корову, расчистить снег, приготовить завтрак. Обед, ужин, стирка, уборка. Все на плечах Зулейхи, маленькой зеленоглазой женщины. К вечеру сил нет никаких, хочется лечь на кровать (а и кровати-то нет, спит на сундуке), да как уснешь. Мать хочет помыться — говорит Муртаза. И нужно натаскать два десятка ведер воды, протопить баню, стерпеть изощренные измывательства Упырихи, попарить свекровь, потом мужа, заварить им чаю, напоить, а когда они отправятся спать, вымыть все до другого раза, нового дня.

...Читается книга. Едет поезд в Сибирь. Плывет баржа по Ангаре. Все дальше родной поселок Зулейхи. Новое место жизни. Новые люди, другой быт. Национальностей два десятка. Исчезают татарские слова, забываются, тают. Яхина великолепно владеет техникой погружения в жизнь своих героев, описывает быт переселенцев так, словно провела с ними десятки ночей в поезде, тонула вместе с баржой, грелась у костра, плела снегоступы, охотилась, ловила рыбу, рисовала картины в клубе, пила самогон с комендантом...

«Зулейха открывает глаза» — глубоко женский роман. Не в том смысле, что — для любительниц всплакнуть о несчастной любви и счастливом замужестве в финале. Хотя и несчастливая любовь в романе есть. Это книга о женской силе, воли к жизни, стремлении в первую очередь продолжить род, родить и воспитать сына. Воспитать и отпустить, как птицу, как сокола, в дальний путь с неизвестным концом, с неясной судьбой — но с уверенностью: он сможет, потому что я дала ему все, что могла.

Книгу Гузели Яхиной нужно воспринимать через рождение.

Вот Зулейха. Умерли четыре дочери, одна за другой. Вот Илона, любовница Игнатова — семь лет бесплодна. Вот Груня, сожительница люмпенизированного Степана — забеременела в 46 и умерла при родах. Яхина словно запрещает своим героям рожать в том страшном времени «красноордынцев»: не продолжить им род свой, не родится у них никто, не может родиться, не должен. Даже доктор Лейбе, светило по женским делам, тут не помощник, талант его не может проявляться в жизни, в которой нет счастья и справедливости. И лишь в далекой Сибири, на вольной Ангаре начинается новая жизнь, появляются дети, выходит из беспомощности доктор. Только у тех, кто перенес несчастье, кто потерял прошлую жизнь, у кого есть память, кто вынес в своем сердце всю тяжесть этого горя, не покори-

ся, не сломался, только у них будут дети. Они будут жить и помнить.

Везде способен пустить корни человек. Если хочет жить, если хочет продолжать род свой. Сибирь — не Северный полюс. Есть земля, солнце, вода. Рыба есть, зверь, птица. «Зулейха открывает глаза» — роман о том, как женщина, маленькая, слабая, оказывается в ситуации, в которой далеко не каждый мужчина способен выжить. Зулейха не просто выживает. Вопреки природе, небесным силам, здравому смыслу — рождает в нечеловеческих условиях. Мальчика, Юзуфа, память о Муртазе. Вон он, тот росток, тот молодой побег, который пробивается через всю эту страшную жизнь, тот, кто спасается от острых клыков, скользких червяков, ненасытных жуков-паразитов. Он, родившийся в неволе, на берегу Ангары, в голоде, холоде, словно символ новой страны, той, которая победила фашизм, которой строить новую жизнь, запускать человека в космос, перегораживать реки, возводить города. Вот только будет ли он счастлив?..

Семруг — птица справедливости и счастья. Тридцать переселенцев находят приют на берегу Ангары. Они прошли семь долин — долину Искания, Долину Любви, Долину Познания. Затем были Долина Безразличия, Долина Единения и Долина Смятений. Последней — Долина Отрешений. Они прошли и ее. Чтобы войти в страну Вечности, страну, куда нет входа живым. Вошли, чтобы понять: они и есть Семруг, они и есть высшая справедливость. Они и есть счастье. Счастье в неволе, в ГУЛАГе, вопреки неволе и ГУЛАГу.

Счастлив Игнатов. Что ждало его в Казани? Расстрел! Заговор, контрреволюционеры, враги народа. Арестован начальник Игнатова — Бакиев. Картина обычная для тех лет. Семрук меняет судьбу Игнатова. Он дарит ему жизнь и любовь. Любовь к Зулейхе. И пусть не ясно их будущее, но мы верим — эти люди слишком сильны, чтобы согнуться под тяжестью обстоятельств.

Счастлив доктор Лейбе. Казань вычерк-

нула его из списков врачей. Она забыла его. Стране не нужны доктора с враждебными немецкими фамилиями, буржуазными привычками, либеральными взглядами. Высохшая пальма и комната в бывшей когда-то его собственной, а теперь коммунальной квартире — это все, что оставило доктору государство. Ангара и Семрук дали ему то, о чем он мечтал всю свою жизнь. Он, врач от бога, лечит самые тяжелые болезни, ставит на ноги безнадежных больных.

Счастлив питерский интеллигент, художник Иконников. Чем он занимался в Ленинграде? Рисовал, тихо проклиная себя, портреты усатого вождя. Семрук дает ему свободу творчества. Он, подобно Микеланжело, расписывает клуб, от пола до потолка, один. А после добровольцем уходит на Великую Отечественную и — воин-победитель — остается в Париже, городе своей мечты.

Счастлив агроном Константин Арнольдович. «Моя магистерская диссертация — еще в девятьсот шестом, в Мюнхене — была посвящена теории питания злаковых. Я рассматривал свой труд скорее как теоретический, имеющий стратегическое, нежели конкретное практическое значение. Мог ли я тогда подумать, что мне придется самому выращивать эту самую пшеницу?» — восхищается он.

Счастлив Горелов. Он, бывший уркаган, расправляет в Семруке плечи. Его будущее на Большой земле очевидно: за третьей ходкой — четвертая, следом — пятая, а там, глядишь, и смерть в воровской разборке. Стал бы он в Казани лейтенантом госбезопасности? Да никогда. Семрук меняет и его жизнь. Жаль только,

что все его низменные инстинкты и замашки остаются при нем.

Счастлив Кузнец. Он сделал свое гадкое дело. Придуманный им заговор раскрыт. Не в Семруке, так в другом поселке. На погоны легли полковничьи звезды. Жизнь безбедна и сытна.

Счастлив Юзуф. Он не знал другой жизни. Родись он в маленьком Юлбаше, вслед за отцом сеял бы хлеб, скакал на жеребце по полям, парился бы в выходные в бане. Люди Семрука познакомили его с другим миром, где есть Казань, Петербург-Ленинград и Париж. Юзуф хочет учиться, стать художником и быть счастливым. И он отчаянно бросается в манящую неизвестность.

Счастлива Зулейха. В далеком Юлбаше осталась ненависть мужа, придирки свекрови, беспросветное будущее, рабский труд без благодарности, без радости, без удовольствия. Семрук подарил ей сына, дал любовь, странную, конечно, любовь к убийце собственного мужа, но сердцу не прикажешь. Жила она в Юлбаше чужая, маленькая, тихая, никому не нужная, жила сжавшись в комок и зажмурившись. А когда ее вырвали из этой привычной жизни, Зулейха открыла глаза и увидела мир. И превратилась в птицу Семруг. На это у нее ушла почти вся жизнь.

Главный человек ее жизни, ее смысл и радость — сын Юзуф — вырос. Ему пора в путь. Навстречу опасностям. Навстречу своему счастью.

Зулейха остается. Ей некуда идти. Она уже все нашла.

По легенде птица Семруг, когда у нее подрастает сын, бросается в огонь...

И мать моя, беременная мной,
не ожидая помощи Европы,
по выходным копала под Москвой
крутые, полных профилей окопы.

Характерно, как еще не родившийся
лирический герой говорит: «*Мы* отступали». Это участие в истории — чисто волгинское.

А вот и детское, мальчишеское, а значит, вечное восприятие войны:

Воспряну ото сна,
откину одеяло.
Окончилась война,
а мне и дела мало!
.....
Ах, мама, ордена
какие у танкиста!
Ну почему война
закончилась так быстро?.. —

через века перекликающееся с пушкинским:

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шёл мимо нас...

История, повторяю, пронизывает все стихи поэта, вторгается в жизнь, любовь, быт:

Не разжигается уголь древесный —
падает с неба дождик отвесный,
гасит костёр, заливаает мангал,
жить нам мешает, как римлянам галл.

Она, история, главная героиня всех стихов Игоря Волгина.

Приметы времени, в частности 60-х годов прошлого века — Братск, спутник, строительство московской кольцевой автодороги, Куба, коммуналка, нейлон — застыли в стихах, как жуки в янтаре.

Притом, что сам янтарь — живой и теплый.

Даже рифмы — дети своего времени, вполне «шестидесятнические»: *ступенькам — стипендий, курилке — Курилах, студень — студент, капли — ни капли, Москва — листва...*

Есенин в полемическом задоре как-то сказал, что не бывает поэта без родины и что у него она (Рязань, Константиново, деревня) есть, а у Маяковского ее нет.

Нельзя не согласиться с первым, как нельзя согласиться с последним (я думаю, что у Маяковского тоже есть родина, но это не Багдади, а время, в которое ему довелось жить: кто сказал, что родина — это непременно место?).

Вот и о нашем герое можно было бы сказать, что он москвич (и подтвердить обилием московских топонимов в его стихах: Марьиная роща, Арбат, Ордынка, Ольховка, Покровские ворота, Волхонка, Трифоновка), но это было бы не совсем верно (а может, совсем неверно) — он «москвич, под бомбами зачатый и рожденный в городе Перми», его родина не исключительно место, а место-время, хронотоп.

Свое возвращение в поэзию Волгин начинает с декларации (одно из первых стихотворений в разделе «Поздние стихи»):

Не хочу я больше быть учёным —
это звание мне не по плечу.
Ни о чём бесплотно-отвлечённом
толковать ни с кем я не хочу.

Он уверен, что «зренье выше умозрения».

Но это не отречение (по большому счёту Волгин никогда ни от чего не отрывается) — это возвращение на круги своя.

Возвращение с приращением на мировую культуру и поэзию.

Поздним стихам нашего героя, перефразируя *его* любимого героя, присуща *всемерная* отзывчивость: перекличка с другими поэтами, внутренние и даже *внешние* цитаты.

«Жил на свете рыцарь бедный,
неуклюж и неумел.»

«И разве сгинули как дым
мятежной юности позывы:
"Пока свободой горим,
пока сердца для чести живы"...»

«Идёт весна. За ней идёт война.
Она ещё не стала мировой.
Она ещё не сторбила их плеч,
ещё ни бомб, ни затемнённых окон.
"Нам лечь, где лечь,
и там встать, где лечь", —
в последний раз прочтёт ифлийцам Коган».

Чужие стихи входят в стихи Игоря Волгина органично, «как образ входит в образ», создавая новый, свой текст.

В поздних, хотелось бы сказать, новых стихах отражено и новое время.

Личное и общее, жизнь и история, время и место сливаются воедино. Например, в стихотворении о смерти родителей.

Они ушли в две тысячи втором.
А я живу. И ничего такого.
И мир не рухнул. И не грянул гром —
лишь Сколковом назвали Востряково.

Поэт остается историком даже в стихах о самом личном — любви:

Что ты сделала с нашим жилищем,
как Рязань, разорённым во прах,
с этим счастьем недолгим и нищим,
с первым словом на детских устах?

Значит, время страшнее, чем Ирод,
если женщина в дикой борьбе,
умножая количество сирот,
пробивает дорогу себе.

Здесь история не только в сравнениях, но в явлении нового типа лирической героини — жесткой (чтобы не сказать жестокой), мстительной, ни перед чем не останавливающейся на пути к сконструированному ею счастью.

Хочется обратить внимание на язык «Поздних стихов»: здесь органично уживаются просторечия, старославянизмы, молодежный сленг и воровской жаргон.

Поразительно еще одно.

Плотность стиха.

Понятно, что в настоящих стихах не бывает «воды», что каждое слово стоит на своем месте.

Но плотность этих стихов поражает:

Кто мы, откуда? Из лесу вестимо.
Нету давно ни волчицы, ни Рима.
Галл отложился, низложен сенат,
изгнан Гораций из отчих пенат.

Кстати, такая же — поэтическая — плотность характерна и для литературоведческих работ Игоря Волгина. В дан-

ном случае перед нами не ученый, пишущий стихи, а поэт, создающий научные тексты.

Дистанция огромного размера!

Новое время, отраженное в новых стихах поэта:

Се — двадцать первый
продвинутый век
входит в анналы.
Здесь под фанеру вопит педераст,
млея от страсти,
и, на иное ничто не горазд,
ластится к власти.
И, не боясь угодить на скамью,
сердцем не жёсток,
не торопясь вырезает семью
трудный подросток.
Нам растолкуют, что твой Пуаро,
просто и прытко,
как проносила, спускаясь в метро,
бомбу шахидка, —

оказывается чуть ли не страшнее военного. Можно ли спастись в этом мире и спасти этот мир?

По мысли — поэтической! — автора мир спасет культура (читай: красота).

...Милая, выруби этот дурдом.
Дуй за заначкой.
Или ещё перечти перед сном
«Даму с собачкой».

Стихи Игоря Волгина высоко оптимистичны, потому что глубоко религиозны. Строки:

Обобщи человеческий лик
и уверься, что это — ребёнок,

отсылают не только к Блоку:

Сотри случайные черты —
и ты увидишь: мир прекрасен, —

но и к Богу, ибо ребенок — метафора Бога (то-то мировая гармония не стоит его слезинки!).

Историк, Достоевевед, поэт — слились в одно.

Круг замкнулся.

Николай Александров

Оборона крепости

Нет смысла сегодня говорить о тенденциях, о направлениях, о моде и стилистике, о письме и особенностях художественного мышления. Можно говорить о текстах. Реалистическое или постмодернистское письмо, отстраненность или искренность — неважно. Слово как таковое выступает на первый план. Литература сегодня, кажется, существует не как процесс, но как путь, как высказывания индивидуальностей. Слово, манифестированное как художественное, то есть особо значимое слово, уже в силу этой манифестации проходит особую проверку. Можно спорить, случалось такое раньше или нет, но факт остается фактом: ангажированность — то есть художественная фальшь, ложь, вьедшаяся в самую словесную ткань, — сегодня очевидна как никогда. И дело тут не в мировоззрении, не в приверженности той или иной стилистике, не в ориентации на те или иные моральные, религиозные, философские ценности. Это уже не вопрос хорошего или плохого письма, реализма или эстетизма, искренности или отстраненности. Это вопрос писательской самодостаточности и художественной правды. Это вопрос самого образа мышления, вопрос верности или измены понятиям высшим.

Кому-то может показаться странным такое вступление к отзыву на роман Петра Алешковского «Крепость». Ведь роман можно воспринимать в русле вполне традиционных литературоведческих методик. Право же — ни тебе новых нарративных стратегий, ни нового письма, ни

нового художественного мышления. Все вполне обыкновенно, привычно. Реалистический роман, современность и история, актуальные социальные конфликты, узнаваемые характеры. Вроде бы даже в контексте творчества самого Алешковского этот роман наиболее, скажем так, каноничен, то есть вписан в определенную манеру художественного высказывания. И все же стоит внимательнее приглядеться к этому тексту, в котором обыденное, привычное неожиданно обретает иное измерение. Не другую эстетику, нет, но именно другое художественное качество.

Вот талантливый историк и археолог — Иван Сергеевич Мальцов. Бескорыстный ученый, исследователь истории Деревска, городка на северо-западе России. Мы его застаем в тот момент, когда жена его Нина уходит к дельцу от истории (археологии) Виктору Калюжному. Вдобавок бывший его одноклассник, «преуспевший в школе по комсомольской линии», а ныне начальник, директор музея Маничкин увольняет Мальцова и ликвидирует экспедицию, то есть группу исследователей-археологов. Что тут сказать — известный конфликт советского романа: энтузиаст ученый и карьеристы. Все так. Только у Алешковского это даже не завязка, а экспозиция романа. Завязка будет дальше, когда местный начальник, новый барин (почти новый Троекуров) Степан Анатольевич Бортников приглашает Мальцова на охоту. На охоте ранят Маничкина, и лишь по счастливой случайности подоспелые не падают на Мальцова. С этого начинается настоящее действие романа.

Впрочем, и это не вполне точно.

Пётр Алешковский. Крепость: Роман. — М.: Изд-во АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.

Алешковский ведет повествование сразу в нескольких временных пластах — монгольская древность, русское средневековье вторгаются в современность, впервые появляясь, то есть обретая художественную реальность, в сне Мальцова (который сам, кстати, потомок монголо-татар). И оказывается, что главный герой романа — Деревск, город с Крепостью и городищем, город, переживший монгольское нашествие, литовскую осаду, город, воплощающий в себе историю как такую (до советских времен, до нынешней, к истории равнодушной, современности).

Каждый из исторических пластов, каждая эпоха находит в романе свое воплощение в слове. И с этой точки зрения роман Алешковского — это рассказ не об историке-энтузиасте, не о его борьбе с нынешним Левиафаном в лице новых губернских вельмож, не современный детектив, но история археологического открытия (открытия подземной церкви — вполне логичный финал, между прочим), но повествование об истории как таковой, которая мудрее надменной актуальности и претензии на значимые исторические свершения вопреки накопленному опыту прошлого.

И здесь самое время сказать о главном достоинстве романа.

Это точность языка, которая и позволяет смешению эпох и времен не обратиться в лингвистический хаос.

Алешковский выступает в романе как знающий историк, как специалист и как заинтересованный квалифицированный

наблюдатель, с собственным опытом, рефлексивным и исследовательским. Это определяет словесную точность романа и историческую правду — и одновременно уберегает от идеологических спекуляций.

Роман Алешковского — научный, прежде всего по духу своему. Он не утверждает, не навязывает, не агитирует, но пытается показать — что есть, и открыть — что скрыто в истории. Да, конечно, мы имеем дело с домыслами и, прошу прощения, реконструкциями, но с домыслами и реконструкциями, опирающимися на опыт научного знания, на уважение к истории. Алешковский в своем романе исходит из тезиса необходимости исторического исследования, то есть изучения прошлого, без чего не может быть никакого настоящего. И будущего, разумеется.

В этом смысле «Крепость» — просветительский роман. Историческое здесь преодолевает советское, точность слова оказывается сильнее устоявшегося жанрового канона. А потому актуальность и злободневность не то что перестают быть злободневными и актуальными — но видятся по-другому, воспринимаются иначе. Ведь в конце концов в романе затронут вопрос не отношения к истории, не соотношения истории с сегодняшним днем, но вопрос исторической исчерпанности. Может ли история прекратиться, быть уничтожена, и что это значит, и как это сказывается на судьбе человека, как влияет на жизненное пространство, на территорию существования — вот в чем вопрос.

Лев Аннинский

Потеряем? Или привяжем?

Алиса Ганиева, наверное, самая известная сегодня писательница нашего Юга. Я допускаю, что тут действует (на меня, во всяком случае) обаяние ее облика на портретах. Но портреты-то действуют — потому что действуют тексты! С первой повести, за которую она получила премию «Дебют» лет пять назад, всякая новая вещь читается... сказал бы: пересказывается, да в том-то и штука, что не пересказывается эта прихотливая вязь повествования, где поступки действующих лиц переплетаются, пересекаются, переворачиваются с такой замысловатостью (не говоря уже об арабских, дагестанских и прочих исламского окраса понятиях и словечках, объясняемых в сносках), что смысл чтения открывается не в распутывании сюжетных узлов (эффектно автором перепутанных), а в общем ощущении реальности, которая предъясняется читателям сквозь этот уникальный калейдоскоп...

Как в монологе старухи, взявшей слово в разгар предсвадебного празднества (кажется, отмечается мавлид, день рождения Пророка), и вот, выйдя к микрофону, эта никому не ведомая ораторша после всех выслушанных до нее поздравительных тостов начинает свой спич, который все слушают, не смея прервать... и я прерывать не буду.

— *Я желаю жениху и невесте столько коз, сколько звезд на небе, и столько несчастий, сколько волос на козах! Пусть их род оскудеет, пусть прохудятся их кошельки и кишки, пусть небеса расплющат их в лепешку, а души горят в адском пламени, пусть стираются там и превращаются в*

пепел! Пусть дети их не родятся, а если родятся, то оплачут тот день, когда их проклятый отец взял в жены их многострадальную мать. Пусть язвы, чесотка, глисты, припадки, мор и опухоли одолеют их. Пусть лепра украсит их лица, а ноги сгниют в Сибири! Желаю тебе, жених, мужского бессилия, позора на всю округу и вечной подагры! Да наплачется над тобой твоя мать, да отпустит траурную бороду твой отец! Да пошатнутся столбы в твоём доме, да рухнет крыша! И бегут от тебя добрые люди, как от чумной собаки, да гонят тебя от очагов, куда бы ты ни пришел! Быть тебе скитальцем и чужаком, носить суму, чахнуть за решеткой! Да не носит тебя ни земля, ни море, ни небо. Да скинут тебя со своих седел горы! Да предадут тебя тысячько тысячу раз, да плюнут в душу, как ты плюнул в сердце моей невинной дочери! Не знать тебе счастья с этого черного дня!

Она продолжает вещать в том же духе, держась своего сюжета, а гости слушают, время от времени спрашивая друг у друга: «Кто это? Что это?»

Кто это — в конце концов объяснено. А вот что это, я хочу понять.

Если у этой неведомой гостьи есть причины к вражде, то по законам экономной прозы нам хватило бы одного смачного ругательства, а тут — цветистый монолог, который так гомеровски строен, что не прервешь! И фатальный для нескольких героев романа монолог этот обращен не только к гостям праздника — старуха вряд ли с кем-нибудь тут знакома, а кто она, не знает не только большинство гостей, но и нам, читателям, автор, похоже, не хочет сразу сообщать, — это монолог о жизни как таковой.

И это главный его смысл.

Люди живут тесно и беспросветно. Мужики «буравят что-то на крышах», а

Алиса Ганиева. Жених и невеста: Роман. — М.: Изд-во АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. — (Проза: женский род)

бабы под крышами домов ломают доставшуюся им от века домашнюю работу, не покладая рук и не задумываясь, а когда приходит беда, то не от конкретных людей (которых и не узнаешь всех в этом круговороте родственников, свойственников и соседей), а от общего состояния мира, в котором беды приходят неожиданно-негаданно.

И потому проклятья обращены не к конкретным виновникам (их не найдешь, а если найдешь, так не привяжешь) — проклятья адресованы миру вообще, и укладываются эти проклятья в готовый, заранее ожидаемый свод несчастий, перечисляемых с ритуальным вдохновением, которому нельзя помешать!

Это ощущение общего психологического строя жизни возникает в прозе Ганиевой не из конкретных поворотов сюжета (их не удержать в памяти), а из того, что называется дыханием прозы, в коем вижу я главную ее ценность.

Люди ждут несчастий, и несчастья наступают.

А счастье?

Сейчас процитирую.

Вот счастливая свадьба.

«Сотни приглашенных, оглушительные песни, подкидывание женихов ввысь, под самый потолок. На одной дружки жениха и вовсе подняли на плечи целый стол, а на столе — танцует жених. Смотреть страшно. Жених выплясывает наверху, крутит кулаками, перебирает ногами, а внизу выбрасывают носочки лаковых туфель друзья, держа стол за деревянные ножки. Никто не упал, не ушибся. Или еще. Карбакаются молодцы на платформу, где стол жениха и невесты, и делают сальто-мортале назад. А бывает, что из одного конца зала в другой — один кувырок, второй, третий, четвертый».

Вы чувствуете, что это счастье похоже на то несчастье, которое может пасть на головы счастливых. Знают ли они друг друга или не знают — неважно! Забавы расписаны наперед! Гости подкидывают жениха (лучше всего вместе со столом), кувыркаются перед невестой (не вдаюсь в подробности: сколько там кувырков и в каком порядке) — все расписано наперед.

И что еще существенно в этом неистовстве: неистраченная, ищущая выхода,

безудержная энергия! Она копится! Это она, неприкаянная сила, бросает людей во вражду даже и под куполами храмов. Верующие, приписанные к одной мечети, и верующие, приписанные к соседней, — собираются в кучи и идут бить друг друга!

Ну это, так сказать, и у наших православных в традиции: как праздник — так стенка на стенку, улица на улицу, тот берег на этот...

Но в описании Ганиевой такая ищущая выход сила обретает характер почти фатума, и куда занесет людей эта энергия, то Аллах ведает, судьба человеком вертит: то ли в полицию определит ловить преступников, то ли «в лес» отправит («лесом» это именуется со времен прибалтийских антисоветских «лесных братьев»).

Кто ловит преступников, а кто попадает в их число и отбывает срок, чтобы, выйдя на свободу, продолжать свое дело: может быть, преступное, а может, правоохранное — не угадаешь. Кому что. По общей ситуации.

Словят жениха, и пока невеста гадает, куда он делся, общение узника с дознавателями идет по схеме:

— В бункере «лесные» давно укрываются?

— Не знаю ни про какой бункер...

Нет, я лучше процитирую, как это описано у Ганиевой. Третий эпизод из общей картины:

«— Сейчас тебя оторвут, понял — нет?! — без особой ярости, а даже как будто с усмешкой пригрозил следователь, уже утомившийся от избиений и мата. — Ты все подписал. Свидетельница дала показания. А будешь вонять — потеряем!

Марат со сдавленным стоном двинул омертвевшей, распухшей под разорванной брючиной ногой. Черные стены комнатухи размазались в кляксы и потекли ручейками на пол. Силуэт в нимбе колючего света задрожал, качнулся:

— Говори, хайван! (по-арабски — скотина. — Л.А.) А то такое привяжем — родные от тебя откажутся!

Вокруг загремело хором, как будто кричали допросчики, спрятавшиеся в шкафах:

— Привяжем! Привяжем! Привяжем!»

В этой предсказуемо непредсказуемой реальности влюбленным не будет счастья: все перекосятся, сорвется, развяжется...

Елена Гродская

А там — Средиземноморье!

В старину существовало понятие «лирический герой». Без него не обходилась ни одна статья о поэзии. Сейчас это понятие безнадежно отдает нафталином. В самом деле, почему не сказать просто «автор»? Правда, с приходом постмодернистской эстетики возникли затруднения — благодаря идее «смерти автора» вся литература (и поэзия) считалась производным от некоего «коллективного бессознательного». Хотя в дальнейшем обнаружилось, что автор оказался более живучим, чем предполагалось.

Благодаря яркой индивидуальности и артистизму Виктора Ковалю, как на негативе проявляются все случайные и неслучайные черты поэтической речи, которая по определению не может быть лишена автора. Должен же кто-то произнести эти «лучшие слова в лучшем порядке» (Кольридж).

У Ковалю существенна интонация фразы, фрагмента. Например, такого:

Меня тут нет. Я отслужил — и хватит!
Мне зав. учебной частью — не жена.
Так что ж она гундит, как старшина?
Зачем безличный воздух виноватит?

К услугам пишущего для передачи интонации — знаки препинания. Просодия точнее всего воспринимается на слух. Это верно по отношению ко всякому поэту. Не случайно Надежда Яковлевна Мандельштам сказала: «Губы — орудие производства поэта: ведь он работает голосом». Конечно, традиционное поэтическое «пение» (как у Бродского) не похоже на артистическое чтение игравшего в детстве в кино Ковалю («Дело Румянцева»,

«Дружок»). Хотя если уж называть Ковалю «артистом», то только в широком смысле слова.

И вот тут видится конфликт между лирикой и эстрадой: тихим внутренним делом — и «работой на публику». Наряду с горячими поклонниками у Ковалю есть критики, ставящие поэту в вину чрезмерное акцентирование, именно что эстрадность в исполнении, сделавшуюся, по их мнению, частью поэтики. Во время чтения Ковалю часто раздается смех — такая реакция и на его парадоксы, и на его абсурд оберинутовского толка. (Для сравнения: чтение «подельника» Ковалю по альманаху «Личное дело» Михаила Айзенберга смехом не сопровождается никогда, соответственно, и репутация у Айзенберга — «тихого» и «чистого» лирика.)

В эпоху поэтических слэмов и авторов вроде Валерия Нугатова эти рассуждения кому-то покажутся странными. Однако то, что Айзенберг назвал в статье «Вдогонку Ковалю» (самое существенное из написанного о поэте) «фокусничеством» (для Айзенберга это не минус), мешает некоторым читателям всерьез относиться к стихам этого автора. А напрасно.

Новая книга Ковалю «Персональная выставка» задумывалась именно как книга, единое пространство, а не просто «сборник стихотворений». Конечно, деление на разделы («Портрет», «Пейзаж», «Московские зарисовки», «Подмосковные зарисовки», «Метафизическая живопись», «Натюрморт» — тут уместно вспомнить, что Коваль «по совместительству» еще и художник-график) несколько условно, но «работает» это деление именно на целостность корпуса представленных текстов. В книгу вошли как ранее публиковавшиеся стихи, так и совсем новые, что позволяет наблюдать «траекторию» развития автора.

Виктор Коваль. Персональная выставка: Стихи. — Самара: Цирк Олимп + TV, 2014.

Новые стихи в основном о детстве. Опорными пунктами (этакими прустовскими «пирожными Мадлен») для Ковалёва оказываются, к примеру, имена дворовых мальчишек.

Был и Насер у нас — Авдеев.
Потому что Авдей — Абдель — Насер.
И Труп — Тихомиров. Потому что бледный.
Приезжал на каникулы из Ленинграда.
Что ещё? Под ноль
всем подстриженным не говорили: — Хрущёв,
только — Бубукин!

Сквозь личную биографическую историю в стихах Ковалёва открывается перспектива не только на историю страны (что естественно и распространено), но и на внеисторическое, бытийное мироздание. «Да, я о фатуме, конечно, повествую», — пишет автор «Гомона» и «Поликарпова». В этом свете понятен намек на гомеровский гекзаметр в ритме нескольких стихотворений. Есть в книге и свой эпос — и пародийный, и «всамделишный», смотря с какого ракурса взглянуть. С этого эпоса под названием «Ешкин кот» начинается раздел «Подмосковные зарисовки». Здесь как раз соединяется, сопрягается, «рифмуется личная история с общей»: «совместная ловля» лягушки котом и ежиком, необходимость переоформить право автора на собственность — на дачный участок, мешающий этому ураган — «двенадцатибальный, со шквалом» и рассказ его отца об участии в «Финской кампании в тридцать девятом» и дальше — в Великой Отечественной. За бытовыми и историческими деталями проступает иная картина. Какая? В ответе на этот вопрос кроется суть поэтики Ковалёва.

Автору необычайно дороги как раз подробности. Он, «биожитель», по собственному определению, с удовольствием ходит по земле. Ковалёв везде хочет быть «своим в доску», «нашим человеком». Но при этом, как сказал в устном выступлении другой его «коллега» по альманаху «Личное дело» Сергей Гандлевский, одной ногой Ковалёв ходит по земле, а другой — по воздуху. Пограничное положение между бытовым и бытийным по-

рождает полифонизм его стихов. Поэтому как-то даже неловко слышать об «эстрадности» автора, главная задача которого — выжить среди завораживающего ужаса действительности.

Получается, что Ковалёв — какой-то символист акмеистического толка (конечно, в новых поэтических условиях). В книге он объявлен «постконцептуалистом», но мне это определение кажется несколько расплывчатым. Как акмеист Ковалёв считает печной горшок печным горшком — и ничем больше, а как символист в этом несколько сомневается.

Уже упомянутый мною полифонизм выражается в сосуществовании в сознании поэта двух (и больше) реальностей, из которых еще неизвестно, какая «субъективная», а какая «объективная». Сам Ковалёв как-то написал, что оскорбить объективную действительность можно, если крикнуть ей в лицо, что она субъективная. Отсюда, например, взгляд на облако, «похожее на Черчилля, курящего сигару». («И всё это были подоби́я» — по слову Пастернака).

Безусловное отличие от символистов в том, что, повторяю, Ковалёв дорог тварный мир. Реальность лягушки, ежика и кота и данность облака-Черчилля для автора равно несомненны, но границы между вымыслом и «объективной действительностью» часто размыты. И именно это порождает ужас, который испытывает читатель этих непростых стихов. Ужас превосходит комический эффект. Повествование о фатуме — дело нелегкое.

Новые и уже изданные, но недавние стихи Виктора Ковалёва больше напоминают прозу (такова заключительная часть книги «Натюрморт»). И тут он оказывается в «тренде» современной литературной ситуации. Но Ковалёв, в отличие от многих, поэт по преимуществу. Его «личные песни об общей бездне» «не задушишь-не убьешь», как и авторское начало в стихах, которые — никогда не угадаешь — какими чреваты открытиями.

Поднять Нечерноземье!

Подняли Нечерноземье,
А там — Средиземноморье!

Александр Евсюков

Риф июльским утром

Передо мной книга, что называется, с трудной судьбой — создавалась она с перерывами в течение двадцати лет (в промежутке у автора успел выйти объемный роман «Адаптация» — разными людьми и с полным на то основанием объявленный выдающимся и стилистически неумелым, любимым и непонятым, скандальным и переворачивающим душу). В итоге в состав сборника «Риф» были отобраны повесть и двенадцать рассказов, объединенные темой взросления, непрерывного пути и постоянного, внешне порой схожего с бегством, поиска.

Мое внимание с детства привлекали писатели, способные осваивать, делать близкими и осязаемыми удаленные пространства, места и страны, где я не бывал: рассказать, познакомить и заочно «свести» с живущими там людьми. Валерий Былинский — из этой породы. Потребность перемещаться с места на место, из страны в страну у его героев в крови. Для них это даже не сформулированный признак свободы, а естественное состояние: как для рыбы — плыть, а для птицы — лететь.

В связи с этим и география в книге Былинского непривычно широка: не считая вымышленного города и сказочного снежного дома, здесь представлены и Куба, и только что распавшаяся воюющая Югославия, и бастующая Болгария, и Турция, и Украина, и гостиница «Беларусь» в Бресте, а также Питер, Москва и «маленький город на берегу Тихого океана». И каждое из этих мест действия ощущается тревожащим и по-особому прекрасным.

Валерий Былинский. Риф: Повесть и рассказы. — М.: Дикси-пресс, 2014.

Открывает книгу «Июльское утро» — большая многоплановая повесть (некоторыми критиками она зачислена в романы), названная по одноименной песне группы U2 и созвучная ей. «Было время, когда мы жили все вместе: отец, мать, Вадим и я», — такой идиллической фразой начинается первая глава. Автор исследует здесь окружающий мир взглядом ребенка; мир этот неповторим и первозданен, как и во всяком детстве. Наблюдательность рассказчика проявляется в точных, как уверенные карандашные штрихи, деталях: «к отцу приходили друзья — такие же, как и он, горные мастера, с въевшейся угольной пылью под глазами», «я <...> наблюдал за превращением цвета его ушей в естественный. Вскоре он обернулся, и я увидел румяное, важное лицо повидавшего кое-что храбреца», «мне казалось, что я совершенно, даже как-то чрезмерно, как бывает после приступа сильной болезни, выздоровел».

Сюжет развивается неспешно, побуждая к неторопливому чтению и постепенному осознанию того, что основной смысл этой истории находится отнюдь не во внешнем измерении, а во внутреннем, глубинном — рефлексивном:

«Может быть, меня и вправду задумали как надежду рода. Когда родился Вадим, на его необычность никто не обратил внимания, и шесть лет ждали меня, ведь в младшем часто воплощается золотая мечта какой-нибудь крови. Мое рождение послужило тихим взрывом, повредившим почву, на которой нам с братом предстояло вместе жить. Едва меня привезли из роддома, как Вадим, войдя в свою комнату и увидев меня на своей кровати, злобно ухмыльнулся и ткнул указательным пальцем в окно. "Я отнесу его в будку к

собаке", — сказал он и, повернувшись, вышел из комнаты».

И эта изначальная ревность в отношениях между братьями сохранится вплоть до смерти одного из них.

Однако даже упомянутая собачья будка, благодаря эпизоду со старым ослепшим псом Пиратом, оказывается не знаком презрения, а моментом не понятой до конца искренности.

Семья для ребенка — начало его личностного мира, система координат, с которой в будущем предстоит сверяться; и вначале она представляется ему дружной, любящей и крепкой. Нужно только постараться, чтобы проявить себя, оправдать возложенные надежды.

«Родителей соединяла общая любовь к застольям, дом и мы — сыновья», — как бы между делом сообщает рассказчик. Но в итоге этих привычных связей оказывается недостаточно. Медленный и неотвратимый распад конкретной семьи Ромеевых происходит на фоне распада всей страны. При этом сходство всеобщего и частного автор не педалирует; явно небезразличный по натуре, здесь он крайне далек от страстных публицистических порывов. Он занимается тем делом, для которого, главным образом, и предназначена литература: изображая как будто бы только частную жизнь, улавливать внутренний пульс эпохи, добираться до сокровенных человеческих страхов и побуждений. Он пишет летопись, одну из книг Ветхого Завета, действие которого пришлось на последнюю треть XX века. И Каин здесь оказывается способен на жертвенность, в то время как Авель получит возможность остаться в живых.

В 1997 году повесть «Июльское утро» выиграла первую премию — «Новое имя в литературе» — на российско-итальянском конкурсе «Москва-Пенне». Это могло бы стать счастливейшим началом творческой судьбы. *«Но успех свой он превратил в долгое молчание. Скитался чужаком по Европе. Просто потому, что хотел жить в огромном настоящем живом мире. Как ему не было страшно? Потерять себя, оказаться забытым. Но он этим не дорожил, потому что понимал свой путь как настоящий*

писатель», — с искренним удивлением отмечает в предисловии к книге прозаик Олег Павлов.

От кого Былинский ведет творческую родословную? Задумавшись, понимаешь, что близких ему по духу художников в русской литературе немного. По глубине, серьезности и силе поставленных вопросов таким был Достоевский в XIX веке; затем спустя полвека, уже в XX столетии вспыхнули на литературном небосклоне эмигранты-одиночки М.Агеев (в описании характера и поведения Вадима Ромеева ощущается сходство и постепенное расхождение с образом Вадима Масленникова из «Романа с кокаином») и Гайто Газданов (с его неотвратимостью судеб и завораживающим ретроспективным взглядом).

При этом *«Валерий Былинский стоит в стороне от ядра закрытой, во многом московской литературной тусовки последних лет. От этого — трудность пробивания каждой книги, поиск своего читателя. Хотя, кажется, именно книга «Риф» — то, что отечественный читатель, уставший от вычурности, ориентальности внешнего литературного стиля многих модных писателей, захочет перечест не однажды. Сложный, не слишком популярный жанр рассказа здесь воплощен блестяще, в них всегда есть история, мораль или просто — отблеск какой-то красоты этой жизни»* — так, не слишком умело, но верно по существу высказался о сборнике анонимный читатель на интернет-форуме.

В открывающем второй раздел и давшем название всей книге рассказе «Риф» — об удивительном острове Куба и о русском мальчике, который на наших глазах становится мужчиной, — каждая фраза настолько зрима и выпукла, что кажется — будь по нему снят фильм, он проиграл бы «исходнику» текста в наглядности показовой прорисовки образов.

В прозе Былинского (прежде всего как раз в рассказе «Риф») остро ощущается, как хрупко, зыбко и раняще невосвратимо уходящее от нас время. Но оказывается, что и время наступающее по-своему прекрасно и неповторимо.

«Малко и Христина» — история-виде-

ние, на несколько страниц всплывшее перед нами, как вершина айсберга огромной трагедии, называемой «междоусобная война». Именно пограничье сна и яви точнее всего отражает естественность происходящего сумасшествия:

«— Христина, — сказал он, словно пробуя на вкус ее имя, как снег, — ты... Что у тебя случилось?

— Ничего.

— А отец, мать...

— Их убили позавчера.

— А потом?

— Что — потом?

— У тебя... — ему в глаза опять сверкнула белизна ее ног — ты уже спала с кем-нибудь? — спросил он неожиданно, как человек, который заговорил во сне.

— Да, вчера, три раза.

— Это были солдаты?

— *Солдаты...*»

«Без героя», «Зал ожидания», «В дороге» — рассказы, объединенные впечатлениями пути, как в прямом, так и в бытийном смысле. Кажущийся алогизм их развязок заставляет сначала удивиться и все-без усомниться, чтобы затем с наибольшей отчетливостью ощутить честность и глубину показанных нам сторон жизни.

«Черные человечки» — притча о жажде любви, живущей внутри даже самой ничемной и несостоятельной личности. Даже если фамилия человека Грязев и для всех окружающих он *«был каким-то тихим, пустым, неоскорбительным явлением»*.

«Я с тобой» — рассказ-катастрофа, яркий пример умелого использования и преодоления шаблонов массовой культуры. Здесь изначально не затрагиваются глобальные этические вопросы (вернее, затрагиваются, но весьма условно), однако подобную способность создать по-настоящему увлекательную жанровую историю проявляют лишь немногие современные российские писатели.

Рассказам из числа самых коротких — «Двое в весне», «Два дня до смерти», «Рождение» — как мне кажется, не хватает «разбега», сюжет и финалы выглядят скомканными, важные идеи остаются на уровне набросков. Но вот что интересно — чаще всего от обнаруженного ляпа или стилистического промаха какого-нибудь автора N надолго остается досада. В случае Валерия Былинского огрехи удивительным образом почти сразу забываются, их заслоняют более важные вещи. *«Потому что это — тот самый высший, как у наших классиков, уровень прозы: когда читаешь, наслаждаешься чтением и прощаешь все»*, — так объяснил причину этого эффекта Сергей Федякин.

Закрывая книгу, долго смотрю на ее темно-зеленоватую обложку (фрагмент картины «Риф» работы автора), постепенно осозная, что это вглядывание отнюдь не в бездну пустоты, а в манящую глубину, наполненную притягательной тайной жизни.

Небо над душой

Рубрику ведет Лев Аннинский

Стоит над душой — нависает? Или светится... прикрывает, помогает дышать? Умело соединить слова — и уже готова сверкнуть искорка поэзии. «Во времена беды большой стояло небо над душой»... А если веру и неверие свести, замирая от немыслимости такого соединения? «Чья-то молитва и чье-то безбожие — вот оно, счастье, со счастьем не схожее». Стих — прост и легок, он возникает в естестве русской поэтической речи без нажима, без малейшего стремления поразить читателя. Но в этой-то простоте и прячется поэзия — в простом и ясном взгляде в глаза судьбе, в простой человеческой памяти о тех, с кем свела судьба. «Сегодня ровно двадцать лет, как бабушки на свете нет...»

Портрет бабушки обрисовывается из простейших, неподдельных детских воспоминаний — с притаившимся в этой простоте ожогом:

Она мои качала сны во время мировой войны.
Как дни, считала мелкий рис, от кошки отгоняя крыс.
И каждый день была права, ломая мебель на дрова.
Напоминал ей злой февраль, что не сожгли еще рояль,
И удивлялся, снег дробя, что не сожгли ещё себя.
Вся мебель полетела в печь, но удалось рояль сберечь.
Оплакивая шкафа прах, висели платья на гвоздях...

Люди уже сделаны из этих гвоздей, и Спаситель привык так буднично смотреть «из угла» на эту беспощадно-безбожную реальность.

Христос дивился из угла, как бабушка полы скребла.
И в очередь в мороз любой вставала, как на смертный бой.
Взяв на себя чужих сирот, переходила горе вброд.
Запомнив на остаток лет той керосинки слабый свет,
Бомбоубежище в метро и сводки Совинформбюро.
Прошла война. И цел рояль. Ребенок вырос. Это я-ль?

А в финале этого жизнеописания, поразительного по экономности деталей (и по знанию того, что стоит за деталями), — поворот интонации, который опаляет светом, огнем, смертельным пламенем, — сполох неизмеримости, непримиримости и непоправимости — при всем счастье:

И вот, впивая этот свет, живу.

Да бабушки-то нет.

В финале, «споткнувшемся» от удара памяти, — загадка, которая страшней любой разгадки: спасение не спасает от боли, но боль не уничтожает веры в спасение, которое все равно не спасает, а вера все равно жива...

Надо родиться в самом начале Великой Отечественной войны и с молоком матери впитать чувство неизбежной беды... надо все первые десять лет жизни ощущать присутствие этой беды в каждой клеточке бытия — и на всю жизнь сохранить чувство горькой радости, когда душа замирает в оцепенении между бедой и спасением...

Поразительное это состояние выношено первым послевоенным поколением.

Лейтмотивы. Мир приходит на искаленную войной землю, но счастье не приходит «само собой», если его не выстрадать. Выстраданное отлетает пеплом выкуренной папиросы — в небе пепел замирает неизбежной памятью...

Память — о матери, пережившей и выдержавшей этот ад... Об отце — фронтовике, из-под огня вынесшего пронзительные стихи.

Понтий Пилат умывает руки, не в силах оградить мир от подлости и насилия. Не от рук Пилата — очищение, а... от Пушкина, который «идет с дуэли невредим»... От безмерной народной силы духа.

Небо над душой — в страшном опыте беспощадной эпохи. Душевный сплот, спасающий от душевного слома. Опыт Великой войны, определивший склад души.

Природный артистизм в какой-то степени отвлекал эту одаренную душу от писания стихов. Девочка, с восьми лет пишущая стихи, выросши, стала профессиональной актрисой кино и театра... Писать — продолжала. В стол.

И еще одно обстоятельство биографии способствовало писанию стихов... а может, наоборот, остерегало от ощущения легкости этого занятия: родной дом был пронизан стихами отца и его соратников по поэтическому и реальному фронту.

Она в конце концов выработала свой почерк — между неизбежной бедой и непобедимой верой в счастье. Ольга Наровчатова.

Ольга Сергеевна...

Summary

Afanasij Mamedov. Vermilion, or Restart in Tunisia

There is much self-soul-searching in this long-short story. It also may be called searching in the time. Or in the life. At the same time its plot may be considered as criminal with a touch of Hollywood. But who can say that today's life is so very free from «a touch of Hollywood»? As well as a writer — from his own stereotypes.

Vladimir Moschenko. The Last Cruise of Engine-Driver Novikov

Dzezkazgan Steplag It's no need to explain what it is to the experienced prisoners of the camps. The author hasn't been one of them, but the prisoners were next to him, over the barbed wire. He was a boy at that war time when the law of the war was mixing with the precepts of the camp, heroism and self-sacrifice — with treachery and striding over the corpses. V. Moschenko tells a real story of those ruthless times.

Poetry

The new poems of Olesja Nickolaeva are full of eternal questions tormenting with insomnia. In Jan Brushtain's poems — nostalgia for the childhood, for the beloved cities, for the long-awaited but turned out so brief «ottepel» (the thaw). Mikhail Sinelnikov is telling about his bright impressions and unforgettable meetings. And young poet from Donetsk Natalja Izotova makes her vigorous debut on our pages.

Under the heading «Poet about the Poet» the poems and the essay «The Leaving View» by Mikhail Kaganovich are dedicated to the 90-th anniversary of Naum Korszavin.

Konstantin Simonov. Condemned to Immortal Glory

This November the centenary of the wonderful poet, prosaist and war correspondent K. Simonov will be celebrated. It seemed everything he has written — poems, novels, stories, scripts, plays, essays, memoirs, diaries — has been published. But just recently one more manuscript was found — it's the record of his conversation with Lieutenant-General Mikhail Luckin, the commander of a difficult and tragic life. This text titled with a line from one of Simonov's poems reveals some little known pages of our war history.

Critique

«Poetry should be taken by tiny, homeopathic doses or it may just kill», — thus thought Oleg Lishega — the phenomenon-poet in the Ukrainian literature of the XX century. November, 30, last year he was 65 and six weeks later he died of pneumonia in one of Kiev's hospitals. The amount of Lishega's poems published in Russian is trifling even for homeopathy. We present here the text of his last speech at the jubilee evening in Lvov ethnographical museum; written 25 years ago and unpublished until now article by Igor Kleh on Lishega's debut collection of poems and some of Lishega's poems translated by Andej Pustogarov.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Также можно оформить подписку *online* на сайте журнала

дружбанародов.com

на его странице в Живом журнале

<http://druzba-narodov.livejournal.com/>

и в Журнальном зале

<http://magazines.russ.ru/druzhiba/site/podp/>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Елены Жирновой



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»